Дмитрий Балашов

2

Дмитрий
Балашов

2

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



Москва «Художественная литература» 1991

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ВЕЛИКИЙ СТОЛ

РОМАН



Москва «Художественная литература» 1991

ББК 84Р7
Б20

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

Б $\frac{4702010201-185}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01603-9 (Т. 2)
ISBN 5-280-01602-0

Великий стол

РОМАН

ПРОЛОГ

Лето от сотворения мира шесть тысящ восемьсот двунадесятое (тысяча триста четвертое от Рождества Христова) было грозовым, ветреным. «Июля 23 бысть гром велик страшен с востока, и удари гром во маковицю святаго Феодора на Костроме, и зазже ю, и горе до вечерни. Того же лета преставись великий князь Андрей Александрович, внук великого князя Ярослава Всеволодича, месяца июля в 27, пострихся в чернецы, в схиму, и положен бысть на Городце, а бояре его ехаша во Тверь»,— заносил в тяжелую, с медными застежками книгу в деревянных, обтянутых кожею переплетах — «досках» — владимирский митрополичий монах-летописец.

Еще недавно князь лежал в соборе, смежив суровые очи, с жестокою складкою рта, отмеченного по краю беловатым налетом слюны, под гул песнопений, в волнах ладанного дыма, лежал, уже ничего не видя и не слыша вокруг, и только бледнел и обострялся, проявляя кости черепа, выпуклый лоб князя да медленно раскрывались, обнажая тускло блестящую полоску зубов, мертвые, уже беспомощные приказывать, велеть или воспрещать губы... И не было ни немого горя матери, ни громких рыданий жены, ни плача дочерня, ни слезы сыновьей, мужской и тяжелой, над гробом великого князя владимирского. И вопли плакальщиц, и гласы хора церковного, и приличная случаю сдержанная молвь придворных бояр — все было по уставным обычаям, а не по хотению души. И вот князь зарыт, и Городец опустел. Ничего не осталось от Андрея, ни от дел его. Мир праху того, кто был и не был, кто сеял зло и пожал забвение!

Как незаметно подступает осень: сквозисто редеют яркие густолиственные рощи, все прозрачнее высокий свод небес, по которому с последними птичьими стадами, ослепительно белые, словно первый снег, проплывают высокие холодные облака; и вот уже косые дожди сбивают последнюю пожухлую листву с дерев, и вот уже среди рыжей травы под ногою хрустнет первая тонкая льдинка; и непрошеным утром первый иней посеребрит бревенчатые тыны и голые макушки камней,— так изгибала и рассыпáлась и наконец рассы́палась Киевская Русь. Уже не было ни дележа, ни борьбы за золотой стол киевский. После падения Ногая разоренные Черниговская и Киевская земли совсем обезлюдели. На Волынь и в суздальское залесье бежали последние оставшиеся в живых художники, иконописцы и златокузнецы, пахари и мастера книжного дела, древодели, каменосечцы и ученые монахи, что вослед за митрополитом потянулись на далекую Владимирскую Русь, чая хоть какой спокойной жизни, без насилий и погромов бродячих шаек татар Ногаевых — вчерашних половцев, разбитых Тохтой. Да и победители мало кого щадили в бывшем улусе Ногаевом!

Шли, наступчиво ударяя посохами в землю, подымая пыль черными сбитыми постолами; шли, погоняя тощих, со стертыми в кровь холками лошадей, под отчаянный скрип немазаных осей перегруженных скарбом и лопотью телег; шли целыми деревнями и в одиночку, сторожко выглядывая из-под ладоней: не покажется ли верховой в остроконечной татарской шапке? Шли, хоронясь городов и обходя открытые ветру и взору места, одинаково посеребренные всех уравнявшею пылью... И только по взгля́ду, невзначай поднятому горé, проблеснувшему углубленною в себя мыслью, да по странно оттопыренной торбе за плечами, где угадывались острые медные углы тяжелой книги, можно было отличить ученого мужа, книжника и философа, от простого людина, ратая или кузнеца... И редкий взор останавливала в те поры отверстая сума книгочия в сухом придорожном бурьяне,— где рядом бросится в очи острый кадык и расклеванное лицо мертвеца,— только пыльный ветер степей сперва с осторожной робостью, а потом все быстрее и злее перелистывает и рвет листы с непонятными ему греческими литерами «Дигест» Юстиниана или «Книга церемоний» Константина Багрянородного...

Уходили черные люди, уходили бояре, уезжали вко-

нец оскудевшие князья. Из Чернигова забивались в лесную брянскую сторону, куда и сам князь черниговский перебрался с двором и дружиной, увозя остатки чудом сбереженных черниговских святынь: книги и чаши, паволоки, мощи святых и иконы древлего византийского и киевского письма.

Разоренные и разоряемые ежегодно рязанские и муромские князья не́ могли дать исстрадавшимся людям верной защиты, и потому беглецы, передохнув в приокских красных борах, дальше брели, за Оку, на Москву, ко князю Даниле, еще не ведая, что умер хлебосольный московский хозяин, и того дальше, в Тверь, к Михайле Тверскому, и совсем далеко, в леса заволжские, где и не слыхать было, какие оселе правят князья, да и есть ли они тамотка? Так изгибала земля.

А далекий Новгород богател, сильнел и все меньше хотел связывать судьбу свою с властью великокняжеской. И когда пришла пора решать о новом главе Золотой Руси, то решала о том одна лишь Владимирская земля, сама не знавшая еще, что решает за всю Великую Русь, ибо люди не ведают своей грядущей судьбы, ни судьбы земли отцов и внуков своих.

Решали: кому быть по Андрее Александровиче великим князем владимирским? И тут вдруг и сразу как-то не стало спора. Данила, что мог и должен был княжить по Андрее, умер раньше брата, и по лествичному древнему счету в очередь за детьми Александра Невского пришел черед сыновей его младшего брата, Ярослава Тверского, вернее, одного сына — Михаила.

И имя было названо, и слово было сказано, и слово то пронеслось по земле: Михайло Тверской, а боле никто!

В Нижнем и Костроме громили и топили бояр Андреевых. Разом зашумели народные веча по городам. В грозовом освеженном воздухе словно сама земля зашевелилась, стряхивая с себя то, что мешало и душило ее. И поскакали гонцы по дорогам, заспорили бояре в теремах, заволновалась простая чадь по градам и весям.

Суздальский князь, Михайло Андреич, престарелый племянник Невского, получив весть о смерти Андрея Александровича, хмуро задумался и, отослав дворского, сел в особном покое своем. «Раньше бы!» Была бы жива мать, вдова Андрея Ярославича, дочь великого галицкого князя Даниила Романыча, быть может, и по-другому пошли мысли у старого князя. Но мать давно уже упо-

коилась, давно уже забылись гордые надежды дочери Данииловой, давно уже потишел нравом и сам Михаил, сын покойного мятежного брата Невского. Почитай полвека прошло со смерти отца, со смерти надежд великих... Михаил вздохнул, поглядел в узкое окошко, прорубленное прямь на луговую низкую сторону, где сейчас мирно копались на огородах бабы, а дальше, по-за огородами и оградами пригородных монастырей, подступало к Суздалю золотое море хлебов, поднял очи на жаркое июльское небо, подумал о скорой жатве, поглядел на руки свои, в узлах взбухших вен, в коричневых пятнах старости, и медленно покачал головой. Прокашлявшись, подвинул к себе налой, достал вощаницы и костяное писало. Хмурясь, стал сочинять послание двоюродному брату, Михаилу Ярославичу Тверскому, называя его старшим в роде и уступая тем самым великий стол владимирский, а для себя прося лишь только Нижний Новгород — некогда отобранный у суздальских князей Ярославом Тверским, тогдашним великим князем, ныне выморочный город,— понеже у покойного Андрея Городецкого не осталось наследников...

Послание это затем перебеливал гусиным пером на дорогом пергамене княжеский духовник, и, едва просохли чернила, скорый гонец, меняя коней, вровень с ветром помчал в неблизкую Тверь. И это была первая весть к Михайле Тверскому,— едва не обогнавшая известие о смерти князя Андрея,— первая весть о власти и признании его старейшим во Владимирской земле. А кроме суздальского князя ни у кого и прав на владимирский стол больше не оставалось. Данила умер, не побывав на великом столе, и дети его поэтому вовсе лишались, по закону, даже на будущее права на великое княжение владимирское.

Михаил Ярославич по совету бояр и матери, Ксении, и по своему разуму («каждый да держит отчину свою») согласился воротить Нижний суздальскому князю и тем принял предложение стола от Михайлы Андреича.

Стародубский князь, Иван-Каллистрат, из своего гнезда на Клязьме прислал тоже с поминками, называя Михаила великим князем. Ярослав Дмитрич Юрьевский тоже поздравил Михаила Тверского с владимирским столом. Ярославские князья, Давыд и Константин Федоровичи, сами не хотели, да и не могли спорить с Тверью. Не так прочно еще и сидели на своих-то сто-

лах, тем паче что ни в Ярославле, ни в иных градах еще не забылись пакости их отца, покойного Федора Ростиславича... Константин Борисович Ростовский, престарелый князь, многократно обиженный и Андреем и переяславскими володетелями, а теперь и Юрием Московским, тоже, помыслив, высказался за Михаила Тверского. Белозерские князья — те и подавно не думали спорить противу Твери.

А паче всего — земля, уставшая от смут и споров, хотела Михаила. Не забыла земля, что десять лет назад, во время страшной Дюденевой рати — только десять летов и прошло с той поры! — одна Тверь устояла, не поддалась татарам. О том говорили в избах и теремах, по монастырским кельям и на площадях торговых: «Тверь!» И купцам, почуявшим, что с тверским князем и им корысть немалая (да и Новгород поприжать! Тверичам тем паче всего кость в горле стал ходовой и тороватый новгородский гость), и черному народу, досыти толковавшему ныне о памятной, той, недавней тверской защите, о даровом хлебе, что раздавала Ксения, о юном князе, что пробился сквозь заставы татарские, о том, что сам Дюдень в те поры испугался Михайлы Тверского,— всем полюби приходило одно. Толковали, приступая к жатве, толковали на сходбищах, дотолковывали дома, по избам. И хозяйка, посажав на деревянной лопате хлебы в чисто выпаханную печь, разогнувшись и оборотя потное чело к хозяину,— что сейчас вступил в избу и, слив на руки из медного рукомоя, обтирал рушником задубелые ладони,— спрашивала, заботно заглядывая в красно-коричневое, в крепких морщинах, мужево лицо:

— Как, Микитушко, ноне порешат со князем-то?

И тот, прокашлявшись и озря привычное жило свое, поделенное надвое печным дымом — низ янтарный, отмытый хозяйкою, верх, чуть выше стола, аспидно-черный, бархатный, уходящий ввысь, к черному, еле различимому потолку из круглого накатника,— отвечал бабе и сынам, что тоже сторожко сожидали слов родительских:

— Ноне, мать, тверскому князю надлежит!

И старик отец, недужный уже не первый год, хрипло поддакивал с полатей:

— Михайло-то, Михайло прямой князь! Дюденя, вишь, не забоялси!..

Густой булькающий хрип перебивал окончание речи

деда, а внук-подросток уже звонко орал, выбегая из избы, соседскому Петюхе:

— Батя молвит, Михайло Тверской будет нонече князем великим!

Так думали мужики.

И боярам казалось, что за Михайлой ноне крепче всего. Недаром все, кто служил Андрею из пришлых великих бояр, во главе с Акинфом Великим, не куда инуды и не вразброд или порознь, а все, скопом и кучею, поехали в Тверь, под сильную руку тамошнего князя. Впервые так сговорчиво и одною думою, впервые так соборно решала Владимирская земля.

И — как оно еще поворотится у ордынского хана! Но земля хотела и ждала себе сильного и справедливого главы. И всем и по всему: по доблести, явленной в боях, по уму и справедливости, по силе и значению, даже и по тому, как в самом сердце земли, на скрещении всех путей торговых стояла богатая Тверь,— по всему решительно самым достойным, единственным и бесспорным великим князем должен был стать Михайло Ярославич Тверской.

Итак, еще до ханского решения, до приговора Тохты, створилось и в молве и в воле утвержденное соборное решение: земля приняла Михаила.

Не согласен был лишь один человек — Юрий Московский.

ГЛАВА 1

— По тебе, дак мне и Переяславля нать было ся лишить! — бешено выкрикнул Юрий.

— Переславль батюшке даден в вотчину и род,— упрямо возразил Александр,— то все по праву!

От тщетных стараний казаться спокойным у него непроизвольно ходил кадык и дергались желваки рта. Он вскидывал подбородок и, страшновато обнажая белки глаз над зрачками, сверху вниз (был выше Юрия) сверкал ими в ненавистное сейчас лицо брата. Худой и мосластый, со смешной редкой бородкой, Александр, однако, статью и означенной уже шириною плеч, а больше всего повадкою напоминал, сам о том не зная, великого деда своего, Александра Невского, который жил так давно уже и так давно умер, что живых памятух, за-

твердивших его облик, почитай, уже и не осталось на Москве.

Было душно. Настежь раздвинутые слюдяные оконницы почти не давали прохлады. В небе, чуть видном отсюда, громоздились недвижными грудами неживые, будто потускневшие от обливающего их злого солнца, высокие облака. От горячих бревен, от пересушенных кровель, от слепящего глаза железа на сторóжах, что недвижно, посверкивая лезвиями рогатин и начищенными шеломами, пеклись невдалече на городской стене, от жаркого конского и человечьего дыхания, подымавшегося сюда снизу слитною горячею волной, от запахов смолистого перегретого леса из Замоскворечья в окна княжеской палаты струились волны жара. Иван, растерянно озирая старших братьев, то и дело отирал пот со лба, и от духоты, и от душного, грозного спора ему порою становилось нехорошо, в глазах плыло, и мнилось тогда, что Александр с Юрием вот-вот кинутся друг на друга, и тогда... О Господи!

Борис, бледный, стоял вздрагивая, весь как натянутая тетива. Он тоже изнемогал от жары, и потому, внимательно слушая братьев, сам придвинулся к окошку, ловя скудные дуновения горячего, но все-таки свежего воздуха из Заречья. Он был готов ко всему и напряжен до предела. Ему тоже чудилось, что спор вот-вот перейдет в рукопашную, и тогда, тогда... С кем же он тогда? Юрий был старший и князь, но Александр сейчас и говорил и мыслил по-батиному, и предать его Борис тоже не мог.

Юрий, наткнувшись на нежданное и нелепое сопротивление братьев, рвал на себе воротник, зверем метался по палате, встряхивая рыжею головой, орал в лицо Александру:

— О моих правах Протасия прошай лучше! Мои права — кованая рать Родионова, да оружные полки, да серебро, да скóра, да хлеб, да лóпоть, что батя скопил! Переславль, молвишь, даден нам по праву? — выкрикивал он, сжимая кулаки.— Дядя Андрей помер вовремя, вот! Батя, пущай, и по праву получил, а ныне на те права кто хошь хер положит! Михайло ярлык получит в Орде, дак не сидеть мне на Переславли ни дня, ни часу! Окинф Великой, гля-ко, и тот зубы точит на переславски вотчины свои! Думашь, стерпят?! Как бы не так!

— Ты почто захватил Можайск? — с упрямой ненавистью перебил брата Александр.

— Тебя не спросил! Може, теперича и Коломну отдать захочешь?

— Михайло нам дядя своюродной, за им пакости николи не бывало! То вся земля скажет! И нам земля не простит! — с угрозой отмолвил Александр.

Юрий наконец оторвал клин ворота. Недоуменно подержав в руке кусок дорогой камки с двумя звончатыми сквозными пуговицами, с отвращением шваркнул себе под ноги. Смолк. И не в крик, а просто, с жалобною страстью, с промельком грусти даже, сказал:

— Батюшка не дожил до великого княженья, дак нам того ся на веки веков лишить?

Иван все так же переводил взгляд с одного старшего брата на другого. У него разом пересохло в горле. Ведь верно... Навек! Раз батюшка не княжил, стало и им уже доли нет в великом княжении... И как же они? Так всегда помнилось, так ждалось и верилось, что из их семьи великое княжение владимирское не уйдет никогда. Ведь и дед, и дядевья все, и прадед, и прапрадед — все перебывали на золотом владимирском столе!

У Бориса тоже как-то вдруг сникли и опустились плечи. И он, верно, подумал про «никогда»... И лишь Александр, отворотившийся к окну, глухо, с упорным усилием, ответил Юрию:

— Все равно! Совесть дороже!

Он вздрогнул, вспомнив, как Юрий, так же вот сжимая кулаки, тогда, зимой, после переяславльского снема, проводив последний княжеский обоз беспощадным взглядом своих голубых глаз, сказал, стоя на крыльце «Не отдам Переславля! Плевал я на всех! И данщиков Андреевых не пущу, и даней давать не буду! Пущай, што хотят, то и творят!» Обещание свое Юрий сдержал Правда и то, что его спасла смерть великого князя Андрея, не то, пожалуй, и с батиным серебром не сдюжили бы противу всей-то Володимерской земли... Неужели и нынешнее свое обещание Юрий сдержит? И братья, понурившие головы с последних слов Юрьевых, видел он, уже отступились от него, Александра... А батюшка еще заклинал быти всема вместях...

— Прошай бояр! Что оне порешат! — отмолвил наконец Александр сурово.

— Протасия с Бяконтом? — живо вскинулся Юрий.

— И иных прочих. С Тверью спорить — все ся главами вержем!

ГЛАВА 2

Словно тонкая струйка песка готовой обрушиться лавины, весть о решении Юрия биться о великокняжеском столе с Михайлой Тверским потекла по Москве.

Протасий-Вельямин, московский тысяцкий, воевода городского полка, возлюбленник старого князя Данилы, и держатель Москвы Федор Бяконт, черниговский боярин, некогда перебравшийся под руку Данилову, что уже при покойном князе возглавлял боярскую думу и началовал всеми делами градскими и посольскими,— два человека, без согласия коих Юрий не мог бы и пальцем шевельнуть, узнали о том чуть ли не раньше, чем княжеский вестник, боярин Ощера, с поклоном передал им посыл от князя Юрия Данилыча.

Терем Протасия стоял, почитай, рядом с княжеским. Набитый добром и челядью, высокий и нарядный, он и видом не уступал княжо́му. Высокое двоевсходное крыльцо, крытое, с узорною опушкою тесовой кровли, со слюдяными, нынче вытащенными на подволоку оконницами, вело в горние хоромы — жи́ло самого боярина. Внизу, в людских, велась хлопотливая суетня делового и рабочего муравейника: кроили, шили, чеботарили, пряли и ткали, ладили сбрую и седла, резали и узорили кость, пилили и сверлили железо, гнули и чеканили серебро... Вверху было тихо. Слуги входили с поклонами. Иконы доброго суздальского и новгородского письма, кованые серебряные лампады при них, изразчатая муравленая печь — стойно Даниловой,— всю долгую зиму струившая приятное разымчивое тепло, с топкой снаружи, из людской, чтобы дымом не испортить хорассанских ковров и пестроцветной голубой узорчатой бухарской зендяни, которой были обиты стены в боярских покоях. Здесь в мелкоплетеных окошках были вставлены кусочки цветного синего и белого фряжского стекла, а слюдяные пластины в свинцовых переплетах — тонки и прозрачны. Окна были вынуты или распахнуты нынче от жары, и в горницах сквозило теплым хвойным заречным духом. Из горниц можно было выйти на широкое гульбище, полюбоваться сверху на серповидные излуки Москвы-реки, на город и посад, раскинувшийся вдоль реки, по-за городом, на новые строенья Даниловы по Яузе, на ряды мельниц на Неглинной и заречный Данилов монастырь, на луга с частыми стогами свежего сена, на конские и скотинные стада в лугах, среди коих были

и табуны самого Протасия. Еще выше гульбища, под самою кровлей, помещались светелки женской половины. Там сейчас боярыня с сенными девками и дочерьми работают в пялах шелковый и парчовый воздух в Данилов монастырь, читают «Жития» или, скорее, судачат о чужих делах семейных и, верно, еще не прослышали о том, с чем сейчас мялся в иконном покое боярин Ощера, посланный князем Юрием.

Протасий, проходя к себе (уже знал о гонце), пóходя и рассеянно спросил дворского о прошлогодней ржи: всю ли уже вывезли из житниц? Готовили место под новину, урожай обещался добрый сегод, хлеба стояли густою золотою стеной по грудь человеку. И по остренькому проблеску в глазах дворского догадал, что уже, почитай, все холопы знают или догадывают о чем. «Скоры на слухи!» — подумал недовольно.

Твердо ступая, Протасий миновал повалушу, и двое челядинов, что прибирали со столов, почтительно склонились перед ним. Высокий, с костистым большим лицом и прямою, ровно подрезанною бородой, московский тысяцкий даже и в хоромах своих хранил важную величавость лица и поступи. Строгий, но и справедливый с челядью, он никогда не смеялся, слуги редко видали промельк улыбки на его большом жестком лице. Никогда и не горевал наружно, не гневался скоро и громко, как иные. С тою же твердостью, как обслугу, вел он и семейство свое: жену, дочерей и двух сынов, Данилу с Василием, надежду и опору отцову...

И он-то на похоронах князя Данилы всенародно в голос рыдал неожиданно высоким тонким голосом, со всхлипами, весь в слезах, как-то сломавшись после отпевания, уже когда гроб опускали в землю в Даниловом монастыре на общем кладбище (так наказал сам князь). И замерли бояре, державшие концы белых полотенец, остановились и те, с крышкою гроба, ибо сам строгий московский тысяцкий уцепился пальцами за край домовины и рыдал, никак не в силах справиться с собою. И в народе, где тоже слышались сдержанные всхлипы (Данилу любили многие), легким ропотом уважения отвечали бурно прорвавшемуся горю такого большого и сильного значением своим на Москве человека...

Сейчас, вспоминая, он бы, пожалуй, сумел сказать, почему его так потрясла преждевременная и нежданная смерть Данилы,— хоть и болел, и слабел князь,— а все

же помер не в срок, не на столе великокняжеском, к чему твердо всю жизнь шел Протасий-Вельямин еще с того отцова поученья, что когда-то станет тогдашний смешной Данилка князем великим вослед отцу, Александру Невскому... И вот после четверти века,— да поболе, пожалуй! — четверти века службы, трудов и успехов вдруг и разом все оборвалось, кончилось... Сейчас, ежели б подумал, может, так бы и объяснил свой тогдашний детски беспомощный и отчаянный плач великий боярин московский, тысяцкий, ближник князя Протасий-Вельямин, или Вельямин Федорович, из рода великих бояр владимирских, приехавший на Москву юношей далеким памятным летним погожим утром вместе с юным князем, да, уже поболе четверти века тому назад!

Сейчас бы, задумавшись, и объяснил он свой плач и горе, но тогда, при гробе Данилы, ни о чем таком не думал Протасий-Вельямин, а просто прорвалось что-то в его всегда сдержанном строгом и величавом норове, оборвалось, и пролились слезы, и раздались рыдания, детские, с высокими, чуть ли не женскими всхлипами, с сотрясанием всего тела, от сведенных судорогою пальцев, что отчаянно, вопреки разуму, старались удержать на земле домовину с княжеским прахом.

Да. Не ждал он смерти своего князя! И болел, и лежал Данила, а — не ждал. Потому, верно, что сам, будучи двумя летами старше своего князя, был еще полон сил, голову почти не обнесло сединою, а опыт и умение настали уже не детские. Сейчас бы, не суетясь, плотно взяться за великокняжескую службу при Даниле! Протасий столь привык считать Данилу Лексаныча старшим, что как-то поэтому еще не очень замечал раннего постарения и одряхления своего князя...

И показалось — все кончено. Впервые растерялся маститый московский тысяцкий. Не ожидал Протасий, что Юрий сумеет удержать Переяславль. Закачалась было и Коломна. По грехам едва не упустили князя Константина, что четвертый год сидел в заточении на Москве, взятый на том, памятном о сю пору, бою с рязанцами... Протасий вспомнил, как тогда, под Рязанью, в громе и треске сражения, срывая голос, поворачивал лицом к татарам конный московский полк, и повернул, и повел, и разбил — не впервые ли?! — грозную татарскую конницу, пусть из наемных татар Ногаевых, уже не раз битых Тохтой, все равно! Разбил и гнал, и кмети скакали всугон, ярея от победы... Протасий расправил

плечи, и в груди потеплело от давнего гордого воспоминания. Что-то все-таки он умеет, сумел! Недаром так рвался всегда руководить ратью, так обрадел, получив от Данилы звание московского тысяцкого!

Сейчас у него в Москве налаженное хозяйство, сыновья, оба в отца, такие же рослые, только лицами мягче, в мать. Сейчас за плечами ворох дел свершенных. Сейчас, коли бы наново все зачинать, то уже и невмочь. Да. Но ничего не распалось и не погибло на Москве. Князя Константина воротили в затвор. А там — заняли Можайск, и Переяславль удержал за собою Юрий Данилыч. На княжеском снеме насмерть уперся: «Не отдам города!»

Конечно, Юрий не Данил. Порывист, излиха зол, жаден. Не в отца. Ну, дак и молод еще! Как они тогда, мальчишками, буянили тут из-за княжчин, с оружием отбивали стада... Как он сам, с саблей наголо, вязал данщиков князя Дмитрия Алексаныча... Всякое бывало по молодости-то лет!

Можайск давно просился к рукам, тут Юрий прав. Не они — смоленский князь альбо тверичи его бы под себя забрали все одно. Но теперь, сейчас... А сядет Михайло, тверской князь, не придет им воротить волю Константину и отдать ему Коломну? Не придет ся лишить Переяславля, что так хотел получить покойный Данил, и так хитро тогда сделал на совете боярском, так устроил и с Михайлой Тверским и с Ордой?.. Вот бы чему Юрию-то поучиться у родителя-батюшки! Наделает он бед там, в Орде, хоть с ним вместях поезжай!

О том, чтобы изменить детям покойного Данилы и поклониться Михаилу Тверскому, как сделали бояре Андреевы, Протасий даже и мельком не подумал. Князю своему, даже и мертвому, служить он должен и будет до конца. На него, Протасия, почитай, оставил мальчишек своих покойный Данил!

И вот, отослав Ощеру, Протасий задумался. Данила бы не поехал в Орду спорить с Михаилом. Переяславль бы — удержал. И Коломну сумел бы оставить за собою батюшка-князь. С Михайлой недаром был дружен. А в Орду спорить, подымать рать татарскую, как покойный Андрей Саныч,— того бы не сделал Данила, нет, не сделал! И как же теперь он, Протасий? Поддержит Юрия или осторожно, но твердо отведет его от рокового решения? Юрий и вскипеть может, и опалиться на него, Протасия! Тогда что ж, к Михайле на поклон? Все бро-

сать? И бросил бы все. И поместья, и угодья, терема и села — все это мог оставить Протасий-Вельямин, московский тысяцкий. К чести его сказать, о добре, о зажитке меньше всего думал он теперь. Бог с ним, с добром! Бог дал, Бог взял, и все тут. Могила князя Данилы, дела свершенные, люди, московляне, что верили в него, что радостно улыбались на улицах при встрече, узнавая своего воеводу (не он один гордился тогдашним боем под Рязанью!) — вот что держало. Вот от чего нельзя было, грешно было уйти! Ну, а не уходить? Поддержать Юрия или воспретить ему ехать в Орду, перемолвить с Бяконтом, собрать бояр: «О себе думал, княже, нас не спросясь, а — не хотим того!» (А хотим! Хотели же Даниле великого княжения! Дак то по закону, по праву, по истине Христовой...)

Думал Протасий, великий московский тысяцкий, и чуял, как густо ударяет в висках расходившаяся кровь. Как быть? Остановить Юрия — значит поставить под удар все, содеянное Данилой. Поддержать Юрия — пойти против права и правды, чего никогда не делал и не допускал делать Данил, и тоже, значит, изменить покойному!

Законна власть Михайлы в роду Всеволодичей. Для всех законна, для всей Володимерской земли. И надо отдать должное Михайле, достойный он князь, лучшего не сыскать, пожалуй, ныне в Русской земле! И стол великокняжеский по праву ему надлежит. А и детки у его справные. И там безо спора так и пойдет: единая Русская земля, со стольным градом Тверью...

Решил так, и стало спокойно на душе. Умиротворенно. И пусто. Так жалко стало своих трудов тщетных, Даниловых дел и устроения! Как тогда приезжал к ним Михайло, и как встречали, и улицы подмели, и было одно: про воду спросил тверской князь, есть ли в кремнике? И как после Данил распорядился отводную башню над ключами поставить под горой... Знал? Чуял? Но почему противу Твери?! Против всякого ворога нужна в твердыне вода!

— Бес, бес меня смущает! — прошептал Протасий и осенил себя крестным знамением. Но искушение не проходило. Не мог он уехать к Михаилу, изменить детям покойного! Сам бы с собою жить не сумел потом. И не мог перечеркнуть, похерить все дела свои и Даниловы теперь, когда княжество осильнело и наполнено людьми и добром. Не мог!

— Господи! Не о добре, о делах, о трудах своих пекусь, о смердах, коим печальник и заступа! О детях господина своего, ушедшего к Тебе, в выси горние! Его же дела сам веси, в лоне своем прия! Наставь меня и спаси от греха!

И едва не заплакал Протасий, сломленный тяжестью, обрушившейся на него, не в силах противустать искушению и заранее, тщетно, замаливая непростимый грех свой, ибо дела и скорби жизни сей предпочел он сейчас усладам жизни вечной, волю поставил выше правды и должен был получить воздаяние за то рано или поздно, сам или в потомках своих.

Федор Бяконт нынче хворал. В полуденный зной испил ледяной воды колодезной — и как разломило всего. Сейчас отлеживался на скользком соломенном ложе, туго обтянутом нарядною клетчатою рядниной, под шубным одеялом из хорошо выделанных пушистых и легких овчин (особую, долгорунную ярославскую породу нынче начали по его приказу заводить в Бяконтовых деревнях по Воре и Яузе). И Федор, когда легчало, с удовольствием поглаживал шелковистые длинные завитки. Любил, когда свое, а не покупное. Крохотная книжица греческого письма, в коей пересказывались преданья Омировы, раскрытая на перечне богатырей еллинских, приплывших под град Троянский, без дела лежала на одеяле. Не читалось. Задал задачу им с Протасием молодой князь!

Решение Юрия не удивило его — он уже и сам многое передумал со смерти князя Данилы,— но заставило задуматься. Кабы тогда еще, как снимались с родных черниговских палестин, да сразу в Тверь... А нынче и годы не те — скоро, гляди, и под уклон покатят! Трое сыновей народилось на Москве! А там — ни той власти, ни чести такой уж не будет. Да и слишком крепко привязал его к себе покойный князь. Вотчины, почитай, по всей Московской волости, добро, терема. Крестным старшего сына Елевферия (Олферья — по простому-то) стал княжич Иван Данилович. Что ж, он крестника увезет от крестного своего в Тверь? Да и людей с ним пришло немало. Приживались, садили вишневые сады под Москвой. Кажись, нонече утихли ссоры с местными, косые взгляды этих вятичей да мерян московских. Он каменосечцев привез,

так и то поначалу косились на храм Данилов: не так кладут, не по-владимирски, а инако... Конечно, созидали по-своему, на черниговский лад, дак, по его-то, и красовитее кажет! Глава коли приподнята на закомарах, дак словно по воздуху плывет храм! Ноне привыкли уже, не корят, сами радуются... И снова все порушить? А с Даниловичами — дак надобно служить Юрию без уверток! Стало быть...

Он отложил проблеснувшую киноварью рукопись. Прикрыл глаза. Кажись, легчало. С потом отходила хворь. Надо было встать, но он лежал, думал и думал. Даве заглянул Протасий и добавил тревоги. А ну как сам московский тысяцкий откачнет к Твери? Хоть и не было молвлено о том, даже и насупротив того, а все же...

Дверь покоя, чуть скрипнув, приотворилась. По легкой радостной детской поступи, не отворяя глаз, Федор признал десятилетнего сына, первенца, Олферия. Глянул, невольно помягчев лицом. Сын стоял, склонив лобастую мордочку с островатым по-детски подбородком, в прозрачно-ясных глазах читалась неуверенность — не потревожил ли родителя? Федор пошевелился, молвил негромко:

— Лежу вот, дрема не берет. С делом ли пришел али с разговором? Ну, прошай!

Олферка вспыхнул, осветлел улыбкой, подбежал к отцу, прильнул на миг к потной отцовой ладони.

— Скажи, батя! Великий князь — от Бога?

— От Бога, сынок.

— А как же князь Юрий Данилыч в Орду поедет хлопотать? Выходит, не от Бога, а от Орды князь ставится?

«И дети уже знают!» — ахнул про себя Бяконт.

Сын меж тем, сперва как-то замявшись и опустив голову, вдруг поднял глаза, в которых появилась недетская тревожная глубина, и спросил негромко, настойчиво, совсем уже без улыбки:

— Батя, а ты тоже за Юрия Данилыча?

Словно хлестнул по лицу Федора! То был отрок как отрок, а тут... И отец смутился. Уже не пораз первенец задавал ему вопросы, на которые он и ответить не мог. Или так вопрошал про ясное, понятное всем, что Федор мешался. Начинал отвечать витиевато, как в думе боярской, и сбивался, чуял — не то! И сын, поведя головой, будто муху отгоняя, перемолвливал, да подчас такое

и так, что отец замолкал, не в силах сыскать нужного слова. Как-то загвоздилось сыну, на летах еще, спросить:

— А для чего все люди?

— Служение Господу! — начал было Бяконт.

— Нет, это понятно, а вот зачем? Какое-то же должно быть назначение всему, всем людям, и нам, и татарам, грекам, жидам, латинам, басурманам, всем-всем! Что-то все люди должны исполнить, раз Бог их создал? И чего тогда... все предначертано нам от рождения, от первых времен?

Не смог тогда Бяконт отмолвить внятно. Заботил его старший сын. Крепко заботил. Младшие были проще, ну да и малы еще!

И теперь вот что сказать? Не только за Юрия Данилыча он, паче того: собирает для князя дары в Орду, хану Тохте. А как скажешь сыну, что правда в Орде, а не у Бога? Сыну такого не сказать! (А себе?) С Михайлой Тверским покойный Данил Лексаныч, царство ему небесное, век были вместях! Оно бы... После-то Андрея... Ведь того и ждали, на то и надея была... А теперь что ж? С землей рвать, бросать вотчины, ехать в Тверь, да от первых мест градских под того ж Акинфа?! Нет! Об этом, перемолчав, оба решили с Протасием: стоять за Данилычей. Под Можайском вотчины дадены, под Переяславлем тож. Родион вон землю роет: не отдам Акинфу переяславской земли! А как не отдать? Как оборонить от великого князя, ежели... Пото и подарки в Орду. Авось, князь Юрий дарами пересилит... Должон осилить! Покойник батюшка добра оставил — на три княжения хватит. Сами забогатели, дружина сыта, дети вот... Так-то! А совесть? А Бог? Эх, Данил Лексаныч, Данил Лексаныч! Князь ты наш дорогой, свет светлый! Что бы тебе годок-то еще пождать, не умирать! Или уж Юрию смирить себя, под рукой у Михайлы походить. Ой! Тогда Переяславля ся лишить придет! В Орду попадут оба, там — как Тохта решит! Эх, на Тохту, хана мунгальского, совесть переложить... А Бог?

— Иди, сынок, мал ты еще, многого не поймешь пока. Служим мы князю своему, и не нам его судить. Поди.

Вышел сын, охмурев лицом. И голос послышался — к сотоварищам — вроде незаботный опять. От сердца отлегло несколько. А все же, что они делают, право ли

творят? По-божьи-то! Стойно Андрею татар наводить на Русь! Тохта не разрешит. А коли разрешит? Юрий Данилыч горяч зело, ни перед чем не остановит!

А и не даст рати Тохта, сами-то они хороши! Без татарского царя и миром не поладят? Не ездить бы Юрию! А и не ехать некак. Переяславль! Вотчина святого Александра Невского, сердцевина земли... Ох! Лучше б не думать вовсе! А сын вот спросил. И иные не спросят — помыслят. Заодно ведь решали! Спаси и помилуй, Господи, люди твоя!

Петр Босоволков с Александром — два молодых рязанских боярина, изменою перебежавших к Даниле три года назад,— в эти дни ходили в страстях.

В те смутные часы после смерти Данилы, пока Юрий, не приехавший на похороны отца, сидел в Переяславле, и в Москве начался разброд, Петр Босоволков решился на отчаянный шаг. Остановил своей волей и своею дружиной готовый выехать из ворот кремника поезд пленного рязанского князя Константина, и тем не дал дорогому полонянику уйти к себе, на Рязань.

Петр поступил так не по храбрости. Вместе с батюшкой они изменою имали князя Константина в злосчастном бою под Рязанью, чтобы передать в руки московлян, и измена дала им сытные места, села и земли в уделе Даниловом, но и постоянный страх: а ну как Рязань пересилит? Батюшка, нонече уже не встававший с постели, был сильно обижен князем Константином, удалившим строптивого великого боярина из числа думцев своих в полковые воеводы. И сыну старого боярина, Петру, грозила опала по отцу. А оба, отец с сыном, помнили, что искони Босоволковы в думе рязанской первые места занимали. В их семье крепко жила легенда, что род свой Босоволковы ведут еще от воеводы князя Владимира, Волчьего Хвоста, некогда разбившего радимичей, как гласила о том древняя киевская летопись.

Все Босоволковы были гневливы и заносчивы, и Петр не составлял исключения. За свой поступок с князем Константином он ожидал от Юрия не одной хвалы, а и более ощутимых наград. Втайне завидовал он славе Протасия и значению Бяконта: «Чем хуже! Наш-то род древнее Бяконтова, почитай!»

А теперь (как на грех, и батюшка занедужил, и крепко занедужил, видать было, что и не встанет старик), теперь Петр ходил сам не свой. А ну как по князь-Михайлову слову выпустят они Константина из поруба? А ну как потребует старый рязанский князь вернуть ему беглецов, предавших своего господина? И уже смутное видение плахи маячило перед ним. Князь Константин гневлив был и скор на расправы с непокорными его воле.

В решении Юрия Петр Босоволков увидел спасение себе и яростно кинулся собирать, упрашивать, льстить и стращать всех, от кого так ли, иначе зависело решение думы боярской.

Да, впрочем, рядовых московских служилых бояр и думцев, что были из старинных местных родов, даже уговаривать много не пришлось. Они присиделись, вросли корнями в землю Москвы, у них не было вотчин инуды, ни связей, ни громкого имени, за которое одно в ином княжестве дали бы им землю и власть. В иной волости, у чужого князя, они были бы ничто: городовыми служилыми людьми разве, а уж ни в думе сидеть, ни ратями править им бы уже не пришлось. У них, у многих, и не было тех тяжких дум и колебаний совести, что у Протасия с Бяконтом. Когда-то враждебно встретив Данилу, ибо он ломал привычный порядок вещей, они теперь приспособились и готовы были служить детям удачливого князя, лишь бы удача не отворотила от сыновей Даниловых. Те, что помельче, и вовсе судили по землям, ибо искус земного, животного (живот — жизнь и добро разом) тем сильнее, чем беднее, нужнее человек. Над властью скопленного добра, над властью дум о добре, о зажитке, над самым подлым в человеке — над искушением все дела человеческие мерить мерою земного, плотского, «матерьяльного» начала, объяснять духовные движения земными низменными поводами,— над всем этим подняться можно или в самом низу, когда вся собина (собственность) твоя — две руки и рабочий навычай в этих руках, или уж — пройдя до самого верху весь искус золотого тельца, все долгие ступени земного суетного успеха, чинов, мест, званий, почестей и наград, и уже пройдя, пренебречь, отбросить, пережив и изведав утехи плоти и поняв, что не в них, не в земном добре, а в добре ином, в человечьих доброте и дружестве — главное жизни, а все плотское — это

лишь вериги, лишь цепи мрака на вечном сиянии духовного. Путь души человеческой — от простоты изначальной, через мрак суетного и мирского к новому свету,— путь этот еще не был проделан ими, боярами московскими. Свои вотчины да подачки от князя, скрыни с нажитою казною определяли для них всё. Но и за всем тем был страх: а вдруг да и не удержится князь Юрий? Эко дело замыслил! Робели. Впервые за много лет недобро и зорко озирали своих и чужих. Что тысяцкой, что держатель градской скажут? Оба ведь из ентих, из наезжих, находников! Мы-то родовые, кондовые! Черменковы, вон, от князя Редеги касожского самого! А хоть и от касожского князя — смотрели все ж на больших: «Как они, так и мы!» А Бяконт сказался хворым, да и видно! Всегда такой подбористый, вожеватый, бороду расчешет — волос к волосу кладет,— а нынче измят, раскосмачен, еле прибрел на совет! (Федор не столь и болен был, да у самого детские вопрошания первенца не шли из головы — за болезнью решил отсидеться.) И все сошлось на Протасии-Вельямине. Как он. Как он, так и Бяконт, как Бяконт, так и все московиты. А что пришлые рязане колготят, дак и перемолчать могут, без году неделя на Москве!

Князь Юрий в нетерпении ерзает на деревянном изузоренном стольце с серебряными накладками. Ерзает, ладонями, сильно надавливая, гладит резные подлокотники княжеского престола. (Ладони свербят: кажинный раз, как чего хочется, дак так бы и кожу содрал с рук!) Братья князя московского молчат, супясь. Бояре шепчутся по лавкам. Рязанские рвутся в бой. Волынец Родион готов за саблю схватиться, да без сабель в думе-то! И духота. Жарынь.

Решись, Протасий, тысяцкий града Москвы, решись! Молви слово твердое! На тебя вся надея. Запрети рыжему Юрию рушить волю Владимирской земли! Укроти всех этих жадных и падких до серебра людишек! Изжени изменника князю своему, Петьку Босоволка! И Родиона неча слушать. О селе своем под Весками, что на Переславском озере, хлопочет Родион и ни о чем не думает больше! Что ты решал, что думал однесь? Что решил вчера ввечеру, о чем передумал было седни ополдён? Чего не сказал княгине своей ночью в постеле? Зачем ввечеру ходил на конюшни глядеть коней? Почто прошал у дворского, все ли кованы кони? Нет, не уйдешь ни от себя, ни от судьбы

своей. И кони те нынче спокойно простоят в стойлах. Решил ты, Протасий-Вельямин, и нету спасения роду твоему!

Юрий в думе боярской кожей почуял, почти понял было, на что он идет. Потом, как камень, пущенный из пращи, он будет лететь и лететь до конца, не останавливаясь, безоглядно, без терзаний и дум, с одною неистовой жаждой успеха... Потом. Но сейчас, в этот миг, когда решение думы московской легло на его плечи, дрогнул он. И счастье Юрия (и несчастье других), что была в нем легкость мысли, незаботность, нежелание, да и неуменье додумывать все до конца и соразмерять свое «хочу» с судьбами людей и страны.

Как в детстве, обиженный, кинулся он к матери. Но что могла ему сказать толстая обрюзгшая женщина, за краткий срок со смерти Данилы порастерявшая уже прежнюю властность свою? За мужем была и сама госпожа, а теперь оробела, думала уже о монастыре, и повернись так, что все бы рассыпалось, нажитое Данилой, с легкостью пошла бы она куски собирать по Москве, на папертях ссорилась с другими нищенками и радовалась сытному угощению у какой-нибудь сердобольной до нищей братии купчихи. Только и сказала она ворчливо своему баловенному старшенькому:

— Михайлу-то передолить — дорого станет! — Скупа становилась княгиня Овдотья к старости. Сказала да тотчас торопливо и перемолвила: — Я уж тебе теперь не советчица. Сам должон думать. Батюшка Переславль не отдал никому, понимай!

Нынче на сына-то старшего глядела Овдотья с удивлением и с почтением — князь! И уже не помнила, что порола когда-то.

От перин и подушек в тесном покое княжеском казалось еще жарче, чем на улице. Юрий отер потное чело, поглядел, как жена, взглядывая коротко на супруга, тытышкается с дочкой, а та с детским упрямством, протягивая пухлые ручки, отпихивает от себя материно лицо.

— Невеста растет! — решилась подать голос кормилица из угла, куда забилась с приходом Юрия.

— Кому только? — весело, вся занятая дитем, отозвалась молодая княгиня. Ей, после трех выкидышей, любо было теперь самой нянчить дитятю.

— Женихи не родились, скажи! — отмолвила мать, обрадованная, что можно от тяжких и непонятных ей уже дел княжеских перейти к тому, что только и трогало, и занимало ее нынче.

— Женихи родились...— рассеянно отвечал Юрий, понявший уже, что тут, в перинной духоте бабьего царства, не с кем было толковать о делах княжеских, и, ожесточев лицом, тряхнул огненными кудрями:

— Еду в Орду!

Что было бы, не начни Юрий Московский борьбы противу Твери? Как повернулась тогда судьба страны?

От малого, даже столь малого, как решение московского тысяцкого Протасия, великие могли бы проистечь перемены. Укрепилась бы торговая и книжная Тверь, самою природой (перекрестье волжского, смоленского и новгородского торговых путей) поставленная быть столицей новой Руси. Укрепилась бы одна династия, а значит, на столетие раньше страна пришла бы к непрерывной и твердой государственной власти, к просвещению, а там, глядишь, и не потребовалось бы с опозданием на два-три века вводить западные университеты и академии, приглашать немцев, спорить о «западничестве» и «исконности» — свои ученые были бы давно! Литва не получила бы Смоленска, и, как знать, возможно, не пала бы тогда и Галицко-Волынская Русь! А Орда? Можно ли предположить, что в Орде тогда не одолели бы мусульмане, что со временем, поколебавшись, Орда приняла крещение от православных митрополитов, и не пошла ли бы тогда иначе вся судьба великой степи и стран Ближнего Востока? А может и то, что повела бы Тверь русские полки полувеком раньше на поле Куликово, а может и то, что не сумели бы тверские князья справиться с Ордой и, в тщетном усилии, погубили страну? Или же создали бы государство, стойно западным, враждебное степной стихии, густо заселенное, но небольшое, с границею по Оке, так потом и не переплеснувшее за Волгу и Урал, в просторы и дали Сибири? Все можно предполагать, и ничего нельзя утверждать наверное теперь, когда случившееся — случилось. История не знает переверки событий своих, и мы, потомки, нередко одну из многих возможностей, случайную и не всегда лучшую, принимаем за необходимость, за единственное, неизбежное решение. А в исто-

рии, как и в жизни, ошибаются очень часто! И за ошибки платят головой, иногда целые народы, и уже нет пути назад, нельзя повторить прошедшее. Потому и помнить надо, что всегда могло бы быть иначе — хуже, лучше? От нас, живых, зависит судьба наших детей и нашего племени, от нас и наших решений. Да не скажем никогда, что история идет по путям, ей одной ведомым! История — это наша жизнь, и делаем ее мы. Все скопо́м, соборно. Всем народом творим, и каждый в особину тоже, всею жизнью своей, постоянно и незаметно. Но бывает также у каждого и свой час выбора пути, от коего потом будут зависеть и его судьба малая, и большая судьба России. Не пропустите час этот! Ибо в истории — жизни чего не сделал, того не воротишь потом. Останутся сожаления да грусть: «Вот бы!» А иной отмолвит: «Как могло, так и прошло. В тебе самом, молодец, того-сего недостало, дак и не сплелась жизня твоя». А ты все будешь жалеть: «Ах, вот если бы... Если бы тогда, тот взгляд, да не оробел и пошел бы за нею! Если бы потом не за то дело взялся, что подсунула судьба, а выбрал себе и труднее, да по́ сердцу; если бы в тяжкий час сказал слово смелое, как хотелось, а не смолчал... Если бы...» И не воротишь! Лишь тоска, и серебряный ветер, и просторы родимой земли, в чем-то ограбленной тобою... И то лучше, когда одна лишь тоска! А то поведутся речи об «исторической неполноценности русского народа»; о его «неспособности к созданию государственных форм»; о том, что Русь годна лишь на подстилку иным нациям, и только; о том, что народ, размахнувший державу на шестую часть земли, воздвигший города и храмы, создавший дивную живопись, музыку и высокое искусство слова, запечатленного в книгах, примитивен, сер и ни на что не гож... На каком коне, в какую даль ускакать мне от этих речей? Скорей же туда, в четырнадцатый век, век нашей скорби и славы!

ГЛАВА 3

Сухое дерево потрескивало. Благоухали разогретые свечи. Тонкий запах ладана и сандала струился в отодвинутую оконницу. Шум города едва доносился сюда из-за высокой стены.

Ксения прикрыла глаза, откинулась в кресле. Шитье утомило ее. Солнечный луч, тонким столбом золотой пыли проникший в покой, коснулся изузоренных подносов с яблоками, вишеньем и малиновым квасом в высокогорлом восточном куманце, лукаво тронул серебро божницы, прокрался к низкому стольцу, и тотчас ослепительные зайчики брызнули от позолоченной водосвятной чаши — недавнего подарка сына, уехавшего в Орду. Как-то он там? Мысленно Ксения перенеслась в тверской терем. Увидела резвых внучат: разбойника Митю, бабкина любимца, и бойкого Сашка — сердце сладко дрогнуло, как представила себе обоих... Нет, ни в чем не огорчали ее ни сын, ни невестка Анна. Ксения сама настояла на том, чтобы жить вдали от них, во Владимире, в Княгинине монастыре, и лишь наезжать порою. Так спокойнее. Пусть Анна почувствует себя хозяйкою в доме! Лонись сама заметила — дружинники при ней смотрят только на старую свою госпожу. Десятый год, а всё ростовскую невестку девочкой считают — нехорошо. И сыну так лучше. Пускай привыкает к власти. Ему володеть! С Тохтой сговорит. У Андрея Городецкого наследников нет. Слышно, старый князь сам благословил передать владимирский стол Михаилу. Опамятовался при конце-то лет! Рассказывали, умирал трудно...

Земля приговорила на стол великокняжеский ее сына. Ксения сейчас перебирала прошедшие годы, годы надежд и тревог. Вспомнилось сперва как далекое, а потом вдруг с болью той, давешней, когда во время Дюденевой рати ждала его, одного, единственного! Свою надежду и, теперь может сказать с гордостью, надежду всей Русской земли. И как в те поры дрожала над ним! Доехал. Сельский иерей некакий, сказывали, спас, провел, хоронясь, лесами...

Вся земля! Михайло Андреич, суздальский князь, поддержал. Ну, ему и достоит! Нижний даден, отцова отчина. Ростовский князь, Константин Борисыч, тоже поддержал Михаила. Константин Борисыч гневен на Юрия за Переяславль. Юрий, вот... Окинф Великой к Юрию ездил вотчины свои прошать, да там пришлый сидит, Родион... Помыслив о Юрии, Ксения ощутила смутную тревогу. Когда-то советовала сыну сойтись с Данилой. Данил Лексаныч умер, получив от племянника Переяславль. Спорили ведь! Юрий тогда как кот в чечулю мяса вцепился: «Не отдам!» А Переяславль по

праву должен принадлежать ее сыну. Старинная вотчина Ярослава Всеволодича. Ярослав поделил ее детям, а теперь один остался наследник — Михаил! И как великому князю тоже Переяславль Михаилу надлежит! А Данила Лексаныч не был на великом княжении, так у Юрия и вовсе нет прав теперь ни на Переяславль, ни на великокняжеский стол! Нынче Юрий будет юлить перед ханом, вымаливать себе удел Переяславской! Зачем приехал ноне во Владимир? В Орду ладитце, больше не с чем ему! Затем и едет, Переяславля прошать... Затем?! Не затем! За великим княжением он едет! Юрий тоже понимать не дурак: ему сейчас, только сейчас и спорить, спустя время поздно станет!

Она уже стояла, уже оправляла повойник, уже заматывала черно-лиловый иноческий плат, и уже суетились холопки: старая, своя, и другая, привезенная нынче из Твери.

«Куда? К Юрию? — Ксения недобро усмехнулась.— К митрополиту, вот кто надобен! Он должен остановить!»

Скоро ворота монастыря, заскрипев, распахнулись. Любопытные монашки, кто украдом, в окошка, кто и спроста, выбежав из келейки на крыльцо, провожали возок беспокойной и властной подруги своей, что и в монашеском облачении продолжала оставаться вдовствующей великой княгиней и госпожой. И уже гадали: куда это так вборзе поехала мать Михайлы Тверского, который нынче, по слову молвы, вот-вот станет великим князем володимерским?

От Княгинина монастыря до палат митрополичьих, что тянутся от Дмитровского собора почти до городской стены, невелик путь. Возок Ксении Юрьевны, подскакивая на выбоинах и вздымая душные облака пыли, скоро проминовал громаду храма Успения Богородицы и нырнул в низкие ворота Княжого города.

В воротах Ксению почти не задержали, слишком хорошо знали ее возок. Здесь, в ограде, разом отсеклась пыль и сутолока владимирских улиц, пахнуло из заречья свежим духом полей, и княгиню, что с помощью подбежавших митрополичьих служек вылезала из возка встретила уже иная суета, пристойная и неспешная суета большого митрополичьего хозяйства. Даже здесь при виде Ксении оборачивались. Четверо слуг, что несли

с поварни на двух жердях, продетых в кованые проушины, большой котел с варевом, приодержались и, опустив котел, окутанный струящимся паром, полураскрые рты, проводили глазами тверскую княгиню, пока некто в светлом и дорогом облачении не прикрикнул на них.

Ксению ввели в приемный покой митрополичьего дворца, и служка, еще раз поклонившись старой княгине, побежал долагать митрополиту. Ксения перекрестилась на иконы, оправила плат и на мгновение ощутила слабость во всем теле. Пришлось опуститься на лавку, сердце как-то неровно трепыхнулось в груди. Права ли она в своих догадках? «Быть может, это просто глупый бабий страх? Старею, вот и... Нет! — Справилась с собою, покачала головой: — Нет и нет! Сердце подсказывает. Сердце не лжет. Все так и есть!» Палатные двери широко распахнулись, ее уже приглашали в покой.

Митрополит Максим жил в теремах, строенных еще Кириллом, ничего не переделывая. В частых поездках, да и по неуверенному времени нынешнему, было не до того. Он уже клонился к закату жизни и потому воспринимал все со смирением и спокойствием, которые происходят от усталости стареющих тела и духа больше, чем от мудрости и опыта лет. Монашествующую княгиню пригласил разделить с ним трапезу, и Ксения, у которой от нетерпения кружилась голова, принуждена была согласиться, чтобы не обидеть старого и столь внимательного к ней духовного главу всея Руси.

Максим был в палевом нижнем облачении, без регалий. Лишь тонкий золотой крест византийской работы на крупного чекана цепочке и золотой перстень с печатью, толстый, словно улитка, обернувшаяся округ пальца, на сухой и чуть дрожащей руке старика удостоверяли его сан. Приглашающим движением он указал княгине на стол, уже уставленный серебром и глазурью, и княгиня послушно отведала, принимая из рук двух молчаливых служек, и остро приправленную дичь, и дорогую рыбу, и иноземные овощи, оливковые соленые ягоды, коими следовало заедать жаркое, пригубила бокал греческого темно-красного, почти черного вина... Глазами она обводила покой и, как дорогих знакомых, узнавала реликвии, оставшиеся еще от времен Кирилла и памятные ей с молодости: вот ту икону, и еще ту, с Георгием, и те вот панагии, сейчас повешенные на стене, рядом с божницей. Даже и столец был прежний, не Кириллов ли? И алавастровый

сосуд стоял тот же самый, что и двадцать лет тому назад...

Ксения не знала, как приступить к разговору; к счастью, Максим помог ей сам, поздравив с избранием сына на стол великокняжеский, в чем уже не сомневался никто. Сдерживая волнение голоса, Ксения заговорила о Юрии. И митрополит, поначалу с легкой улыбкой внимавший не в меру опасливой княгине, вдруг острожел лицом, понурился и начал внимать сугубо. Греческое, с покляпым носом, лицо Максима сейчас стало очень похожим на икону цареградского письма, а темные глаза в сетке морщин, которые он изредка поднимал, в упор, пристально взглядывая на тверскую княгиню, становились все печальнее и тверже. Кажется, Максим ей поверил.

Ксения, задышавшись, смолкла. Максим думал, утупив очи долу. Потом коротко глянул на нее и вопросил негромко:

— А что ты, госпожа, с Михаилом Ярославичем возможешь обещати князю Юрию?

Это был разумный вопрос. Юрию нужна была подачка, теперь, немедленно. Иначе его не остановить. Лишиться Переяславля? Или хотя бы оставить ему город в держание, как решили тогда на Переяславском снеме? Все это лихорадочно быстро пронеслось и сложилось в голове у Ксении. Сына она уговорит, да Михаил и сам поймет, что ныне так лучше, пока не осильнел, пока власть не в руках.

— Михаил Ярославич оставит Переяславль за Юрием! — отмолвила она твердо Максиму. Старый митрополит вздохнул, откачнувшись в креслице. Помолчал. Вымолвил:

— Мыслю и я, что князь Юрий неспроста ладит ехати в Орду! Госпожа сможет повторить свое обещание самому Юрию Данилычу здесь, в этом покое, и поклясться в том перед Господом?

Ксения молча кивнула. Максим позвонил в колокольчик и появившемуся на зов монаху сказал несколько слов по-гречески. Затем церемонно предложил Ксении соблаговолить пождать мал час в особном покое, доколе по зову его, митрополита, князь Юрий Данилыч не прибудет семо беседовати.

Ксения, удалясь в гостевую горницу, места себе не находила. «Быть может, лучше было сперва самой побывать у Юрия?» — шевельнулась в ней грешная мысль.

Нет! Юрий мог бы и огрубить, и перемолвить такое, что после и к митрополиту ехать стало бы незачем. Приходилось терпеть и ждать. Она не ведала к тому же, что за то краткое время, которое она прождала, изводясь, в покоях митрополичьих, Максим сумел выяснить серьезное. Его посланцы, поговорив со слугами московского князя, донесли ему, что, по слухам, от самих московитов узнанным,— великая княгиня тверская словно в воду глядела — московский князь едет-таки в Орду спорить с Михайлой о столе великокняжеском.

Юрий, впрочем, на зов митрополита Максима явился вборзе. И лишь увидя Ксению, чуть шатнулся, словно толкнули в лицо, но тут же заулыбался весело и стал сыпать скользкими, ничего не значащими словами. Спас Максим. Он благословил московского князя с заученной важностью, воспитанной десятилетиями власти, и Юрий осмирнел, понял, что тут легко не пройдет. Он сразу, увидя Ксению, понял, о чем пойдет речь, и спервоначалу было думал совсем отвертеться от серьезного разговора, но как скроешь, что поехал в Орду? Пол-Владимира уже знает, поди! Не сказал бы кто дуром из своих, московлян, что за ярлыком великокняжеским едут! (А ежели сказал? А и сказал — не беда, отопрусь!)

Он выслушал важную, глуховатую речь митрополита, увещевавшего его словами Писания не ввергать меч в братию свою, со смирением приять крест, и прочая, и прочая. Вскинул глаза, когда Максим, отнесясь к тверской княгине, сказал ему о Переяславле: «Аз имаюся тебе с великою княгинею Оксиньею, матерью княжею Михаиловою, чего восхощеши из отчины вашея, то ти будет невозбранно». С кривою усмешкой, нагло глядя в глаза Ксении, выслушал и ее взволнованную речь, и клятву за себя и князя Михаила. (Вот чудеса! Переяславль обещают! Пущай сперва отберут, а то было бы чего обещать! Добро-то мое пока!) Он намеренно выслушал все до конца, и обещания, и увещания, и слова священных книг, и клятвы. А затем, вперив в митрополита небесно-открытый взор, возразил, что он едет в Орду совсем не за ярлыком на великое княжение, а по своим делам княжеским.

Старый митрополит тревожно вглядывался в наглые голубые глаза Юрия и видел, что князь лжет. И вдруг ему стало страшно — не действовали на Юрия увещания, явно не ведал он ни совести, ни стыда! Ничто! Только алчба и неистовое (виделось в невольном поче-

сывании рук) стремление к удаче! «Да верит ли он в Бога? — смятенно подумал Максим. Византиец, он видал и знал всякое, и такое, чему, слава Господу, мало было примеров на Руси, но и раскаянье, и веру, и строгое слежение за буквою закона Божьего, а тут...— Язычник он, язычник! — думал Максим, не зная, что еще сказать, содеять.— Нет для него закона, нет!» Теперь, поглядев Юрию в глаза, он уже точно уверился, что слухи, собранные его соглядатаями, не ложны. Но молвить князю о сплетнях смердов было бы непристойно. Приходилось наружно поверить — пока поверить — московскому князю.

Отпуская Юрия, Максим сделал незаметный знак Ксении мало пождать и, воротясь, с сокрушением молвил вдове, оставшись с нею с глазу на глаз:

— Мыслю, не достоит прияти веры словесам его!

И Ксения лишь молча кивнула в ответ. Она, поглядев на Юрия только, даже не вызнав еще о слухах, сама уверилась в правоте давешних предчувствий. Что же теперь?

— Отлучить от церкви! — сказала она вдруг глубоким, сорвавшимся в выкрик голосом. Сказала и замерла. Но митрополит лишь мгновенно вскинул и опустил ресницы, не пожелав заметить неприличия в возгласе вдовствующей княгини. Ибо сам подумал втайне о том же. Но как, за что? И — можно ли князя... А ежели не поможет?

Ввечеру того же дня, воротясь из церкви, митрополит обрел у себя дары, посланные Юрием Московским. С сокрушением подумал, что, принимая дары, тем самым уже предает Ксению и ее сына Михаила. Явись Юрий к нему сам, может, митрополит, по первому душевному движению, и не принял бы его даров, но уже принятое келарем отослать не смог. И тут вновь и опять его обуяла слабость. Отлучать от церкви князя — такого еще не бывало. (Было, было! Отлучали, и не раз! И князей, и цесарей, и императоров! Не лукавь, хитрый грек!) Но — по слухам смердьим? Но — не свершившего зла, ибо еще не приехал в Орду московский князь и еще не навел татар на Русскую землю. (А наведет — дак будет поздно! Ныне, теперь нужно обуздать насильника, доколе насилие не свершено! Что ж ты немотствуешь, русский митрополит Максим?!) Но бремя забот, но усталость, но прожитые годы... Да к тому же гривны-новгородки, золотой потир древней

цареградской работы и соболя делали свое дело. Глядел Максим, и поникал, и смирялся с неизбежным, как казалось теперь, ходом событий. Решил оставить дары Юрия у себя и лишь молить Бога об утишении сердец прегордых. Сарскому епископу, однако, нужно послать весть, дабы не доверял Юрию и не предстательствовал о нем перед ханом сугубо...

Ксения действовала смелее и жестче. Вызвала тверских бояр, сущих во Владимире, собрала, кого могла, ратных, за прочими разослала гонцов. Мчались кони — аж ветер свистел в ушах. Глянув в глаза Ксении, вспыхивали и кидались в дело кмети. Уже не монахиня, а прежняя их госпожа глядела неумолимым огненным взором, та, при которой, бывало, дохнуть не смели. Всех, всех, всех! Всем! В Тверь — гонцы. В Суздаль! В Городец! Кострому! Где еще сущи тверские ратные? Чьи кмети без дела боярились в Боголюбове? Вызвать! Чья дружина ушла к Нижнему? Воротить стремглав!

К полудню другого дня на главных путях уже разоставили засады. Юрия должны были перенять по дороге в Суздаль и посадить в железа до возвращения Михаила из Орды.

ГЛАВА 4

Неведомыми путями злая весть, о которой, казалось, еще почти никто и не знал, поползла, растекаясь, по земле.

Юрий!

— Что?

Юрий Московский!

Забыли Дюденеву рать?

Юрий! То он и в Переяславле сел!

— И Можай забрали под себя москвичи!

— Чегось-то прежде про Москву и слыху не бывало?

— Дак пока Данил Лексаныч сидел!

— Теперича на осень жди татар! Зарывай добро! (Бабы — в рев.)

Може, обойдется?

Баяла!

— Побегай за Волгу! Все бросай, хоть дети живы останут у нас!

— Тебе, идолу, ничо, а нас у бати семеро было, да и остались я и братуха, а те все пропали той поры: и Кунька, и Ванята, и Танюша... Кто помер, а тех увели... У-у-у!

Из Владимира до поры начали разъезжаться торговые гости. В Суздале порушился торг. Из утра еще никто вроде не знал, не ведал худа, а к пабедью медник Седлило, проходя ряды, узрел небывалую суетню и, протолкавшись к лавке знакомого купца Никиты Вратынича, остоялся, совсем сбитый с толку Никита в самое торговое время вешал на двери своей лавки объемистый амбарный замок. Заметив Седлилу, купец кивнул ему и бросил деловито, как о само собою понятном:

— Уезжаю!

— Почто?! — только и выдохнул медник.

А Юрий Данилыч за Михайлой в Орду кинулси,— деловито объяснил купец,— дак тово, товар увезти! После-то така замятня встанет, дак и коней не сыщешь!

— Дак... Как же мне-то? — растерянно, чуя, как от страха по коже поползли холодные мураши, пробормотал медник

- А, понимай сам! — Купец рассеянно кивнул знакомцу, бросив: — Прощевай! — И начал выводить коня. И пока Седлило, все еще не в силах обнять умом увиденное, столбом стоял перед лавкой, Никита Вратынич с двумя работниками деловито нагрузили и затянули последний воз и все трое полезли на телегу. Никита сам взял вожжи, работники уместились по сторонам, держась за вервие. Седлило тут бросился было к купцу, но тот решительно вздернул вожжой и крикнул, отъезжая:

— Недосуг! Минет беда, приеду!

— Стой, почто?! — кричал ему вслед медник, но груженый воз, тарахтя и вздымая пыль, уже влился в череду таких же, наспех увязанных, купеческих возов, что в облаках пыли покидали торговую площадь. Медник остался один. Кругом, суетясь, бежали, волочили кули и бочки, с треском захлопывались двери и ставни лавок. Сам не зная зачем, он проминовал ряды. Назади лавок, где сейчас распахивались и опоражнивались анбары, медника совсем затолкали. На его

вопрошания только отмахивались, всем было не до него.

— Бояре тверски приехавши! Не слыхал? — произнес кто-то у него над самым ухом.

— Окстись! Почто? — отозвался другой.

— Юрия ловить!

Седлило с упавшим сердцем выбрался к самому обрыву. С высокого берега виднелись заречные села, и монастырь с островерхою церковью, и желтые хлеба, частью уже сжатые и составленные в бабки, от которых, казалось, волнами набегал жаркий воздух со щекотным запахом созревшей ржи. Под солнцем поблескивала вода, огибая зеленые острова камышей, белые гуси неспешно вереницею плыли по реке, стучали вальки баб, еще, верно, не прослышавших про Юрия, и дико было подумать, что скоро, вот-вот,— быть может, и с жатвой не успеют! — покатится, топча и сжигая хлеба, уволакивая плачущих баб и детишек, гоня, словно скот, мужиков, покатится безжалостная татарская конница, как тогда, при Андрее...

— Господи, помоги!

В глазах медника будто сдвинулось, и показалось на миг, что вдалеке бредущее стадо — это уже первые татарские разъезды... Бежать! Куда, как? На чем? Туда, за Нерль, в леса! Пока не поздно, пока можно спастись! А огороды? А хлеб? С голоду в лесах и без татар погибнешь...

Такое творилось в Суздале, а зловещие слухи меж тем ползли и ползли, дальше и шире, в Ростов, Углич, Ярославль... И снимались с мест торговые гости, горожане спешно зарывали добро, мужики не знали, жать ли хлеб или спасать животы? Иные бежали куда глаза глядят, безо всего, «одною душою». По словам летописца, в ту пору «...бысть замятня на всей Суздальской земле, во всех градех». И все это совершилось по одной лишь вести, что московский князь Юрий Данилыч поехал в Орду добиваться великого княжения под Михайлой Тверским. Слишком помнились еще всеми дела покойного князя Андрея, слишком недавно прошла по Владимирской земле страшная Дюденева рать...

Кони нюхали ветер. Дорога бежала из-под копыт, змеисто струясь между высокими золотыми хлебами и островами жнивья, то пропадая, то вновь являясь взору

на дальнем увале. И потому, что сейчас, об осённой поре, дорога была так пустынна, чуялось недоброе.

Юрий нервно поглядел в насупленное отвердевшее лицо Александра. Сказал-спросил, неуверенно дрогнув голосом:

— Трогаем?

Александр молча отмотнул головой, продолжая глядеть вдаль. Он сейчас, сам не зная того, был особенно похож на деда, великого Александра, в его молодые годы. Зло скривясь, он выронил наконец:

— Заварили кашу! — И, оборотя лицо к Юрию и возвыся голос, отмолвил: — Куда трогать?! Битый час ждем, ни пешего, ни комонного от Суздаля не видать! Черту в лапы...

— Неужто засада? — охолодев нутром и разом охрипнув, спросил Юрий.

— А то нет! — как о понятном, бросил Александр.— Нас ныне, яко татей, по всем дорогам станут имать!— И, еще помолчав, добавил хмуро: — На Муром надо альбо на Нижний... Да и Володимер миновать беспременно, не увидали б! В лесах авось не нагонят...

Пока Юрий с обозами, петляя лесами, уходил от погони, тверские бояре, напрасно прождав его у Суздаля, устремились в Городец и Нижний. Александр советовал всем ехать вкупе, не дробя сил (и он же дал спасительный совет миновать Нижний Новгород), но Юрий и тут поиначил по-своему. Он разделил дружину и с частью послал Бориса в обход Суздаля на Кострому, втайне мечтая захватить и этот город, а въяве говоря, что после бунта и убийства Давыда Явидовича с Иваном Жеребцом костромичи побоятся мести бояр Андреевых, перекинувшихся к Михаилу, и потому примут московлян с радостью.

— Жалую тебя Костромой! — напыщенно произнес Юрий, отправляя Бориса.

— А от Костромы, коли што, прямой путь к Великому Новгороду!— присовокуплял Юрий, провожая усланных.

— По тебе, дак и вся Русь только и мечтает Москве передатиси! — остужал его Александр.— Смотри! Не погуби брата!

Борис уехал и пропал. Потом уже, на Волге, их догнал посланный старшим боярином гонец, с известием, что до Костромы добрались благополучно. Юрий уже радостно потирал руки. Александр молчал и с

тяжкой горечью видел, что, ежели и случится беда с Борисом, Юрию не столь будет жаль брата, сколько упущенной Костромы.

ГЛАВА 5

Августовский горячий ветер выдувал в отверстые настежь ворота клочья старого сена, какую-то рванину, брошенную за ненадобностью. Не было слышно ни собачьего лая, ни конского топотания в хлевах. Все ушли. Еще час назад последние возы с добром, последнее стадо, последние, на рысях уходящие верхоконные теснились в узких воротах городецкой крепости, изливаясь оттуда на простор нижних пристаней, но вот уже смолкли вдали топоты, окрики и блеяние. И старик мордвин, сторож, кивая головой, замер в распахнутых воротах, подслеповатыми безразличными глазами следя опустевшую улицу, из которой, закручиваясь столбами, уходила медленная пыль.

Городец, притихший, молча следил по-за палисадами, как покидают город дружины великих бояр и с ними исшаивают, утекают величие и сила, делавшие до поры маленький городок над Волгой стольным градом Владимирской земли.

Еще один город, который мог бы,— чуть-чуть повернись судьба,— и не стал, и уже навсегда не стал — столицею Руси Великой. Земля все еще выбирала себе град и главу, и выбрала земля другой город на Волге, на великой реке, несущей воды свои из глухих лесов северных в Орду, в степи, и дальше, в Хвалынское море, по которому путь в Дербент и далекую сказочную Персию...

Владимирская земля столицею выбрала Тверь.

Бояре уезжали на лодьях, обозы и стада, перевозя через Волгу, гнали посуху.

Акинф, первым затеявший все это, уходил теперь одним из последних. Домолачивали хлеб — не бросать же! Дожидали своих из полюдья, с Ветлуги и Унжи. Сам Акинф, впрочем, успел уже побывать и в Москве и в Твери, поклониться Михайле Тверскому. Уже и землю обещал ему князь, о край волости, под Бежичами, и двор где поставить, в самой Твери, указал.

Когда дошли вести из Нижнего, где перебили вечем

городецких бояр Андреевых, и узналось из Костромы про гибель Ивана Жеребца с Давыдом, растерзанных озверелой толпой, тогда и все заговорили, что Акинф Великой как в воду глядел. А спервоначалу не то приходилось слышать. Кто-то и измену великому князю Дмитрию помянул было... Акинф тогда (дело-то совершалось на поминках по Андрею) встал, набычился, обвел стол с ближней дружиною Андреевой:

— Кто дерзнет молвить, что аз безлепо служил князю своему?!

— Утихни, Окинф Гаврилыч! А только, вишь... Могила не просохла ищо!

Акинф боднул головой неотступно:

— Ведомо самим, что баял Андрей Саныч, царство ему небесное, про Михайлу Ярославича: ему, мол, одному достоит приняти стол великокняжеский!

— Баял, баял! Было! — раздались голоса.

— Пото и моя молвь! — возвысил Акинф.— Было бы хоть детище малое у нашего князя, ин был бы и толк! (А и то сказать,— самому подумалось тогда же,— при младенце Борисе тоже остался бы он еще в Городце, нет ли — невесть!) А ныне про то молвить не грех: воля самого покойного князя-батюшки!

Акинф крупно перекрестился и, дождав одобрительного говора, сел. И — сдвинулось. В самом деле, ни вдовы, ни наследника. Чего ждать? Под лежачий камень и вода не течет. Кто ни сядет на стол, вспомнит ли бояр, на Городце просидевших? Ой ли! Ну, а коли самим... Уж всяко не к суздальскому князю подаваться! Данил Лексаныч, младший сынок Невского, тоже волею божией умре. Чернь по городам бунтует. Окроме Михайлы Тверского и выбрать некого. Прав Акинф, как ни поверни! И поскакали скорые гонцы, и потянулись за ними бояре с дружинами, челядью, скарбом, обилием, скотом... И даже холопы, что перекликались, тороча коней, толковали в одно с господами:

— Так бы оно Даниле Московскому, покойнику, черед бы, да вишь! Не дожил... А у Юрия каки права? К Михайле и нать! Тот-то прямой князь!

Слукавил Акинф Великой самую малость. Побывал-таки у Юрия. Жаль было вотчин переяславских своих. Да не дал ему Юрий первого места среди московских бояр, и еще припомнили оба, хоть говорки о том и не составилось, что не кто иной, а сам Акинф Великой три месяца назад по слову Андрееву полки собирал на

Юрия, дабы силой отбивать Переяславль. Оно бы могло и в честь пойти, ну а поворотилось инако.

Начинался четырнадцатый век. Собственно, он еще не начался, еще правил в Орде Тохта, человек тринадцатого столетия, еще Литва, кипящая грозною силой, не вылилась опустошительным потоком на земли Смоленска, еще стояла в обманчивом величии Галицко-Волынская Русь, поднятая властной рукой Даниила до уровня первых королевств Европы, еще плыл Акинф Великий с дружиной и холопами в стольную Тверь...

Столетия иногда начинаются раньше сроков, отмеченных Хроносом, иногда запаздывают. Так, девятнадцатый век — подобно подтачиваемому тихой облачной весной льду — дожил до второго десятилетия двадцатого и тут с грохотом низринулся в небытие. Век восемнадцатый начался несколько раньше исторических сроков, семнадцатый — позже. Отчаянные усилия Годунова задержали на несколько лет неизбежное крушение самодержавия последних Рюриковичей, созидавшегося все предыдущее шестнадцатое столетие. Пятнадцатый век сломался почти на рубеже времени, с осуждением еретиков, победою иосифлян над нестяжателями и смертью Ивана Третьего. Граница четырнадцатого и пятнадцатого веков размыта, но не будет ошибкою сказать, что четырнадцатый век — грозовой и величественный, на гребне своем поднявший эпическую сагу Куликова поля, век великих, светлых и страшных страстей, век творимых легенд и начала народов,— что век этот кончился раньше летописного времени, возможно даже со смертью Сергия Радонежского. И начался позже, быть может, даже не теперь, не в 1304 году, а десятилетие спустя, с победою мусульман ордынских, подобно тому, как и век тринадцатый проявил себя не сразу, и даже после погрома Киева, и даже после Липицы, и даже после Калки, до самого похода Батыева, всё еще думали, всё еще казалось многим, что ничто не изменилось, что всё продолжается и продолжается прежнее...

Дивно, впрочем, не то, что столетия запаздывают или начинаются раньше, дивно, что все-таки история меняется в ритме столетий. Или уж так кажется нам? Или столь могущественно хронологическое деление времени, что мы и события прошлого толкуем и распола-

гаем невольно по тем же неторопливым столетним рубежам?

Начинался четырнадцатый век. Он еще не начался в делах, не означился вполне. Все было еще как хрупкий весенний лед, еще не сдвинутый, не изломанный пенистым ледоходом. Но и все уже было готово для событий иных и славы иной, чем прежняя.

Боярин, в силе и славе плывший по Волге из Городца в Тверь, не знал этого всего и потому был обречен.

Акинф Великий был муж простого здравого смысла и животных (ж и в о т н ы х от слова «живот» — жизнь) похотей. Он не думал о судьбах Руси, не задумывался о Боге, полагая, что о Боге достаточно мыслят попы, а совесть порядком-таки путал с хитростью. Для него свято было одно: свое добро, земля, волости. Но волости были в разных местах, даже в разных княжествах. Иное, что в Переяславле, и потеряно до поры. А воротить свое добро он хотел крепко. И потому приходилось думать о всей Руси, о едином князе русском. Андрея Городецкого он понимал. Андрей был жаден и завистлив. Михайлы Акинф побаивался, чуял — грабить не даст! Но уже и в нем самом что-то переменялось от жадных молодых лет. Уже не так хотелось приобретать, хотелось уберечь нажитое. И уже прикидывал Акинф, как лучше начнет споспешествовать он князь-Михайле. Что можно, чего нельзя при новом господине, что одобрит и чего не простит тверской князь. Уже и к себе приваживал людей Акинф, всякого случая ради. Андрея Кобылу, сына Жеребцова, отрока, чуть ли не в сыны принял. Что там створилось при дедах! Признание отца, покойного Гаврилы Олексича, гвоздем сидело в нем, упрятанное в тайное тайных. Первое, что почуял Акинф, услышав весть об убийстве Ивана Жеребца в Костроме, была тихая радость. То все казалось: а вдруг проведает Иван? И как тогда обернет к нему, сыну отцеубийцы? А теперь Иван плавает в луже своей крови... а теперь унесли... а теперича и схоронили давно! Ныне стало мочно неложно полюбить Андрея Кобылу, сына Жеребцова. За то и полюбил, что уже не знает отрок, как там и что было между дедами. И стало мочно приветить, помочь, поддержать, и тем вовсе закрыть грех отцов, грех тайный, на духу и то не сказанный. Холопья? И холопья того не знали!

Да и то сказать: теперь поддержи Андрея Кобылу, пока юн, доколе не осильнел, опосле не забудет! А у князь-Михайлы чем боле будет своих, Акинфовых, тем боле чести ему, Акинфу! И сам князь того пуще залюбит Акинфа Великого! Так-то! А переяславские вотчины Михайло воротит ему. Не воротит — сам возьму! — пообещал Акинф.— Дмитрия-князя вышибли из Переяславля, неуж этого, Юрия, рыжего, не вышибем? Жаль, конечно, Андрей Саныч не успел воротить город. Куды б ноне веселей стало!

С теми мыслями плыл Акинф в Тверь. Сидел в расписном широком паузке, под шатром с откинутыми полами, в тени, в холодке. Сидел, озирая зеленые привольные берега. Лодьи шли медленно, вспарывая бегучую воду, приходилось выгребать противу течения. Пахло мужичьим духом от горячих распаренных гребцов, запахом здоровых немытых мужских тел, запахом соленого пота, отрыжками лука и редьки. Пахло знакомо и привычно. Век был этот дух! В молодечных, в людских, в шатрах, в сече, бок о бок с дружиною, или зимой, когда, промороженный до самых костей, влезаешь в избу, набитую ратными, и так шибанет в нос человечьим смердьим теплом! И тотчас от душного запаха отпустит тревога: чуешь, что день пережит и ты дома, в избе, со своими, и эти крепко пахнущие мужики не выдадут, и, валясь в овчины, в гущу тел, носом чуток к порогу, чтоб тянуло свежцой, засыпаешь почти враз, без опасу уже, меж тем как очередные сторо́жи пролезают к выходу, спотыкаясь о чьи-то ноги и уважительно обходя его, боярина,— не наступить бы невзначай... Всегда был этот горячий и густой мужицкий дух и значил: все хорошо. Дружина при деле, и сам при дружине. И сейчас, скоро,— чуял — опять нужны будут ему люди для дела, мужского, горячего, с потом и кровью творимого, дела войны, драки, боя, битвы за власть и добро. А какое добро безо власти?! Пото и люди надобны. Кто людьми нужен, тот и сам сирота! Акинф был всегда людьми богат Богат смердами, холопами, челядью, дружиной. Детьми не обижен. Оба молодца что Иван, что Федька — поглядеть любо! Дочери одна в одну Ни статью, ни смыслом не обижены. Таких ярок, да с добрым приданым, хошь и князю иному впору! Брат Морхиня при нем неотступно, племяш, Сашко, тоже под его рукой ходит И зятя доброго Клавдя нынче в дом привела! Ничем не обижен

Акинф, ничем не заботен. Весел Акинф и вдыхает радостно горячий запах мужицкого пота, запах смолы и дегтя, свежий запах воды и далекие запахи бора, что волнами, вдруг, накатывают на лодью, с роями мошек, летящих от берегов в горячем лесном воздухе прямо на стрежень реки и падающих в воду, на корм прожорливому рыбьему племени. «Как и у нас! — посмеиваясь, думает Акинф.— Который которого преже сожрет!»

Акинф спешит. Князь Михайло днями ладил в Орду, к хану. А без его как? Не стало бы замятни! Надоть доправить в Тверь со всема, с дружиною.

За зелеными излуками берегов близилась Кострома. Вдали запоказывалась, ныряя, лодка, черная на синей, дробящейся серебром воде. Скоро лодка приблизилась. Человек, стоя, кричал им, махал рукою. Акинф, вглядевшись, признал Касьяна, своего торгового холопа, что сидел в Акинфовой лавке на Костроме. Челнок подтянули багром, и тотчас стремительная сила воды вытянула его повдоль паузка, прижав к набоям. Касьян, подтянутый десятком мускулистых рук, вскочив на дощатый помост, прежде поклонился боярину и, когда Акинф махнул рукой, отстраняя прочих, молвил громко:

— Хоромы готовы! — А тихо добавил уже одному боярину: — Московляне на Костроме!

— Юрий? — выдохнул Акинф.

— Борис,— возразил Касьян.

— Брата послал! Та-а-ак,— протянул Акинф,— ну что ж! У низовых причалов пристанем, пожалуй, особото себя не казать!

Касьян меж тем сказывал прочие вести: и про князя Михайлу, что уже отплыл в Орду, и про прежний судовой караван, загодя отправленный Акинфом. Кончив, поглядел в глаза Акинфу. Тот озирал посыльного, любуясь. Отмолвил:

— Добрую весть принес ты мне, Касьян! Подь в чулан, отдохни чуток, охолонь. Вона руки, видать, стер веслами-то!

Лодьи шли одна за другою, все так же натужно вспарывая воду, и уже запоказывалось, запосветливало на зеленом светлыми точками — россыпями застенного жилья, хором и анбаров — верной приметою большого торгового города.

— Борис, значит, на Костроме! — сказал Акинф вслух и усмехнулся, сощурясь.

ГЛАВА 6

До Костромы добрались едва не чудом. Изъеденные комарьем, перемокшие, петляя в болотах, они наконец уже в виду города вышли к Волге и остановились небольшою кучкой усталых людей на замученных конях. И все-таки, выехав на простор и увидя громаду воды перед собою, учуяв чистый ветер, что нежно овеивал лицо, Борис, сутки не слезавший с коня, обрадовался. Он жадно дышал, наслаждаясь шириною окоема и тем, что въедливые слепни и прочая крылатая нечисть тут, на свежем ветру, почти отстала от них. Конь коротко взоржал, и Борис, легко тронув бока гнедого стременами и выпрямляясь в седле, гордясь невольно конем и собою, подъехал красивою мелкою поступью к старшему боярину, окольничему Юрию Редегину, что стоял на взгорке, обозревая берег из-под ладони.

Как перевозити ся будем? — спросил Борис легко, не думая ни о чем, а лишь радуясь простору и свету. Юрий Василич оборотил к нему заботное лицо, отмолвил:

И не ведаю, княже! Перевоз занят, а кем — не пойму. А быть тамо тверичам, никому боле!

У Бориса загорелась кровь. В нетерпеливой горячности своих девятнадцати лет он, так же как Юрий Василич, приложив руку к глазам, громко бросил:

— Ударим на перевоз ратью! Кто ни есть, с наворопа собьем!

— Кто знат, сколь там оружного народу? — раздумчиво протянул боярин и, остужая Бориса, добавил: — Погубим дружину, а и лодей не возьмем. Невелик труд, обрезать ужища да спустить лодьи вниз по реке!

— Чего ж делать-то? — растерялся Борис, поняв сразу, что боярин прав и дело, увы, не столь просто. Юрий Василич вздохнул, почесал бороду, подумал и оборотил к ратным:

— Эй, молодцы! Которой здешни места ведает?

Скоро нашелся один, ходивший в Кострому, и вспомнил, что выше города, в немногих поприщах отселе, стоит рыбацкое село.

— Ето дело! — ободрясь, воскликнул боярин.— Тронули туда.

Село, и верно, нашлось, и лодьи нашлись, и рыбаки, сперва угрюмо принявшие неведомых ратных, узнав,

что московляне не за так, а за серебро прошают перевезти их через Волгу, разом подобрев, с охотою взялись за весла. Возились долго, и в Кострому въезжали уже ночью. И все, что творилось потом, в эти два дня, вспоминал Борис впоследствии как одну сплошную и суматошную бессонную ночь...

Кострома глухо шумела, по улицам бродили толпы вооруженных чем попадя горожан. Городские ворота стояли настежь. Поначалу никто даже не обратил внимания на новую оружую ватагу, что шагом подымалась вдоль молчаливо замкнутых ворот и заборов, тем паче что московлян и всего-то была горсть. Где-то вдалеке били набат; там и сям вспыхивали какие-то огни; кто-то шел пьяный со смолистым пылающим факелом, меча и рассыпая по сторонам предательские искры. Заливисто лаяли псы во дворах. И лишь на втором перекрестке хриплый голос окликнул их:

— Эгей! Стой! Мать вашу... Вы чьи?

— Московляне! — отозвался, прокашлявшись, Юрий Василич. Из сумерек вынырнула косматая морда, проблеснуло лезвие рогатины:

— Брешешь, шкура, московлян не бывало у нас!

— Посланы от Юрия-князя! — строго отмолвил боярин.

Борис подъехал к костромичу впритык, с острым любопытством рассматривая нечаянного стража, который мутно глядел на комонных и покачивался,— от него густо несло хмелиной.

— Какая власть у вас? — спросил Юрий Василич.

— А кто их разберет! — отозвался костромич.

— Ворота настежь! — промолвил Борис. Костромич оборотил лицо к нему, долго вглядывался. Сказал, с мгновенной догадкою:

— Княжич, што ль? Часом не Юрий Данилыч будешь?

За спиной мужика молчаливо собирались разномастно оборуженные ратные, и у Юрия Василича, помыслившего было попросту отпихнуть пьяного да и ехать дале, пропала охота ввязываться в ссору. Он уже намерился спешиться и спросил:

— Старшой кто-та у вас?

— Я старшой! — возразил пьяный мужик, и Юрий Василич, крякнув, крепче всел в седло.

— Князь Юрий за себя нас послал! — молвил Борис звонко.— А я брат ему!

— Как кличут-то? — угрюмо поинтересовался пьяный.

— Борисом!

Костромич задумался, опершись о рогатину и покачиваясь. Потом хитро взглянул:

— Ай брешешь?

Борис было закусил губу, но тот вдруг, понурясь, махнул рукой:

— Вали к собору! Тамо прошай боярина Захарию Зерна! — И, уже когда ратные тронули, крикнул вслед: — Чегось мало народу-то привел? С такой ратью задавят вас тута! — И он длинно выругался по-матерну.

На площади перед собором горели сторожевые костры. Их остановили вдругорядь. Долго длились бестолковые переговоры то с одним, то с другим из подъезжавших и подходивших бояр и воевод градских. Борис начинал терять прежнюю уверенность свою, да и усталость наваливалась все плотнее. Он плохо понимал, что происходит, не поспевал следить за Юрием Василичем и с тоской посматривал по сторонам: в жило бы хоть какое-нибудь! Ратники завистливо вдыхали запах варева, что хлебали невдали от них костромские кмети. Кони, голодные, как и седоки, беспокойно топотались, стригли ушами. Невзирая на ночную пору, на площади не стихала суета. Подходили и отходили, звякая во тьме оружием, ратные, слышались выклики, кто-то кого-то искал, за кем-то отъезжали посыльные. У ближнего тына лежали вповалку тела. Борис, усмотрев, вздрогнул, показалось — мертвые. Но вот один шевельнулся, донесся храп, чей-то стон и иканье. То были попросту упившиеся до положения риз, коих сволочили посторонь, чтобы не потоптали кони. К ним опять подъехали вершники в дорогом оружии. Юрий Василич принялся что-то объяснять, взмахивая руками. В темноте начался спор.

Нужны мне москвляне! — кричал с коня некакий боярин, не обинуясь присутствием Бориса с дружиной.— Как князь Михайло скажет, так и пущай! А ето што: какой хошь проезжий-прохожий вали в Кострому! Неча! Даве два анбара в торгу разбили! И все разорят!

Юрий Василич что-то возражал, грозил, поминая Захарию Зерна, наконец спорщик, яростно махнув рукой, бросил:

— А, пущай! — Он зло обернулся к москвичам, погрозил кому-то и, тронув вскачь, исчез в темноте.

Борис хотел было подъехать к своему боярину, но тот только отмахнулся:

— Пожди!

Ратники роптали. Юрий Василич скоро куда-то ускакал, да и пропал невестимо. Бориса прошали: как быть, что делать? Он не знал. Велел ждать, не спешиваясь. У самого начинало болеть все тело, руки, ноги, отбитая поясница. Мучительно хотелось слезть с коня, размять ноги, но, заказав другим, он и сам себе не позволял уже спешиться. Ратные дремали в седлах. Костромичи, кто безразлично, кто и враждебно, сновали мимо них. Борису так уже захотелось спать, что стало все равно. Дрожь пробирала, в глазах мутилось и плыло. Он вздрагивал, словно конь вздергивая голову, что-то отвечал, кого-то от чего-то останавливал, сам уже не понимая толком, кого и от чего. На миг показалось ему, что половина дружины куда-то исчезла, и он испугался до холодного пота, даже сон временем соскочил. Наконец-таки появился Юрий Василич, захлопотанный и довольный.

— С Захарием сговорил! — молвил он, подъезжая. И деловито прибавил, оборотясь к подъехавшим молодшим: — Зови всех!

Скоро ратные расседлывали коней, вязали к коновязям, в полутьме, освещаемой двумя факелами, пробирались внутрь длинной, в несколько связей, бревенчатой избы, видно — княжеской молодечной, и там тесно впихивались на лавки за долгими прокопченными столами. Коням дали овес, ратные, теснясь к котлам с горячими щами, жрали, сопя и толкаясь ложками. Сам Борис, которого протащили куда-то за угол, потом запихнули в калитку и оттуда уже ввели в высокий терем, где представили четырем незнакомым боярам, тоже наконец оказался за обеденным столом и сейчас уписывал за обе щеки мясные пироги и кашу, давясь, краснея, что не может оторваться от еды, и виновато взглядывая на старого боярина Захарию, что молча, без улыбки, ждал, когда насытится московский княжич. (В недавней замятне у Захарии убили взрослого сына, Александра, кинувшегося на выручку Ивана Жеребца.) Наконец Борис почуял, что сыт, но тут же на него начал наваливаться предательский сон. Он уже плохо понимал, о чем говорил Захарий Зерно, только одно

врезалось, когда Захарий, помавая головой, отмолвил Юрию Василичу:

— Я — как Тохта! Я и князя Юрия Данилыча поддержу с охотой, коли ярлык получит!

Борис намерился было тут встрять в говорку, но, пока собирался, опять утерял нить спора и вовсе перестал понимать, о чем речь. Наконец, сжалившись над княжичем, Юрий Василич отпустил его спать. Борис вышел, качаясь как пьяный, ему отворили низкую дверь в какую-то горницу, и он, в темноте ткнувшись в мягкое, мгновенно уснул мертвым сном.

Меж тем уже осветлело небо, громко кричали галки, носясь над площадью, где сникла на время ночная суета и сторожа дремали у погасающих костров, а Юрий Василич Редегин с Захарием Зерном все еще сидели за столом, дотолковывая, оба понурясь от усталости, и Захарий невесело повторял, в одно с давешним мужиком:

— Кабы вы дружины поболе привели! Видели, каково во гради? Ворота не заперты, сторóжа вся в лежку. До княжеских погребов дорвались, вишь! Теперь, доколе не проспят, ничего и вершить нельзя. И мне невмочь. Александр вот...— Захарий приодержался и вдруг, опустя голову, молча заплакал, вздрагивая, и Юрий Василич, насупясь, отворотил чело, пережидая невольную слабость старика...

Проснулся Борис оттого, что его трясли за плечи.

— Вставай, княжич, беда! — кричал ему в ухо посыльный. Борис, весь изломанный, наконец встал, выбрался на свет, застегиваясь на ходу. При свете дня плохо узнавалось место. Кабы не свои кмети, он бы, верно, долго проискал и прежнюю калитку, и молодечную, и ворота детинца, из которых уже выезжали к площади вооруженные москвичи. Оказывается, пока Борис спал, в городе началась чуть ли не ратная свара. Улицы заставили рогатками, отверстые давеча ворота заняли кмети какого-то боярина, врага Захарии, и не пропускали никого ни внутрь, ни наружу. В нижнем конце забили набат и собралось вече. Купцы оборужали своих молодших и, загородившись бревнами и дрекольем, словно в осаду засели в торгу, оберегая анбары с добром. Люди Захарии едва еще удерживали детинец и две улицы, ведущие к пристани. На прочих шумели расхристанные, озверелые вечники, сшибались, вздымая колья, ватаги чьих-то, явно нанятых, молодцов.

Уже в двух-трех местах вспыхивали пожары. К счастью, опамятовавшие после вчерашней пьянки горожане не давали ходу огню. Какого-то мужика, принятого за поджигателя, схватя, казнили без милости.

Борис, еще ничего не понимая, оказался в седле и, удерживая своих в куче (не растерялись бы), порысил за толпой костромичей, валивших к пристаням. Уже по пути ему дотолковали, что тверская боярская помочь, стоявшая на том берегу Волги, на перевозах, вздумала из утра захватить город, и сейчас на берегу, верно, идет бой.

— Юрий Василич где? — прокричал Борис, за сплошным зыком толпы едва почуяв свой голос.

— Кажись, спит! — отозвался один из кметей.

— Толкуй! Он и послал! — перебил другой ратник.— А ты, Онька, брехлив непутем!

У перевоза гудела толпа. Бою не было, но над головами то и дело вздымались колья и лезвия рогатин и топоров. Вдали, едва видные за головами толпы, маячили верхоконные тверичи. С той и другой стороны яростно орали. Тверичи наезжали конями, и их, видно, хватали за поводья, осаживали. Толпа колыхалась, как полая вода в ледоход. Борис хотел было пробиться вперед, но пробиться не было никакой возможности. Тем часом к ним приблизился, яростно работая плетью, какой-то боярин и, сложив ладони трубой, вопросил:

— Московляне?

Борис поднял руку и помахал ему. Боярин вновь заработал плетью, пихая коня, прорвался наконец к ним и, едва отдышавшись, велел вспятить и подняться на бугор.

— Почто? — не понял Борис.

— Видать бы было! — выкрикнул боярин. И Борис, все так же недоумевая, велел дружине валить к бугру. Боярин вновь врезался в толпу и начал отдаляться от них. Пожав плечами, Борис поднялся на песчаную гриву прибережья и, оказавшись над толпой, увидел лучше происходящее на берегу. Там всё еще спорили, всё еще грозили, кто плетью, кто оружием. Но вот наконец тверичи поворотили и стали заводить коней на дощаники. Борис тут только понял, что им велели выстать нарочно, дабы показать тверичам оружную московскую помочь и тем вспятить их дружину обратно, за Волгу. Понять, однако, кто все это затеял, ему так и не пришлось. Юрий Василич, встретивший их у собо-

ра, оказалось, ничего не знал, не ведал, и весь перепал было, не найдя Бориса с дружиною. (Он, пробыв двое суток без сна и на ногах, не выдержал и уснул на рассвете.)

Борис после утреннего дела был радостен и горд собой. Вздумав еще что-то совершить без своего окольничего, он отправился в стан костромичей, укрепившихся в нижнем конце, мысля уговорить их признать власть князя Юрия Московского. Его пропустили через рогатки, угрюмо выслушали и, не сказав ни да ни нет, отвели назад. Юрий Василич, завидя Бориса, только лоб перекрестил: как и не забрали! И строго-настрого воспретил ему на будущее соваться одному куда бы то ни было.

Вечером скудно поужинали. Захария не появлялся, баяли — слег. Но его кмети, вместе с московскими ратными, берегли улицы. Борис, посаженный Юрием Василичем чуть ли не под замок, ждал, изводясь, бродил по палате, дремал сидя и уже видел, что всем было не до него — и Юрию Василичу, что спал с лица и только забегал изредка проведать, на месте ли княжич, и костромским боярам, что становились все угрюмее и почти перестали отвечать на вопросы Бориса. Свои тоже взглядывали на него тревожно или с торопливыми ободряющими улыбками и бежали по делам. Он же сидел — живым залогом братних замыслов, удостоверяя собою волю Москвы,— и пытался хотя по лицам понять, что же творится во граде? То ему казалось, что одолевают «свои», то, что все уже потеряно и пора бежать вон из Костромы. Ввечеру Юрий Василич зашел, свалился на лавку, отер потное чело, поглядел на Бориса и тоже молвил, стойно давешнему мужику:

— Дружины мало у нас! — А про костромичей на вопрос Бориса, ругнувшись, добавил: — И пес их знает, чего хотят? Тверских бояр, вишь, не пущают в город, а нас... нас тоже... тово...— Он не договорил, замолк и помутневшими оловянными глазами уставился в столешницу. Потом встряхнулся, сильно потер лицо ладонями, встал, шатнувшись:

— Ну, я пойду... Надо кормы добывать...

— А Захарий?

— Захарий дает, да провезти некак! — отмолвил он с порога.

Спать легли без ужина. Борис из гордости отказался от своей доли в пользу тех ратных, что стояли в стороже И вот началась другая ночь, полная смутных шорохов,

громкого ржанья коней и топота копыт, тревожного звяка оружия и набатных голосов в дальних концах Костромы.

За ночь явно что-то произошло нехорошее. Перед утром, неслышно снявшись с постов, люди Захарии Зерна покинули детинец. Московская дружина осталась одна, без еды и сена, осажденная сама не зная кем. Уже на позднем свету Юрий Василич принес Борису два сухаря и кружку воды. Сказал смущенно:

— Не побрезгуй, княже!

И Борис, давно и сильно проголодав, обрадованный донельзя, почти со слезами на глазах грыз сухари и запивал тепловатой водой, чувствуя всей кожей вину перед боярином за свою неумелость и молодость.

— Предали нас? — спрашивал он Юрия Василича, и тот, глядя, как княжич ест, покачивал головой:

— Уж и не знаю, как тебе и молвить!

— Может... в Новгород? — неуверенно предложил Борис.

— Никуда не пробиться! — отмолвил боярин. Он вышел, снова воспретив Борису покидать покой: Тебя захватят альбо убьют, и все дело наше погибло! Понимай сам!

И вновь потянулось тревожное томительное ожидание. Где-то там, за стенами, близился и нарастал ратный шум. «Ужли бьются с кем?» — гадал Борис, не ведая, ждать ли ему еще или, презрев наказ окольничего, лезть вон из хором и кидаться в сечу?

А потом двери запрыгали, расскакиваясь наполы, и кмети внесли в палату тело Редегина. С попоны глухо капала кровь. Боярина положили на пол, и Юрий Василич, застонав, приоткрыл глаза:

— Княжич, княжич где?

Борис, задрожав, опустился перед ним на колени.

— Пить! — хрипло попросил боярин, и Борис кинулся за кружкой, к счастью, не допитой им давеча, и торопливо начал вливать воду в рот раненому. Один из кметей, опустившихся на колени рядом с Борисом, взялся разрезать на боярине платье и перевязывать рану, из которой с тупым бульканьем, толчками выходила кровь.

— Заговорить бы! Ворожею какую... Где тута найдешь? — переговаривались ратные.

Юрий Василич скоро начал метаться, терять сознание; раз, широко открыв глаза, пытался что-то сказать Борису, державшему его за голову, но не смог, замер.

Боярина прикрыли. Он хрипло и редко дышал, с остановками, в которые, казалось, вот-вот дыхание и вовсе исчезнет.

— Может, еще и отойдет! — нерешительно произнес кто-то из ратных...

Так Борис остался без старшого и, поскольку Юрий Василич все делал без него, не долагая княжичу, потерялся и растерялся совсем. Одно он понимал: в Костроме им уже не усидеть. Но как и куда пробиваться? Посоветовавшись с молодшими дружинниками, он послал двоих детей боярских с частью кметей сыскивать Захария и требовать с него ежели не ратной помочи, так хоть помочи выбраться вон из города. Сам Борис, вздевши бронь, начал объезжать ближние улицы, в которых угрожающе собирались кучки оружных горожан и откуда то пролетало копье, то град камней, то с руганью вздымалось несколько топоров, и Борис, ярея, хватался за саблю, но каждый раз дело не доходило до настоящей сшибки. Его тут же окликали, начинали ерничать или кричали:

— Извиняй, княжич, не признали! А ты храбёр!

И Борис со стыдом опускал обнаженную саблю, чуя, как все более и более заползает ему за воротник липкий гаденький страх.

Дружина, усланная за Захарией, не возвращалась. Несколько раз, бросая поводья стремянному, Борис взбегал по тесовым ступеням в покой, следил прерывистое дыхание Юрия Василича, который все не умирал и не приходил в себя. Ратные, не евши с прошлого вечера, глядели мокрыми курами. Он уже было думал, бросив все, пробиваться вон из города, но не мог покинуть усланных за Захарией кметей. Да без них вряд ли бы и сил хватило, особо ежели городские ворота заняты сторожей.

Последний раз, уже ввечеру, он задержался около боярина подолее. Тот зашевелился, снова попросил пить, и Борис сам поил его, по-мальчишечьи от отчаянья закусывая губы. И в эти-то минуты беда ворвалась в терем. Послышались крики, топот и грохот на лестнице, отворилась и вновь, с треском, захлопнулась дверь, а затем, — Борис, немея, поднялся на ноги и стоял, нашаривая в ножнах саблю, и не находил ее, ибо клинок второпях был им брошен на стол, — затем дверь отворилась нараспашь, и, пригнувшись под верхней колодою, в палату пролез осанистый широкий боярин в

дорогой кольчуге с зерцалом, а за ним полезли чужие незнакомые ратные.

— Борис Данилыч! — вопросил боярин, уставя руки в боки и щурясь насмешливо.— Пошто ж не признаешь? Видал я тебя на Москве!

Борис, озрясь, увидел наконец на столешнице свою саблю, но, поглядев на ощетиненное железо за спиною боярина, понял, что драться бесполезно, и, бледнея, разжал кулаки. Теперь и он признал боярина в дорогой кольчуге: перед ним стоял Акинф Великий.

ГЛАВА 7

По-иному поворотилось в Новом Городе. В Новгород Великий отправились тверские послы с Бороздиным, из больших бояринов тверских, и Александром Марковичем во главе.

Андреевы волостели, посаженные покойным во Пскове, Кореле и иных новгородских пригородах, задались за Михаила, и теперь тверичи, по согласию и совету княгини-матери, Ксении Юрьевны, спешили утвердить Михаиловых наместников на Городище и привести Великий Новгород под руку своего господина.

Ксения полагалась на помочь боярской родни с Прусской улицы. Теперь, со скорым избранием ее сына на великокняжеский стол, мыслила вдова, родственные связи должны были пересилить градские приятельства прусских бояр и их обязанности перед своенравными кончанскими сходбищами новгородских смердов. Но тут она и просчиталась. За с лишком тридцать лет, прошедших с тех пор, как молодая прусская боярышня покинула родной город для терема великого князя Ярослава, уже очень и очень многое переменилось в стенах новогородских. Очень многое, чего и из бояр мало кому захотелось бы утерять, было завоевано мятежной северной вольницей, слишком высок был накал страстей в вольном городе. Нынче за предательство новгородского дела можно было ответить и головой. Гражане, мужи новгородские — купцы и смерды: медники, седельники, кузнецы, лодейники, серебряники и иных дел мастеры, слишком крепко держали в руках боярскую господу, слушая лишь тех, кто, не лукавя, душою болел за свой город. Посадничал в этом году Андрей Климо-

вич, один из двух братьев, бояр с Прусской улицы, на любого из коих Михаил мог бы опереться меньше всего. Кроме того, Андреевы волостели правили стойно самому Андрею: Борис Константинович данями и поборами разогнал всю Корелу, а Федор Михайлович, посаженный на Псковском наместничестве, удрал из Пскова при первой же ратной угрозе. И псковичи, приученные князем Довмонтом к безусловной доблести своих воевод, возмущены были паче всякия меры. Михаилу, таким образом, еще не севши на новгородский стол, приходилось отвечать за пакости и шкоды своих новых подданных, что премного осложняло и без того трудное дело подчинения вечевой республики.

Тверские бояре уже от Торжка, где им не хотели давать ни подвод, ни корма коням, почуяли, что дело неметно. Бороздин, тот кипел гневом, обещая по возвращении князя расточить весь Новгород. Александр Маркович задумался. После редкостного единодушия, с коим высказалась за избрание Михаила Владимирская земля, новгородское решительное нелюбие, чуял он, требовало не одного лишь нерассудного гнева, но и разумения мысленного. Вглядываясь раз за разом в замкнутые, упрямо-упорные, гневные или насмешливые лица, Александру все более хотелось поговорить с кем ни то из новгородцев по душам, не как тверскому боярину и княжу послу, а как гостю в приятельском застолье, дабы понять, что же мыслят сами о себе эти люди, столь единодушно отвергшие древнее право великих князей владимирских?

— Даней давать не хотят! — бросал Бороздин, как о само собой понятном.— Разбаловались! Покойного Александра Ярославича нет на них! Той поры, как Митрий-князь с Андрей Санычем которовали, они и набрали себе леготы! Чтобы и сел не куплять в ихней волости, и черного бора не давать, и суд, почитай, забрали, и посадника, понимай, безо князева слова ставят, и двор немецкий, вишь, не трогай — сами ся володеют!

— Ну, а наши купчи? — спрашивал Александр Маркович.

— Нашим свой князь заступа! Нашим-то во снях снитце Новгород утеснить! Торжок под боком, вишь, а товар во Тверь провезть — не вдвое ли станет! Пото и бунтуют!

Он сердито сопел, озирая чужие поля и перелески. Здесь тоже начинали жать. Тесно стояли по лугам вы-

сокие круглые копны сена, островатые кверху, к стожарам, словно шеломы доселешних богатырей, а где и продолговатые закольня на северный новгородский лад. И уже подымались там и сям скирды немолоченого ржаного хлеба, а из деревень слышался ладным перебором стук многочисленных цепов.

В Молвотицах все посажались на лодьи и дальше плыли Полою и Ловатью, перегоняя купеческие караваны с хлебом, льном, скорою и скотом, что живьем, погрузив на паузки и дощаники, везли и везли в Новгород. Встречь торопились купцы с иноземным товаром к осеннему торгу, так что в узких местах расходились едва не впритык, отталкиваясь баграми. Тверичам, привыкшим к лодейной толчее на приволжских пристанях, все это было знакомо и близко.

— Гляди! — говорил Бороздин. Опершись о борт, он сплевывал в бегучую воду. Лодьи ходко шли по течению Ловати, гребцы-тверичи старались изо всех сил.— Сколь товару везут и водой, и горой! А возьми отрез сукна на немецком дворе ихнем — хошь две гривны с ногатою, в Торжке уже четыре, а в Твери — велик ли путь от Торжка! — и все восемь гривен прошают! Мне скарлату на выходную кочь куплять, стало кормы с двадцати деревень серебром выложить! Вота сколь! И все они одинаки: за медное пуло задавят, не вздохнут!

Лес то подступал к берегу, то расходился. Не задерживаясь у пристаней, проплывали рядки и погосты. Два ли, три раза, начиная от Молвотиц, их пытались остановить, едва не доходило до сшибок, и Бороздин велел дружине не снимать броней.

В Ильмень вышли ночью, и до рассвета успели уже далеко выплыть по озеру. Александр Маркович вспоминал Новгород, как он видел его еще в отроческие годы, когда в числе молодшей дружины, детей боярских, сопровождал великую княгиню Ксению Юрьевну (с тех пор как-то все не случалось побывать), и вздыхал. Гребцы, иные стерши руки в кровь, сменялись на веслах. Вода тяжело покачивала черные узконосые лодьи. На закате уже, когда медно-красное, раскаленное солнце почти коснулось воды и косые его лучи брызгами крови отсвечивали на темно-синей колеблющейся воде, приблизились наконец берега, и медленно нарастающее течение Волхова приняло в свои струи тверской караван. Лодьи шли по стрежню, и на блестящей воде про-

резался, как в воротах, далекий город меж двух, уже очерченных тенью, соборных громад: Юрьева на левом и Благовещения на Городище на правом берегу Волхова. Как-то их встретят? — гадал Александр Маркович, про себя положивший за непременное, как бы то ни поворотилось, а суметь дотолковать с новгородцами, понять то, о чем громогласный Бороздин не желал и думать даже.

На Городище, или, вернее, Городце, княжеском городке, поставленном в трех верстах от Нова Города, где их давно уже ждали, было тревожно. Староста городецкий Ондрей прямо сказал, что невесть, пустят ли и в город тверских послов...

Когда они наутро в лодьях подходили к детинцу, на берегу, и верно, встретила их с руганью и издевками разномастная толпа горожан, иные из которых стояли с шестами в руках, намерясь отпихивать тверские лодьи от вымола. Бороздин решил тут показать норов. Дружине велел обнажить оружие, и когда толпа откачнулась,— впрочем, не так уж и оробев: над головами замелькали ножи и ослоны,— вышел вперед и заорал на чернь поносно. Александр думал уже было, что Бороздина сейчас и убьют, и весь напружился, приздынув из ножен гнутую саблю бесценного хорезмийского булата, готовый ринуть в свалку. Но, как ни дивно, ругань Бороздина подействовала. Толпа, покричав, расступилась, показались из-за спин черни несколько вятших мужей, с коими и начался торг.

— Не стану и баять тута! — кричал Бороздин.— Веди в палату владычню! Я князя Михайлы Ярославича большой боярин и тверской посол! С посадником и с владыкою буду толковать, а боле ни с кем!

Кое-как утишив, их провели на епископский двор. Бороздин сердито велел отворить двери Софии — послам пристало прежде посетить храм и поклониться гробам князей опочивших и местночтимых святителей. Александр шел следом за Бороздиным и, кабы не честь посольская, готов был голову отвертеть: все ему было в отвычку и в диковину — и новые украсы соборные, узорочье, кований, паволоки и парча, без меры и счета наполнявшие храм, и сияющие золотою охрою, словно горящие, большие, недавно написанные образа пророков в высоком иконостасе собора, и серебро и злато церковной утвари... Отметил он еще на реке и на соборной площади, как расстроился город за протекшие годы,

разглядел и новые каменные стены детинца, что с деловитою быстротою клали у них на глазах новгородские мастеры палатного дела. Непрерывно везли и везли плинфу, десятки людей мешали известь, рыли, подносили и вздымали камень, не прерываясь даже на мал час. И в ретивости зодчих было такое же, как и во всем, деятельное напряжение воли. Александр Маркович даже позавидовал Бороздину. Маститый годами боярин словно не замечал — или не хотел замечать? — упорного и враждебного им единодушия новгородцев, от меньших до вятших, от черного люда до боярской господы и до самого владыки новгородского.

В тот же день, не дотолковав с посадниками и владыкою, они побывали на Прусской улице у Климовичей, обошли и объехали всех, кто мог и хотел (как казалось в Твери) принять руку князя Михайлы, и всюду встречали прямые или косвенные, с угрюмостью или сокрушением высказываемые отмолвки и отвертки.

— Словно пугань на всех напала! — гневался Бороздин.

Престарелый Гавша, что помнил еще Александра Невского, служил Дмитрию и воротился из Переяславля в Новгород, не захотев быть под князем Андреем, сам приехал на Городец толковать с тверичами. У старика была медленная поступь, голос глухой и с отдышкой, пальцы, скрюченные от болезни, в коричневых пятнах старости, но глаза на морщинистом дряблом лице смотрели молодо, а часом даже и проказливость некая начинала играть в умном взоре новгородского боярина. Гавша, успокоив несколько Бороздина, на другой день сумел собрать на Городец вятшую господу: старых посадников, кончанских старост, тысяцкого, приехал степенной Андрей Климович, еще очень молодой для своего звания боярин, статный, с решительным, полным огня и какой-то веселой ярости лицом. И началась прежняя, до хрипоты, целодневная и бесполезная пря.

Пока перекорялись о черном боре, данях и подводах по Новгородской волости, без конца поминая села под Бежецким Верхом, забранные тверичами или пограбленные новгородцами, Александр Маркович сумел-таки отозвать в сторону старого Гавшу и высказать ему свою задумку о говорке по душам с гражанами. Тот пощурил озорные глаза, подумал, пожевав беззубым морщинистым ртом, наконец, отмолвил:

— Добро! Вота как сделаем! Ты даве баял, цто икону куплять хошь знатного письма? Дак ноне вецером будь у Рогатицких ворот, скажешь, к иконному мастеру Олипию; паче его мало в Новом Городи и мастеров. Ну, а тамо смекай, купчи да ремественники со Славны придут, с има баять с вецера до зари моцно, досыти дотолкуесси! Вызнашь, каки люди у нас, може, с того и Господину Нову Городу кака корысть сдеетце!

Как и следовало ожидать, толковня с вятшей господой кончилась ничем. Принять княж-Михайловых наместников город отказывался наотрез.

— Велю нашим суды судить на Городце без посадничья слова, и вся недолга! — грозился Бороздин, когда, проводив новгородских бояр, они остались одни.— Товару не пустим, да и закамский путь переймем, пущай тогды попрыгают! Двор немецкий закрыть, альбо сково тиуна поставить тамо...

Он медведем, взад-вперед, увалисто шагал по палате, кипя и негодуя.

— Попрут нас отселе, как пить дать! — сказал Александр, и Бороздин, сердито глянув в его сторону, лишь поперхнулся и проворчал неразборчиво. Слишком ясно стало уже и ему, что попрут. Завидя, что Александр, глядя на ночь, опоясывается, вопросил ворчливо:

— Куда?

— В Новгород, со смердами градскими перемолвить хочу!

Набычив чело, Бороздин фыркнул, словно вепрь, пробормотал:

— Вот дурень! — и пожал плечами.— Убьют!

— Убить и тута могут! — отозвался Александр без обиды.

Дружину возьми.

Ни! С дружиною и в ворота не пустят.

— Ну, как хошь, своей голове сам господин!— отмолвил Бороздин с плохо скрытою обидой. Он ревновал ко всему, что делалось помимо него.

До Рогатицких ворот Александр Маркович, выехавший всего с двумя слугами, добрался без приключений. В воротах их тоже пропустили, не задержав. Однако потом начались препоны. Город не спал. В ночных улицах кучками собирались черные люди, проезжали верховые, проходили, позвякивая железом, пешие отряды оружных граждан. Раз пять останавливали его и, каждый раз заставляя слезать с коня, долго и въедливо

пытали: чего нать тверскому боярину в Нове Городи? Имя Гавши и сказ, что едет в Славенский конец по своим делам, к иконному мастеру, помогали плохо.

— Ноне не до икон! — возражали иные.— Бысть в тоби неправда, боярин, цегось-то ты замыслил не на добро!

Но, поворчав и видя, что боярин и в самом деле один, с парою слуг без броней и оружия, его пропускали и даже указывали путь.

В тереме Олипия Александра Марковича ждали и встретили веселыми возгласами. В небольшой горнице уже кипело говорливое застолье, шевелились тени по стенам, пламя свечей металось от дыхания спорящих. Бросились в глаза жаркие лица, крепкие плечи и руки, корявые и темные от работы. Хозяина, Олипия, невысокого ростом, чуть кривобокого, в какой-то патлатой сивой бородке, смахивающей на козью, Александр Маркович сперва как-то и не разглядел. Боярину освободили место, налили чару меда, усадили, охлопывая по плечам, с прищуром, с любопытством глядючи на смельчака:

— Думали, сробеешь, боярин! Город-от весь на дыба́х, гневаютце!

Подавала хозяйка, жена Олипия, и дочь, рослая молчаливая девушка. Хозяйка, полная, крупнее своего супруга, с задорным лицом, совсем не чинилась, порою подсаживалась и к столу, пихая чьи-то плечи, и Александр Маркович с любопытством взирал, как свободно она держит себя в толпе гостей-мужиков. Эко! И не за́зрит никто!

Тверского гостя, мало дав проглотить и куска, взяли в оборот. Перебивая друг друга, горячо, с пылом и страстью, повели давешнее, о чем уже до́сыти толковали бояре: про Корелу, Псков, избыточные дани, шкоды волостелей Андреевых... И только один, в пушистой бороде, мотая главою, все тщился ути́шить столовую дружину:

— Мужи! По-о-остой! Охолонь! — Он протягивал толстые руки, растопыривая темные и корявые, твердые, словно корни дуба, пальцы (кожемяк! — догадал Александр Маркович), отчего ветвистые шевелящиеся тени ложились на тесаные стены хоромины, и низко гудел, повторяя все одно и то же. Грехом Александр подумал было, что мужик попросту пьян, но тот, как-то наконец утишив собранье, поворотил к тверскому боярину мох-

натый лик, с умно проблеснувшими глазами, и молвил:

— Про то все с вятшими говорка была! Боярину наша молвь надобна, цего мы, мужи Господина Нова Города, от князей володимерских хоцем! — тут он подмигнул кому-то в дальнем конце стола: — Изреки, Твердята!

— Князь должон беречи Новый Город, а не латать новгорочким серебром ордынски протори! — строго изрек названный. Александр Маркович возразил было, что Орда требует дани со всех, но его тут же перебили раздраженные голоса:

— Дак платишь своей шкуры ради! Цто Митрей Саныч, цто Ондрей — единако! Орда напереди, а как свея, дак погоди!

— Ну, Ондрей доколе билси о стол с братом, дак обещал леготу Нову Городу, а опосле счо?! Дай да подай черного бора да серебра закамского!

И дальний, тот, вновь сказал твердым глуховатым голосом, перекрывшим, однако, шум прочих голосов:

Можно платить за работу, а не так! Князева работа заступа земли. Пото и ряд творим!

И кудрявый, веселый, в годах уже, кругловатый, улыбчивый, что спервоначалу прошал — не сробел ли боярин? — вмешался тут:

Мы-ста свою волость, Новогорочку, сами ся от погромов избавили! Немчи, вона, кажен год то под Плесков, то под Изборско, то за Нарову ладятце. Свея тож на Корелу цто ни год, то поход. А под Господина Нова Города опосле Раковора не хаживали ни единого разу, да и до сей поры! Отбили Орден, и не лезут ноне-то гля, на Литву поворотили! Отбили и свею, не дали им на устье засести! По нашей волости, стойно Дюденевой рати, раззору николи не бывало! Ну, Бежецко громили, Торжок, дак опеть всё ваши, низовски князья! Оне и татар водили по Новогорочкой земли!

— Пото мы и сами за ся! — дружно поддержали кудрявого прочие.

Александр Маркович вздумал было слегка рассердиться:

— Дак у вас и приговорено: сел не купляти на Новгороцкой волости никому, ни суда не судити опричь посадника, и князи русстии вам не полюби — словно и не Русь вы, и не та же святая Русская земля!

Но кудрявый, сощурясь, спокойно, не дрогнув, принял сказанное, даже головой помавал:

— Вота! Самую суть баешь теперича, боярин! Право ли деяли, дружья-товарищи,— отнесся он к прочим,— когда вечем положили пришлым людям по нашей волости сел не куплять?

— Досыти баяли! — закричало застолье.

— Ни, постой! — остановил кудрявый.— Ты, боярин, как тя, Лександрой кличут? По батюшке как Марковичем? Ну дак а меня Олфимом Творимиричем. По нашему купечкому делу меня на Славне всякой знает, и всякой мне на поклон поклоном воздаст: Творимиричу, мол! Тожно понимай, боярин! У нас каждого по отецеству назовут! У нас все вместях: ремественник, купечь, улица, конечь; цегой-та приговорим всим обчеством, и больши бояра не отмолвят! Потому мы и живем в довольстви, руками да головой добыто дак!

И вновь загудело застолье одобрительно, подсказывая купцу:

— Мы училища налажа́ли, у нас кажной грамотен, вота!

Дальний, тот, тоже подал голос, показав тверскому боярину черные ладони, в которые въелась несмываемая железная пыль и угольный чад:

— Кузнечь я! Староста! — сказал он сурово. Долони поглянь, боярин! А теперича,— он отогнул отвороты опашня,— гляди, как живу! Здеся вот, перед тобою, сижу в лунском сукне! Хошь золоту чепь, стойно боярину, на плеча себе вздену! Взмогу! Женка в черкву придет — не хуже вятших: атлас да камка, оплечья — парчи веницейской, грудь в серебре, кика в жемчугах да златом извышита! А теперича друго в слух прими мой батя под Раковором лег!

— А мой на том бою еле жив осталси! — подал голос кудрявый купец.

— У его, вона, свеи за Кеголою родителя-батюшку порешили, у медника нашего два братана из Чудской земли не воротились домой!

— Дак даром боярин бархаты ти да серебро волоченое? Даром гривны да артуги немечки? Чьей кровью за то плачено, боярин?! Тому лунскому сукну крови моей цена! Тем жемчугам цена — воля нового рочка!

Сказал — и поднялись голоса:

— Правду баял Твердята!

— Кровью заработано!

— Нашею кровью!

— Пришлых-то теперича допусти на готово, много набежит!

— Толкуй!

— Пришлому народу ту ж волю дай да права, цто и нам,— задавят нас!

— Ратная пора, дак немечь противу меня на борони альбо сидит на двори немечком, пережидат! — снова вмешался кудрявый.— А в торгу дай ему то ж, он и по волости вразнос торговать станет, без бою-драки-кроволитья задавит меня! А кровь чья за землю новогорочку пролита? Моя, да батьки мово, да вот ихня, обча, дедов-прадедов!

— За вас и володимерски вон кровь проливали честно на ратях,— сведя брови, молвил Александр Маркович,— и в Чудской земле иные легли, и за Наровою, и со свеей ратились! Ворог придет, сами прошаете княжеской заступы!

— Дак пото и кормим новогороцким хлебом ваших-то воевод! — загомонили новгородцы.— А и к нам приди ин язык, мы примаем! Дак ты будь по всему наш! По вере, по платью, по еде, по семье...

— Не бегай с рати, как Федор Михалыч, волостель плесковский!

— А то — села подай ему, а как ратна гроза: моя отчина где ни то во Твери альбо Костроме, Ярославли там, а вы тута сами уж, как Бог поможет да длань заможет, одне ратовайте!

— И ты своей отчины не бросишь! — отмолвил спорщику Александр Маркович.

— Ну дак и поцто жить в чужой земли тогда,— опять вмешался кудрявый,— свою обиходь! Да отбей от ворога, да охрани! Опосле приезжай, гостем будешь, приму, обласкаю. Торг со мною веди честно, кажному своя выгода надобе. А не так, цто корысть давай исполу поделим, а протори уж Христа ради все соби забери!

Вы со Псковом, вон, тожно не сговорите! — возражал Александр Маркович.— Так и все грады и веси учнут сами за ся совет держать, и разыдется язык словенск, и погибнет земля и вера русская!

— Ан, врешь! — возмутились новгородцы. Плесков, да Ладога, да Руса, да Торжок — то пригороды наши! Им достоит стати, на чем мы постановим, а не то что, стойно плесковичам, свого пискупа соби прошать!

Рассудительный голос одного из председящих перебил спорщика:

— И у нас неправоту творящих по волости, да и в Нове Городи, многонько-таки! На пожарах сколь добра пограбили и в торгу, и в черквах! А наезды по волости, ето тоби цто? А лихву емлют? А цто ябедници творять?

Завязался яростный спор о серебре весовом и чеканеных немецких артугах, и Александра Марковича на время оставили в покое.

Наговорено было много, и многое увидено,— как богатое платье и черные руки кузнеца,— в чем не грех было, запомнив, и поразобраться на досуге, а об ином, при случае, и князю пристойно повестить.

...Изограф сидел посторонь, и Александр Маркович, боком пролезши по застолью, подсел к нему, поелику и вправду хотел добыть у мастера икону доброго новгородского письма. Скоро Олипий, покивав согласно, повел его, прихватив свечу, через низкую дверь крытым переходом в особный покой, в коем писал иконы. Тут было мрачно и тихо. Что-то немо громоздилось во тьме, пахло краскою. Изограф затеплил свечи в стоянце, осветились доски, едва начатые и уже оконченные работы мастера, деловой беспорядок кистей, каменных терок, горшочков с толченою краскою, груд яичной скорлупы на столе, на полу и на полицах вдоль стен. Большие лики святых в трепетном огне свечей, казалось, хмурились и слегка поводили очами, пристально и недобро разглядывая чуждого гостя.

Олипий, видя, что тверской посол застыл перед большим Николою с житием, передвинул погоднее свечу, вымолвил негромко:

— Не концена. Долицное, тута вот... и до сих мест еще не дописал...

— Нравитце, боярин, наше новогорочкое письмо? — примолвил он чуть погодя, угадав шевеленье гостя.— Низовски-то, суздальски мастеры не тако пишут! Ихних писем святые, яко светочи над миром надстояше, духовны суть, но вознесены над прочими! А наши самосознательны, яко же и неции разумевше, сами ся создають...— Изограф пощелкал перстами, ему не хватало слов.— По-нашему, мыслю, ближе оно, каково было-то в первые веки! Повиждь, боярин! Святые мужи на муки шли, а ведь черквы соборной, яко же ныне, не быша на земли! Еллинское идолослужение быхове

и иные мнози идолы, коим поклонение творяху, и князи и цари насиловаху христиан первых и всякия муки смертныя им творяше, и не бысть заступы ниотколе же, един Бог!

— Оне вот цего не думают! — Он кивнул неопределенно, и Александр Маркович, кажется, понял изографа: «оне» были для него сейчас все те, кто просто ходил в церкви и верил без мысли, за другими, по принятому от дедов обычаю...— Святые мужи на муки шли самосознательно,— продолжал изограф,— противу власти предержащей дерзали! Ето понять не моцно иному! Ноне черквы божии, яко храмы закона. В них же и князь, и цесарь, и все со страхом в сердце, а в те поры не токмо не бысть страха божия, но смех, и поругания, и заушения творяху им! И вот, шли на муки! Мыслию досягнули Бога. Тако и пишу. Никола вот: в себе разумеваше, яко же и всякий человек возможет разумети в себе. Христос ведь призывал всякого, и малых и убогих, всех в лоно свое! Токмо надлежит самому ся воспитати от греховного естества своего к божественному, духовному естеству. И Спаса у нас пишут так же: грозен, но и праведен, не судия свыше, но глас веры и совести твоей!

Он поворотил другую доску, и почти завершенный новгородский Спас строго и требовательно глянул своими очами на Александра Марковича, у которого — после изъяснения изографа и того, что было паче слов и высказывалось то трепетным движением перстов, то мукою лица, то взведенными и вспыхнувшими очесами,— мурашки пошли по коже, и едва ли не впервые подумалось ему строго о том, о чем рек и живописал изограф Олипий: что верно ведь, не вослед изреченным свыше правилам и канонам, а до всяких правил и до любых канонов, перед лицом жестокой власти язычников и гонителей Христа, шли на муки святые мужи, и не в муках тех святость их и величество, а в том, что сами, не устрашаясь, поверили, приняли Господа и проповедовали Христово учение прочим людям, не слабея в вере своей и не поколеблясь духом... И того же, самосознательности, как говорит изограф Олипий, мужества самим решать и самим на себя брать ответственность за решения свои, того же требуют они, святые мужи, от всякого верующего им, от всякого христианина!

Молчал Александр Маркович, и Олипий мол-

чал, а затем, тихо задвинув икону, примолвил негромко:

— Это вот правда. А она тяжка...

Он оживился, почуяв в боярине знатока и неложного любителя живописи иконной, захлопотал, достал иную икону, Георгия Победоносца, стал изъяснять, волнуясь:

— Вот, Егория образ! Его писать и так возможно, яко рыцаря, подобно орденским божьим дворянам. Католики, те не инако и живописуют. А у нас не так, в Нове Городи! Он ведь зло истреблял, кое божьему слову не подвластно, не ради боя или там подвигов бранных, а ради добра! Ему ведь и убивать, может, не хотелось, он и не убивает змея — казнит! И с сокрушением сердца копие бранное подъемлет! Змей, аспид, он ведь души не имеет, кою можно просветить словом божьим, а яд его притекает в мир. Тако и в жизни сей: злу преграда — духовное в человеке. Каждому предстоит препоясать мечом чресла свои, побарая за правду!

— Я тамо молцял,— отнесся он к соседней горнице, где, едва слышные отсюда, продолжали спорить мужики.— Оне бают всё о земном, телесном, а нужнейшего не молвят, бо не уцёны философии суть... И ты, боярин, пото важнейшего и не постиг ныне! Вольности наши, и права и веце народное, и концянски и улицянски веча, и, паче того, училища для юных,— все сие не ради корысти одной... И корысть нужна,— торопливо перебил он сам себя,— для временного земного нужна и корысть... Но и корысть нужна до важнейшего, а тамо, в выси горней, уже и отвержет корысть душа и чистой вознесет ся горé! Дак вот и наши права-ти, новогорочкие, паче всего нужны для духовного. Дабы образ божий в человеке не утеснен и не принижен возрастал, и яко растение некое под солнцем пышно цветуще, тако же и человек, ничим не стеснен, все свои духовные навычаи развивал и ростил, сходно тем мужам святым, иже путь нам указують!

И то помысли, боярин: самая красно-прекрасная власть, пущай какого хошь праведного кесаря альбо князя, всеми добродетельми изукрашена, она уже у прочих, коим прияти власть надлежит, волю отнимет и тем, невестимо, покалечит души целовецески! А иного, слабого перед Господом, власть кесаря свободит от страха божия, от нужды отвечивати за всяк свой поступок. Злое дело некое свершит и сам ся утешит:

ето, мол, мне кесарь велел! Тому ли учил Христос, земные муки прия? Кажному уготован крест и мука крестная, и да не избежим, и в слабости не устрашимся прияти муку сию! А под властью будучи, не скажет ли иной: грех не на мне, а на князе моем? То-то!

Олипий замолчал и добавил тихо, нехотя, видно, из души прорвалось:

— И ты, боярин, гляжу, с сердцем ты и с разумом, а возможешь ли противустати воле господина своего, коли он тя на зло пошлет? Не возможешь! И никто, из сущих под властью, не возможет!.. Оне того не скажут тебе,— снова кивком отнесся он к уличанам в соседнем покое,— а серчем чуют. Пото и на смерть пойдут! Не ради ж серебра закамского головы класти...

Светало. Пламя свечей потускнело. Лики святых, на которые неживою сероватою дымкой легли первые отсветы дальней зари, угасали, будто умирая или засыпая. В окошка с холодным дуновением утренника входило зеленое светлеющее небо, и уже первые птичьи голоса и далекий шум повестили пробуждение великого города.

— Пора тоби, боярин! — сказал изограф.— Наши проводят. Скорей! Седни в городи невесть цто и створитце. Вашим и вовсе немочно тута станет!

Завернув в полотно небольшой лик оплечного Николы, написанного на плотном красном доличье, и расплатившись, Александр Маркович покинул хоромы Олипия. Его провели торгом. Коней уже заранее перегнали за городскую стену, и холопы, истомясь, ожидали своего господина ни живы ни мертвы в чаянии вот-вот расправы со стороны горожан.

— Беги, боярин! — напутствовал его провожатый. Александр из гордости тронул шагом. Холопы, толкаясь мордами коней в круп его лошади, спешили следом, тревожно оглядываясь; не пролетит ли с заборол нечаянная стрела?

Добравшись до Городца и до своей горницы, Александр Маркович, не раздеваясь, повалился на ложе. Но не успел уснуть, как за ним прибежали с криками. По дороге, от Рождества на кладбище, валила к Городцу толпа конных и пеших новгородцев с оружием и дрекольем — выгонять княжеских послов и наместника.

Толпа окружила Городец, прорвалась в ворота, и тверским боярам довелось досыти наслушаться в этот день пресловущего новгородского срамословия.

Дружину тверичей разоружили, бояр поковали в железа, разгромили анбары с товарами тверских гостей, а Бороздина с Александром Марковичем намерились было отослать в Тверь безо всего, одною душою. Досыти поспорив, им все-таки под конец воротили платье и коней и отослали прочь вместе с помятою дружиной.

Бороздин ехал, свирепо озираясь на исчезающие вдали верхи новгородских соборов, башен и теремов, изредка, для облегчения душевного, ругая вслух и город, и всех поряду новгородских вятших.

— Вот! А ты ездил баять с има! Дотолковал? Понял, что за народ?! — с горячностью спрашивал он Александра Марковича, спасшего-таки от толпы своего «Николу», которого вез теперь за пазухою.

— Понял,— ответил односложно Александр, и Бороздин, с мрачным недоумением поглядев на него, осекся.

Меж тем как битые, наспех перевязанные тверичи, в сопровождении городских приставов, пробирались по дороге на Бронничи, скорые гонцы помчались из Нова Города во все концы волости Новогородской кликать рать. Бороздин, едва избавившись от новгородских приставов, заторопился изо всех сил, мысля поднять тверские полки, чтобы изгоном захватить Торжок. Но новгородская рать уже шла за ними следом, и когда тверская, наспех собранная сила (только-только справились с жатвою) двинулась к Торжку, там их уже ожидал новгородский полк, собранный изо всех волостей и пригородов: Ладоги, Русы, Порхова. Пришла ижора, корела, весь и вожане вместе с городским новгородским ополчением и дружинами бояр. И тверские воеводы, измерив на глаз и посчитав число новгородских воев, не рискнули без князя ратиться со всем Господином Новым Городом...

Начались долгие пересылки из стана в стан, и кончили тем, что приговорили ожидать князя Михайлу из Орды. Буде он получит ярлык на великое княжение, то и новгородцы примут тверского князя у себя на столе.

Тайные гонцы тотчас донесли о том на Москву, где тревожно ждали исхода новгородских событий.

ГЛАВА 8

По наказу Юрия, княжич Иван отправился постеречи Переяславля, и в Москве из всех Даниловичей остался лишь восьмилетний Афанасий. Впрочем, за Москву, пока ее хранили Протасий с Бяконтом, можно было не бояться.

Иван меньше всего годился в ратные воеводы. Он был задумчив, богомолен, внимателен к зажитку и молчалив. Любовь покойного Данилы к делам хозяйственным передалась ему вполне, только ежели Данила лез, бывало, сам и в коптильни, и в сушильни, и в бертьяницы, отроком убегал на торг прошать купцов о товаре и засовывал любопытный нос во все щели, ничуть не обинуясь княжеским достоинством своим, Иван больше смотрел молча, издали, запоминая про себя, а коли прошал о чем — редко и не всякого, а только ближних, двух-трех бояринов да старого батиного дворского и редких, тоже пожилых, воспитанных Данилою холопов. Поэтому все знали токмо о богомольности Ивана и мало кто — что шестнадцатилетний княжич помнит все села Даниловы, знает, где какое стоит и сколь в нем скота и добра; что ему лучше, чем старшему брату Юрию, ведомы запасы и сокровища, собранные и припрятанные их родителем, и что богомольный княжич не ошибаясь мог бы перечислить, какие цены и на какой товар стоят ноне в торгу.

Мало не нарушив наказ брата, Иван и в Переяславль поехал не прежде чем окончили жатву, обмолотили и свезли хлеб в житницы. Всем этим ведали старые слуги отцовы, и Иван сам, пожалуй, не смог бы сказать толком, зачем он из рани ранней следил, стоя молчаливо посторонь, как везли хлеб, и про себя пересчитывал возы, зачем, пробираясь украдом в бертьяницу, перещупывал мягкую рухлядь и, смущаясь, прошал потом ключника, не потратит ли моль дорогих береженых соболей? В церкви, на молитве, он, и не думая о том, запоминал всякую утварь и рухлядь церковную так, что мог бы потом сказать, где что стоит и лежит. Еще в отрочестве, когда княгиня Овдотья с руганью накидывалась, бывало, на девок и мамок, потерявших какую ни то любую лопотинку, и щедро сыпала девкам тычки и пощечины, княжич Иван молча подходил сзади и, дергая мать за подол, подавал потерянную вещь. Так что иногда и сами девки сенные прошали: «Ивануш-

ко, поищи, голубок, камчатну сорочку Юрко задевал!» Или: «Сапожок пропал у Сашка красненькой, куды и сунули? Не то государыня-матушка нас прибьет!» И Иван тотчас находил просимое. Его гладили по голове, ласкали, совали то морковку, то кочерыжку или горсть вишенья, и только старая постельница князя Данилы, покачивая головой, предрекала:

— Ну, девки, етот вырастет, жизни никоторой из вас не даст! За кажну оплошку деревянной пилой пилить станет!

Юрий знал, конечно, что брат Иван в воеводы не гож, и посылал его в Переяславль только затем, чтобы знатье было: мол, московский княжич в городе, стало, и без него, Юрия, не брошен Переяславль. Наместничали там старые переяславские бояре: престарелый Терентий Мишинич с сыном Михайлом, новгородский выходец, служивший еще прежним переяславским князьям, Дмитрию Александровичу и Ивану Дмитричу; Добрыня Феофаныч, Еремей Онтоныч, Софрон и Моисей — из природных бояр переяславских. Они же должны были постеречь город и от всякой ратной грозы.

Мнительный Юрий не очень полагался на одних переяславцев, и потому в помочь брату послал еще московского большого боярина Окатия, с наказом, коли что, привести всех переяславцев к присяге и тотчас слать в Москву за подмогою.

Окатий, однако, не сумел передать весть на Москву. И о том, что под Переяславлем стоит с дружиною Акинф Великий и город вот-вот падет, узналось на Москве случаем, от прискакавшего из Весок Родионова холопа.

Вески, как и соседнее село, коее Родион Нестерович нарек своим именем, принадлежали отцу Акинфа Великого, Гавриле Олексичу, и были переданы волынскому боярину князем Данилой. Акинф пото и не сговорил с Юрием, что хотел заехать Родиона в думе княжеской и прошал воротить ему Родионовы села под Переяславлем, яко свое родовое добро.

Холоп, прискакавший из Весок, служил еще старому Нестеру на Волыни и был предан ихней семье до живота своего. Пото и вымчал без передыха полтораста верст до Москвы и уже на последних силах, прохрипев: «К Несторычу веди!» — ввалил в хоромы боярина.

— Дворский убит! — долагал он тем же часом Родиону.— Прочие в недоумении и страхе. Будешь ли, батюшко? Иные уж и передались по грехам — шкура-то одна, снимут — не отростишь...

Гонца, что оставил назади двух мертвых коней, качало. Рассказав, он начал заваливаться вбок. Родион махнул рукой — холопа уволокли под руки.

Дворский, убитый в Весках, был свой, ближний, с Волыни. Ему Родион был обязан жизнью. Пото и посадил на переяславских вотчинах, знал: не продаст!

— Ну, Акинф! — только и процедил он с угрозою.

Едва гонца уволокли отсыпаться, Родион тотчас велел кликать слуг и собирать дружину. Ключник, разглядев побелевшее от ярости лицо господина, аж вздрогнул. Переспросил:

— Всех собирать?

Родион, овладев собою, поднял холодные глаза:

— Всех! — И в спину ключнику: — Возов не берем, снедь в торока!

Он тут же послал с вестью к Протасию с Бяконтом. Бяконт растерялся было, но Протасий постиг дело мигом.

— Переяславль потеряем, всё потеряем. И батюшка князь не простит! — изрек он твердо и тотчас велел готовить запасной полк в помочь Родиону. Отослав посыльных, Протасий прикрыл глаза, подумал: «Вот оно! Грех мой, на мне грех! Неужели подошло? — покрутил головой: — Нет, не то! Нет... Еще нет...— и тут же представив себе мягкое лицо княжича Ивана, до боли стиснул зубы: — Неужели и этого мальчишку, стойно Борису, в полон отдадим? Того хоть сам Юрий Данилыч...» — недобро подумалось о князе. Нехорошо. Протасий поднялся, туже подтянул пояс. Высокий, прошел хоромы, спустился во двор, где уже ждал оседланный конь. На лестнице один из молодых кметей потянулся к нему сказать что-то, раскрыл было рот, но не решился. Протасий заметил невольное движение парня, приодержался, внимательнее взглянув, прошел и уже на дворе, сев на коня и тронув, вспомнил: батька у него в Переяславле! Федор! Знакомец покойного Данилы Лексаныча, грамоту князя Ивана Митрича, дарственную на Переяславль, еще привозил... Подозвав дворского, велел вызвать парня — «которой переяславской там!» — и отослать с полком Родионовой помочи. «Пущай батьку повидит свово! Пото и прошал, верно,

меня, да оробел», — подумал Протасий и позабыл, отодвинули иные заботы. Не грех было покрепить Москву, тверичи и сюда могли сунуться! Только вечером напомнилось вновь, хотел расспросить молодца погоднée, но в сторожах были уже иные кмети, а дворский на вопрос Протасия отмолвил, что днем еще отослал парня в полк, два часа как уже выступивший из Москвы...

Родион, едва дождав Протасьевой помочи, повел своих и Протасьевых ратников прямою дорогой, минуя Дмитров, благо по холодной поре проселки подстыли крепко и можно было не бояться завязнуть в топкой грязи осенних полей.

Лужи раскалывались вдрызг брызгами сухого слоистого льда. Подмерзшая земля глухо гудела под копытами. Шли крупной рысью. Хорошие, киевских степных кровей, сытые выстоявшиеся жеребцы легко несли седоков, приторочивших брони и сулицы к седлам заводных коней. Сам Родион тоже скакал верхом, презрительно отвергнув предложенный было дворским крытый возок. «Лишь бы успеть! Скорей! Скорей! Скорей!» Под конями стонала дорога.

ГЛАВА 9

За двором лежал труп убитого Родионова дворского, что дерзко не похотел поклониться Акинфу. Сейчас он был весь плоский, похожий на старое платье. Акинф не велел убирать тела — для острастки прочим — и теперь, выйдя во двор, едва вспомнил о мертвеце, и то по рычанию собаки. Бродячий пес, свирепо и трусливо взлаяв, посунулся в кусты — шерсть дыбом, подобранное брюхо, — одичало глядя на Акинфа, вздрагивая и не переставая рычать, ждал, когда отойдет человек. Пугни — прыгнет и зальется тоскливым воем, закидывая морду. «Нать прибрать, што ли...» — подумал Акинф. Утренняя злость уже угасла в нем. Он повернулся, пес за его спиной снова прыгнул к трупу.

— Эгей! — позвал боярин и кивком, не оборачиваясь, приказал унести мертвеца.

Доверенный холоп, по кличке Злыдень, заменивший покойного Козла (тоже когда-то уходил с ним вместях из Переяславля ко князю Андрею), подошел сзади, помялся, сожидая, когда Акинф поворотит к нему лицо.

— Тож не спитце? — спросил Акинф добродушно. Злыдень посопел в темноте, поморгал глазами, сказал с хрипотцой:

— Дозволь, Окинф Гаврилыч, в Криушкино сгонять!

— Почто?

— Красного петуха дружку старому нать пустить!

Акинф глянул вприщур на хищную морду Злыдня. Усмехнулся. Отмолвил без злобы:

— Охолонь. Михайло-князь не Андрей. Он ентова не любит. Думать надоть! Да и тебе тута жить самому. Всех попалишь, сам куда денесси? Ты ево, дружка-то, лучше сперва попужай, а после лаской... Деревню хошь получить? — спросил Акинф, и Злыдень, даже в темноте видать было, аж покраснел от вожделения.— А штоб тя мужики попалили в той деревне, хошь? — продолжал Акинф.— Ну вот! А ты — петуха... Нам и Переяславля бы зорить не стоило, да людей не удержишь. Ну, а мы с тобой тоже внакладе не останемси! Кто тамо, в городи, из княжичей, Иван Данилыч? Вота на ево голове с московлян окуп и возьмем! Из утра поезжай до Купани, ратных нет, дак и до Клещина проскочи. Да смотри, не балуй у меня! Внял?!

Холоп обиженно хмыкнул, полез назад, в хоромину.

Акинф стоял, думал. День был хлопотной. На заре изгоном захватили окологородье, разоставили сторожу по дорогам. Кое-кому и в Переяславль была подана весть. Може, в ину пору и ворота открыли бы, как знать! Да Юрий не дурак, вишь, брата послал за себя. Теперича, должно, московиты людишек в осаду забивают...

Давеча, ополдни, проехал до Гориц, зашел к настоятелю. Свой был монастырь! Сколь вкладов они с родителем-батюшкой подавали на помин души! Суетливый настоятель выбежал с ахами да вздохами: «Воротились! Акинфу Гаврилычу!» Захлопотал об угощении... А он сидел, развалясь, рассеянно постукивая по столу кончиками пальцев в дорогих перстнях. Вдруг почувствовал, что уже и устал, и годы не прежние... Милостиво выслушивал многословную настоятелеву лесть. Знал, что на мал час нахлынуло такое, что сей же миг разом встанет... да вот уже и позвали! Поднялся, рассеянно кивнул на прощание. Зять Давыд стоял в дверях палаты, торопил. Вышли на снег. Кони перебирали копытами. Пока вдевал ногу в стремя, пока всел в седло, подъехал старший сын Иван. С Горицкой

горы Переяславль лежал как на ладони. Издали, мурашами на белом снегу, видать было, как конная рать обходит город. Что-то вспыхивало вдалеке, белый в морозном воздухе подымался дым.

— Гляди, Иван! — весело сказал Акинф сыну.— Наши-то, а? Уже под самым городом!

— Посад жгут, што ли? — спросил Иван, вглядываясь из-под руки. От молодого снега слепило глаза. Над черной, еще не застывшей осередке громадой озера подымался пар.

— Ничо им не поможет! — отмолвил Акинф.— Завтра, послезавтра ли примет сделаем, и коли сами ся не передадут, возьмем город на щит. Я бы и седни! Да слушок есть — откроют ворота!

Тотчас за монастырскими воротами к нему стали подъезжать дружинники и гонцы от старшин передовых отрядов. Подскакал воевода левой руки. Акинф окинул его разгоряченное лицо и, отвердев голосом и взором, изрек:

— Повести ратным! Возьмем город — на три часа позволю зорить! Пущай зипунов добудут себе. Веселее станет на валы лезти!

Отослал воеводу, и вспомнился вновь родитель-батюшка, что десять летов назад, на смертном одре, велел ему перекинуться ко князю Андрею. И как угадал покойник, царство ему небесное! Не выстоял Митрий Саныч! Служить надо сильному. Сильный сейчас — князь Михайло. Михайло хоть и ровен, а видать, покруче Андрей Саныча, да и поумней. «Пожалуй, не прогадаю и нынче!» — подумал Акинф. А поднесет он Михайле Переяславль да вотчины воротит свои... «Сынов уж пристрою тогда! Ивана в свое место, в думу княжую. Федюху... того ищо оженить нать!»

Перемолвив с зятем Давыдом, Акинф отослал его на правую руку, велев перейти Трубеж и стать в Никитском монастыре, замкнув кольцо осады. Сам начал объезжать окологородье, примериваясь, где ловчее примет приметывать. Подумалось было, что с озера, да молодой лед на Клещине показался и тонок и слабоват. Не ровен час, не искупались бы кмети!

До вечера, разоставляя дозоры, двигая полки, все ждал Акинф добровольной сдачи города. Да нет, видно, передолили-таки московляне. Ну что ж, сами себе на беду деют!

В потемнях уже Акинф воротился в Вески. Все ж

таки его озаботило маненько. Спать бы сейчас самая пора, а не спится! Либо уж излиха устал? И то верно, шутка — с утра в седле!

Холопы ушли. Давно уже уволокли и убитого, а Акинф все стоял, кутаясь в долгий дорожный вотол, все смотрел и смотрел в далекую отревоженную тьму. Узкая зеленая полоса яснеющей зари уже отделила небо от земли, но не прогнала еще ночных теней. И Акинф, на мгновение прикрыв глаза, втянул сырой острый запах озера, и вспомнилась вдруг далекая, из младости, поездка их с отцом туда, за озеро, в Княжево-село, и тогдашние отцовы слова: «Волга... широко... простор». А и здесь простор! И никуда и не надо больше. Вот была и Волга, и степи, и Орда, стольный Владимир, Городец и шумная Тверь,— всё, почитай, было! А теперь: отбить Переяславль и вернуться в отцовы хоромы, и сидеть в Весках да глядеть на озеро, на далекий Клещин-городок на той стороне... Да ездить на службы в Горицы, принимать поклоны настоятеля и всей братии монастырской. И — чего больше! И умереть в своем терему. При сынах, при добре, в спокое... В почете от князя свово... Он повел плечами: ну, до старости далеко еще! Отец на восьмом десятке умер, и он не мене проживет! Утренний ветерок холодил лицо. Акинф прищурился, представил, как въедет в Переяславль сегодняшним вечером. Поежился, громко позвал слугу.

ГЛАВА 10

Федор вышел на крыльцо, пошатываясь от слабости. Прошел к сараю. Молодой снег, выпавший за ночь, осветлял двор.

Под жердяным навесом дремали лошади. Из сенника слышался храп старого Яшки-Ойнаса, литвин до глубокого снега все ночевал при конях. Вздыхали коровы. Овцы серою грудой сонно ворочались в загоне. Дворовый пес неслышно подошел сзади, молча, мало не испугав, ткнулся носом в руку хозяина, вильнул хвостом, зевнул и, свесив уши, ушел обратно досыпать свои песьи сны. Федор запахнул плотнее овчинный зипун, поворотил от сарая и остановился, вбирая ноздрями морозное дыхание предутреннего ветра. Прямо

перед ним был мягкий обвод соломенной кровли, тын, за которым смутнели избы деревни и дальний лес, неровною грядою замкнувший окоем с той стороны, куда уходили дороги на Ростов и Владимир и дальше, в далекую Орду, и где уже яснело, бледнело и зеленело небо, как будто с ночною темнотой уходящее ввысь от земли.

Родимый дом! Здесь вот, на этом же месте, стоял его высокий терем, спаленный Козлом, терем, которому нынешний только-только что по плечо; а еще прежде был отцов дом, широкий и низкий, из которого Федор выбирался младенем и топал ножками по колкому первому снегу...

Отсюда отец ушел к Раковору и не воротился домой. Отсюда ушла замуж за углицкого купчика сестра Опроська да и пропала потом невестимо в ордынском плену. Здесь он делился с братом Грикшей, что сейчас на Москве, в монастыре Даниловом. Здесь, уже в этом, последнем доме умирала мать. Отсюда уходил он в далекие пути в Новгород и Владимир, молодой, жадный до неведомых земель и больших городов. Отсюда потом отправлял сына в Москву, к брату. Сын теперь служит у тысяцкого Протасия. Рослый сын, выше батьки вымахал! Давно чегой-то вестей не бывало от ево... Здесь была у него та, далекая кухмерьская любовь... Такая далекая уже, что словно и не было ее, а так, во снях приснилось...

Как рвался он, молодым, вон из родимой избы! И вот было все! Были города, языки и земли; служил он двум хорошим князьям, честно служил, до последнего часу. И рати водил, и не робел на борони. Добыл почет и зажиток. Видел Новгород Великий, город своей детской мечты. Все повидал, что просила душа! И возвращался каждый раз снова сюда, в Княжево, в родимый дом, а когда и на родимое пепелище! В этот дом привозил он добро, сюда привел когда-то первого холопа, захваченного на борони, этого самого Ойнаса-Яшку. Сюда же привел и жену Феню. И теперь, когда годы пошли под уклон, что осталось ему от походов и странствий, что добыл он в далеких путях? Ничего, кроме этого дома, что стоит на родовой земле покойного родителя, зарытого невестимо где, в чудском краю, на чужбине. Крытый соломою дом, и кони, и овцы в хлеву. Старый Ойнас, такой же старый теперь, как и он, Федор. Да пашня за домом, что надо взорать по весне

и вырастить рожь. И, может быть, приведет ему Бог лечь в эту землю, с матерью рядом, на отчем погосте, близ родимого дома, отчего дома своего...

С острой радостной болью понял он сейчас, как все это любит, и потому стоял, ежась от легкой дрожи, медлил и длил мгновения тишины. Будут день и заботы, воротится болезнь, что треплет и треплет его, почитай, вторую неделю, будут ворчание, и попреки жены, и служебные тяготы, нынче вовсе ставшие неинтересными Федору, и закружат, и отодвинут посторонь эту боль и эту любовь... А сейчас... только сейчас и можно стоять, и дрогнуть, и смотреть, как яснеет небо и меркнут звезды и как кровля родимого дома все четче и четче вырезывается на утренней заре.

За изгородой послышались сперва скрип приближающихся саней, затем топот и храп коня.

— Эгей! — донеслось с улицы.

— Кого Бог несет? — недовольно отозвался Федор.

— Не спишь?

Теперь Федор узнал по голосу знакомого мауринского мужика Тимоню и подошел к калитке.

— Беда, Михалкич! Окинф с ратью к городу подошел! Невестимо и как!

— Где?! — выдохнул Федор.

— Уже у Гориц стоят!

Вот оно. Чего ждал, чего боялся все эти годы. Подошло. И, как на грех, занедужил! Да беда николи вовремя и не приходит... Ну что ж, Окинф! Померяемся с тобою напоследях! И Козел, верно, с ним, опеть хоромы на дым спустит!

В доме послышалось шевеление. Феня, раскосмаченная со сна, в криво наброшенном платке, зевая во весь рот, выползла на двор. Завидев за изгородой чужие сани, исчезла.

— Дак я погоню, Михалкич! — договаривал Тимофей.

— Не зайдешь?

— Недосуг.

— Куда правишь дале-то?

— Теперича в Кухмерь, а оттоле в Купань!

— Ин добро.

Феня, уже прибранная, подошла с квасом.

— Благодарствую, хозяюшка! — бросил Тимофей, торопливо опорожнив посудинку. Он почмокал, подби-

рая вожжи, послышался охлест и удаляющийся торопливо конский топ.

— Куды зовут опеть? — ворчливо спросила Феня.— Недужного в спокое не оставят!

— Окинф под городом, мать! Ты вот што: собери укладки да серебро. Счас, до свету, и зарой, худа б не было. И с хлебом, Яше накажи...

Федор сперва было намерился ехать в Переяславль верхом, да, почуя противную слабость в ногах, велел Якову заложить Серого в санки. Он круто срядился, прихватив саблю, бронь, татарский лук, топорик и каравай хлеба. Наказал, где и как прятать добро, привлек на миг Феню, что молча уродовала губы, дружески кивнул Ойнасу и выехал со двора еще в серых предрассветных сумерках. На полном свету Федор был уже у городских ворот Переяславля.

Еще от Никитского начали ему попадаться торопливые встречные возы, иные шарахались прочь в испуге — видно, бежали из осады. В воротах творилось невообразимое. Месиво людей и лошадей с гомоном, истошными бабьими воплями и ржаньем колыхалось из стороны в сторону. Чей-то конь, как был, в оглоблях и хомуте, встал на задние ноги, мало не приздынув повозку, и рвался, храпя и роняя пену с оскаленной морды. Ратники, чужие,— видать, москвичи,— с копьями и саблями наголо, загоняли толпу в ворота, а люди рвались наружу, с матом и воем прорываясь сквозь строй озверелых дружинников. Федор, сцепив зубы, встал на колени и, разогнав Серого, врезался в толпу. Ополоумевший ратник схватил было Серого под уздцы, но Федор, обнажив саблю и пригибаясь лицом к москвичу, проорал:

— Отдай, гад! Развалю наполы!

Тот отпрянул растерянно, и Федор вломился, хлеща наотмашь по конским мордам и людским головам, в низкие ворота, с треском и хрустом проехал по чьим-то саням и, вырвавшись в узкую, запруженную народом улицу, кнутом проложил себе дорогу к Красной площади. Тут тоже творились бестолочь и суетня, но люди были свои, и Федор, перемолвив с двумя-тремя, уже знал, что творится в городе. Заведя тяжко дышащего коня во двор молодечной, он проник боковым проходом в княжеские терема и, расталкивая холопов и молодших ратников, отправился искать боярина Терентия.

Терентия Мишинича Федор нашел в столовой палате, в толпе своих и чужих, видно, московских, бояр, что шумели и спорили, стойно смердам на площади. Бросилось в глаза растерянное лицо юного княжича Ивана, затолканного и забытого боярами. Федор поклонился княжичу, прокашлялся. Тут Терентий завидел Федора, и Федор спросил у него нарочито громко, чтобы слышали все:

— Сдавать град Окинфу не надумали?

— Ты што!— едва не замахнулся на него боярин.

— Я ништо. А в городи молвь такая. У ворот кто?

Из толпы выдвинулся незнакомый московит в дорогом опашне с надменным лицом. Глянув скользом на Федора, гневно вопросил Терентия:

— Ето почто тут?!

— Уйми людей, боярин!— с угрозой сказал москвичу Федор и, еще возвыся, спросил:— Почто моих ратных убрали со стен?! А ты — повидь, што кмети твои творят в воротах, опосле прошай!— кинул он через плечо московиту. Боярин пошел пятнами, задохнулся гневом, приздынул было кулаки, но юный княжич, что-то поняв наконец, схватил его за рукав и начал торопливо успокаивать. Федор, глаза в глаза, молча вопросил Терентия, тот, едва заметно поведя бровью, качнул головой: уйди, мол, от греха!— и сам, потянув Федора за собою, пошел к дверям палаты.

Уже за дверями старик достал цветной плат, отер вспотевшее лицо:

— Осрамил ты меня! Ето ж Окатий, большой боярин московской!

— С... я на его!— возразил Федор.— Прикажи немедля моих людей на ворота вернуть, не то города не удержим!

Терентий Мишинич вдруг улыбнулся весело:

— Прости старика, Федя! Перепали маненько тута все!

Подошел Михаил Терентьич. Кивнул Федору, как равному, вопросительно поглядел на отца. Терентий тут же велел ему вернуть переяславских дружинников к воротам, а московитов поставить охранять терема. Михаил хотел было спросить еще что-то, видно, про Окатия, по велению коего в воротах были поставлены вместо переяславцев москвичи, но не спросил, махнул рукой, побежал исполнять отцовский приказ.

Терентий Мишинич вышел с Федором на заборола:

— А мне баяли, хворый ты?!

— И сейчас недужен!— отмолвил Федор сурово.— По мне, боярин, вот што: Гаврилыча постеречи не грех, и Онтонова сынка с Еремеем. Те-то, доброхоты Окинфовы, не открыли бы ворота отай!

— Уже послано, Федя,— сказал Терентий Мишинич негромко и оглянулся, не услыхал бы кто.— На то моя старая голова еще сгодилась!

Они поглядели друг на друга, и Федор, оттаивая душой, слегка улыбнулся тоже. Нет, не предаст он старика, как не предал в свою пору покойного князя Ивана Митрича!

— Ступай, Федя!— сказал, помолчав, Терентий.— Наведешь порядок в воротах, ворочайси назад. Мыслю, без тебя вести Протасию передать не мочно. Дороги перегорожены все!

Федор воротился в терема через два часа с большим синяком под глазом. Коротко доложил, что народ успокоен, улица очищена, и городовым воеводам воля забивать в осаду слобожан из рыбацкого окологородья, благо озерные ворота свободны и Окинфовых ратных тамо покамест нет. Долагал он в стольной палате, перед лицом московского княжича, напряженно и неловко застывшего в княжеском кресле, и бояр, что уже не толпились, как давеча, посередь палаты, а чинно сидели по лавкам, кто с любопытством, кто со скрытою улыбкою поглядывая на Федора. Утренняя сшибка его с Окатием, видно, не прошла даром.

Терентий отнесся к княжичу и, получив от него разрешающее наклонение головы, вопросил Федора, сумеет ли тот пробраться мимо Акинфовых застав гонцом от княжича Ивана на Москву? Окатий тут не выдержал, тоже подал голос, предлагая послать с Федором кого ни то из московских ратных.

— Ни! Никово не нать!— твердо отмолвил Федор.— Я один пройду, а с иным и пропасти мочно. Конь надобен добрый и сани.

Бояре зашевелились. По палате рябью прошла говорка, и Федор услышал спрошенное вполголоса одним из московитов: «Верный?» Осуровев лицом, он повернулся к вопрошателю и громко, гася улыбки бояр, отмолвил:

— Мне с Окинфом не сговорить! В те поры, как он к Ондрею Санычу перекинулся, я сотню людей у ево увел!

И грамоту на Переславль от князя Ивана Митрича привозил я!

Княжич Иван вопросительно поглядел на бояр, и Терентий Мишинич медленно и веско утвердительно наклонил голову. Тогда Иван, порозовев, приподнялся и звонко сказал Федору:

— Можешь идти!

Федор вышел на площадь. У него вновь, как схлынули напряжение и гнев, ослабли и задрожали ноги. Он остоялся, морщась, стараясь справиться с собою. Без мысли следил, как из собора выносят кресты и толпа ратных и горожан начинает присягать на верность московскому князю, обещая не предатися в руки врагу.

Скоро его вновь позвал к себе Терентий Мишинич, изъяснить словесно, что и как надобно передать Протасию. (Федора, опасу ради, посылали без грамоты.) Терентий, наказав все, помолчал, глянул просительно. Федор понял, сказал:

— Пущай смеркнет! На свету все одно изловят меня, стойно глухой тетере. Мне нынь час мал поспать бы...

Старый боярин захлопотал, сам провел Федора в небольшую изложницу, и Федор с блаженным облегчением повалился на овчины и вытянул ноги. Как оно поворотится нынешней ночью, схватят его или сумеет он уйти от Окинфовых застав,— все это отодвинулось посторонь. Сейчас Федор хотел только одного: спать.

Он проснулся будто его толкнули. На дворе были сумерки, и Федор на мгновение испугался: не проспал ли он? Прислушался к себе. В теле была отвычная легкость, и в голове чуть-чуть звенело — видно, отступила болесть. Выходя, он столкнулся с Терентием. Старый боярин сам шел будить Федора. Конь, и сани, и припас — все было готово уже.

— Ну, Федюша, Христос с тобою! Не выдай смотри! — напутствовал его Терентий и перекрестил на прощание.

— Удержитесь тута три дня!— деловито отозвался Федор, забираясь в сани.

Меж тем как нарочито выпущенные из осады вместе с ним два горицких мужика подняли переполох в Акинфовом стане, Федор сразу свернул влево и хорошей рысью проскочил до раменья. Лишь тут его заметили и

пустились всугон. Теперь надо было только не оплошать. Спасло его то, что он знал все проселки как свои пять пальцев, а сторожа была, видать, из тверичей и далась на обман: заманив их в частолесье, Федор оторвался от погони, круто свернул знакомой тропой, по которой в зиму возили сено, а вдосталь попетляв по перелескам, загнал сани в непролазный ельник, выпряг коня, наложив на него приготовленные седло и сбрую, и, бросив сани на произвол судьбы, начал черколесьем и оврагами выбираться к московской дороге. Теперь он одного лишь боялся: как бы и там не напороться вновь на изгонную Акинфову рать.

Земля подмерзла, но снегу было чуть. Конь с хрустом топтал валежник, и топот одинокого всадника далеко разносился окрест. На пригорках Федор останавливался, прислушиваясь. Ночь уже переломилась, и нужно было очень спешить. Сменного коня он мог добыть только в боярском селе под Радонежем.

Федор совсем уже было решился выбраться на прямой путь и скакать в опор, когда, подымаясь по склону, заслышал со стороны московской дороги смутный гул, какой бывает от проходящего коневого стада или большой толпы. Проскочив поневоле открытую поляну, Федор резко остоялся, уже в самой опасной близи от дороги, и замер. Он стоял за кустами, сдерживая дыхание, и молился лишь, чтобы не заржал конь. Вдоль всей дороги шевелилась рать. «Свои али тверичи? — гадал Федор, всё не решаясь выступить из кустов.— Коли тверичи, пропаду. Догонят». Холод, не столько от ледяного ветра, сколько от страха, заползал за воротник. Помог счастливый случай. Один из ратников, грубо ломая кусты, отошел от своих и, почти на расстоянии протянутого копья от Федора, начал мочиться. Дождав, когда затихло тоненькое журчание струи, Федор окрикнул негромко и возможно деловитее:

— Эгей, москвич ле?

Ратник ругнулся, шатнувшись в кустах. Не видно было, но чуялось: шарит отставленное оружие.

— Не шуми, друже!— перебил Федор, не сожидая, когда тот закричит.— Я тута один. Чьи вы?

— Чего тоби?!— заполошно вопросил наконец ратник.

— Родионовы, што ль?— повысил голос Федор.

— Ну-у-у!— протянул ратник.

Федор кожей чуял (уже шли от дороги), что ежели...

ежели сейчас... Только сейчас он еще мог удрать, да и то выложив из коня все, на что тот был способен.

— Протасья, тысяцкого, нету ли? — спросил Федор, как в воду кидаясь.

— Ратны еговые с нами! — помедлив, отозвался дружинник.

— Позови кого ни то! — сурово потребовал Федор.— Дело есть! Сюда созови! — крикнул он вслед, и сам тихонько начал пятить коня. Скоро во тьме замаячили верховые, затопотали кони.

— Кто-е тута?! — грубо окликнули из толпы.

— Москвичи?! — вновь требовательно вопросил Федор. Холодные ветви, прогладив по щеке, заставили его вздрогнуть. («Пропал!» — подумалось где-то внутри.)

— Ты-то чей? — отозвались те, подъезжая.

— Переславской! — возразил Федор. «Все. Теперича не выбраться будет!» — решил он и, решив, охрабрел. Сам торнул коня, подъезжая.

— Кому тута Протасья нать? — недовольно произнес один, и по голосу учуялось — боярин. И все еще было неясно, не обманывают ли его.

— От княжича Ивана! — бросил Федор, как в ледяной омут въезжая в круг оступивших его людей и коней.

— Грамоту давай! — потребовал боярин.

— Грамоты нету,— отмолвил Федор, и вновь нехороший холодок прошел у него по спине (не поверят!). Москвичи, верно, подумали то же самое, потому что боярин жестко потребовал:

— Тогда вали за мной! Саблю отдай, ради всякого случая!

Лишенный сабли, Федор совсем оскучнел. В лицо его из московских бояр помнил один Протасий, а его-то как раз и не было. Да тут еще кто-то из ратных, спрошенный со стороны, у него за спиной вымолвил весело:

— Тверского доглядчика пымали! К набольшему ведем!

Боярин, оглянувшись, позвал:

— Эй! Кого ни то из Протасьевых покличь! Повести тамо, в полку, може, знают? Как звать-то тебя?

— Федором! Федор Михалкич я, старшой городовой дружины переславской! — торопливо отозвался Федор.

— Ну, где ты тамо старшой, ето мы вызнаем! — отчужденно возразил боярин. Совсем стало зябко

Федору. Подумалось: «А ну как и воеводе не доложат?» И вдруг молодой и не сразу узнанный голос окликнул его из темноты:

— Батя?!

Ратник прянул к нему, и уже в следующий миг, поняв, что перед ним сын, Федор (разом как отпустило в черевах) посунулся встречь, и они, с коней, бросив поводья, обнялись и долго не выпускали друг друга из объятий.

— Батя, батя! — повторял, как маленький, Мишук, а Федор молча мял его плечи и трясся, отходя от прежнего страха.

Меж тем, как только Мишук узнал отца, строй москвичей разрушился, все затолкались, сбились в кучу, задевая стременами, боками и мордами коней, затолпились округ Федора, заспрашивали,— тоже, видать, ждали, что чужой и враг, и теперь уже торопили, гомонили разом:

— Из Переславля! Из Переславля гонец! — шорохом потекло по дороге. И уже какие-то бояре, хрупая валежником, пробирались к нему прошать, вести к набольшему, разузнавать, как там, в городе, который — грехом подумывали иные — не взят ли уже тверичами?!

Федор оторвался наконец от сына и уже с решительною переменою в голосе, в полный зык бросил подъехавшим:

— К Родиону Несторычу веди!

Родион сидел на складном ременчатом стуле, напоминая рассерженного Дмитрия Солунского с древней иконы. Уставясь холодными глазами в лицо Федору, выслушал, кивнул и, не меняя выражения лица, велел накормить и наградить гонца.

Федор, отойдя прочь и тут уже приняв опять отобранную давеча саблю, поежился,— вчуже почуял Родионову злость и не позавидовал Акинфу.

За ночь московские полки подтянулись ближе к Переяславлю и, не входя в соприкосновение с тверскими заставами, остановились в лесах. Родион велел дневать, не разжигая костров, и не показываться. К вечеру он вызвал Федора.

— Сумеешь нынче ночью моих людей провести до города? — Он требовательно глядел на переяславца и, видя, что тот медлит, нетерпеливо добавил: — Двоих!

— Двоих проведу,— сказал наконец Федор. Родион кивнул удовлетворенно.

...Под городом им пришлось бросить коней и последние два перестрела пробираться ползком. К счастью, и тут обошлось, только уже когда было до своих рукой подать, сторожевой крикнул заполошно:

— Кто?!

— Не ори, дурень! Федор я!

— А енти? — спросили из темноты, недоверчиво разглядывая скуластые морды двоих киевских торчинов: Сарыча и Свербея, поднявшихся за спиною Федора.

— Со мною. От Родиона Несторыча посланы. Московская рать подошла! — проговорил он, быстро подходя и рукою отведя нацеленное на него лезвие рогатины: — Чо, не узнал ле?!

— Прости, Михалкич! Свят Господь! — перекрестился ратник.

— То-то что Господь! — возразил Федор, тут только почуяв, до чего он устал за эти полтора дня.— Громче бы кричал, нас бы, глядишь, и похватали под городом Окинфовы холуи...

Терентий Мишинич с Окатием не спали оба и тотчас, обрадованные, вцепились в Родионовых посыльных. Федор подоспел как раз вовремя. Минувший день прошел в переговорах и конных сшибках, а из утра сожидали приступа всею Акинфовой ратью, и, сметя силы, воеводы уже не надеялись долее удержать города.

ГЛАВА 11

Утро встало морозное, чистое. Все уже было готово к приступу, и Акинф, досадовавший в душе, что дал переяславским воеводам лишний день на укрепление города, отдал приказ полкам изготовиться к бою. В двух местах к городской стене уже был сделан примёт из бревен и хвороста, и, озря из-под ладони деловитую поспешливость и четкий строй своих полков, Акинф остался доволен. Он разослал вестоношей с приказами и сам в блестящем панцире и граненом посеребренном шеломе во главе личной дружины начал спускаться с горы, держа в руке воеводский узорчатый шестопер.

Зять Давыд, разгоревшийся на холоде, румяный, подскакал, поехал бок о бок, чему-то смеясь. Давыду Акинф вручил вчера воеводство правой руки и сейчас приветно улыбнулся, покивав перьями шелома. Давыд ускакал вскоре к своему полку.

Ратники шли ходко, предвкушая добычу. Уже не завтра, сегодня, еще до вечерней зари, въедет он в свой — теперь уже свой! — город, подумалось Акинфу, и это была последняя сторонняя его мысль перед боем.

Начали подъезжать и отъезжать гонцы от разных полков, уже у ворот началась свалка: московские воеводы, видать, решили выйти в поле и принять бой у городских стен. «Вот дурни!» И Акинф тут же велел стрелкам несколько отступить (чтобы дать возможность противнику вывести своих ратных), а кованой коннице передвинуться (дабы потом нежданным ударом отсечь москвичей от ворот).

Скоро крики ратных с той и другой стороны, посвист стрел и конское ржанье наполнили воздух — начинался бой.

Акинф шагом ехал, в сопровождении знамени и дружины, продолжая следить и отдавать приказы. Уже полезли по приметам на стены, уже вышедшие из города москвичи вспятили, и Акинф готовился ринуть наперерез им кованый полк, когда к нему подомчал ратник с побелевшим лицом и кругло вытаращенными от ужаса глазами. Акинф, нахмуря чело, не успел еще понять и взять в толк, о чем тревога, как сзади, с Горицкой горы, излилась, раскрываясь веером, конная сверкающая лава и донесся далекий грозный зык: «Москва-а-а!»

У Акинфа невольно вздернулась десница — перекрестить лоб. Он всего ждал, только не скорой московской помочи. «Остановить! — вспыхнуло в мозгу.— Как, чем? Кем?!» «Давыд!» — крикнул он в голос и, опомнясь, пихнул вестоношу:

— К Давыду скачи! Пущай повернет полк встречу! Скорей!

«Что еще? Убрать ратных с приметов, поворотить!» Акинф отослал новых гонцов и, коршуном, окинул поле: «Кованую рать ко мне!» (Лишь бы успел Давыд!)

Вот на правой руке началось движение, вот, вытягиваясь нестройною чередою, все быстрее и быстрее Давыдовы кмети поскакали встречь московлян. «Ужли не остановят?» — тревожно подумал Акинф и, кинув последний взгляд на городские ворота, поворотил дружину встречу вою, треску и грохоту, что валом катил от Гориц. Полки сшиблись, и все, что створилось дальше, стало уже не сражением — убийством.

Родион, швыряя удары впрямь и вкось, пробивался

к тверскому знамени. Акинф рычал по-медвежьи, грозя воеводским шестопером, гнал вспятивших ратников опять и опять, заворачивая пляшущего скакуна. Давыд, врубившийся было в полк московлян, погибал. Смятый строй его дружины прорвала кольчужная конная лава Родионовых кметей. Новая волна переяславцев, излившись из городских ворот, с неслышным в грохоте и стоне сшибающегося железа ревом разверстых глоток, ринула в сечу, уставя копья. Пешцев гнал перед собою боярин, тоже с разверстым над сбитою ветром бородою ртом, тоже с оперенным шестопером в руках. Плотная толпа вокруг Акинфа редела, уже отдельные москвичи прорывались сквозь нее, и дважды уже Акинф, рыкая, вздымал шестопер и гвоздил им по вражеским головам и конским оскаленным мордам, отшибая от себя врагов. Он продолжал медленно пробиваться в сторону Весок, надеясь тут собрать своих, и если не победить, то хоть отступить в порядке, не теряя всей дружины. Только вот Давыд, Давыд! Как скажешь дочери, что бросил зятя в беде, спасая свою голову, как посмотришь в глаза и дружине Давыдовой? На миг показалось было, что счастье повернулось к нему: у переяславцев, что наступали, случилась какая-то замятня, а из леса прихлынули к нему пробившиеся от Никитского ратники. Взыграв духом, Акинф бросил их всею кучею на выручку Давыда. Но наспех сплоченная, уже дважды разбитая и усталая дружина, налетев на Родионовых воев, как расшиблась о них. Кони, закрутясь, пятились, строй распадался, как разъятый сноп. Акинф сам бросился в сечу, и сплоченные им ратники сдавили было московлян. Но тут из засады вылетел плотно сбитый остатний Родионов отряд и врезался в еще не порушенный строй тверичей, и разом что-то произошло назади, у стен: какой-то пожилой переяславский ратник в простой кольчатой броне остановил вспятившее ополчение и повел его снова в бой, и хитро повел — ратные крупно пошли, сбиваясь кучей, уставя и уложив копья на плечи друг другу, ощетиненным гигантским ежом наваливаясь на тверских конников, тут же поваливших назад. Акинф слишком поздно понял, что пропустил миг, когда еще можно было вырваться и искать спасения в бегстве. Последнее, что сделал он, это, бешено озрясь, схватил за плечо стремянного и, прокричав тому прямо в ухо: «Сынов, сынов спасай!» — пихнул холопа в мятущуюся толпу своих и чужих, конных и

пеших, крутящихся в сумасшедшей рубке людей; и тот, полураскрывши рот, выпученными глазами ткнувшись в глаза боярину, понял, кивнул и, прикусив губу и прижмурясь (понял, что оставляет господина на плен или смерть), ринул под клинки и мимо клинков, увертываясь от молнийно падающих сабель, уходя от скользящих острых копейных тычков, увеча бока и губы коня, ринул туда, туда, и снова туда, и все-таки туда, и с промятым шеломом, весь в кровавых подтеках и ссадинах под кольчугою, на ополоумевшем, обезумевшем коне, вырвался наконец из сечи, пройдя сквозь Родионову рать (помогло, что не в боярском платье, не то бы не уцелеть), и поскакал заворачивать, уводить остатки прижатого к озеру тверского полка, где оставались оба Акинфова сына.

Выпихнув стремянного, Акинф, созвав остатних людей, обрушился в лоб на Родиона. Он был уже весь мокр под панцирем и хрипло дышал, когда прыгающий хоровод людей и коней вдруг разорвался перед ним и он увидел прям себя усатое оскаленное яростное лицо самого Родиона, уже с полчаса изо всех сил пробивавшегося к Акинфу. Сабельный клинок, проскрежетав, скрестился с шестопером. Кони вставали на дыбы и шли кругом. Акинф не видел, свои ли, чужие вокруг, он уже понял, что перед ним Родион, и сам обрадовался тому: обидно быть взяту простым ратником! Он с новой, облегченной яростью вздел шестопер, норовя обрушить на голову врага, но, утомленная боем рука подвела или Родион оказался проворнее,— вся сила удара упала на подставленный щит и пропала впустую, только щит треснул, лопнула красная кожа и раскололось серебряное навершие щита. Родион шатнулся в седле, но тут же, извернувшись, как рысь, косо рубанул, тяжелым клинком проскрежетав по железу. Лопнули завязки панциря, отскочила одна из пластин оплечья, и лезвие со скрежетом прочертило зеркальную сталь. От удара у Акинфа враз онемело плечо. Он бросил коня грудью на врага, с яростью чувствуя, как ослабели пальцы, что допрежь твердо сжимали шестопер. И все же превозмог и, с болью во всем предплечье, вновь поднял оружие, но не поспел, и новый Родионов скользящий удар проскрежетал теперь по шелому и сорвался над грудью Акинфа, слегка зацепив бровь и щеку. «Не сдамся псу!» — подумал Акинф и, зверея, ринул коня, норовя грудью жеребца сбить Родиона на землю. Родионов конь, одна-

ко, устоял, шатнувшись, отбросил многопудовую тяжесть окольчуженного скакуна и облитого железом боярина, а Родионова сабля вновь взмыла ввысь и, миг повисев в воздухе, стремительным скользящим извивом устремилась вниз. На этот раз Акинф успел подставить шестопер, но не удержал, не послушалась рука, и получил удар, мало не в лицо, своим же, выбитым из рук шестопером. Паворза лопнула, и оружие, вертясь, полетело под копыта коней. Акинф, рванув повода, поднял скакуна на дыбы, заслонясь от очередного удара, и успел выхватить из ножен висевшую на луке седла, про запас, дорогую бухарскую саблю, с рукоятью в гранатах и бирюзе, с узорчатой надписью по клинку, которую не любил в бою за легкость, но теперь как нельзя пригодившуюся в беде. Лезвия скрестились в смертном танце увертливой стали, но Родион бил сильнее, а Акинф, уже с хрипом и бульканьем выбрасывавший воздух из запаленных легких, не поспевал отбивать удары слабеющей рукой. Все это творилось очень недолго, но Акинфу казалось, что он бьется с Родионом не меньше часа, и уже что-то как надрывалось в нем, когда чужое копье, видно, кого-то из Родионовых кметей, жестко ударило в бок, видимо, повредив кольчугу под панцирем, потому что под одеждой почуялось мокрое, льющееся по телу. Акинф был почти рад скорому концу сечи (о смерти он как-то не думал) и, теряя стремя, заваливаясь, успел только одно подумать еще: доскакал ли стремянный и успели или нет уйти сыновья?

Последний удар Родиона, в который тот вложил всю силу руки и всю скопившуюся ярость своего гнева, пришелся вновь на обнаженное от панцирной скорлупы ожерелье Акинфовой кольчуги, и кольчуга не выдержала, в разошедшиеся кольца под режущим натиском стали ключом хлынула алая кровь. Гикнув на расступившихся ратных, Родион, чуть не в один миг с Акинфом, свалился с коня прямо на распростертое тело великого тверского боярина. Вцепясь в бороду Акинфа, порвав завязки шелома, запрокинул тому подбородок и, обнажив широкий нож, вонзил его в белеющее, с выпяченным кадыком, горло. Кровь ударила струей в грудь Родиону, оросив ему всю кольчугу, и паркий запах человечьего мяса ударил в нос, а он все кромсал и кромсал хрустящие позвонки, пока наконец не отделил Акинфову голову от тела, и встал, шатаясь, не понимая

еще толком, что содеял. Свои ратные, обалдев, смотрели на него с коней. Никто не ожидал убийства, и стремянный растерянно держал еще аркан в дрожащей руке — думал, господин станет вязать по рукам великого боярина тверского (какой выкуп пропал!). Озрясь, Родион, вздрогнув весь от острого смысла того, что створил, крикнул, свирепея: «Копье!» И тотчас несколько копий услужливо протянулось к нему. Он поднял тяжелую голову Акинфа, с маху насадил ее на копье и, отдав копье стремянному, полез, пошатываясь, в седло. Утвердясь в стременах, он, не глядя, принял копье с головой Акинфа из рук слуги и, подняв его над собою, с седла оглядел поле. Сеча продолжалась, но уже и заканчивалась. Акинфовых стягов нигде уже было не видать. От города валом валили переяславцы. Подскакавший вестоноша радостно крикнул: «Давыд убит!» — и, ткнувшись глазами в голову на копье, разом строжел лицом. Родион, прихмурясь, тронул коня встречу подъезжавшим переяславским боярам. В толпе дружинников мелькнуло лицо Свербея, что оставался в городе, и осклабилось ему издалека в приветственной улыбке. Еще назади, где-то там, продолжался бой, и Родион, оборотясь к подъехавшему дворскому, велел повернуть половину дружины всугон.

Скоро переяславцы окружили толпою своего московского спасителя. Родион подъехал к знамени, спешился перед княжичем Иваном и, сумрачно глядя тому прямо в лицо, протянул копье с нанизанной на нем головой Акинфа.

— Вот, княже, моего местника, а твоего ворога голова!

Княжич Иван растерянно отшатнулся, не сдержав невольного ужаса от повисшей на острие косматой ноши, а тяжелая темная капля, упав с копья, впечаталась в изрытый копытами снег, и многие из остолпивших княжича, невольно оторвав глаза от отрубленной головы Акинфа, проводили глазами ее смертное падение. И Федор, что как раз, отирая пот, подъехал к толпе воевод, увидел дрожь княжича, не знающего, что ему делать со страшным подарком, и угрюмые лица бояр, которые — кожей учуялось сейчас — все подумали одно: хоть и Акинф, а такого не надо бы! И Федору еще подумалось, что хорошо, очень хорошо, что не он убил великого боярина Акинфа, и очень плохо для Родиона, надругавшегося над супротивником своим. Будут

теперь, с молчаливым укором, обходить его в думе великокняжеской, станут сторониться и в совете, и на пирах,— ежели созовут на пир,— ибо не как свой поступил он с поверженным врагом. А Акинф Великий,— несмотря на давешнюю измену князю Дмитрию и нятье Бориса в Костроме, несмотря на все неприятства и злобы, несмотря даже и на нынешний его набег на Переяславль,— несмотря ни на что, Акинф был все-таки свой.

ГЛАВА 12

Дары полагались по обычаю. Кони, серебро и ловчие соколы, иноземное сукно и бархат из западных стран, меха соболей, куниц, бобров и пятнистых рысей, тонкое полотно урусутской земли, под которым тело не потеет даже в самую сильную жару, и пьяный мед в легкой берестяной посуде, кованые чаши и отделанные серебром кольчатые струящиеся брони, не поддающиеся клинку, какие могут выделывать только одни урусуты. Дары всем: ему, его эмирам, царевичам дома Чингизова, нойонам, темникам, нукерам, что стерегли ханский шатер. Дары были богаты и обильны. Он осмотрел подарки того и другого урусутского князя, остался доволен. Потом были уйгурские купцы и тибетский лама, с лекарственным порошком из корня женьшень и сорока различных трав, растущих в горах.

Вечером Тохта прошел в юрту молодой хатуни. Лицо ее, на фоне разбросанных кос, белело, как молодая луна. Мерцали глаза. Медленно она проводила его ладонью по своему лицу, мягкими, как губы новорожденных жеребят, влажными губами трогала один за другим его пальцы. Тохта смотрел на нее прищурившись. Тело отдыхало. Он думал.

— А правда, что у урусутов, у всех, даже у князей, только по одной хатуни? — спросила молодая жена.

Тохта задумчиво усмехнулся. Помолчав, спросил негромко:

— Ты хотела бы стать христианкой?

— Ходить с тобой в урусутскую церковь? — живо отозвалась она, даже привскинулась на кошме, пытливо вглядываясь в размытое темнотою лицо своего повелителя. Разочарованно протянула: — Ты же тогда

меня оставишь! У тебя будет одна жена, старшая, или та, византийка! Больше урусутский бог не велит! Оставишь, да? — повторила она вопросительно и с дрожью в голосе, с тайной надеждой ошибиться, вся потянувшись к нему змеиным, бегучим движением молодого тонкого тела.

Тохта глядел на нее и сквозь нее, сузив глаза. Пахло кошмами, кожей, ароматом тлеющего сандала в курильнице, молодым и здоровым телом жены, тонким, пронизывающим все, привычным запахом конского пота, горьковатым дымом кизяка оттуда, снаружи юрты, и запахами степи, чуть слышными запахами трав, запахом сухого емшана, томительным, как воспоминание...

Напомнилась опять серая, пыльная и грязная от присохшей крови старческая голова Нохоя, великого Нохоя, что когда-то смещал ханов, который заставил его, Тохту, убить своих братьев и зарезать эмиров Телебуги... Кто из этих двух князей будет новым Нохоем на Руси? Наверно, тот, рыжий, московский князь Юрий, который захватил Переяславль. Христианский бог слаб, он не может помирить урусутских князей друг с другом...

Тохта отвернулся от хатуни, встал, вышел из шатра в наброшенном на плечи чапане под холодные звезды, к бессонным нукерам, что дремали, опершись о копья. Мела мелкая ледяная пыль, нерасседланные кони за шатрами беспокойно ежились, переминались с ноги на ногу.

Там вера арабов, а тут вера христиан. И еще другая вера христиан, о которой толкуют послы франков. И все спорят, и каждый зовет к себе. И есть своя вера, в которую никто не зовет, вера отцов, вера великого Темучжина, покорившего мир.

Там, на востоке, за много недель пути, лежит мунгальская степь, про которую песни и сказания, «голубой Керулен, Золотой Онон» — коих он никогда не видал! Урусутский поп в золотой ризе или мусульманский суфи в чалме... Или прав племянник Узбек с его мусульманами? Или права Гюль Джамал, что хочет с ним одним делить кошму, и потому согласна ходить в урусутскую церковь?

Пахла степь. В режущий холод ветра вплетался неистребимый запах емшана. Горьковатым дымом несло от кизячных костров. Запах сандала, чужой, прихотливый, остался там, в юрте. Степной пронзительный ветер

леденил лицо. Небо чуть-чуть посветлело. Перистые прозрачные облака протянулись оттуда, от не видной еще, но уже скорой зари.

Великий каан урусутов, Владимир, имел много жен. Что же, он выгнал их, когда крестился в греческую веру? Жен выгнал или отдал другим, а детей оставил у себя? Этого не бывает. Этого и не может быть. Просто стала греческая жена главной среди всех жен, так же как и у них, монголов. Жена не может быть одна у батыра. Тем более у хана!

Бог арабов разрешает иметь сколько хочешь жен... И все-таки урусутский бог был чем-то ближе, точно так, как князь Микаил был чем-то ближе, чем тот, другой, Гюргий, который раздает дары без счета и льстит всем и каждому.

Нет, таких, как он, должно остерегаться. В час беды они погубят все. Лучше пусть Микаил, которого выбрала земля! На сильного можно опереться в борьбе...

Два тумена, два отборных тумена мунгальской непобедимой конницы послал он Баяну в Синюю Орду, чтобы выгнать Куплюка. Почему Баян, даже с помощью его туменов, не сумел воротить свой улус? Тому ли он помогает, кто действительно храбр? Почему Хайду, из мунгальской степи, поддерживает Куплюка против Баяна и против него, Тохты? Почему он должен слать послов в далекий Египет, сговариваясь с султаном против монголов Ирана? Великое одиночество окружило его в степи! Где ныне Темучжиново девятибунчужное знамя? Чужая вера — отрава душных городов. Он должен вернуться в степи! Туда, на реку Яик, в свой новый город Сараиль-Джадит! Там сделает он столицу Золотой Орды! И пусть урусуты возьмут себе коназа Микаила. Сильный поможет в борьбе! В конце концов, даже для того, чтобы получать серебро, нужна твердая власть в Русском улусе! Правда, сильный никогда не будет рабом. С сильным можно дружить и нельзя повелевать ему, как Баяну...

Кизячною горечью чадили костры. Беспокойно переминались кони. Великое одиночество реяло над степью. Бледною зеленой полосой, обозначившей край неба, начинался рассвет.

ГЛАВА 13

Медленно ползут вести по земле. И сюда, в бежецкие леса, весть о гибели Акинфа Великого еще не дошла. Он был тут еще живой, и о нем говорили и думали как о живом.

Степан с крестьянской основательной неторопливостью передумывал вновь и опять Акинфовы прелестные речи: бросить монастырь и перейти под его сильную руку, благо тверской князь наградил великого боярина тутошними землями, и Степану Прохорову, говорил он, не нужно будет даже и росчисти своей бросать, ни избы,— просто заложиться за Акинфа, и уже ему, а не монастырскому келарю возить положенные кормы и дани...

У Степана была давняя обида на монастырь. А боярин еще разбередил ему душу: вспомнил покойного родителя-батюшку, Прохора. Вспомнил и то, что батюшка с отцом Акинфа, Гаврилой Олексичем, в походы хаживал... Обещал боярин и в Переяславль, на родимую сторону, воротить Степана, когда тверской князь Михайло сядет на владимирский стол. Много чего пообещал боярин! Всего и не перечесть... Не чинился, не чванился — за одним столом сидели, из одной чашки хлебали: великий боярин и мужик.

В облетевшем лесу было сквозисто и просторно. Степан примерился и ладным косым ударом глубоко погрузил секиру в звонко крякнувшее, подстылое дерево. Потужась, вытащил лезвие и в два удара повалил лесинку. Высокий ствол, качнувшись, косо пошел вниз, обламывая ветви. Степан легко надавил ладонью, чтоб осинка легла как надобно, прикрикнул на лошадь, что от гулкого удара упавшего дерева прянула в оглоблях и замотала мордою, норовя сорвать привязь, и приступил к следующему дереву. Береза, не облетевшая до снегов, в желтой листве, стойно горящая, ярого воску свеча, мягко наклонилась и скорей, скорей, восшумев кроной и осыпая сухие оснеженные листья, рухнула в свой черед на ломкий осенний малинник... Разгоревшись от работы, распахнув зипун на груди, Степан рубил и рубил, и едва опомнился, сообразив, что нарублено излиха уже и конь того не вывезет! С сожалением глянув на другоряднее обреченное было топору дерево, он, подкинув в руке, перехватил секиру ближе к лезвию и пошел к коню, топча хрустящие от морозца травы, чувствуя,

как от лица, от всего разгоревшегося тела пышет теплым паром в холодный и звонкий, чистый, как родниковая вода, осенний воздух лесов.

И все — пока рубил, пока подводил коня и конем надергивал стволы берез и осинок в одно место, на росчисть, пока наваливал дрова на волокушу и затягивал двойным, петлею, крепким узлом,— все думал, так и эдак ворочал в голове зазывные слова боярина.

Так бы — чего не жить! Монастырек был маленький, убогий, и Степана прижимали не очень. Оно бы, гляди, и легче было жить за монастырем, чем за боярином... Но обида не проходила. Та, прежняя, давняя, когда Степан с Марьей, с замученными детьми, с грудным, что был при смерти, с замученною коровой, на отощавшей лошади впервые спустился с угора в эту тихую долину к бегучей светлой воде. Спустился, ведя под уздцы почти обезножевшую кобылу, и думал, что пришел в место нетронутое, ничье, и обрадовался, и мечтал, что заново и наново, ото всех вдали, начнет тутошнюю жизнь, и как неслышно появился монашек из кустов, чтобы сказать, что здешняя земля — монастырская. Монашек тот, что мог бы, пожалуй, и помирить Степана с обителью, скоро умер, а обиды той, давней, Степан так и не простил. И когда после пришел сюда Наум с Птахой Дроздом и срубили избы себе ниже по ручью, и когда переселился сюда бежецкий мужик Окиша Васюк и образовалась деревня в четыре двора и Степан уже стал старостой надо всеми, и когда забогател и обстроился и народил и вырастил детей,— все одно злобился Степан на монастырь, не мог, да и не хотел себя переломить.

Потому и дался так легко на уговоры боярина, получившего от князя Михайлы землю под Бежецком, обещал передатися к нему под руку всей деревней, и сам перешел и иных мужиков уговорил на то. Дорого стало, что вспомнил боярин тату покойного, Прохора, что с отцом Акинфа, тоже покойным, Гаврилой Олексичем, да с князем Лександрой ратовал когда-то; дорого стало, что самому Степану можно было наконец решать за себя. И — растаяло Степаново сердце. А еще ведь обещал боярин воротить его в Переяславль, да не просто, а с прибытком. Ладил, видно, отбить город от московских князей, хоть и не баял о том прямо, а вот из ихних мужиков увел же старшего сына Васюкова;

видно, затеял дело нелегкое! Отбил ли ноне? — гадал Степан.

Он спустился под горку, к речке, что еще не вся замерзла и журчала, полуодетая светлым, припорошенным инеем льдом. Конь, осторожно обмакивая копыта в ледяную воду и фыркая, сперва заостанавливался в оглоблях, натягивая хомут на уши, потом, решившись, с маху, единым духом, подняв веер брызг и битого льда, вымчал груженую волокушу через брод, на ту сторону, так что Степану, вскочившему на воз, не пришлось и ног замочить. Добрый был конь нынче у Степана!

Здесь, от берега, и начинались его владения. Отселева и до той вон горушки, где под лесом вот уж которую осень ровно стояли голубые овсы, и вверх до горок, и за горку еще, на росчисти, где сеял он рожь и ячмень. Здесь же, у самой реки, на пойме, взорали они с Марьей огороды для лука, капусты и репы. И, глядя из-под угора на чисто убранное, ровно подымающееся к дому, сейчас припорошенное первым снежком поле, с трудом уже вспоминал, какое тут было дикое разнотравье. А там, выше, где стоит ноне изба Степанова (из старой сделали баню), и сарай, и анбар на высоких столбах от хорей, куниц и всякого иного жадного к человечьим запасам зверя, и тын тянется вкруг рубленых клетей, там, сразу, и начинался дикий боровой лес, и первые дерева он оттоле вон, с горки, помнится, катал, с той самой, где нынь ячменное поле и где сейчас, едва видные отсель, стоят суслоны сжатых хлебов. Хлеба нынче богатые, хватит и на монастырь, и на себя, и еще, поди, продать мочно станет... То уж ближе к Пасхе, на вёсну следовает быть...

Теперь бы и терем срубить не грех, стойно батюшкову, да не для еких мест терем-от! За сорок перевалило Степану, заматерел, сила есть и сыны возросли, а что-то потянуло на родину... И тутошнее не оторвешь! Своими руками ить кладено! Разбередил душу Степанову боярин Акинф!

За десять летов всякое перебыло с ними. По первости едва не померли голодною смертью. К первой весне дети, жена стали — страшно глянуть. Посеять яровое помог монастырь, а там и озимое возросло, что осенью сумел раскидать Степан, едва взорав лесную затравенелую землю. До сих пор нет-нет и вспомнят, как первый раз, после кореньев да липового корья, сели они есть — свою! — овсяную кашу и как, пока дети

сосредоточенно работали ложками, Марья ушла в куть и там молча тряслась от рыданий. Мужик ел с детьми, и худые, провалившиеся ключицы двигались, как кости живого мертвяка, и сухой кадык ходил на страшной, высохшей шее. Она поглядела, да и не смогла вытерпеть, добро, саму себя не видала в те поры...

Дальше уже полегчало. Степан, чуть прибавив мяса на костях, въелся в работу свирепо. Отцовская наука, память о том, переяславском, их доме, богатом и сытном, о чести и достоинстве, которые всю жизнь сопровождали его отца, Прохора, и что всего более ценилось в их семье,— эта память помогала Степану не опуститься, не стать таким, как иные, что, уйдя в леса, начинают жить звериным обычаем, жрут сырое мясо, дичину, почитай и хлеба не сеют, а живут в лесных заимках, где и очага нет, а только костер на земляном полу да над головой плоская кровля из грубо накиданных бревен, прикрытых землею и мхом. Конечно, и охотою промышлял! Ставил силья на глупых куроптей, бил рогатиною сохатых и медведя не пораз брал на ту же рогатину Степан, хоть и страшен был большой косматый зверь.

Но вот, на третье лето, срубил Степан вместо той, первой, крытой накатником, добрую избу с высоким потолком, где можно было уже сидеть, разогнувшись под пологом серого клубящегося над головами дыма. На печь натаскал дикого камня, ладная получилась печь. Заслонки, коими заволакивались узкие, в одно бревно окошки, к восхищению сыновей, усмехаясь, покрыл узором. Уже и близняшки подросли, стали ладными парнями, отцу помощниками в работе, и пироги завелись, и корова стояла, облизывая телка, и бычок гулял свой, третьелетошний, не стало нужды водить корову за тридесять боров, в Загорье, где было большое село и целых три быка ходили в стаде. И конек рос, и Марья, у которой вновь налились плечи и поднялась грудь и опять залоснилась кожа (а в те-то поры была страшная, серая), как-то, зарумянев лицом, призналась Степану, что тяжела ходит. А разрешившись дочкой, через лето принесла паренька и опять девку, и нынче в зыбке вновь качался горластый паренек, и шестигодовалая дочка нянчила малыша. И кони уже стояли, и коровы, и овцы... И соседи, что подселились (Васюка, того монастырь переманил), сами уважали Степана, как

некогда уважали его отца на селе, в далеком Княжеве. Да, впрок пошла Степану отцова выучка! И встань теперь с далекого, затерянного где-то на Дубне погоста старик отец, встань старый Прохор поглядеть на своего младшего Прохорчонка, был бы доволен родитель-батюшка. В отца пошел сын, доброго кореня добрая отрасль взошла!

Тут бы и жить! Счас бы и жить-то! Но помнились ночами синие дали Клещина; иногда, просыпаясь, словно неясный шум озера слышал, тогда мотал головою, натягивал выше овчинный потертый тулуп... Порою, глядючи на сынов, вспоминал, что сам и грамоту когда-то ведал, еще и ныне наскребет, поди, несколько знаков, а они вот, стойно медведям, и города николи не видели. В Бежецкой Верх пораз только и возил, дак и то рты пораскрывали, народу показалось невестимо сколь. А што Бежецкой Верх перед Переяславлем! И обида не проходила. На монастырь обида. А теперича вот Окинф Великой улещал... Ладно, воротитце ищо!

Переяславль! Княжево, село ихнее... Кто тамо и жив остался? Федора матка с има была... А Федор где-та? Поди, в Переяславли опеть! Да уж ему не противу ли Окинфа ратовать придет? Коли живой! А поди, и не живой... Митрия-князя уходил тогда Андрей, дак и дружину егову, почитай, всю порушил... А как Федюха-то тогда в Новгород хотел, в Великой... Попал ить! А може, и жив той поры? Поди, и места нет, знатья, где отцова изба стояла, в Княжеве-то!

Шагом поднялся на горку. Въехал во двор. Сын встретил, бросился распрягать, заводить коня, и второй тут как тут у волокуши. Степан только кивнул, показал, куда свалить дрова, прочее парни сами сделают. Пошел в избу.

В избе сидел гость, по платью видать — городской. Ожидал его, Степана. Марья, приветливо улыбаясь, поставила чашку с кислым молоком на стол, нарезала хлеба, походя качнула люльку, чтобы не пищал малый. Степан скинул зипун, обтер влажную бороду и усы, крякнул, уселся, тогда уже оборотил к гостю, присматриваясь: словно бы и не встречал раньше-то? Гость тревожно ерзал. Как только Степан поднял на него глаза, проговорил торопливо:

— От Ивана Окинфича я!

— Иван-от — Окинфа Гаврилыча сынок? — спросил

Степан. Гость кивнул, намереваясь еще что-то сказать, но Степан, указав на ложку и хлеб, перебил:

— Поснидай сперва!

Ели молча. Марья, поставив на стол горячую кашу, отошла, спрятав руки под передник. Сожидала, когда насытятся мужики. Со двора доносились мерные удары двух секир — парни рубили привезенные отцом дрова. Шестилетняя дочурка тихонько зашла, достала малыша из зыбки, села на припечек, стала тытышкать, любопытно поглядывая на гостя в городском суконном зипуне и востроносых, тонкой кожи, сапогах. Наконец Степан отвалился от горшка, положил ложку, обтер усы тут же поданным Марьею рушником и вопросил гостя, тотчас же торопливо отложившего ложку и хлеб:

— С чем посылыват Иван Окинфич?

— Дак вот,— начал тот и почему-то сбился, вспотел даже,— как Окинф Гаврилыч тута говорил... Думашь ли заложиться за ихню семью?

— Почто не сам Окинф Гаврилыч прошает? — возразил Степан, которому,— хоть он уже и решил с тем про себя,— что-то совсем не нравилось поведение городского гостя.

— Окинф Гаврилыч...— повторил тот,— Окинф Гаврилыч,— сказал он растерянно,— волею божиею помре. На рати убит. Под Переяславлем!

— Так! — отмолвил Степан. И повторил, помедлив: — Та-а-ак...

Он сидел, не в силах сразу обнять умом то, что произошло. Сыны вошли в избу, веселые после работы, и тут, услышав от матери нежданную весть, со враз построжевшими лицами уселись на лавку, глядя то на отца, то на гостя, принесшего дурную весть. Степан молчал. Только лицо его каменело и складка между бровей становилась глубже и глубже. Думал. И когда уже гость, потерянно глядя на него, нерешительно протянул руку к шапке, сказал:

— Отмолви Ивану Окинфичу, что я слова свово, еговому батюшке даденного, не переменю. Как порешил задатися за Окинфичей, так пущай и будет!

Уже вечером, уже когда проводили гостя, договорив о данях, кормах и прочем, уже разбирая постелю, Марья не утерпела, спросила-таки:

— Как ноне, без Окинфа Гаврилыча, с монастырем-то быть, Степанушко?

Степан, разматывавший онучи, помолчал, в пляшу-

щем свете лучины глянул неулыбчиво и, вздохнув шумно, в полную грудь, отмолвил:

— С монастырем Окинфичи сладят, тут друго дело: сладили бы с Москвой!

ГЛАВА 14

Талый снег искрился под радостным солнцем. Летели, припадая к лукам седел, княжеские вершники. Запряженный шестериком кожаный расписной окованный серебром возок стремительно нырял, ниспадая и возносясь на взъемах дороги. Кони, дико оскаливая зубы, взметывали мордами, клочья белой пены летели с удил.

Человек, что полулежал в возке, рослый, подбористо-сухощавый, с богатырским разворотом широких плеч и крутыми взбегами намечающихся пролысин по сторонам лба, с умными широко расставленными глазами, был великим князем Владимирской Руси. Золотой,— как звали еще Русь Киевскую,— или Великой, или, скоро скажут, Святой Руси... Он был им недавно, а спроста рещи, стал им только вчера, после того, как под колокольные звоны владимирских соборов был торжественно возведен на стол великокняжеский престарелым митрополитом Максимом. Вчера было богослужение в Успенском соборе, стечение толп народных, вчера владимирские бояре целовали крест новому великому князю, вчера были встречи и здравицы, нечаянные слезы матери, вдовствующей великой княгини тверской Ксении Юрьевны (мать обещала быть за ним днями), вчера читались ханские, данные Тохтою, ярлыки (положенные сейчас в ларец, окованный узорным железом, эти драгоценные свитки с русскими и уйгурскими знаками, с серебряными печатями при них, и золотом наведенная пайцза, врученная ему Тохтою, и деловые пергамены о купцах, госте тверском и иноземном, о торговле через Орду с враждебной татарам Персией, и послания прочим князьям Руси Великой, отныне подручным ему, и ханская грамота Господину Великому Новгороду, и заемные письма бухарцев, коим задолжали в Орде,— все они ехали вместе с ним, молчаливым грузом власти и забот, быть может, более тяжких, чем сама власть). Вчера творился пир до поздней ночи и упившихся гостей слуги выводили под руки, бережно провожая до опочивален, а сегодня, мало соснув на самой заре, новый великий князь торопится домой.

Вершники, подскакивая и припадая к лукам седел, летят впереди. Неутомимо и стремительно работая ногами, шестерка широкогрудых гнедых коней несет невесомый для них расписной и осеребренный великокняжеский возок. Брызги тяжелого весеннего снега из-под копыт, словно крупные градины, равномерно ударяют в кожаный передок кузова. Летят попарно вслед за возком стремительные татарские кони молодшей дружины. Летят встречу и мимо лапистые ели, оранжевый частокол боров и бело-розовые вспышки берез по сторонам пути. Летят, проносясь, мартовские голубые снега, летит круглое солнце, дробясь и сияя в снежном серебре. Поезд великого князя владимирского скачет в Тверь.

Князь полулежит, прикрыв глаза. Он отдыхает после бессонной ночи и трудного, преизлиха отягощенного событиями вчерашнего дня. Думать он себе запретил до Твери, и все-таки, сквозь набегающую дрему, неотвязно и настойчиво думается. Даже не мысли, образы встают перед полуприкрытыми глазами. Лицо Юрия. (Юрий воротился из Орды раньше, и это одно уже достаточно плохо!) Непроницаемое лицо Тохты. (Кто ему этот несомненно умный монгол? Друг или враг? Чего хочет от него Тохта? Что разрешит и чего не позволит князю владимирскому верховный хозяин Русского улуса? Не затем ли отпустил он Юрия прежде, чтобы тот успел укрепить Переяславль и Москву?!) Сейчас все тверские бояре потребуют от него немедленной мести за Акинфа, и никто, ни единый из них, не задумается: можно ли, не зная мыслей Тохты, подымать рать на Юрия? Какое у Тохты гладкое, какое бесстрастное лицо! Власть он ему вручил... Власть ли вручил ему? И теперь Новгород... Он представляет себе новгородские соборы, как глядишь на них с лодьи, от Городца, видит детинец, Великий мост, лодейную тесноту и толпление людское по берегам... Сердито размыкает очи. Плохо поворотилось с Новгородом! И еще хуже, хуже всего, переяславский погром. Акинф! По телу непроизвольно проходит горячая волна бешенства. Он сжимает было кулаки и тотчас сковывает себя: нельзя! При слугах, при печатнике, что важно охраняет ларец с грамотами и преданно смотрит в лицо господина своего... И все же — Акинф! Таких ошибок нельзя даже и прощать! Но кому теперь не простить, когда Акинф с Давыдом убиты? Детям Акинфа? Смешно! И вновь встает перед глазами загадочное лицо

Тохты. Друг или враг? А сам я друг или враг ему?! Данник не может быть другом! Не лукавь. Не знаю. Это честнее. Ну, так что же ты хочешь от него? Свободы! Не так! Чего ты можешь хотеть? А это уже не по совести. Он дал тебе власть! По праву. Он мог отринуть право и вручить власть Юрию. Зачем? Почему невозможно, чтобы просто, в поле, наедине, он и Тохта сказали друг другу правду? И что тогда? И какую правду сказал бы ты Тохте? Тридцать четыре года — вершина жизни и мужества. Ум зрел. Телесные силы и силы духа в полном цвету. Время действовать. Время главных свершений твоих и главного дела жизни твоей. Спеши! Годы — что кони, и их не воротишь назад. Так кто же ему Тохта?! И кто он Тохте? Уснуть. Не думать. Не думать, не думать до Твери!

Точно в детстве, когда катишь на санках с горы, виляют полозья на раскатах. Тело, когда сани ухают вниз, на миг становится легким: вот-вот полетишь. Слышно, как заливисто кричит возница, вращая в воздухе, над конскими спинами, мелкоплетеный ременный кнут: «Эге-гей! Соколы мои-и!» Крупные градины талого снега равномерно и глухо ударяют в кожаный передок возка.

Тверь встречала великого князя колокольным звоном. Михаил, надумавший было въехать в город в возке, при виде чернеющих толп людских, звонкими кликами приветствовавших показавшийся на владимирской дороге княжеский поезд, раздумал, приказал остановить и подвести верхового коня. Пока слуги летали с приказом, он, вылезши из возка, стоял, слегка поводя плечами, с удовольствием расправляя затекшие члены, вдыхая свежий, чистый ветер родной Твери, и весело озирал поля, деревни, Волгу, переметенную снегами, и свой город, не вмещающийся в венце стен, изобильно выплеснувший слободы и посады сюда и в заволжье, к Тверце, и в ту, невидную отселе, затьмацкую сторону. Вдалеке посвечивал, венчая город, золотой шлем родного, своего Спасского собора, который они когда-то закладывали с матерью, сейчас уже такого привычного, что без него, без этой светлой точки,— первой, когда издалека, подъезжая, покажется Тверь,— уже нельзя и представить себе родимой стороны! Невидные отселе птицы — разве что (князь прищурил свои на диво зоркие очи) словно тонкая пыль порою мелькает в лазурной синеве — вьются

сейчас, ширяясь в потоках воздуха над главами храма, висят, касаясь носами крестов, и, повисев, отлетают, относимые ветром, и кружат, распустивши крылья, словно листья, облетающие с осенних дерев... Нигде нет такого прозрачного ветра! Нигде не дышится так легко!

Вдали радостно били колокола. Скакали встречу вершники, обвязанные праздничными полотенцами, словно на свадьбе. И при виде их вспомнил жену, Анну, сердце дрогнуло сладкой истомой. Заждалась! Дети, наверно, подросли... Он стоял, чуя сквозь тонкие сапоги влажный холод снега, и все было радостно, и то, что слуги замешкались с конем, не рассердило сейчас. Обочь дороги, проваливаясь в рыхло подтаявший снег, бежали какие-то люди, с румяными лицами, веселые, кричали. Завидя своего князя, стали срывать шапки и махать ими. И Михаил, улыбаясь им, слегка помахал рукою в ответ, принял повод (уже подвели коня) и, не глядя, привычно проверив кончиками пальцев, ладно ли затянута подпруга, вдел ногу в круглое стремя и взмыл в седло, не тронув подставленного плеча стремянного.

Легкой рысью Михаил тронул вперед, и за ним, удерживая на натянутых поводьях рвущихся в бег коней, возничие повели княжеский возок, и дружина, умеряя конский скок и вытягиваясь мерною чередою, тронула вслед за князем.

Толпа густела. Вот уже не отдельные молодые посадские, выбежавшие за три-четыре поприща встречу своему князю, а плотная литая громада горожан оступила дорогу, сдавив собою череду наряженных всадников. Конь Михаила стриг ушами, гнул лебединую шею, всхрапывал и косил, сторожко выискивая копытами узкую полоску дороги, еще свободную от переступающих человечьих ступней. В сплошном радостном кличе тонули даже голоса колоколов, и Михаил точно плыл над толпою по воздуху, неслышный в криках граждан, посвечивая алым круглым верхом опушенной бобром шапки. Струящийся с плеч князя соболиный опашень открывал красные, отделанные золотым кружевом сапоги. В перстатых рукавицах зеленого шелка, с широкими раструбами, тоже обшитыми золотою кружевной бахромой, он легко держал поводья. Порою, перекладывая их в левую, правой рукою, подымая ее над головой, он махал людям, и крики разом становились еще гром-

че. То и дело, прорывая строй ратных, тянулись к нему смерды, ремесленники и купцы. Чьи-то руки трогали за сапоги, за седло, за края опашня. Кричали:

— Здравствуй!

— Здрав буди, княже!

На то, чтобы так проехать ополье, миновать Владимирские ворота и по главной улице добраться до своего терема, ушло, без малого, три часа.

Тут тоже рядами выстроились встречающие. От ворот до крыльца были расстелены сукна, и Михаил, спешившись, пошел по ним, узнавая знакомые лица, улыбкой, мановением длани или наклонением головы отвечая на приветствия бояр и челяди.

Благословясь у епископа Андрея, что с дарами встретил князя у крыльца, Михаил начал подыматься по ступеням. Усталость, было нахлынувшая на него от утренней многоверстной встречи, исчезла, когда он увидел наконец сияющее и ждущее лицо супруги в венчике белого убруса под темно-синим платом и рожицы сыновей, что, принаряженные, стояли рядом, держась ручонками за бархатный материн подол, и уже ждали, чтобы хоть мимолетно коснуться отца, когда он, торжественный, будет проходить на сени. Легко и пружинисто всходил он по ступеням терема, слегка вскидывая голову, помолодев ликом, так, как подымался когда-то, пятнадцатилетним юношей, после неудачной войны с Дмитрием, как возвращался после съездов и путей, после того, как вместе с покойным Данилою остановил рати Андрея под Юрьевом, после Владимирского и Переяславского снемов... И все то был один долгий путь к этому, нынешнему восхождению, когда он наконец подымается по этим ступеням главою Владимирской Руси!

Потом было богослужение в соборе (епископа Андрея, принимая благословение, просил зайти для беседы). Был пир на сенях и клики дружины. Князь почти не пил, ибо готовился к приему гостей — бояр, купцов и послов иноземных. От столов — в думную палату. Отношения с зятем Юрием Львовичем Волынским после смерти сестры становились все холоднее и уже тревожили. Нынче волынский князь надумал поять за себя полячку и, слышно, вовсю ликуется с латинскими попами. Не ведает, что творит! Пото и с епископом Андреем (сам литвин, должен понимать!) Михаил сразу, без околичностей, заговорил о самонужнейшем сейчас:

проповедании веры православной среди ордынских и литовских язычников.

— Почему католики столь успешны? Они и в Литве, и в Орде, и в Цесареграде они! Несите вы слово о Господе! Яко древлии мнихи! Почто не ходят? Ходят! Мало! И не проповедуют слово божие вперекор латинам! Нет! Мало веры! Мало убеждения!

— Истреблены суть философы нашея земли! — сурово возражал Андрей.— Мало людей книжных. Киеву ноне конечное запустение наступает. Волынь... Ростов?

У Михаила едва не вырвалось: «Тверь!» Но не сказалось слово. Подумал: «Прав Андрей!» Хоть и привечает он мужей, умудренных книжному знанию, но не створилось еще нового Киева, не створилось даже и Ростова из Твери. Что-то в деле сем есть такое, чего не достигнуть ни серебром, ни милостью княжою, а токмо преданием и долгими годами старины...

— Некрепки в вере и сами смерды Русской земли! — говорил Андрей, строго глядя в широко расставленные, тяжелые и пронзительные глаза князя, на его начавшие обозначаться залысины в темных, слегка вьющихся волосах.— Букву, но не дух приемлют меря, чудь, весь и Литва, служат Господу яко идолам, молебны яко требы творят! Вскую темным сим словеса божественная, надобен пример и время. Годы и годы. Быть может — века! Католикам проще. Прелесть латинская в букве суть. О сем непочто много и глаголати...

Михаил, все так же пронзительно глядючи, слушал епископа не прекословя, но Андрей, начав отвечать князю в твердой запальчивости правоты, все более начинал чувствовать, что тот прав и с горем надобно признать, что не стало должного отпора латинам в землях православных, ниже и в самом Цареграде кесарском... Помедлив, спросил сам о том, что тревожило его как служителя: кто заменит ветхого деньми митрополита Максима, когда придет его час?

— Митрополит еще не умер! — возразил Михаил и вспомнил дрожание старческих рук старого Максима. Воистину, надлежало и ему подумать о восприемнике! Русь должна иметь своего духовного главу. И с новым пронзительным вниманием оглядел он Андрея: не он ли? И что-то сказало: «Нет!» И Андрей, утупив очи долу, тоже отрекся от невысказанного. Осторожно предложил в восприемники владимирского игумена Ге-

ронтия. Об этом намекала давеча и Ксения Юрьевна, государыня-мать. Не вместе ли надумали? Мать в последние годы уже не во всем и не всегда оказывалась права, как, с горем, убеждался Михаил, для которого Ксения долгие годы была не только матерью, но и заменяла отца, советуя и направляя в делах господарских. Геронтий! Ну что ж... Как еще взглянет зять! И русских епископов как еще в одно соберешь... Михаил встал, прямой, стремительный. Литва нависала над самым Олешьем, мусульмане умножались в Орде. Без веры (и без вероучителей добрых) не победить. Дай Бог, чтобы они с матерью не ошиблись когда-нибудь в епископе Андрее!

А теперь Новгород. И еще — Москва. И еще — Волынь, гибнущая, сама того не замечая. И мертвый Акинф, который теперь, после смерти, заботил едва ли не более, чем живой. (Неужели потребуют от него похода на Москву!) И ссоры боярские, своих с пришлыми, из-за мест в думе, из-за кормлений, из-за доходных волостей... Вот такой он получил в свои руки Русь. И он обязан высшею волей поднять ее из руин. Воротить блеск древнего киевского стола времен Владимировых... На миг голова закружилась от безмерности бремени, взятого им на рамена своя.

К нему просились немецкие и литовские гости. Велев подождать, Михаил вызвал Бороздина с Александром Марковичем. Долго слушал о делах новгородских, переводя взгляд с сердито брызгавшего слюною Бороздина на немногословного и чем-то озабоченного явно младшего посла. Александр Маркович вознамерился было сказать нечто, и Михаил внутренним чутьем понял, что следовало поговорить с ним наедине, но отослать старика, оставив при себе младшего, было неловко, и он спросил прилюдно, чуть поморщась. Александр Маркович начал сказывать о том, как баял в Новгороде со смердами, и все было не то или же не совсем то, но Михаила торопили иные дела и люди, и он сдался, порешив отпустить послов: «Ну ладно, идите!» Про себя где-то отложилось: поговорить с Александром Марковичем погоднее, и ушло в глубину, в далекое «потом»...

Нахлынули гости. Купеческая старшина Твери; этих обрадовал ордынским договором торговым, и сам обрадован был тем, как дружно и готовно откликнулись на его слова купцы, как возмущены были новгородским

непокорством. Конечно, не утесни он новгородского гостя, тверскому не жить, а все же... За ними — гости иноземные, от Ганзы и Литвы и от кесаря кесарские земли. И всем — утвердить старые грамоты, и всем надобе льготы, ярлыки на проезд в Орду и к Хвалынскому морю! После них — свои послы от земель западных, с грамотами волынского князя. Отодвинул. Спросил:

— Юрий Данилыч что?

Послов к нему, как к великому князю владимирскому, из Москвы не было. Ну что ж! Где-то в душе вознамерился было совсем не трогать Юрия, а теперь тот сам напрашивает войну. Тут и Тохта не воспретит! Однако война должна быть малой, для острастки больше. И снова поморщился: такое, с оглядкой, всегда унижало Михаила. Мимоходом, но заботливо вопросил о плененном в Костроме княжиче Борисе. Распорядился кормить за своим столом и держать в вышних горницах. Пущай пленник не чует плена: он гость желанный великого князя, и только, а нелюбие между ним, Михаилом, и князем Юрием Борису ни к чему! Воротится когда, может, не так ретиво станет помогать брату... Тут же и пригласил Бориса трапезовать с собою в ужино. Как жаль, что Данил Лексаныч умер, не побыв на столе! Ну, а тогда? А тогда бы Юрий дрался за стол еще злее и имел бы права, коих нынче лишен. Как был прост, спокоен и мягок Данила при жизни, и как мертвый стал он заботить паче меры, паче Дмитрия, уже позабытого всеми, паче Андрея, чья могила даже и не просохла еще... Паче даже и Акинфовой смерти!

И потом — торжественный ужин с боярами, среди коих дети Акинфа Великого с Андреем Кобылою (обласкать!) и московский пленник Борис (обласкать паки!), и — не обидеть своих, и — быть веселым и щедрым. Он не устал, не заботен, не гневен, нет! Он светел и радошен, глава и отец, а они — возлюбленные чада его.

И уже потом, после гостей,— наконец-то можно хоть немного распустить себя, хоть немного отдохнуть от тяжкого (теперь чуется, насколько тяжкого!) дня — скромный ужин в кругу семьи. Заждавшаяся Анна, дети, что теперь — только теперь! — лезут на колени, цепляясь за плечи и бороду отца, трутся носами о шелк отцовского домашнего просторного нарядного сарафана, накинутого на плеча только что взамен

суконного, отделанного парчою и жемчугом княжеского зипуна. Митя так прямо и зарылся мордочкой в большую ладонь отцову.

— Скучал по тебе! — говорит Анна грудным, с лебедиными переливами, трепещущим голосом и отклоняется, выгибаясь, полураскрыв полные губы. И Михаил невольно скашивает глаза: не увидели б слуги отуманившихся на долгий миг, пока не справилась с собою, глаз княгини.

— Скучал, баешь?

— Батя! А я на кони ездил! А Сашок еще не умеет! А мы подрались с дворовыми, а я мамке не пенял, вот! — Сын гордо оглядывается на мать. Теперь о давешней драке и сказать мочно, при бате ничего никому не будет! И снова: — Батя, а ты Тохту видел? Какой он? А у нас привезли рыб, осетра большого-большого, больше коня! Я тебе покажу! Грамоте я уже выучил! (Торопится упредить отцов вопрос.)

— Ну, напиши: аз, буки, веди.

Митя, высунув язык, старательно водит писалом по вощанице, буквы ползут врозь, прыгают и все же получаются уже! Уезжал в Орду, сын еще ничего не умел.

— И счет учил?

— Ага! — Загибая пальцы и мимоходом, легонько отпихнув сестренку, что, молчаливо сопя, лезет на колени к отцу: — Раз, два, три, четыре, пять, семь... нет, шесть, семь... Батя, а тебе когда будет сто лет? Через шестьдесят шесть?

— Верно. Сам счел?

— Сам! — И застеснялся, опуская голову, покраснев, признается отцу: — Мама помогла немножко...

— Ну, а пению учат тебя? — спрашивает, подхватив сына на руки, Михаил. Митя кивает головой.— Ну, покажи! — говорит он, посадив первенца на колени.

— «И научи мя оправда-а-нием твои-и-им!» — немножко сбиваясь, пропевает сын.

— Не так! — И красиво, низким глубоким голосом, Михаил пропевает (а Митя подтягивает тоненько, во все глаза глядя на отца): — «И научи-и мя о-о-правда-а-а-нием твои-и-им!» Ну, идите спать! — Все трое прижимаются личиками к отцу, не хотят уходить. Кормилица кое-как отрывает их от отца по очереди и уносит в постелю. Последнего — Митю, и он еще успевает спросить то, что намерился прошать с самого начала, да как-то совсем и забыл:

— Батя, а ты теперь на войну поедешь?

— С кем?

— С московским князем Юрием!

Михаил усмехается, глядя на сына.

— Сам выдумал?

— Да-а, все бояре бают, что будет война с Москвою и с Новым Городом тоже!

— Не будет войны, сын! Постараюсь, чтобы не было войны... большой войны.

Нянька уже ухватила Митю, понесла в постель. Михаил вылез из-за стола, ступил в изложню благословить детей на ночь. Подошел к широкой кровати, где на взголовье уже уместились все три детские рожицы.

— Батя, а ты теперь самый-самый сильный? — задает Митя вечный детский вопрос, ухватив отца за палец и не отпуская от себя.

— Батя самый сильный, спи! — подсказывает Анна из-за плеча мужа.

— Сильнее Тохты?

— Нет, сын, Тохта сильнее!

— Почему? — разочарованно и капризно тянет Митя.— Почему не ты?

— Вырастешь — поймешь, а пока спи, сынок!

И — ночь. Скинув сапоги и ополоснув руки, он помолился; сам, не вызывая слуги, задул свечи. Анна ждала, истосковавшаяся, неистовая. Молча ласкала, молча, со сжатыми зубами, прижималась губами к его губам, коротко стонала (подумалось самой: «Беспременно понесу с этой ночи!»), тихо плакала потом от счастья, от долгих, пережитых наедине, запрятанных страхов. Никогда допрежь не боялась за него так безумно, как в нынешний его отъезд в Орду. И он уснул с мокрыми от ее слез губами, а она еще долго, бережно, стараясь не будить, целовала бугристые руки и широкую, твердую, в темнеющих завитках грудь своего князя, любимого, болезного, родного, великого — для всех теперь великого князя Владимирской земли!

ГЛАВА 15

Московская рать, посланная по настоянию Юрия в Переяславль, простояла без дела. Михаил, как и предрекали Протасий с Бяконтом, пошел, минуя Дмитров,

прямо на Москву, обложил город, разграбил посады и, после нескольких, неудачных для москвичей сшибок, заставил-таки Юрия «поклонитися себе»: подписать мир, признать великокняжеское достоинство Михаила, выдать переяславскую дань (город оставался за Юрием, но на правах держания, а не вотчины) и обещать урядить с Рязанью и рязанским князем Константином, полоненным покойным Данилою. Последнее грозило потерей Коломны и было всего тяжелее. Скрепя сердце, Юрий решил сам ехать в Рязань, к сыну Константинову, Василию, надеясь лестью ли, златом или угрозами, а оставить Коломну за собой.

Княжича Бориса, захваченного на Костроме, вместе с остатками его разгромленной дружины, Михаил, по миру, без выкупа возвратил Юрию.

Пока воеводы московских полков, разоставленных на Нерли и под Переяславлем, спорили, мочно ли, нарушив княжой приказ, идти на выручку своим, к Москве (бросить Переяславль не решились-таки, опасаясь гнева Юрия), начали доходить вести о переговорах, а потом и о мире. Дни шли за днями, ратники изнывали без дела, и бояре, сами истомившиеся пустым стоянием, нестрого смотрели на отлучки из полков: знатьё бы только, где искать ратника, коли нужда придет.

Мишук, сын Федора, пользуясь воеводской ослабой, к вящей родительской радости, дневал и ночевал в родимом терему, в Княжеве. Помогал отцу перекладывать анбар и хлев, перегостил у всей родни, таскался со старыми дружками на рыбалку и охоту, к гордости Федора, самолично рогатиной свалил сохатого, а в сумерках шастал по беседам, разбойной широконосой рожей бередя сердца кухмерьских и криушкинских девок.

Феня заговаривала уже не раз, что сына нать оженить. Мишук отмахивался. Федор пожимал плечами: пущай погуляет ищо! Сам он по-новому приглядывался к сыну, заботно, а то и с удивлением обнаруживая в нем неведомые себе и часто чужие черты. Рубили анбар. Мишук, посвистывая, стоял поодаль. Когда Федор, потный, соскочил с подмостей и хотел было обругать сына за безделье, тот, отмахнув несказанные отцовы слова, показал кивком:

— Батя, глянь! — Федор, всмотревшись, пошел бу-

рыми пятнами. Плотники, без его догляду, пользуясь тем, что хозяин сам сидит на лесах, испортили прируб.— И там еще! — Мишук подошел к стене, ткнул перстом, указав иной огрех древоделей. Две головы свесились сверху.

— Ну-ко! На глядень рядились али на работу?! — прикрикнул Мишук. Головы скрылись, и тотчас злее затюкали топоры.

— Хоть перелагай прируб! — выругался в сердцах Федор.

— Всё Яшка твой!

Федор смолчал. Сын чего-то крепко невзлюбил литвина. Яша глядел на парня, как на своего: когда-то спас мальца с Феней от смерти в московских лесах. Как на своего и покрикивал порою. Мишук прежнего не помнил, на покоры литвина кривился, а раз как-то зло осадил Якова, напомнив, что холопу на господина голоса лучше не подымать... Яшка-Ойнас ушел после в клеть, плакал от горькой обиды, нанесенной жестоким мальчишкою, и Федор топтался около, не зная, как помочь, что содеять. Яша-то, и верно, холоп, а Мишука за холопа не накажешь — наследник! Про себя решил тогда же непременно на духу написать Якову вольную. Не ровен час помру, не изобидели бы старика... Кое-как уладилось. Яков замолк, и Мишук не огрызался больше, но при случае нет-нет и укажет отцу на иной огрех, и все выходило, что Яков виноват: того не сделал, иного не доглядел... Вроде бы этот прируб, и верно, при Яше клали! И еще одно повернулось в голове, когда стоял плечо в плечо с сыном, глядючи на испорченную работу: помене надо бы самому ломить, поболе работников строжить. И слушают ведь парня! Вона: крикнул — тотчас за топорища взялись! Постоял еще, подумал. Полез на подмости. Обложил мастеров, велел раскидывать прируб. Те заворчали было, но, поглядев на свирепое лицо Федора, с неохотою полезли вниз. И не полезли бы! Да опять Мишук прикрикнул и — проняло.

«Вырос сын! Прошло мое время, уже не понимаю чего-то! — думал Федор, глядя, как сперва с затрудненною скукой, потом яростно, а там уже и весело, играючи, раскатывают мужики бревна, добираясь до испорченного угла.— Когда-то сам за шивороты таскал таких вот... У князя Ивана Митрича. И ведь тоже слушались! А все, вроде, инако было. Не по-нонешнему.

Да у их, на Москвы, безо крику да безо страху, може, и нельзя! Народ-от сборный, наразный народ... Себя утешаю. Не боярин, дак! А сын уже как и боярчонок, «детский». Его бы дани собирать послали, не постыдился, как я в еговые лета...»

А другого разу и самого Федора крепко обидел Мишук, сам того не хотя. Попросил:

— Я возьму Серка проездитьце! С боярчатами надумали в Купань сгонять.

— Гнедого возьми! — ворчливо отмолвил Федор. Гнедой был добрый конь, малость тяжеловат на скаку, зато вынослив на диво и не пуглив. Такого гоняй того боле — не запалишь. Но Мишук, выслушав отца, надул губы. Возразил:

— Будет Данило Протасьич, Ощерин, да Окатьевы, да рязански боярчата — у тех-то кони добры! Мне на Гнедом — стыдоба перед ими! И над тобою, батя, смеятьце учнут!

Федор пожевал морщинистым ртом (последние годы, за болезнями, многих зубов стало недоставать), помедлил:

— Ну, бери Серого, что ж...— Он еще помолчал, затягивая чересседельник,— дело было на дворе, и Федор ладил сгонять в Маурино, обменять воз свежей рыбы на говядину (с говядиной нынче, за хоромным строеньем, просчитались чуток, а забивать свой скот до осени не хотелось). Думал сказать безразлично: «Ну, чего там, в сам деле, парни все одинаки, первое у их — похвастать конем!» Да вдруг всего, как горячею волною, облило стыдом и гневом: — Рязански боярчата меня засмеют, баешь? — И, срываясь в голос, зная, что лишнее, но не в силах остановить себя, закричал: — На добрых, видно, конях с Рязани на Москву сбежали! Конечно, каки поместья у нас! А только и у меня несудимая грамота есть! Конь, вишь, плох! Мы зато николи своим князьям не изменяли! Я Ивану Митричу служил до последнего часу! Може, без меня-то и Юрий Переславля не получил! — Выговаривая все это, Федор рвал сыромятный ремень, и оттого, что ремень не поддавался, ярел еще более.— И дед твой на рати погиб, под Раковором, честно главу свою приложив, с князь Митрием, Ляксандры сынком, так-то!

Сын слушал молча, и только когда Федор утих наконец, задышался, обрасывая пот со лба, сказал:

— Ты, бать, не обижайсе, ты того не знашь!

Оны, може, и слыхали слыхом про тебя, дак у тя свое и у их свое! Поместья у каждого набираны. Мне носа-от драть перед има, дак много надо! Дядя уж и то помогат, чем может.

— То-то, что носа драть! — пробормотал Федор, остывая и уже совестясь, что так сорвался при сыне. Помедлив еще, предложил сам достать праздничное оголовье с отделкою серебром. Видно, и тут Мишук оказался прав. Себя не покажешь, засмеют, да и места не дадут большого... Сам-то не с коня ли службу начинал? (На которого сменял дом отцов под Новгородом.) А тоже: так, да и не так! Инояко было. Казал себя на деле, не на проездочках молодецких!

Поздно вечером Мишук, счастливый,— потеха удалась, и Серко, и сбруя родительская не подвели! — забрался на анбар, залез к отцу в постелю, под ряднину. Федор молча обнял крепкие плечи сына, притиснул к себе со сладкою, чуть печальной нежностью, о которой когда-то и думы не было (старею, верно!). Заговорили шепотом, сдерживая голоса,— не разбудить бы мать, что, уходясь за день, спала мертвым сном, с головою завернувшись в полсть. Федор расспрашивал о брате. Грикша нынче ладил постричься в монахи. «Хочет стать келарем!» — объяснил Мишук. Давненько не видал Федор старшего брата.

— Седой весь,— подсказал Мишук.— Не как ты, а совсем, в празелень. Ему бы уж и пристало в монахи. Ноне и то, стойно монаха живет!

— Все в той же хоромине?

— Зимнюю горницу летось перерубали.

— Раскидало нашу семью! — хрипловато выронил Федор.— Еще тетка у тебя, може, есь... В Орде, коли жива! Параська. Сестренка моя. Бабушка-то все сожидала, что воротитце домой...

— А ты про то, батя, мало и баял, расскажи!

Федор, прокашлявшись и умеряя голос, стал сказывать про детство, про приятелей прежних: дядю Прохора, Степку Линя, Прохорова сына, что ушел в заволжские леса... И, сказывая, чуял: сын слушает не вполуха, а вдумчиво, жадно, слушает и запоминает, а оттого и сказывалось складно, может, даже и лишку где добавлялось само собою, для-ради яркости былого-давнего, о котором и сам-то позабывал порой... И сын дышал рядом, и жадно слушал, и было хорошо, справно. Феня посапывала в глубоком сне, и тоже было хорошо.

Хоть и прожили вместе жизнь, а сейчас хотелось поговорить с сыном в особину, как мужику с мужиком, об ином пожалиться, что и вспомнить такое, о чем при женке не скажешь...

— А коли воротится тетка-то?

— Параська? И не узнаю, пожалуй. Теперя ей... да в Орде... старухой, должно, стала! Коли жива... Я не верил, а матка, бабка твоя, и умирала, дак наказывала: прими, мол, от порога не отгони! И ты, Мишук, ежели...

Сын промолчал, только приник к отцу, потерся носом о шершавую отцову долонь. Понял.

— А как же, батя, ежели теперя с князь Михайлой ратитьце придет, и ты, выходит, на бою заможешь своо друга стретить, Степку ентово, Прохорова сына?

— Не знаю. Не приведи Господь! При князь Митрии Кснятин брали, дак один у нас так же вот друга своо стретил в городи.

— Ну?

— Отпустил, конешно! Тот ему в ноги пал: «Не губи!» А полон набирали той поры. Ну етот мужик вывел друга за город да и: «Беги!» Свой, дак!

— А как же другие-то?

— Дак и то сказать, все мы християне и православные все! Тот же Окинф. А только пока был Окинф живой, в Переславли никому спокою не бывало. Вота и свой! И я все ждал беды.

— От Козла?

— И от ево, и вообче. Козел бы хоромы на дым спустил беспременно. Я уж после боя его искал-искал, и середи полона, и мертвяков, почитай, всех перегляден... Нету. Должно, утек!

— А воротитце?

— Он ить в моих летах. Скоро и упрыгаетце, поди! — раздумчиво отозвался Федор. При мертвом Акинфе ему Козел и живой уже не казался страшен. Больше тревожил сейчас новый хозяин Переславля, московский князь Юрий. Что-то он измыслит теперь? И сын, будто увидя отцовы мысли, спросил о том же.

— Я, сынок, князь Михайлу знаю. Служил у ево. И ратились мы с им при Дмитрии, и с им вместях при Даниле Андрея Саныча окоротили под Юрьевом — всяко бывало! Своему князю служишь, дак... А только зря Юрий Данилыч нынче рать затеял. Михайло строгой князь, праведной!

— И у нас иные в то же бают... Дак как теперича быть?

— Протасий-то чего думат?

— Протасий за Юрия.

— Ну, а нам с тобою и Бог велел!

— Сам же ты, батя, толковал, что от нас, от кажного, жизня движетца.

— И так верно, и другояк тож... В ино время и от тебя и от меня, а в друго и поделать ничего нельзя! Вон Михайло Нижний суздальскому князю воротил, Михайле Андреевичу, по правде поступил. Дак ноне Михайло Андреич с Орды воротился с ярлыком и вечников, тех, что бояр Андрея Саныча побили, велел похватать да различными казнями казнил: кого топил, вешал, кому языка урезал, кому очи вынимывали, иное и сказать те соромно. Был бы град за Михайлой Тверским, може, и не створилось тово! А суздальский князь свое блюдет: чернь бояр без суда побила, княжеской власти умаление от того! Кто прав тут? И кто что поделать бы мог?.. Я, сынок, Данилу покойного как тебя вот видел. Другом был ему. И Ивану Митричу служил при палате княжеской. Пото и грамоту передал.

— А кабы князь Иван Михайле Тверскому город подарил? Ты бы отвез грамоту ту?

— Не знаю, Мишук. Не думал об етом. Чего о том баять, что было бы, если бы, да кабы... Отвез я грамоту! Даниле отвез. Не Юрию. Юрию еще бы подумал, везти ли...

— Ну, а мне как? Мне ить жить, батя! Скажи! — требовательно попросил Мишук.

— Не скажу,— глухо и не вдруг отозвался Федор.— Чести своей не роняй. Верен будь. Не робей на борони. То все скажу. А как поворотит жизня — сам понимай. Мое прошло время, сынок, а наперед не рассудишь, не прикажешь, будь ты хоть семи пядей во лбу.

— Стало, драться с Михайлой?

— Стало так! Чего-то больший бояра думали о себе? Те же Протасий с Бяконтом? Ну, а ты у Протасия служишь...

— Дак коли набольший бесчестен, и тебе тож?!

— Опять не скажу. Не знаю. Прости меня, Мишук! Стар я стал... Был бы жив Данил Лексаныч, не ратились бы и с Тверью. Женить вот мать тебя хочет!

— Не погуляно вдосталь, батя! Да и... Мне-ста жениться в Переяславли не корысть. Московску боярыш-

ню какую взять с приданым, дак ништо... Ты даве конем укорил, а другой по платью судит, третий еще как ни то... И всем единако нужно, сидел бы ты на добре да на земле, дак и был бы добрым женихом! А на низу мне быть тоже никак неохота. Рази я хуже их?! И батька мой — ты то есть — не хуже никоторого из ихних. Дак почто и низить себя?! Али я плохо говорю, все про корысть да про корысть... думашь? — промолвил Мишук с неуверенной дрожью в голосе. Федор услышал неуверенность, омягчел. Сказал бы: по любви женитьце нать! Сам-то не по любви женился! Ну, а коли так... Возразил осторожно:

— По породе надо выбирать. Доброго кореня чтоб. Ну, а придано: оно и придет, и уйдет — не увидишь! Война, мор ли... Погуляй ищо, подумай. Жить не с приданым, с человеком! — И добавил словами песни: — «Придано висит в клети на грядочке, худа молода жена на ручке лежит, на ручке лежит, целовать велит, целовать ее, братцы, не хочетце!» Так-то, Мишук!

И Мишук, как давно, в детстве, зарылся лицом в бороду отца. Волоса мягкие у парня еще, в мать... «Добрый ты у меня, Мишук, гляди, и не наживешь живота-прибытку! Злее надо быть. А и злому не корысть, к старости самого ся скушно станет... Спи, сын, утро вечера мудренее!» Спи и ты, Федор, что мог, сделал ты для сына, а дальше — Бог да судьба!

ГЛАВА 16

Зимою 6813 года (1305 по Рождестве Христовом) преставился престарелый митрополит киевский и всея Руси Максим, декабря в шестнадцатый день, и положен был в соборной церкви Пресвятой Богородицы, во Владимире.

Князь Михайло по совету епископа Андрея, матери и думцев своих послал в Царьград на поставление владимирского игумена Геронтия. С Геронтием князь допрежь того виделся и толковал и, в общем, одобрил материн выбор. Надлежало уведомить прочих князей о новом восприемнике духовной власти. Великокняжеские гонцы понеслись во все концы Руси Великой. Владимирская земля в лице своих епископов и князей признавала выбор Михаила. Новгороду Великому было

не до того, чтобы спорить о митрополичьем престоле. Рязанская, Смоленская и Брянская земли также не помыслили противустать Михаилу. Тревожили земли западной Руси. Волынский князь Юрий Львович все молчал. Не ответил он и на вторичное послание Михаила. Наконец, кружным путем, до Твери дошла злая весть. Юрий Львович, задумав, за спиною Михаила, учредить свою митрополию и таким образом разорвать и без того обессиленную Русь в церковном подчинении на две части, отправил в Царьград «наперебой» своего ставленника, ратского игумена Петра, того самого, что несколько лет назад представлялся на Волыни митрополиту Максиму и поднес ему образ Богоматери собственноручного письма.

О ратском игумене говорили только хорошее, и все же это была катастрофа. Оставалось надеяться на то, что Геронтий доберется до Константинополя раньше Петра и что патриарх Афанасий с кесарем Андроником Вторым снизойдут к просьбе Михаила. Ежели снизойдут! Палеологи кумились с Римом, а в самих областях империи было зело неспокойно: бунтовали наемники, церковные споры раздирали Царьград... А тут Новгород, упрямо не желающий пускать на стол Михаила, а тут новые козни князя Юрия Данилыча, который тянет и тянет с Рязанью, а тут свои бояре, требующие земель и походов... Михаил рассылал грамоты, крепился и ждал.

ГЛАВА 17

Юрий вернулся из Рязани в гневе и сраме. Василий Константинович прилюдно опозорил Юрия, бросив ему: «Ордынский прихвостень!» И кличка, чуял Юрий, прилипла, как смрадный плевок, поволоклась за ним на Москву. Отдать Коломну московским князьям Василий, как и его плененный отец, решительно отказал, невзирая на то, что город уже не первый год находился в руках москвичей.

— Как еще поворотитце! Время придет, не мы, так внуки наши воротят Коломну! — зловеще пообещал он Юрию.

Рязань жила страстными надеждами сбросить татарское иго, возродить прежнее велелепие. Уже не по-

мнилось, что ходили под властной рукою Всеволода, помнилась великая черниговская и киевская старина, и оттуда, от пращуров, от времен, во мгле веков утонувших, тянули рязанские князья древнее свое родословие, основу гордыни своей. Сами некогда хотели поддаться Батыю, бают, прежде Юрия Всеволодича ходили на поклон! А ныне словно умом тронулись: по всему граду чтут рукописание некакое о походе Батыя на Рязань и о вельможе Евпатии Коловрате, будто бы остановившем целое татарское войско, и толкуют, и судачат, и грозят, и радуются невесть чему... Ничего не добился Юрий в Рязани. Мало сам не попал в железа. Василия, пожалуй, остановила только участь отца, плен коего мог — и очень — кончиться смертью, ежели бы он поднял руку на московского князя. «Добро!» — мрачно обещал Юрий, для коего теперь, когда он избег затвора на Рязани, участь князя Константина уже почти была решена... Выпустить Константина, а там и Коломну придет отдать? Нет! Нет! — кричало в нем все. И все вставало супротив. А ежели Михаил потребует?.. (А он потребует, несомненно!) И тогда? «Ордынский прихвостень!» Сами хороши! Позор, позор, позор! И все теперя учнут повторять! Правда, Юрию удалось подать весточку князьям Пронским, племянникам Константина, его заклятым врагам. Правда, и в Орду (уже из Москвы) Юрий послал немедля донос на князя Василия, а с доносом — сугубые дары вельможам ордынским, коих благорасположением заручился он еще в те поры, как обивал ордынские пороги, тягаясь с Михаилом о столе владимирском. Ордынский прихвостень... Ну, так он ему и покажет, чего стоит дружба с Ордой! Но пока, но тем часом... Коломна, казалось, уже уплывала из рук.

Дома тоже было нехорошо. С поездкой на Рязань Юрий тянул, сколь можно. Тянул всю весну, лето, осень и лишь по началу зимы отправился в путь. Успели залатать протори и убытки, нанесенные тверскою ратью, отстроить сожженные села, завезли хлеб в порушенные княжеские дворы. А все — видел Юрий — что-то подломилось словно: и бояра не так любовно взирали на князя своего, и в братьях видел он молчаливое несогласие. Бориса, с тверского нятья, как подменили. Александр не скрывал растущего презрения к старшему брату. Лишь Иван, всегда немногословный, с головою уйдя в хозяйство княжеского двора, не мешал, не про-

тивуречил, а словно бы и помогал Юрию упрочивать пошатнувшееся достоинство московского княжеского дома.

По подстылой земле и первому зимнему насту везли и везли добро и припасы из сел Даниловых. Путники различных путей, по заведенному отцом обычаю, не мешкая доставляли припас: рыбу и лен, скору, мед, мороженые мясные туши, шерсть, рожь и ячмень, горох, овес и пшеницу, портна и серебро. Купцы, приваженные Данилою, по-прежнему тянулись караванами к московскому торгу, западные и восточные сукна и камни, бухарская зендянь, тонкая посуда и оружие, сушеные сладости восточные, изюм и нуга, редкостный желтоватый сахар, драгие камни, бирюза, жемчуг, лалы и яхонты — все нынче можно стало купить в торгу под кручей московского кремника. И за всем, помимо бояр московских, помимо Федора Бяконта с Протасием, надзирал нынче брат Иван, развязавший Юрию руки для дел господарских. Нет! Не добьется Михайла своего! Не уступит Юрий тверичам! И через кровь — лишь бы переплыть, и через смерть — лишь бы перешагнуть! Протасия не попросишь о такой услуге... Петра Босоволка, вот кого нужно прошать! Этот не откажет и не отступит ни перед чем.

Подходил Филиппьев пост. Снегу в этом году привалило богато. Река Москва, переметенная сугробами, совсем сровнялась с берегами, и казалось, с вышки терема, что прямо от изножья кремника тянется-уходит туда, вдаль, к Данилову монастырю, ровное снежное поле, исчерченное желтыми от конской мочи струями санных дорог и уставленное там и сям беспорядочными кучками хором, курных изб и клетей, нынче вдосталь набитых товаром, меж которыми и по дорогам неустанно сновали кони и люди, мурашами на белом снегу хлопотливо толкались, бежали и ехали из города и в город, везли бревна и тес, сено и рожь, связки мороженой рыбы, кули и бочки с разноличным добром, своим и иноземным. Кипел у изножья кремника город, который он едва не бросил ради завоеванного Переяславля, город, в котором должен был он теперь найти опору замыслам своим и силы для дальнейшей борьбы с Михаилом.

Юрий спускался по скрипучим ступеням, проходил в повалушу, в горницы, в челядню, беззастенчивым взглядом голубых глаз окидывал сенных девок, щурясь

следил за работой холопов, и те начинали быстрее и быстрее двигать руками, невесть с чего пугаясь холодного княжеского взора, в коем, ежели приглядеться, порою шевелилось что-то страшное.

В изложне его встречала робкая жена, заботно и тоже пугаясь, заглядывала в голубые очи супруга. Руки тянулись прикоснуться к нему: причесать его разметанные солнечные кудри, но знала — не даст, оборвет, окоротит, а то и огрубит словом... Юрий думал, туманно озирая покой. Надоевшая жена (опять выкидыш,— мальчиком,— никоторого сына не может родить!), ее дурак отец, Константин Ростовский, что нынче вновь поехал на поклон в Орду,— все раздражало до зуда в коже. Где-то шевелилось в нем все боле настойчивое желание отослать жену в монастырь, развязать себе руки (с ростовским князем рассориться придет тогда!). И чего мать так с ней ненькается? При бате мало и замечала! Дочь уже стояла, показывала зубы, топала ножками, задирала рубашонку, бесстыдно показывая все свои детские прелести... Юрий, походя, подхватывал дочку на руки. Та, сопя, тотчас тянулась к пушистой бородке и рыжим кудрям отцовым, ухватывала — не оторвешь, хошь волосы выдирай... Эх! Кабы сын!

Был четвертый день по возвращении. Юрий все это время или молчал, или бросал короткие отрывистые слова. Брат Александр на заданный скользом вопрос о пленном рязанском князе только пожал плечами:

— Михайло же отпустил Бориса? Даже и выкупа не взяли!

Нет, с братьями лучше было не баять о том.

По приказу Юрия, вот уже год, князя Константина держали с утеснением. Сразу после смерти отца уменьшили свиту, позже сократили стол, а ныне запретили и последние прогулки верхом окрест Москвы, даже и на двор узилища выводить перестали. В поруб князя пускали только духовника, отобрали меховые княжеские одежды... Константин голодал, холодал, но держался по-прежнему твердо, не желая подписывать никаких отказных грамот и не уступая Коломны москвичам.

Напряженным, мерцающим взглядом смотрел Юрий с верха отцова терема вниз, в сторону Москвы-реки, где прятался невидный, схожий с анбарами, но крепко сложенный и особо отыненный высокою глухой городьбою сруб: узилище князя Константина Рязанского. «Нельзя его выпускать, нельзя!» — порою горячечно

шептал Юрий. Решение, почти сложившееся в его голове еще на Рязани, зрело, принимая осязательные и страшные формы. Одно лишь было неясно: кто? Кто захочет и кто сможет?! Он перечислял, отбрасывая, ближних бояр, и все возвращалось к одному и тому же имени: Петр Босоволк!

Свечерело. Старое золото заката, претворясь в огонь и кровь, загустело и смеркло, уступив дорогу лиловым сумеркам ночи. Стужа от высоких холодных звезд неслышно опускалась на засыпающий город. Конь шумно отфыркивал иней, застревающий в ноздрях. У княжого терема Петр соскочил с коня, передав поводья стремянному. Пошел было к высокому крыльцу — князь зовет! Но придворный холоп указал ему иной путь, по тропке, в обход терема и в задние ворота, через черный двор, откуда, низкой незаметной дверцей, пролезли в потайные сени, где встретил Петра второй холоп, со свечой, и оттуда уже, переходами, во мраке и тишине поднялся беглый рязанский боярин в горние хоромы княжеские.

Юрий ждал Босоволка в думной палате один и тотчас отослал слугу.

— Садись! — бросил он Петру, когда они остались одни. Петр помедлил, но, углядев в трепещущем свете одинокого стоянца нетерпеливое движение бровей Юрия, поспешил сесть. Юрий откинулся в отцовом четвероугольном стольце, медленным поглаживанием по острым граням золоченой резьбы подлокотников умеряя зуд в ладонях. Петр кашлянул, решился спросить то, о чем все уже знали. Как повернулось дело в Рязани?

— Придет нам воротить Коломну! — отрывисто сказал Юрий, и Босоволк вздрогнул, недоуменно вглядываясь в отененное лицо князя. Он даже оглянулся воровато — тени, сгущаясь на потолочинах, заполняли углы палаты. «Уж не прячется ли там кто?» — подумал он и, вдруг сообразив, что князь не врет, а ему, ему первому, говорит о том, что должно произойти, разом вспотел и ослаб.

— И князя Константина придется нам отпустить! — промолвил Юрий и, помолчав еще, сказал очень медленно, с расстановкою: — Тебя тоже выдать придет Константину! Требуют. А на Рязани ваши головы оценены уже!

Петра стала колотить дрожь. Он, сцепляя зубы,

яростно боролся с нею, наконец превозмог, спросил задавленно и хрипло:

— Как же, батюшка-князь, как же мы... нам... за службу нашу?

— Знаю! — жестко возразил Юрий.— И то еще скажу: был бы батюшка жив и на престоле великокняжеском, ино бы и все поворотилось! Такому человеку, как ты, и тысяцкое дать не жаль, коли б...

— Я на все готов, батюшка-князь! — почти выкрикнул Петр, начиная понимать. Юрий усмехнулся в темноте, мгновенно показав оскал зубов:

— Я выдавать на смерть слуг своих не жажду! Пото и звал. А как оно ищо поворотитце, поглядим той поры... Только Василий без Константина Коломну получит навряд! — с угрозою произнес Юрий.— А слова твои запомню, Петр. Не отступишь?

— Не отступлю, батюшка-князь! — жарко пробормотал Босоволк, завороженно вглядываясь в мерцающие из темноты глаза Юрия. Оба умолкли. Во дворе, чуть слышно отсюда, прокричал петух, возвещая полночь.

— Ладно, иди! — молвил Юрий устало и чуть презрительно. Он хлопнул в ладоши. Явился прежний слуга и увел Босоволка за собой.

Юрий еще посидел в кресле. Подумал. Прижмурился. Ладони горели огнем. Он медленно, с наслаждением, стал скрести их ногтями, благо никто не видел. О, какие рожи скорчат его умные братья, когда все это произойдет! Как будет бушевать Михайла Тверской! Ну, а хан... после доноса о делах рязанских... Хан не опасен ему! И Петр Босоволк из воли не выйдет! Дак чего и медлить тогда?! Он сладостно, по-кошачьи, потянулся всеми членами и, выпрямившись в кресле, решил: «Завтра. В ночь!» Решил — и отпустило. Разом прояснело в голове. Утих зуд в ладонях. Даже жена показалась желанной в этот полночный час.

Князь Константин в узилище, сидя на ветхом стольце и положив книгу на расшатанный, с облупившейся краскою налой, читал переданную ему намедни «Повесть о нашествии Батыя на Рязань» — недавно сочиненное рукописание, скрытно, вкупе с богослужебными книгами, доставленное ему из Переяславля-Рязанского.

Одинокая свеча (и в свечах утесняли старого князя)

теплилась в медном свечнике, освещая обострившееся лицо князя Константина с лохмами бровей и узкой длинной бородой, некогда черною, а ныне белесо-серой, словно плесень, что выступала на стенах по углам горницы. Беспокойными, худыми, в узлах вен и коричневых пятнах, но все еще красивыми узкими породистыми руками князь то и дело поправлял сползающий с плеч суконный охабень и слегка дрожал — в покое было холодно. Раз в день ратник, стороживший князя, вздыхая и кряхтя, пролезал в низкое нижнее жило, разводил огонь в черной печи и, едва дотапливалось и начинал редеть черный печной дым, открывал деревянную вьюшку в потолке. Угарный чад наполнял покой князя Константина, кое-как согревая промерзающую горницу. Старый князь, кашляя и протирая слезящиеся глаза, подползал к отверстию, грел руки и грудь, потом ноги и спину в теплом и горьком воздухе, подымающемся снизу. Потом вьюшку заволакивали вновь, горница скоро выстывала, и князь, лишенный зимнего платья, опять дрожал, не в силах согреться под суконным своим охабнем.

Сегодня, однако, Константин позабыл и о холоде. Иное тепло, приветное тепло родимой стороны, наполняло его грудь. Он уже трижды перечитал пересланное ему рукописание, потрясаясь и удивляясь словам, кои нашел неведомый ему писец, дабы с такою силой рассказать о беде, постигшей отчизну более полувека тому назад. И по мере того, как князь перечитывал складные слова, гасли в его памяти скупые строки летописных преданий, гасли и те, изустные, рассказы, что слышал он от родителей своих еще в отроческие годы: о расстройстве и смятении земли Рязанской, неуверенности и замятне в князьях, не возмогших даже и перед лицом врага сговорить друг с другом... Нет! Все было так, как написано здесь! Было потрясающее душу мужество, самоотвержение женское и ратная удаль дружин. Был безумный порыв Евпатия Коловрата и гибель в бою, гибель героев, не пожелавших иной участи, кроме славы, и иной чаши не восхотевших испить, кроме чаши смертныя... «Не бысть ту стонущего, ни плачущегося, ни отцу, ни матери о любимых чадех, ни чадам о матери, ни брату по брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертви лежаще, убиенны, едину чашу испиша»,— читал князь, потрясаясь и ужасаясь вновь и опять. Оторвался от книги. Поднял глаза в

темноту. Прошептал: «Удальцы и резвецы, узорочие и воспитание рязанское!» — заплакал. Слезы как-то сами полились по щекам, исчезая в отросшей бороде. Подумал, что скор стал чегой-то ныне и не сдержан на слезу... Читать далее не пришлось, к нему подымался кто-то, слышно было, как скрипели ступени. Почему-то сразу понял, что идет князь Юрий. Когда передавали книгу, духовник шепнул Константину, что Юрий Данилыч ездил в Рязань и не добился ничего. Потому, когда отворилась дверь и в покои — и верно — пролез молодой московский князь, Константин не удивился и был готов к разговору. Тем паче речи велись одни и те же за все эти годы и с покойным Данилою и с Юрием. Ныне, правда, рязанский князь стал сомневаться порою, увидит ли еще когда отчий терем? Но Коломны москвичам он не отдаст, все равно не отдаст!

Юрий, нарочито оставивший слуг снаружи, озрелся, привыкая к полумраку горницы. Вид у князя Константина был неважный. Заметнее стала сутулость, в седой бороде появилась прозелень, лицо нездоровой белизны ныне как-то посерело. И пахло от князя нехорошо. Чуялись и иные последствия голода и душного горничного сидения. Жестокая усмешка тронула губы Юрия.

— Не надумал, князь, отступную на Коломну подписать? — спросил он весело. Константин разомкнул серые запавшие губы, подвигал ими, словно что-то глотая, сильно выдохнул,— смрадно пахнуло изо рта,— хрипло отверг:

— Не отдам!

— Так, так...— рассеянно ответил Юрий, с интересом рассматривая пленника.— Чегой-то вы с сыном забыли, чьи ратники в Коломне стоят, вот уже шестое лето никак!

— Мнишь ли ты, что сила выше правды? — возразил Константин, мгновенно распаляясь на спор. Постоянное, вынужденное одиночеством безмолвие толкало его теперь высказать своему врагу все, что месяцами молча зрело в душе. Многое передумал князь Константин в течение долгого своего плена, и с сугубою остротою — в последние, утеснительные два года, протекшие со смерти Данилы. И себя осудил старый рязанский князь за многое прошлое: был излиха гневлив и на расправы скор, неуживчив с родными и славолюбив паче меры, в человецех сущей. Теперь, в тишине затвора, евангельские истины, заповеди смирения и любви,

четче прорезались в его душе, и только издевательская усмешка Юрия вновь вывела его из себя, пробудила в рязанском князе прежнюю бешеную гордыню.

— Мнишь, лишил мя всего, и подползу к тебе, яко пес алчущий? — говорил он, трясясь и хоркая.— Гладом и хладом истомив плоть мою, не дух ли божий мыслишь истязнути из груди моей? Плоть смертна, но не дух! — почти выкрикнул Константин.— Христос почто взошел на крест? Почто дал распять себя иудеям? Почто и раны и поношения прия и ничтоже человеческое отверг? Почто в страданиях окончил подвиг земной жизни своей? — Константин костистым длинным пальцем постучал по обтянутому красной кожей переплету дорогого Евангелия, писанного в Рязани еще до Батыева погрома.— Пото! — сурово примолвил он,— что не в силе правда, а в правде Бог!

«Погоди! — подумал про себя Юрий.— Ежели и подпишешь ты теперича грамоту, все одно не выпущу тебя из затвора!»

— Баять все вы на Рязани мастеры,— процедил он, с прищуром глядя на полоняника.— Не от Христовых ли заповедей твои бояра на Москву сбежали?

Константин дернулся, едва не кинувшись на Юрия, сдержал себя. Рядом с ним, на налое, лежала малая книжица, в коей торжественною славой были повиты дела рязанцев лет минувших, недавней еще, грозной и величавой поры, но не этому же князю-смерду баять о том! И все же и вновь не сдержал себя:

— На рубежах Русския земли, кровью истекая, стоит волость Рязанская! Честь прадедню всего языка русского спасли мы, рязане! На нас что ни год, то поход! А вы? Коему хану ордынскому не кланялись, и коему даров не дарили, и коему не переветничали из разу в раз? Дак кто и бежит от нас сюда, в залесье, в тихие ваши палестины? Един трус жалкий да отметник родины своея! Таковыми и полнится земля Московская!

— Трусы, баешь? — В гневе Юрий топнул ногою.— Но вот я стою здесь! И москвичи в Коломне! И сам ты в нятьи московском!

— Взяли меня изменою, а не силой! — возразил Константин.— Да и сила не довод в споре о правде, якоже прежде сказано! Мелок ты, батюшки своего мизинного перста на нозе его не стоишь! Да, встал ты предо мной, величаяся, в аксамитах и бархатах, и грады

заял, и меня утеснил нужею токмо в покое едином... А мне отсель виден ты весь и конец твой смрадный! И грады падут, и полки исчезнут, яко дым, и сам не устоишь,— погубит тебя Михаил! И меня тогда с поклоном изведешь из затвора сего!

Юрий, с чела которого, по мере того как говорил Константин, сползла кривая усмешка,— лицо побелело и стало страшным,— вдруг круто поворотясь, решительно вышел из покоя. Константин, обессиленный и слегка досадуя, что наговорил лишнего, опустился на столец. Он сгорбился, уже не читалось, не думалось. Бесполезно оплывала свеча в свечнике, и не было сил ни потушить ее, ни лечь в постель.

Юрий, воротясь к себе, тотчас вызвал Петра Босоволка. Стараясь не глядеть в глаза рязанскому боярину, приказал:

— Возьмешь человека верного. Одного. Многих не надобно. Сторо́же наказано уже, пропустят. До утра штоб и тело убрать.

Имени Константина не произнесли вслух ни тот, ни другой, слишком и так было ясно, о чем речь.

Покинув княжеский терем, Петр заторопился. Верному холопу сказал только:

— Убрать надо... человека одного...

Тот покивал. Насупился. Понял. Вышли под звезды, внезапно ощутив пугающую вышину небес. Сменный ратник ежился у покрытых инеем ворот. Завидя Петра, начал торопливо отодвигать воротные запоры. Во дворе иной сторож сунулся было встречу.

— Приказано пущать! — вполголоса кинул ему первый ратник. Взвизгнуло железо замка. Отомкнули малую дверь узилища, и Петр со слугою полезли по лестнице внутрь.

Ратный, что нес сторожу у дверей хоромины, любопытно придвинулся было ко входу и вдруг, прислушавшись («С нами крестная сила!»), задрожав, поскорее отошел в глубину двора...

Константин дремал, сидя у аналоя. Свеча погасла, одна лампадка трепетно раздвигала густой мрак покоя. Заслышав внизу возню с замком, князь проснулся и, невесть с чего испугавшись, начал торопливо ударять кресалом, стараясь разжечь трут и все не попадая ладом. Он продолжал возиться с трутом и уже надумал было зажечь свечу от лампадки, как дверь медленно отъехала и влезли две молчаливые фигуры. Константин,

стоя у ложа, вдруг затрясся весь, не попадая по кремню, казалось: скорей, скорей зажечь свет, и сгинет ужас, сгинет явившееся в ночи наваждение. Но те пошли к нему, и тут Константин, уронив бесполезное кресало, молча, пытаясь остановить, протянул скрюченные пальцы встречу пришельцам. Те сопели, подбираясь ближе и ближе. Хрипло дышал князь, и молчали все трое. Не столько увидя, сколь ощутив протянутые к нему длани, Константин изо всей силы ударил незнакомца по руке и тотчас крикнул:

— А-а-а! Убийцы!

Руки вновь потянулись к нему, к его лицу и телу. Константин со внезапною силой отпихнул первого, вырвавшись, отбросил второго и тут узнал наконец, кто перед ним.

— Проклинаю тебя, Петька Босоволков! — выкрикнул он в лицо убийце.— Про-кли-наю род твой...

Его схватили, пытаясь заткнуть рот, но он вырвался опять из этих гадких, безжалостных, потных рук, прянул в сторону и теперь стоял в углу, громко возглашая:

— Пусть не тебя, но сына твоего такожде убьют слуги его лукавые, яко ты мя, господина твоего!

— Все сказал? — подал наконец голос Босоволк. Константин раскрыл было уста, но тотчас удар в низ живота сбил его с ног. Князь согнулся, и враз холодное железо с чужим хрустом вошло в его тело. Он еще попробовал закричать, но захлебнулся кровью, рванулся было вновь вверх, к свободе, из ухвативших его когтистых рук и, слабея, начал опадать вниз, умолкнув и обмякая. Послышались странные булькающие звуки, сменившие хриплое дыхание старика, словно выливалось масло из корчаги, да смутно обозначилась на полу черная ширящаяся теплая лужа...

Петру вдруг стало страшно. Мгновение казалось, что свой холоп сейчас, после убиения Константина, так же ударит и его и свалит в паркую лужу на полу подле князя, коего он хоть и ненавидел давно и долго, но и в ненависти своей робел, ощущая, что перед ним — князь, с высшею волей и высшею властью над ним, Петром Босоволком. И теперь, прервав эту жизнь и на несколько долгих мгновений как бы осиротев, стоял он, сам изумляясь содеянному. Слуга вывел Босоволка из столбняка, спросил буднично:

— Куды теперя труп-то деваем? Али тута бросить?

С усилием разлепив губы, Петр отозвался:

— Погоди. Огня вздуй. В крови весь!

В драке опрокинули кувшин с водой, нечем было отмыть липкие от крови руки. Слуга и тут нашелся. Вышел, зачерпнул снегу.

Тело князя Константина подняли, уложили на постель. Сапогами, пока возились, поминутно наступая в кровь, натоптали всюду черные следы.

— До утра долежит! — махнул рукою Петр. И, не потушив свечи (стало все равно — не скроешь уже!), пошел вон, едва притворив двери.

Сторожевые ратники далеко расступились перед ним, со страхом вглядываясь в темноте в белое лицо рязанского боярина.

Теперь надо было послать людей обрядить тело князя и перенести в церковь, нарядить холопок вымыть изгвазданный покой, прибрать все, что разбили и перевернули в драке... И еще раз подумал Петр, что уже до восхода солнца об убийстве рязанского князя узнает вся Москва...

Больше всего ему хотелось теперь, вместо возни с телом убитого, вымыться в бане, напиться крепкого меду и завалить в пуховики с женою ли, а еще лучше иной какою бабой из холопок, лишь бы молчала в постели, не подавая даже и голоса, и самому молча, стиснув зубы, яро и страшно тискать живое — живое и теплое!— бабье тело, и чтобы до одури, чтобы до предела сил, и после уснуть наконец мертвым, без видений, сном.

ГЛАВА 18

Морозное зимнее солнце сквозь слюдяные намороженные оконца золотыми столбами дотянулось до середины изложницы. Борис трясе его за плечо:

— Вставай, вставай же!

Александр потянулся, еще не открывая глаз,— надо же так заспать! — с вожделенным удовольствием представил себе сегодняшнюю охоту, снег в искрах серебра, горячий бег хортов, красные промельки лисиц, уходящих от погони между пушистых от инея стволов Серебряного бора, и решительно намерился вскочить, чтобы нагнать упущенное время. Но первое, что увидел он,

подняв ресницы, было белое, с расширенными, темными от ужаса глазами, лицо брата, и только тут понял, что и в голосе будившего его Бориса сквозь сон уже слышалось что-то странное. («Пожар? Беда? Какая!») Александр рывком сел на постели, встряхнул головой, прогоняя остатки сна.

— Ты что?

— Князь Константин убит! — потерянно вымолвил Борис.

— Чего? Что? Какой? Ростовский князь? — еще не понимая, переспросил Александр и — осекся.— Кто?! Князь Константин!.. Убийца! — выкрикнул он бешено.

Борис вдруг заплакал:

— Мы все убийцы теперича!

— Нет, не все!

Александр уже стоял, прямой, сверкающий взором, решительный. Мятущимися пальцами он застегивал серебряные пуговицы ферязи. Вбежавшему слуге крикнул:

— Саблю!

Борис осел на постель, сипло переспросил:

— Ты... Зачем?

— Не боись. Брата не трону.— И — скороговоркою: — Виноваты! Да! Что своею волею не отпустили Константина на Рязань, что не остановили брата еще тогда, в самом начале... Что мирволим ему... терпим... Словно нас и нет... По охотам всё, за зайцами! А Москва, она общая, наша Москва! Мы все господа тут! И без нас, без нас... Как он посмел? — Александр наконец справился с ферязью и теперь, уже обутый и одетый, пристегивал поданное слугою оружие.

— Брони, казну, живо! И всех, всех! — кидал он слугам, и те, сломя голову мчались с приказами.

— Что же теперь? — растерянно повторил Борис, тупо глядя на решительные сборы брата. Александр, зарозовев, обернул к нему гневное чело. Оба почуяли враз, что сейчас, тут, старшим среди них, Даниловичей, стал Александр, и в его руках, а не в руках Юрия заключена ныне дальнейшая судьба московского княжеского дома.

«Поднять Москву? — с лихорадочным напряжением соображал Александр.— На законного князя? За убитого — как-никак врага?! Не подымешь! Не поймут, осудят. Призвать бояр? Протасий не вступит в усобицу княжичей, а без него и прочие не станут перечить Юрию. Они все одинаковы! Будут поддерживать его,

пока не потеряют все: и Переяславль, и Коломну, и честь, и саму волость Московскую! А тогда, ежели и поймут, и схватятся,— поздно станет. Остается одно, да, только одно...»

— Собирай дружину! — сурово приказал он.— Едем к Михайле в Тверь!

— А как же Иван, Афоня?

— Афанасия не трогай, дитя, мал еще. А Ивана спроси! Хотя...— Он приодержался, супясь, и вымолвил, как ударил: — Не поедет Иван!

— Мыслишь?

— Да! И еще: пойдешь наружу, одень бронь и захвати верных кметей! Не то, как бы нам с тобою на место князя Константина в поруб не угодить!

Собравшимся дружинникам Александр, не обинуясь, сразу объявил, что они едут в Тверь, к великому князю, и что тот, кто хочет, может остаться на Москве. По лицам, смятенным, ошалелым, испуганным, понял: не поедут многие. Подумал: «Пусть так!» Немного, да верных, лучше, чем толпа готовых передатися иному господину слуг. К тем дружинникам, что жили за городом, тотчас послал верховых гонцов с наказом скакать опрометью и собираться вне Москвы, в его дворе на Неглинной, там и ждать в оружии. Юрий очень мог, да и должен был, попытаться задержать братьев, но Александр расчел, что собирать всю дружину в кремник нерасчетливо, будет потеряна быстрота, и Юрий успеет стянуть крупную рать.

Снег сиял и сверкал на солнце. Румянолицые, спешили по улицам москвичи, и толпа княжеских верховых ни у кого не вызывала особого внимания — мало ли куда собрались молодые Даниловичи с дружиной! Пока торочили коней, выносили добро, оборужались, пока опомнившийся Борис летал по кремнику (найдя в Александре старшого, он сразу стал деятелен, деловит, благо решал и думал за него брат), пока все это происходило, Юрию успели донести, и он, схватя неколико конной дружины и накинув прямо на шелковую рубаху курчавый овчинный ордынский тулуп, взвалился на конь, схватил саблю и коршуном ринулся останавливать беглых братьев. В то время как тут топтались у крыльца, судили-рядили, слали гонцов и ждали вестей, явился решительный Юрий с решительными, наглыми от княжой ласки холопами и послужильцами-дворянами, что готовы были по первому

знаку господина ринуть в сечу. Дружина Александра заколебалась, стесненная со всех сторон Юрьевыми кметями, которые тотчас начали, наезжая конями, пятить растерянных Александровых ратников в угол двора. Был страшный миг, когда казалось, все уже кончено. Те начинали хватать за поводья коней, вырывать из рук копья, кого-то уже сволакивали с седла и крутили руки, а рядом стоящие всадники только смотрели, не ввязываясь, как вяжут их товарища... Но тут на крыльцо выбежал сам Александр. Взмыв в седло, он молча, со страшным от гнева лицом, в один конский скок оказался прям Юрия и, подняв саблю, обрушил ее плашмя на лицо княжего дворского, что кинулся было загородить господина. Хлынула кровь, дворский шатнулся, теряя поводья, и Александр, тотчас схватя его рукою за шиворот и мгновенно вбросив лезвие в ножны, мощным рывком исторг из седла, швырнув, словно соломенный сноп, под конские копыта. Кмети прянули в стороны, и в тот же миг Александр взял Юрия за грудки, встряхнул так, что с того слетела бобровая шапка, голова с рыжими кудрями мотнулась взад-вперед, и сам Юрий, потеряв саблю и сползая с седла, уцепился за железные руки брата.

— Прочь! — грозно рыкнул Александр, сейчас, как никогда, похожий на своего великого деда. Не отпуская и сильно встряхивая Юрия, он оборотил ужасное в этот миг лицо к его людям: — Прочь, псы! Убью!!!

И дружина Юрия, только что готовая вязать Александровых молодцов, в панике смешалась, пихая друг друга конями, и покатила вон из двора. Александр тем часом, извергнув Юрия из седла, как даве дворского, держал его на весу перед собою и, глаза в глаза, медленно прорычал:

— Исчезни! Иначе — Богом клянусь! Не поручусь за себя!

Юрий пал в снег, не удержавшись на ногах, сел на землю, поднялся, продолжая глядеть на брата каким-то странным взором, в коем страх мешался с вожделением и бешенством. Пробормотал: «Ладно! Добро!» — и, шатнувшись, пошел пеш со двора, отпихнув протянутый ему опомнившимся стремянным конский повод.

Александр оборотил бледное лицо к дружине. Первому, кто бросился в глаза, приказал:

— Скачи тотчас, займи Боровицкие вороты! Не удержишь — ответишь головой! Людей возьми!

И кметь, мгновения назад готовый сложить оружие перед Юрием, с насупленным, решительным ликом, приобнажив клинок, ринулся исполнять волю господина своего.

Когда выезжали из ворот тесною небольшою толпою, ведя в поводу тороченных казной, припасом и оружием запасных коней, по улицам уже собирались кучки горожан, уже толпились у изб, уже сбивались в беспорядочные заторы груженые сани и возы — по городу и окологородью растекались, сея молвь и замятню, сразу две вести: об убийстве Юрием князя Константина Рязанского и отъезде в Тверь братьев московского хозяина — Александра с Борисом.

Внизу, у въезда от Москвы-реки на Боровицкую гору, бушевала толпа. Какой-то купчина, ражий, в распахнутом хорьковом зипуне, орал с воза:

— И нать было убить ево! Неча! Коломну, вишь, отобрать хотят! Не поддадим ся Рязани!

— А по Христу как?! — возражал ему драный мужик из толпы, пристукивая батогом.— По Христу возлюбить надобно ворога свово, так-то!

— По Христу ево отпусти, он тотчас рати соберет, а там сколь голов христианских погинет! — орал с воза купец не отступая. И толпа, рокотом и волнением своим, слышно, склонялась на сторону купчины.

Выкрики доносились до всадников, переезжающих по мосту Неглинную, и Александр, оборотя к Борису лицо, кивнул в сторону толпы: «Послышь, как чернь бушует! Крови просят! Стойно Юрию! А когда расплата придет, мы ся в ответе окажем, не они! Дак пото нам и думать надобно загодя наперед...»

Уже выехав за пределы окологородья и соединившись со своими, что сожидали княжичей на пути, устроили короткую дневку, накормили, не расседлывая, коней, поснидали сами и тотчас устремились дальше, на Волок Ламской. Юрий очень мог послать погоню, и тут уж Александру с Борисом плохо бы пришлось.

Юрий, и верно, после сшибки с братом тотчас кинулся собирать ратных. На его беду, значительная часть княжой дружины ушла к Коломне, и без помочи Протасия потребных для нятья братьев сил было не собрать. Юрий кинулся в хоромы московского тысяц-

кого. Но Протасий выслушал его молча и покачал головой:

— Прости, батюшка-князь, а только... Не подыму я руки на князей своих. Покойному родителю твоему, Даниле Лексанычу, при гробе его обещал... Имай сам, а я в том деле не потатчик.

Юрий ткнулся в спокойное костистое лицо Протасия, в его замкнутые глаза, твердо сведенные губы, большие руки, каменно сложенные на груди,— не пошевелишь их! Понял, что тысяцкий не отступит, и аж зарычал сдавленно. Сейчас такую ненависть почуял вдруг к старому тысяцкому! Вспомнил, как на рати под Переяславлем-Рязанским его, что щенка, ссадили с седла и поволокли в тыл. Вспомнил и иное многое. «Смещу я его! Смещу, Богом клянусь! Босоволку тысяцкое отдам! — думал Юрий, бешено и бессильно озирая упрямого воеводу.— Уйдут, уйдут ведь! Из-за него уйдут! Сейчас, нынче сместить!» — сложилось в уме.

— Может, и сам сбежишь? — зловеще спросил Юрий.

— Тысяцкой Москвы на рати под Рязанью не бегал! — сурово отмолвил Протасий.— И князю своему, а твоему батюшке, Даниле Санычу, не изменял! Когда, Юрий Данилыч, трудный час придет и сам Петька Босоволк от тя лице отворотит свое, тогды ты меня покличь! Уведаешь сам, на что я тебе сгожусь!

С соромом покинул Юрий хоромы Протасия. У ворот поглядел в напряженные лица детских. Кинулась в очи решительная широконосая рожа одного из молодцов, и по ней, и по лицам прочих догадал, что сместить московского тысяцкого не так-то просто. Пожалуй, и поодержаться надоть на этот раз!

Юрий собрал все же дружину и послал всугон, но время было упущено. Александр с Борисом успели миновать Волок и уйти в тверские пределы.

Ивана Юрий встретил к исходу дня, на переходах княжеского терема. Зло и тревожно вглядываясь в кроткие голубые очи младшего брата, спросил:

— А ты почто осталси на Москвы? (В речи Юрия, когда он излиха волновался, прорывались порою новгородские речения, перенятые еще из детских лет, в пору его учебы в Новгороде Великом.)

Иван, чуть склонив русую голову набок, ясно поглядел на старшего брата, вздохнул, вымолвил:

— Рожь привезли! — И тотчас изронил проситель-

но: — Мать плачет, поди к ней! — А затем, помолчав, опуская очи, добавил тихонько: — Я не уеду, не боись!

Юрий хмыкнул, передернув плечами, начал подыматься по ступеням и уже почти дошел до верху, когда Иван снизу негромко окликнул его:

— Юрко!

Юрий недовольно остановился, глянул вниз. Глаза Ивана мерцали в темноте.

— Дай мне со Святославом побаять, Глебовичем! — попросил он с вкрадчивой настойчивостью.

— Можайским князем?

— Да.

— Он в Красном сидит! — сказал Юрий, еще ничего не понимая.

— Знаю. И то знаю, что мнит нынче, яко ты его стойно князя Константина...— Иван приодержался, не произнеся слово «убийство», но Юрий, поняв верно, фыркнул вепрем, надменно возразил:

— Не хотел! — И, пожав плечами, примолвил неохотно: — Что ж... Поговори!

Он взялся было за дверную скобу, но вдруг, оборотя лицо и весь подаваясь вперед и вниз, через перила, душным, задавленным шепотом, со страстью, вопросил:

— А ты что скажешь мне с им сделать? Отпустить?

— Отпустить мало,— медленно ответил Иван,— князя куски собирать не пошлешь!

— Дак что тогда? — почти выкрикнул Юрий.

— Наделить уделом! — спокойно возразил Иван.

— Ты... в себе?! — задохнулся Юрий.— Отдать Можайск?

Иван, продолжая все так же глядеть снизу вверх на брата, заговорил с расстановкою:

— Зачем Можайск... Земель много... В той же Рязани или Черниговской земле... В Смоленской... Наделить можно и не своим! Можно и помочь всесть на удел...

Юрий сбежал по ступеням, схватил брата за плечи и, близко заглядывая в глаза, выдохнул:

— Иван! Ты что, умнее нас всех?!

Но кроткий взор Ивана уже померк, ресницы сникли, и весь он, в своем темном платье, с поджатыми к сердцу руками, стал столь похож видом на монастырского послушника, что Юрий осекся и отступил.

— Зайди к матери, Юрко! — вновь проговорил

Иван, трепетно приподняв и вновь опустив ресницы.— Утешь! А я пойду: хлеб привезли! Возы держать не дело; батя, помнишь, чего наказывал нам?

ГЛАВА 19

Отъезд Даниловичей в Тверь возмутил весь город.

Опомнившийся Юрий побывал у баскака, заверив того, что Константина убили без его, Юрьева, ведома, тут же послал в Орду новые дары и второй донос, по коему выходило, что пленный рязанский князь чуть ли не замышлял восстание противу хана. (Впрочем, Юрий больше надеялся не на свой донос, а на подарки ордынским вельможам.) А сам тем часом спешно укреплял Москву, отправлял новые дружины на Волок, к Дмитрову, в Переяславль, Можайск и Коломну, рассылал грамоты князьям, соревнующим Михаилу,— кого мыслил перетянуть на свою сторону,— а в Великий Новгород направил целое посольство с предложением союза противу Твери и с уверениями, что он, Юрий, буде настанет его воля, подтвердит все грамоты, удостоверяющие древние и новые права вечевого города: о землях и черном боре, коего он обещался не требовать с Новгорода никогда, о торговом госте новгородском, коему предлагал льготы на торговлю в низовских городах и Сарае, о судах владычном и посадничьем, печатях, пошлинах и вирах, кои шли прежде великим князьям и от значительной части которых он, Юрий, заранее отказывался в пользу Великого Города.

На московском посаде толковали и спорили, но, в общем, мнение народное склонялось в пользу Юрия. Москвичи по-прежнему готовы были поддержать своего князя противу Михайлы Тверского, а ждать великого князя с ратью нынче приходилось с часу на час.

Елевферий,— Алферка,— Бяконтов первенец, которому пошел нынче двенадцатый год, в эти дни не находил себе места. Случившееся лавиною обрушилось на его детскую голову. Он потерянно бродил по кремнику, видел взрослых, бородатых людей, что в оружии и шеломах, с суровыми, решительными лицами, куда-то отъезжали, видел, как ихние кони коваными копытами крошат перетолоченный, перемешанный с

навозом снег, как грызут удила, скалясь и взметывая гривами, как сверкают медные бляхи на сбруе, как взрослые, занятые своим, не смотрят уже на детей, шныряющих прямо перед конскими мордами, в опасной близости от тяжелых беспокойных копыт, видел, что все эти кони и оружные люди — бояра и кмети, ратники и мужики — готовы скакать, рубить, класть головы в бою и убивать других, и все это потому и в защиту того, что Юрий Данилыч тайно, ночью, яко тать, приказал убить старого рязанского князя Константина, то есть сделал то, за что любого другого казнили бы на площади, отрубив голову топором.

Давеча на выходе из двора (хоромы Федора Бяконта стояли рядом с княжескими) Алферий столкнулся с табунком мальчишек. В их толпе Афоня, самый младший из княжичей, о чем-то спорил с Алешей Босоволковым. Брошенные салазки, рассыпанные безо внимания снежные кругляки, коими, как видно было по белым отметинам, мальчики только что швыряли по воротам, целя в резное изображение ездеца на коне и с соколом на рукавице,— все говорило о том, что спор захватил боярских отрочат нешуточно. Тут же вертелся и Феофан, младший брат Алферия, заглядывая через плеча ребят, оступивших спорщиков. Алферий подошел к толпе и услышал, как Алешка Босоволк кричал:

— Ну и что ж, что убил! Зато мой батя теперича тысяцкое получит, вот!

— За то, что убил? — ехидничал Афоня.

— За службу князю свому! — горячо возражал Алешка.— Коли князева слова не сполнять, и ничто не сдеется! И я бы убил, коли б мне Юрий Данилыч наказал, вот! А ты, Афонька, сам будешь князем, дак и должон понимать! И не дразни, вот!

— Алферка, Олферий! — закричали ему, едва завидев, сразу несколько голосов. Алферий был на два года старше обоих спорщиков, к тому же он столько прочел книг и столько мог рассказать сверстникам, что пользовался среди мальчишек нешуточным уважением и почетом.

— Ты все знаешь, Олфера, дак как думашь, прав Юрий Данилыч, што Костянтина убил? — тотчас насели на него мальчишки.

— А я говорю, прав!

— Нет, не прав!

— Судить нать было ево прежде!

— За что судить, на рати яли, дак!

— А почто Коломну не дают?!

— А почто давать, коли мы сами ее забрали!

— Экой ты разумной, как я погляжу!

— Ну и гляди, пока зенки не лопнут!

Алферий стоял, склонив лобастую голову и утупив островатый подбородок в грудь, исподлобья озирал ребят. Что им сказать, он не знал. Он ничего не понимал нынче и сам жаждал, чтобы кто из взрослых и умных мужей объяснил ему то, что створилось на Москве.

Алферий так и не ответил мальчишкам. Боднул головой и, молча поворотя, зашагал прочь.

— Ишь, гордый! И баять не хочет! — послышалось у него за спиною.

— Дак чо баять, чо баять! И так ясно все! — вновь зашумели спорщики.

С глазами, полными слез, Алферка прибежал к отцу. Он уже вопрошал раз, и отец тогда отвергся разговора с сыном. «Князеву волю Бог судит!» — сурово отмолвил он.

Прибегал Алферий и к матери. Мария была на сносях и больше слушала тихие толчки под сердцем, чем слова сына. Она привлекла первенца к теплым коленям, огладила шелковую голову, поцеловала в лоб, заглянув в прозрачные, родниковой чистоты, жалобные глаза, и, поглаживая, прижимая к округлому горячему животу, начала успокаивать:

— Олфёруша мой, колокольчик ты мой ласковой! Не думай о том, полно, не думай-ко, сынок! Не тужи! Взрослые, оне грубые, вырастешь — сам узнаешь... Може, по-иному-то и нельзя было? А коли и можно, дак нам князя свово не судить! Ты вот книжку ту чел, греческую? И в Цареграде, гляди-ко, людей убивали, даже святых, и тех! А ты моли Господа и учи грамоту ту прилежно! Може, станешь большим, князю своему добрый совет подашь! Так-то вот, Олферуша, жалимая ты былиночка моя!

Он слушал ее с тихим отчаянием. К тому же ему было слегка стыдно: он уже понимал, как и почему делается у женок такой вот круглый живот, и потому смущался тесных объятий матери и, вместе, не мог отстраниться, не мог сказать ей этого и — что он уже не маленький и не надо его гладить, словно щенка.

А потому, вдыхая материн запах, терпел объятия и только отводил очи и низил пунцовое лицо...

Теперь Алферий решил во что бы то ни стало вынудить отца к разговору.

Федор Бяконт в эти дни был занят сверх головы. Помимо дел градских и посольских, помимо пересылок с новгородцами, которые все шли через него, он налаживал порушенное тверичами хозяйство в своих селах и как раз этими днями получил наконец во Владимире породистых длинношерстных баранов, гибель коих прошлою зимою опечалила его больше, чем пожженный хлеб. (Прежнее образцовое стадо Бяконта ратной порою погибло целиком.) Баранов нужно было принять, осмотреть, не заболел ли который, подкормить с дороги, перемолвить с каждым из слуг, что были приставлены к стаду,— и все это урывками, вечерами, заместо отдыха, заместо чтения греческих хроник, в коих черпал он отдохновение себе и находил в повторяемости бед и страстей человеческих успокоительное изъяснение всему, что преизлиха смущало ум и тревожило совесть. Вполуха выслушав Алферия, Бяконт намерился было вновь отослать сына с пустом, но, приглядевшись, понял, что серьезного разговора с трудным своим первенцем нынче не избежать.

Про убийство князя Константина Федор узнал спокойно. Этого следовало ожидать. Он уже давно понял, что такое Юрий, приискал ему образцы среди прежних византийских кесарей и теперь терпеливо ждал событий. Было ясно, что Юрий ввяжется в войну с Михаилом, ясно, что он ее проиграет, и одно неясно было: как поведет себя Орда? А от сего зависели и жизнь, и смерть. Ибо, даже и проиграв все сражения Михаилу, можно было выиграть разом, расположив к себе мунгальского кесаря.

Старого князя Константина Бяконт не особенно жаловал, и не столько был задет преступностью самого деяния, сколько опечалился грубостью Юрия. Убить рязанского князя надо было хитрее и — лучше: чужими руками. Например, отпустивши из Москвы, дорогою, свалив убийство, скажем, на пронских племянников Константина. Был бы князь Юрий подальновиднее, он бы так и поступил, и тогда он, Бяконт, избавлен был бы от тяжкого разговора, в коем, чуял он, ему опять придет низить глаза перед мальчишкою и напрягать весь свой разум, дабы не потерять уважение сына...

Породистые бараны больше занимали его, чем князь Константин! Но ведь не скажешь же сыну, что ради баранов он, Бяконт, допустил, чтобы зарезали человека...

Сердито прихлопнув дверь покоя — не хватало еще, чтобы слуги услышали все, что будет баять сын («Наказание господне!» — как порою, в сердцах, начинал звать он своего первенца),— Бяконт опустился на ременчатый раскладной стул, всем видом стараясь показать Алферию, что лишь по великому терпению родительскому бросил он многоразличные дела свои и сидит тут, в тесной тесовой горнице, где душновато пахнет книгами, кожею и сукном, вместо того, чтобы принимать и рассылать гонцов, сочинять грамоты, строжить дворского или скакать куда-нибудь на Пахру, разбирать и судить очередные крестьянские споры в одной из своих волостей.

— Я сказал уже тебе, сынок, князеву волю судит Бог! Тамо, в горнем мире, и суд и расплата за все! Мы же токмо слуги господина своего...

— Зачем мы вообще сюда приехали, отец? — спросил Елевферий, подымая на отца мокрые от слез, неумолимые глаза. Бяконт споткнулся и стал медленно заливаться темно-коричневой краской.

— Зачем приехали?! Зачем?! Ты рожден тут! — выкрикнул, вскипев, Федор.

— Зачем тогда вы с матерью приехали сюда, отец? — неотступно повторил вопрошание Алферий, жгучим взглядом своих прозрачно-струистых очей вперяясь в рассерженные глаза отца. Федор вздернул бородой, не выдержав пронзительности сыновьего взора, хрипло, уступая, отмолвил:

— Мы Даниле Лексанычу приехали служить...— Его роду! Худ ли был покойный московский князь? Взгляни и помысли! — возвысил он голос, строго глядя на сына.— Села обихожены; люди сыты; ни татьбы, ни раззору по всей волости; кажен год порядок в торгу, купцы не нахвалят; мастеры удоволены во всяком реместве своем: и градодели, и по серебру, и по кожам, и по ценинному делу, и по письму иконному, тимовники, портны мастеры, бронники, щитники, кузнецы — идут и идут, целы улицы под кремником настроены! Монастырь погляди! Слова Серапионовы чёл ли? Князь-Данилово то рачительство! А легко ли было ему? Между Дмитрием, да Андреем, да Новгородом

круто было поворачиваться нать! И войны утишал, и съезды устроял, в ону пору не дал разорить Переяславль Андрею, в друго — остановил Дмитрия... Рязанского князя, покойного Константина, хошь и полоненного, держал в чести и... не убил бы никогда! Михайле Тверскому, нынешнему князю великому, был другом. А Переяславль получил! И теперь вот Юрию приходит отказаться. Хоть и стоят наши там. С Можайском тож подготовил Данил, батюшка, нипочем бы таково́-то легко Юрию самому-то не совладать! Народ любил его, прямо-таки сказать, обожали князя свово! Вот кому служили мы! — задохнувшись, Федор примолк, ожидая, что сын хоть перемолчит, но Алферий — будто только и ждал перерыва речи отцовой — с тихим упорством возразил:

— Я все это знаю, отец. Но Юрий?

— Кроме Юрия есть и другие! — вновь взорвался отец.

— Отъехали в Тверь! — перебил сын, тоже возвышая детский звенящий голос.

— Не все! — Бяконт забыл уже, что перед ним двенадцатилетний отрок, коему и приказать умолкнуть мочно.— Твой крестный не уехал! Юрий тоже не вечен, придет и пройдет! Дня и часа не вем... Вечен только Бог, только духовное! (Этого, поди, и не следовало баять, подумал он, но уже вырвалось — не воротишь.)

— Но как же сделать, чтобы доброе не умирало вместе с добрым князем? — спросил Алферий, просительно глядя на отца.— А коли так-то... За что тогда держатися нам?

— Молись! — сердито возразил, нахохлясь, Бяконт.— Вера... Правила церковные...

— А для Юрия есть вера? Он ведь убийца!

— Молчи о том! — с болью выкрикнул Федор.— Духовной властью, токмо... токмо ею судят князей! Яко же патриарх во граде Константиновом, тако у нас митрополит...

— А митрополита нет, поэтому Юрию некому и указать? Да, батя?

Федор вдруг сник, почувствовав с жарким стыдом, как обрадовала его эта невольная подсказка сына, пробормотал, утупив очи долу:

— Должно так, сынок...— Помолчав,— теперь уже, когда сын одолел в споре, Федору больше не хотелось

лукавить,— помолчав, осторожно прибавил: — Правда, не всякий и митрополит возможет воспретить князю... В жизни, сынок, и от добра может проистечь зло... Коломна ить вот всем нужна...

— Кто же тогда может воспретить зло? — потерянно спросил Алферий.

— Токмо духовная власть... Которая сама не ищет земной корысти, токмо так! — отмолвил Бяконт с усталой неуверенностью в голосе. Скажи сейчас сын, что Федор лукавит перед ним, и не знай, что и ответить тогда... Перемолчали.

— А мы не уедем, батя? — спросил Алферий, с прозрачною тревогою заглядывая в очи отцу.

— Не уедем, сынок.

Алферий кивнул и опустил голову.

— Ты прости меня, батя,— прошептал он, спустя несколько долгих мгновений,— я ведь понимаю... А только... Где же правда тогда?

— Молись! — ответил отец и повторил глуше и тише: — Молись. Правда у Господа! В человецех нету ее, сынок.

Поздно вечером, подымаясь переходами с черного двора к себе в изложницу, княжич Иван увидел детскую фигурку, отлепившуюся от тесовой стены гульбища.

— Крестный!

По голосу Иван узнал Елевферия.

— Чего тебе?

— Прости меня, крестный...— Островатая лобастая мордочка уставилась на него из темноты.— Я спросить хочу... Крестный, ты почему не уехал?

Иван усмехнулся, медленно покачал головой, глядя на ждущее, в легкой испарине от волнения, лицо отрока. Почему-то вспомнил затравленный взгляд старшего брата и его давешнее вопрошание. Почему он не уехал, Иван и сам не знал. И что делать теперь, тоже не знал. Как свести братьев в любовь, как поладить с Рязанью и с Михайлой Тверским? Знал только, что надо бы и братьев помирить, и утишить Михайлу, и Коломну сохранить за собою... Как это все получалось у покойного батюшки! А ведь получалось! И не лукавил отец, был добрый ко всем, а Юрко — злой... И вот-вот сорвется. И не поможешь уже тогда ничем ему! Как наказывал, как заклинал их батюшка! Помните про веник! И вот ныне распалось

их семейное гнездо, и что ся створит впредь? Не вем!

Иван медленно покачал головой, привлек крестника и огладил ему вихры. Вот и этот не может решить, пото и мучается, и не спит, когда уже все отрочата давно в постелях!

— Почто не уехал, баешь? А кто тогда с ним останется?

Иван достал красный камчатый плат, отер чело крестника и, слегка отстранив, сказал:

— Беги спать, поздно уже! Помолись на ночь! — И долго, задумчиво смотрел вслед Алферию, пока не затих топот детских шагов в переходах.

В полночь Алферий, догадав по дыханию дядьки, что тот уснул, сполз с постели и прокрался в иконный покой. В лампадном полумраке опустился коленями на холодный пол. Осенив себя крестным знамением, начал молиться. Молился он необычно, мешая священные слова с теми, что рвались из сердца, умолкая и вновь начиная горячо и сбивчиво шептать, повторяя: «Господи!» — и вперяя отревоженные родниковые глаза в колеблющуюся темноту с едва проглядывающими очесами иконных ликов. И, молясь, как-то отходил, отстранялся сердцем от всего мирского, что привычно окружало его доднесь: и от того, паркого, животно-теплого, чем был материн круглый живот и эти ее отуманенные глаза, без мысли, с одним только нерассудным жалением, и от игр сверстников, порою злых и жестоких,— и тут же судил себя за резвость, за отлучки во время занятий с дьяконом и лень в постижении трудной греческой грамоты, и давал высокие обеты Богу в тихом восторге молитвенного умиления... пока проснувшийся дядька чуть не силою увел полуодетого, застывшего на холоде боярчонка назад, в постель.

Сколько таких вот детских молитв унеслось в небеса, оставшись благим порывом, без дальнейших дел и свершений, сколько растаяло, не оставив даже следа! И кто бы мог сказать тогда, что этой молитве и молитвеннику этому суждена иная судьба, что не впусте давал он обеты Богу своему? Будет он отныне сторониться игр сверстников. Будет задумчив и тих. Будет одолевать себя и в ученье и в жизни, даже некоторый страх внушая родителям. И бесповоротно изберет он грядущую судьбу свою. Ибо он, среди прочих званых, окажется избранным, немногим из многих, и даже

мало сказать, немногим — одним из тех, что рождаются порой раз в столетие и служат гордостью, украсою и надеждой родимой земли.

ГЛАВА 20

И вот перед ними, среди виноградных ветвей, в прокаленном солнцем трепещущем воздухе, на ярко-синем сияющем небе показались башни Цареграда. Русичи столпились на холме, удерживая коней. Нет, то была не сказка, не марево знойного дня — вечный град Константина, град патриархов и кесарей, хранитель святынь, оплот и прибежище православия, в терновом венце своих стен раскинулся впереди. И они молчали, потрясенные. И так же молча, гуськом, стали спускаться с холма. Пот и пыль, усталость и жар дороги претворились теперь в томительно-сладкий искус предвкушения. Уже не рассказы бывалых и не книжная молвь — свои очеса узрят наконец предивное чудо! И уже не трогали взора ни лохмотья нищеты, ни грязь придорожных хижин, лишь чудо, поднявшееся на холмах, то пропадающее, то возникающее вновь все ближе и ближе...

В город, передохнув, умывшись с дороги и оставив коней на русском подворье, входили пешком сквозь Золотые ворота. Их вел патриарший клирик, посланный нарочито, со свитою из монахов и мирян. Грамоты волынского князя Юрия Львовича, обогнавшие путников, делали свое дело. Да и не столь уж вседневное событие — утверждение нового митрополита русского!

В толпе русичей выдавался статью и светлой открытостью лица высокий человек, просторный в плечах и сухощавый, с пытливым ясным взором и тревожно-чуткими перстами рук, сжимавших сейчас долгий дорожный посох,— изограф, книгочий, ритор и иконописец, игумен Ратского монастыря на Волыни, именем Петр, коего князь Юрий Львович и бояре, а также синклит епископов Галича и Волыни прислали сюда ставиться в митрополиты всея Руси. О том были грамоты, с пристойными случаю поминками, патриарху Афанасию и кесарю Андронику Палеологу.

Ратский игумен, на которого столь нежданно пал высокий выбор, никогда прежде не помышлял о вышней власти. Он был доволен саном игумена и тем почетом, коего достиг святостью жизни, непрестанными

трудами на благо родного монастыря, проповедями, слушать которые сходилось население от ближних и дальних весей, и, паче того, талантом иконного письма, намного превосходящим умение многих и многих иных изографов. Получив весть от самого князя Юрия Львовича, он несколько даже растерялся. Впрочем, вся братия хором принялась уговаривать Петра согласиться на почетное предложение. Его призвали ко двору, паки уговаривали. Он и поныне, озирая святыни Цареграда, не может забыть холодных глаз и вислых усов волынского князя, чаявшего, как тайно поведали Петру, «галицкую епископию в митрополию претворити» и тем оторвать Галич с Волынью от далекой Суздальской земли, порвать с бывшим шурином Михайлой Тверским и...— и кто знает? — не начать ли после того сближаться с польскими католиками, кои уже и ныне что-то уж больно настойчиво обивают пороги княжеского дворца... Все это узнал ратский игумен, и все это повергло его в скорбь. Когда он бессонными ночами писал лик любимой им с трепетною верой Матери Божьей, когда он, простирая свои чуткие персты, персты художника, говорил с амвона, он знал, ведал, что нет иной истины, кроме заповеданной древними отцами церкви, и нет иной правды, кроме правды освященного православия, сущего в Цареграде и века назад воссиявшего в его родной Русской земле. И мысль, что усталый от жизни, капризно-надменный волынский князь (его князь!) готов изменить свету веры истинной, готов склонить слух к прелести латинской, была тяжка ратскому игумену до боли в груди. Он никому ничего не сказал. Он не спрашивал, почему выбор пал именно на него, каковыми добродетелями заслужил он столь высокое назначение? И добродетелями ли или своей кажущейся простотою? Какая тайная игра каких тайных сил привела его ныне на землю Цареграда? Он не знал и не ведал того. И ведать не хотел. И того, что не один Юрий Львович, но и византийские Палеологи мнят поладить как-то с католическим Римом, мнят найти у папского престола защиту от неверных, и потому, быть может, столь готовно откликаются на пожелание Юрия Львовича поставить своего митрополита — и этого тоже не знал и не хотел знать ратский игумен Петр. И те, кто посылал его, знали, что прославленный святостью жизни игумен-художник не ведает о тайных замыслах сильных

мира сего. Но и другого не знали пославшие Петра на поставление: у этого кроткого нравом и бесхитростного с виду человека есть в душе клад некий и мысль горняя, словесно непостижимая, но твердостью превосходящая шемшир, или алмаз, камень драгий, прозрачный, яко слеза, и крепчайший всякой иной твердости, доступной земному оку и земному касанию человеческому. И что клад этот — любовь к Богородице, а горняя мысль в его душе — православная вера.

Да, игумен Ратского монастыря Петр понимал, чтó за крест принимает он на рамена своя, и нимало не обманывался. Сверхчувствием избранных натур постигал он то, что было скрыто от него завесою тайны. Холодные глаза на обрюзгшем, с нездоровою желтизною, лице Юрия Львовича сказали ему больше, чем шепоты лукавствующих доброхотов. Княгиня-полячка, окруженная пришлыми католиками, заставила Петра напряженно молить Господа о душе князя, господина своего. Он ничего толком не ведал о делах и замыслах сильных мира. Но он был художник и — видел. А видел он все. И, увидев, принял крест. Не власть и не славу, но крест, когда-то несомый самим Господом. И был намерен нести этот крест до конца, паки и паки не уставая. И вот этого в нем не учуяли пославшие его, ибо то были не замыслы (их можно раскрыть и разрушить), не намерения (их можно изменить и забыть), не силы даже (уступают и сильные), но сама душа, дух. То, что бессмертно и не подвластно земному.

Ратский игумен был еще не стар, но и не молод уже. Усталость как бы не трогала его сухощавое статное тело, тело, в коем, как и в лице Петра, мало оставалось мирского. Не бугрились сухие мускулы рук, не круглились плечи, и грудь не выдавалась под дорожною светлою рясой путника. Размеренный шаг и мерные удары высокого посоха обличали в нем привычку ходить по земле, древний апостольский навычай духовных странников. Своим большим, слегка горбатым носом он легко вдыхал горячий, с запахами моря, камня, рыбы, чеснока и потной человечьей толпы, воздух великого города; вздымая очеса, охватывал разом громады мраморных и порфирных дворцов и палат, примечал обширные пустыри, оставшиеся со времен печального посрамления града Константина варварами-франками, что вместо освобождения гроба Господня захватили и предали грабежу святыню православия. Заметил он и

разномастность толпы, разноликость одежд и лиц, тревожную для мыслящего ума, способного провидеть грядущие судьбы, углядел презрительность во взглядах, коими наемники франки проводили их пешее шествие, и в сем тоже почуял тревогу бед грядущих. Глаза говорили ему больше, чем речи ученого грека, что вел за собою русичей, объясняя по пути встречаемое и не упуская случая отмечать величие греческой столицы. Да, многое сумел увидеть ратский игумен Петр до того, как необъятный купол Софии Премудрой, как бы висящий в сплошном море света, в потрясающей вышине над головами входящих, застил ему на время все прочее и отодвинул посторонь размышления, неотвязно тянувшиеся вослед за ним с далекой Волыни. Он преклонил колена. Лики святых торжественно мерцали в абсидах храма. Богоматерь с младенцем на руках — его Богоматерь! — с неземною лаской встретила его распахнутый взор. Века, вознесшие к горней выси этот храм, безмолвно потекли над ним в лад торжественному пению, в лад не менее торжественной греческой речи. Тут было бессмертие, нет, вечность! И покой. Ради того, чтобы единожды преклонить здесь колена, можно бы было свершить даже и крестный путь!

Затем представлялись патриарху Афанасию. Были речи, были трапезы и новые молебны. Проходили огромными, сильно запущенными ныне, палатами кесарей, минуя цветные залы, колоннады и дворы, попирая ногами выщербленную мозаику мраморных полов. Преклоняли колена у трона царствующего императора, что так же, как и встарь, восседал на престоле, когда-то золотом, ныне лишь позолоченном, на возвышении, и окрашенные пурпуром занавесы медленно раздвигались, открывая неподвижно сидящего кесаря в окружении придворных и свиты. Представлялись затем кесарю келейно, в порфировой палате, когда можно стало узреть лик этого немолодого и чем-то незримо схожего с Юрием Львовичем человека, быть может — одинаковым выражением надменной усталости в глазах и слегка капризном складе рта. Только у императора не было таких длинных висячих усов, как у Юрия Львовича, и торжественностью одежд он намного превосходил всю мыслимую роскошь волынского двора...

Был уже назначен и приближался день поставления. День, в который патриарх Афанасий, в соборе, при

стечении иерархов, клира и мирян, должен был, возложением рук, возвести Петра на престол митрополитов русских. Некую неуверенность, словно бы дуновение ветра, почуял Петр лишь за несколько дней до поставления, увидел ее в изменившихся лицах, в тревожных промельках глаз и уже потом узнал (когда был отодвинут срок торжества), что из Владимирской земли едет иной избранник, посланный тамошними иерархами и советом великого князя владимирского Михаила, игумен Геронтий. Великокняжеские послы настаивали на том, чтобы кесарь с патриархом дождались владимирского, единственно законного, как они утверждали, претендента. Патриарх Афанасий согласился ждать, но означил срок, после коего он уже считал себя вправе, не обинуясь, рукоположить Петра. Срок этот подходил, но Геронтий все не появлялся.

Тяжелые волны, одетые, словно ризами, белой пеной, с гулом и грохотом разбивались о берег, выбрасывая немые, с раскрытыми ртами, тела рыб, водоросли, раковины, древесные обломки крушений и маленьких крабов. Кое-как зачаленные корабли метало и би́ло, поминутно окатывая шипящею пенною влагой. Низкий тяжелый гул, казалось, исходил из самого нутра потревоженной громады вод. Под стелющимися рваными тучами валы вздымались до самого окоема и, разгоняясь все быстрей и быстрей, обрушивались на берег потрясающей силы ударами. Не только плыть, даже и выйти в море в такую погоду не было никакой возможности. Игумен Геронтий подолгу стоял на берегу, обдаваемый веером брызг, вздрагивая от холода, и неотрывно глядел туда, где, невидимый за беснующейся водою, был Царьград и где он, исполняя волю князя Михаила, должен был быть уже три недели тому назад. Он представлял себе решительное лобастое лицо князя, его широко поставленные глаза, и ему становилось нехорошо. О том, что волынский князь Юрий Львович послал наперебой ставиться в митрополиты своего игумена, некоего Петра, Геронтий уже уведал. Следовало обогнать поезд враждебной стороны и прибыть в Царьград раньше,— но как это сделать? Никто не знал. На пустынном берегу не было ни одного селения. Только кочевники татары, какие-то совсем дикие, и не ордынские словно, подходили к невольному русскому

стану в чаянии легкой добычи, и лишь серебряная ханская пайцза спасла путников от сугубой беды. Бояре и клирошане грелись у костров из плавника, разложенных в низине, в затишье от мокрого ветра. Бывалые моряки только качали головами: Бог даст, не погубило бы и здесь-то суда! Не ровен час, выкинет да и разобьет о берег... Тюки, бочки, сундуки, ящики и корчаги, выгруженные с кораблей и обтянутые смоленой холстиной, сиротливо высились на берегу. Татары плотоядно поглядывали на товар, льстиво заговаривали, намеками выпрашивая подарки. Пришлось разрезать один куль, чтобы удоволить хотя старейшин, не то и ханская пайцза не удержала бы. Ночи были здесь черные, хоть и теплые. Люди спали прямо на земле, на тонких кошмах, и земля грела. По ночам выставляли усиленную сторожу. Какие-то тени в сумерках появлялись из-за холмов, шныряли вокруг русского стана, подбираясь к товарам...

Шли дни. Ревело и билось море. Уже становилось ясно, что, утихни ветер, и то сразу нельзя будет двинуться в путь, так основательно потрудились волны над хрупкими телами кораблей. Что творится в Константинополе, ждут ли их еще? Этого тоже никто не знал. Когда наконец утихло море, пришлось нанимать лошадей у татар, вытаскивать лодьи на берег, чинить и смолить заново. Не было лесу поправить поломанные мачты, не хватало веревок для снастей. Долго ждали потом попутного ветра... По всему по этому Геронтий прибыл в Царьград слишком поздно, когда торжественное посвящение Петра уже состоялось.

Владимирские бояре, однако, затеяли прю, требуя поставления Геронтия. Взаимное нелюбие усугублялось тем, что те и другие остановились на одном и том же русском подворье. Давеча Микула Станятич, ближний боярин князев, пришел с расквашенной скулой. Мало не дошло до мечей, уже и за ножи хватались волынские и тверские бояре. Брань стояла неподобная. Пакостные слова не пораз заглушали даже молитвы.

Петр тщился поговорить с Геронтием с глазу на глаз, но ненависть тверичей не оставляла к тому никакой возможности, да и свои не простили бы «измены», и Петр, начавший на деле постигать тяжесть креста, доставшегося ему ныне, мог только молить Господа об утишении страстей соплеменников своих. «И будут гнать тебя в земле твоей, и в роду твоем не

признают, и хлеб твой в камень обратят, и посмеются тебе в день горя твоего...» — вспоминал он слова пророка, размышляя о грядущем своем подвиге и гадая: не воспретит ли ему Михайло Тверской и вовсе доступ в суздальские пределы? Впрочем, подобного срама, мнится, еще не бывало на Русской земле.

Теперь речи велись о том, чтобы поставить на Русь двоих, его и Геронтия. Тогда бы на деле исполнилось тайное желание волынского князя учредить свою митрополию, и порвалась бы последняя ниточка, связывавшая воедино многострадальную Русскую землю. Сего Петр страшился более всего. И вновь происходило нечто, ему недоступное, какие-то хождения, дары кому-то, тайные пересылки с патриархом и кесарем, многие прихождения велеречивых греческих вельмож градских... В конце концов патриарх Афанасий с кесарем, видимо, поняли, что церковное разделение Руси пагубно и для них тоже. Настал день (и о дне этом Петр опять же заранее уведал по лицам предстоящих ему, по торопливой почтительности греков и хмурым взорам владимирских русичей), настал день, когда патриарх вызвал к себе их обоих, новопоставленного Петра и владимирского игумена Геронтия, и после молитвословия благословил Петра, а к Геронтию обратился с гневной речью, в коей упомянул и о том, что «недостойно мирянам святительския творити» (говорилось все это по-гречески, и по-гречески звучало иначе, туманнее и выспреннее, но смысл был именно тот. Патриарх отказывал Геронтию на том основании, что поставления его добивались мирские власти,— как будто поставление Петра творилось без участия тех же земных властителей!). Патриарх распорядился и о большем. От Геронтия тут же отобрали жезл, святительские одежды и перстень с печатью покойного митрополита Максима, привезенные им с собою из Русской земли, отобрали образ Богоматери, писанный самим Петром и поднесенный им некогда митрополиту Максиму. Теперь эта икона вернулась к ее создателю, в чем Петр усмотрел знак, посланный Господом, и уже не сомневался более в назначении своем. Отобрал Афанасий и клирошан, греков и русских, что служили митрополиту Максиму, а ныне прибыли с Геронтием в Царьград, и их тоже передал Петру.

Дело происходило в Софийском соборе. Бояре великого князя владимирского, скованные уздою цер-

ковного благочиния и укрощенные давешними переговорами с вельможами кесаря, угрюмо молчали.

— Помолим Господа, брат! — сказал Петр Геронтию, опускаясь на колени, когда все уже произошло и миряне разошлись, а патриарх Афанасий покинул храм. Оба игумена долго и молча молились, и ни один прежде другого не подымался с коленей. Петр, воспарив духом к выси горней, забыл про время, забыл про терпеливых клирошан за спиною. От горьких дум о несовершенстве человеческих душ мысли его, постепенно легчая и очищаясь, унеслись туда, к престолу вышней правды, и вновь, как и прежде, он увидел ее, Матерь Божию, в светлоте лица своего предстоящую перед Сыном, сидящим на престоле. Минуло несколько часов. Наконец застывшая плоть напомнила о себе. Петр оборотил лицо к Геронтию. Тот, полузакрыв глаза, казалось, был в каком-то сне. Медленно приходя в себя, он поглядел в глаза Петру, и что-то робкое-робкое и одновременно светлое появилось в его взоре. Петр первый потянулся к Геронтию, тот понял, и они, так же молча, троекратно облобызали друг друга.

На другой день владимирцы собирались в обратный путь. Споры и страсти утихли, лишь иногда взрываясь отдельными всплесками запоздалой брани.

Петр вышел благословить на дорогу недавних врагов своих и по той затрудненности, с которой склоняли головы иные тверские бояра, понимал, что самое тяжелое из предстоящего ему еще впереди.

Уже когда череда конных и пеших владимирцев выходила и выезжала из ворот подворья, направляясь к пристаням Золотого Рога, до Петра донеслись сказанные кем-то нарочито громко слова:

— Красивый мужик! И где только отыскали такого?

— Муж достойный...— раздумчиво отозвался второй голос. Говорилось это явно про него, нового митрополита русского.

ГЛАВА 21

В деревне время движется совсем по-иному, чем в городе, и у крестьян иначе, чем у бояр и князей. Кто там скачет и откуда с важными вестями, ждут ли гонцов, собирают ли княжеские снемы, грозят ли ратною силой

там, за синими чередами лесов и рек? Здесь — проходит зима, и оседают снега на отвоеванных у леса полянах. Соха процарапывает первые борозды на прошлогоднем пожоге. Сеют и растят хлеб. Жнут и встречают по осени вездесущих купцов и княжеских сборщиков дани. От них только и узнают новости, что творятся в мире. В дни наезда гостей девки бегают, задрав носы; хоть к коровам, а все одно — в лучшей сряде. Парни, распустив губы, глядят, завидуя узорной упряжи, суконной одежке, шитым сапогам и нарядным шапкам редких гостей. Потом наступает зима. И всех вестей в эту пору, что к курносому Яшке залез медведь-шатун, ободрав бок у коровы, и что Дрозда с конем чуть не загрызли волки в потемнях у самой деревни, едва отбился кнутом. Метут-заметают вьюги, скрипят снега в морозных искрах, холодно сверкают высокие звезды над оснеженными, в синем серебре, елями. От наезжих гостей одна память: железная ковань (топор, две рогатины, новые наральники для сохи, горсть железных наконечников к стрелам, кованые гвозди да новые подковы на четырех коней), что выменял на лисьи, барсучьи и медвежьи шкуры батько, крашенинный сарафан у жены да жемчужные серьги у дочери, за них отдал отец купцам седых бобров, сам не зная толком, дешево ли, дорого заплатил? А захотелось порадовать дочку! Девки теперь перебирают ленты в коробьи, тихо судачат, хихикая, что Саха рябая из соседней деревни такая непроворая девка! Понесла с приезду гостей, уже и брюхо видать, сидит теперя, глаз никому не кажет, ни на беседы, никуда не сойдет, только что по воду, до ручья и назад! Дым густо колышется над головами, тянет в дымник. Потрескивает, сворачиваясь, лучина, черные огарки с шипом падают в подставленное деревянное корыто с водой. Еще по осени пакость приключилась, о ней теперь вовсю толкуют мужики. Наехала дружина новгородских бояр, забрали коней, коров,— что не успели отогнать в лес,— потравили хлеб, пограбили добро в анбарах. Деревня оправилась, не в полный расплох застали. Спасибо Птахе, пригнал охлюпкой: «Грабют!» Успели припрятать кой-что, а все же боязно стало: теперича и за синими лесами, а не усидишь! Вдруг да новые незваны гости пожалуют?

У Степана в избе собрались все четыре хозяина. Степан, злой о сю пору (у него свели хорошего коня и бычка с коровой, с переляку не сумел ни спасти, ни

отбить), насаживал новую рогатину — не то на зверя, не то на гостей-грабежчиков. Птаха Дрозд горячился, хлопал руками по коленям. Сыновья сидели смирно, слушали старших, но и у них порою ноздри раздувало гневом. Марья вынесла мирянам корчагу пива и с тревогою смотрела на расходившихся мужиков, что давно уже скинули зипуны, порасстегивали ворота посконных рубах и теперь, дыша потным жаром, со сбитыми бородами, раскосмаченные, орали, выкрикивая давнюю обиду свою.

— Где твои Окинфичи о ту пору были?! Молви обчеству! Ты старшой у нас, тебе ведать! — ярился Дрозд. Мужики кивали, дакали, требовательно глядя на Степана.— Теперя, слышно, рать собирают, на ково-та? На новгородчев, дак вси пойдем, а коли на московлян, дак ищо думать надоть! Московляне-ти Окинфа, вишь, и с зятем под Переславлем порешили, с има неметно дело иметь! Вот те и Окинфичи, туда и думай! Не рано ли от монастыря откачнулись?

— Новгородцы-ти монастырь тоже пограбили!

— Пущай! Дак с ченцов, со мнихов, какой и спрос? Кака защита от их? А боярин, боярин на что! Кормы берет, дак и оборонить должон!

— На ково рать-то теперя, нет, ты скажи, на ково рать?!

На кого рать собирает князь Михайло, Степан и сам не знал. Знал, что собирает и что, верно, придет и им уже этою зимой послать двоих-троих в войско. И еще понимал, что идтить придет ему самому. Васюк не пойдет, у ево и так сына убили. Птаха в сумненьи, коли и пойдет, дак только с им, Степаном, вместях. А князю помочь надо было. «Князю не дашь помочи, новгородцы все тут под себя заберут! Може, под Новгородом-то не хуже, чем под Тверью, а только не с того начали. Коня сводить — какого коня! И бычка! Ты купляй! А зорить не смей! Я коль в задор взойду, тебе и сам пожалую ту скотину, а зорить не смей!» — подумал так, и руки аж свело от бешенства. Так нажал, что сразу влезла, точно в масло вошла, непослушная рукоять. Поглядел, пристукнул рогатиной, когда отхлынуло, молвил:

— Ты, Птаха, не кричи. Криком города не возьмешь. У боярина делов много. В ином мести был, и вся недолга! А за раззор отольетце им. Пото князь и полки собират!

— А на Москву не хошь?

Тут уж и сыновья поглядели на Степана. Степан усмехнулся, отложил рогатину, твердые ладони бросил на столешницу:

— Московской князь Юрий Данилыч, бают, с новгородцами заедино. А наш Михайло — великой князь! Всей, значит, Володимирской земли хозяин! Тута и понимай сам! Оны вместях, их и бить вместях придет!

— Ты все думашь про Переяслав свой! — недовольно возразил Дрозд. Степан помотал головой:

— Не думаю, Птаха! Как Окинфа Гаврилыча, значит, порешили, с того не думаю боле. А только, мужики, выбрали вы меня миром, миром и слушайте, а не то вон Птаху либо Васюка заместо меня изберите... Ну, а не хотите, дак мой вам сказ: не отсидимся тута, ратитьце нать! Позовут, сам пойду, и с сынами. Коли грех какой — Марью мою не оставьте тогда...

Сказал — и замолкли, засопели, часто задышали мужики. Марья беззвучно охнула, закрыла лицо передником. Сыны-двойники одинаковым движением оглянулись на мать и вновь оборотили к отцу насупленные, решительные рожи. «Не трусят!» — удовлетворенно подумал Степан. Птаха покраснел шеей, потянулся к пиву, не подымая глаз, буркнул:

— С тобой вместях и я пойду!

Васюк с Лапой поддакнули было тоже, но Степан пристукнул ладонью, невступно крутанул бородой:

— Деревню без мужиков негоже оставлять, други! Ратной порой всякое тут... Вы без нас вота што: сторожу выставляй! Парней кого ни то на Птичью гору посылайте, с нее далеко видать, а мимо николи не пройдут. Ну, а с Горелого Бора засеку нать нынче же поделать, тамо тогды тоже не сунутце. А придет нужа в избушки лесные уходить, дак скотину крюком гоните, черезо мхи! Тамо ты знашь, Васюк, гнилу тропку? Дак по той и гони. За мхами отсидитесь ужо. Хто етово пути не знат, утонут и с конями...

— Марья! — позвал он, шатнув корчагу. Жена высморкалась в подол, отерла глаза, готовно подошла к столу.

— Подай ищо, что ли... Не допили мы, вишь! — примирительно сказал Степан.

ГЛАВА 22

Утро обещало быть морозным и ясным. Михаил, в накинутом на плеча, сверх нижней, тонкого полотна, рубахи, азяме, постоял на галерее, поеживаясь от сладко заползающего под рубаху холода, глядя на город, сгрудившийся внизу, на раскинутые за ним пригороды и далекие, оснеженные,— словно замороженные озера,— поля, с дымами дальних, неразличимых в прозрачном предутреннем сумраке деревушек, и синие леса по всему окоему, с убегающими в них извилистыми ниточками санных дорог, по одной из которых скачут сейчас к нему, в Тверь, братья московского князя Юрия.

На резьбе перил, на мохнатом подзоре кровли голубым бисером переливался иней. Крохотные огоньки горели в капельках преображенной влаги. Город только еще просыпался. Редко курились, курчавились в недвижном воздухе дымы. Яснели, четче и четче отделяясь от зеленого неба, кровли теремов и круглящиеся маковицы церквей. Близкие и недостижимые в воздушной тверди, повисли перед ним шеломы и кресты княжеских храмов. Мягким сиянием, еще не сверкая, вся притуманенная инеем и словно еще сонная, светлела золотая глава Спасского собора. Недвижно, видно, заметив своего князя, замерли молодшие кмети на стрельнице ближнего к терему костра приволжской городской стены. Островато и тонко прорезывались их копья и навершия железных шапок над белою, уходящей в далекую даль, бесконечной, как время, великой рекой.

Михаил еще и еще раз глубоко, всею грудью, вдохнул прозрачную чистоту воздуха и, уже зябко переведя плечами (ворот нижней рубахи заиндевел и отвердел от мороза), полез назад, в терем, в теплую полутьму княжеских опочивален. Анна, когда он, неслышно ступая в своих валеных сапогах, осторожно, без стука, притворял тяжелую дверь, приподнялась на локте, сонно и томно потянулась, сквозь сон улыбаясь мужу. Маленький зашевелился в колыбели, и нянька с тихим ворчанием уже совала ему в рот рожок со сцеженным молоком. «Старается, чтобы не закричал малыш!» — с мимолетным одобрением подумал Михаил. Нянька была старая, прежняя, вынянчившая всех и выучившая наизусть господский навычай. Знала, как не любит князь пустого детского крика и пустых слез,— особенно из утра, перед дневными трудами господарскими.

Анна уже встала и в долгой мятой рубахе, с расширившейся, тяжко округлившейся грудью, уже шла кормить новорожденного. На миг, пока Михаил скидывал азям и сапоги, прикоснулась к нему рукой и плечом, приласкаться, и вздрогнула от холода:

— Ух! Намерзнул как!

Нянька передала маленького Константина матери. Тот сразу, поймав мягкий большой сосок, въелся, жадно чмокая и нетерпеливо дергая головкой. Анна глядела то на малыша, к которому еще не успела привыкнуть, то на мужа, и в глазах у нее, озерами, стояло тихое восторженное сияние.

— Повались еще, милый! — предложила она вполголоса. Михаил кивнул согласно, прилег, закинув руки за голову, на постель. Однако уже не спалось. Невольно отмечал глухие звуки за стеною. То в горнице, полной холопов и боярчат, подымалась с расстеленных по лавкам и по полу соломенных и овчинных постелей очередная сторожа, а сменные, намерзшиеся на галереях княжого терема, торопливо опрокинув в глотки по чаше меду, заваливались на их место спать. Внизу на дворе топотали кони, слышались сдержанные окрики, визжали на морозном снегу полозья саней. Девка, торнутая под бок нянькой, торопливо накинув плат, пошла выносить ночную посудину и хлопала дверьми. В ближнем монастыре ударили в било. Сейчас начинается шевеление в службах и мастерских, подымаются седельники, шорники, щитники и прочие мастеровые княжого двора. Где еще слышится густой мужичий храп или тонкое сопение и стоны сонных девок, а где уже и стук, и звяк, и плеск воды, и топотанье по лестницам и переходам. Сейчас отворяют городские ворота, пропуская купеческие ватаги, а также обозы посельских и данщиков, что везут в Тверь рождественские кормы из деревень. На поварнях разводят огонь, наливают воду в котлы, ключники выдают поварам крупу и муку, квас и рыбу — тысячи полторы душ живет и кормится при тверском дворе великого князя владимирского... А там уже скоро надо принимать бояр, а там уже ждут послы от литовского князя — неволею приходит союзничать с Литвою, дабы держать в узде Юрия Львовича Волынского, бывшего родственника, который ныне, бают, спит и во сне видит, как бы поддатися католикам-ляхам... Игумен Геронтий давно уже послан на поставление в Царьград, но путь не близок; не задержали

бы еще посольство в Орде! И опять же, подозрительно повел себя бывший шурин... У Михаила от всех этих дум поднялся привычный утренний зуд во всех членах, нетерпеливый зов к работе, к делу, что — только начни — закружит, понесет целодневною горячею суетой. Нет, совсем уже не спалось!

Анна кончила кормить, прилегла на ложе, посунулась к нему:

— Не дремлешь, ладо?

Михаил приобнял жену, было жаль нарушать ее покой. Он прикрыл глаза и еще полежал, собираясь с мыслями. День обещал быть хорошим и, невзирая на заботы, на увертки волынского князя, на грозное розмирье с Новгородом, невзирая на все, Михаил чуял, что он счастлив. Чем? Анной? Сыном? Нет, не то! Задумавшись, понял: Даниловичи! Их приезду обрадовался бы любой князь, как радуются всякому ослаблению врага, но радость Михаила была другого рода. Не то, что Юрий Московский рассорился с братьями, а то, что в роду покойного Данилы, как-никак союзника и друга, нашлись-таки люди с совестью и честью, для коих убийство было убийством, а грех — грехом. Он и сейчас, услышав о приезде братьев Даниловичей, не собирался чем-то вредить Юрию или тотчас бросить рати на Москву. Да, впрочем, пока не укрощен Новгород, это было бы и невозможно. Новгородское ополчение о сю пору стоит под Торжком и уступать князю владимирскому пока не собирается.

Из Новгорода шло на Русь заморское серебро. Серебра требовала Орда. Легче бы было платить натурой: мехами, хлебом, полотном, даже рабами, наконец! Но серебро доставать было далеко не так просто. Нужна была налаженная торговля с правильным и отнюдь не чрезмерным взиманием податей. Нужен был мир и, кроме того, единство страны. Но единство добывалось ратною силой, а угроза ратная тотчас нарушала торг. Замирали караваны лодей у причалов, задерживались хлебные обозы, мытники и вирники начинали разводить руками, роптать и низить глаза, кивая на пресловутое новгородское непокорство. И без того уже слишком тоненькая струйка серебра совсем тоньшала, не давая потребных для уплаты ордынского выхода и для сбора ратей доходов... Путь был один — круто подчинить Новгород. Но Новгород, в пору многолетней резни Александровичей захвативший княжеские права и зем-

ли, отнюдь не хотел ими поступаться и расплачиваться за великого князя с Ордою тоже не хотел. Серебро они предпочитали тратить на возведение новых каменных храмов у себя в городе и затейливых рубленых хором. Великий Новгород хорошел, сильнел и строился, посылал за Волок, в чудь и за море дружины охочих молодцов и теперь требовал от него, Михаила, подтверждения своих вольностей и новых великокняжеских уступок. Даже такие, как Бороздин, говорят теперь, что подчинить Новгород будет зело не просто... И все-таки Михаил был счастлив. Даниловичи едут! С удельными князьями, да и с волынским шурином, он справится, когда на Руси будет свой, преданный ему митрополит. Прежде надо урядить с Новгородом. Пожалуй, и уступить кое в чем на этот раз... А теперь — встреча! Он решительно спрыгнул с постели.

Завтракали в тереме, своей семьей. Михаил дорожил этими краткими часами близости с домашними. Обедать и ужинать приходилось уже с боярами, дружиной, послами земель иноземных. Митя, вставший раньше других, уже взобрался на колени к отцу.

— Тятя! А скажи, одушевленное и неодушевленное, это живое и неживое? Вот кони, коровы, люди — это все живое, а дерево как? Растет, дак живое, а когда бревна? Из чего терем сложен? Он тоже живой?! А рыбы? А почему в пост рыб едят? А ты меня повезешь в Орду? А Сашок тоже поедет? Куда ему! Он еще и на кони не умеет сидеть! — Митя торопится спрашивать: днем батю и не увидишь, и Михаил едва успевает отвечать. Любуясь детьми, что тихонько поталкивают друг друга, стараясь притиснуться к отцу и непременно, в очередь, залезть на колени, он гадает: каковы будут сыновья на возрасте? У Мити силенки уже нешуточные («Богатырем растет!» — приговаривает нянька) и храбр,— то князю надобно. Да и умен, кажется, лишь бы не ссорился с братьями! Только что отпихнув Сашка, запыхавшийся, румяный, глядя на отца светлыми серыми глазами, он спрашивает вдруг:

— Тятя! А что такое единосущный? Дьякон даве не толково баял!

— Единый, нераздельный по существу, как Бог.

— Вот, что он троичен и един, да? — Митя на миг хмурит брови, запоминая, и, едва выслушав ответ, кивает головой и снова начинает возиться...

Анна сама разливает медовый квас, подает мужу

горячую гречневую кашу в глиняной миске, отрезает кусок севрюги. Михаил ест резной костяною ложкой, сосредоточенно двигая челюстями. Крупные желваки ходят под кожей. Широко расставленными глазами он оглядывает семью, троих малышей, что едят, сопя и стараясь не ронять на стол крошки, лучащуюся светом Анну, что легким кивком головы приказывает слугам, и те быстро ставят на стол и убирают пустые блюда. Михаил молчит, удовлетворенно отпивает квас из серебряной чары. Ощущение радости не проходит в нем. В конце концов, чего он хотел? И Новгород, и Юрий Московский, и даже волынский князь ведут себя, как им и должно. Плохо, что недавно умер Михайло Андреич Суздальский. Как раз перед зимним постом. Это осложняет дело с Нижним Новгородом (и тут Юрий Данилыч, доносят, хочет вмешаться!). Но все это не страшно. К брату суздальского князя уже послано. Новгород он усмирит. Михаил пока не чувствует усталости ни в душе, ни в теле. Тело просит движения и труда. Семилетнего Митю он без усилий подымает к потолку на ладони. Самых свирепых жеребцов, взяв за узду, осаживает одною рукой. Медведей на охоте всегда сам берет на рогатину. Ему и теперь, как в прежние годы, не в труд скакать, не слезая с седла, от утренней до вечерней зари, лишь пересаживаясь с коня на конь. Не в труд выстаивать многочасовые торжественные службы в соборе, и, не уставая, править суд, и вершить дела в думе боярской. Хватает его и на ордынские, и на свои, великокняжеские, заботы, и на заботы градские: сам принимает гостей торговых, сам строжит мытников, вирников, наместников и волостелей. Сам заботится о силе ратной. Сам судит споры бояр, своих с пришлыми. И еще — реественники, и еще — книжные хитрецы, коих сзывают из прочих земель и градов, и мастеры-литейщики, и иконного письма мастеры, и дела церковные, кои важнее прочих,— на все хватает княжеского пронзительного зрака, твердого слова, ласки, а где надо, и власти княжеской. Нет, с Юрием он справится! Тем паче ныне, когда беспокойный московит лишился родных братьев...

Михаил кончает трапезу, вытирает рот рушником, ополаскивает руки под рукомоем. Еще выслушивает, немного рассеянно, что взахлеб спешит рассказать ему Митя, а сам уже опоясывается золотым поясом сканой работы с крупными самоцветами в нем. Слуга

подносит княжеские выходные зеленые с жемчужною вышивкой сапоги, востроносые, на высоких малиновых каблуках, и Михаил, переобувшись из домашних, тонкой кожи узорчатых мягких поршней в сапоги, в дорогом зипуне, стянутом княжеским поясом, сразу становится выше и величественнее, хотя князя и так Бог не обидел ни ростом, ни статью.

С поклоном входит в покой постельничий. На сенях уже ждут думные бояре. Стража выстроилась по всей внешней горнице, там, где ночью вповалку спала молодшая дружина и где уже все убрано и подметено. И Михаил выходит к трудам и заботам, к новому грядущему дню.

К паберью потеплело, и в воздухе тонко, обманно, повеяло неблизкой еще весной. Мороз сдал. Снег, слепящею белизною под ярким солнцем, как-то омягчел, перестал холодно искриться, уже не скрипел, а только хрустел под копытами коней, под шагами. Празднично разодетые придворные бояре, холопы и кмети заполнили площадь детинца. Двор был чисто выметен, и от крыльца тянулась по накатанной белизне дорожка расстеленных сукон: Даниловичей встречали как дорогих гостей.

Михаил сам сошел с крыльца и уже издали, подняв руку, приветствовал подъезжающих. Вот Александр с Борисом соскакивают с седел и спешивается их дружина. Вот, чуть смущенно и чуть-чуть настороженно улыбаясь, Александр — уже издали Михаил понял, что это он,— ступает на сукна и идет через двор к ожидающему его у крыльца великому князю владимирскому. В вышине полощется в ясном воздухе веселый перезвон колоколов.

Рядом и поодаль — бояре. Иван Акинфич стоит у плеча. Он старший среди пришлых бояр, у него с братом и у молодого Андрея Кобылы самая большая дружина. Даже после переяславского погрома много больше, чем у прочих. И потому он стоит тут, вблизи, на правах родовитого и сильного, и тоже улыбается, и, улыбаясь, тихонько говорит князю:

— Горносталюшко идет, сера соболя ведет!

Михаил чуть оборачивается к старшему Акинфичу, с легким недоумением вслушиваясь в негромкую речь,

и боярин, продолжая ласково глядеть на подходящего Александра, поясняет:

— Так, гляди, и всех Даниловичей переловим!

Михаил мгновенно хмурится. Слова боярина пронзают его даже не грубою сутью своею, а тем, еще более страшным, что стоит за ними,— непониманием его, Михаила, дум и чувств, полным непризнанием его высоких целей. «Заместо дружбы — плен? Почто тогда Акинфичи не перебежали к Юрию? Неужто и другие о московских княжичах мыслят такожде? Как, однако, молодой Иван даже и видом похож на покойного отца, Акинфа Великого!» — неприязненно думается Михаилу. Но и хмурить брови нельзя. Александр уже близко. Михаил усилием воли переламывает себя и, ничего не ответив боярину, широко улыбаясь, шагает встречу Александру. Они обнимаются, и Михаил с особою, той, утренней радостью ощущает крепкие плечи московского княжича, чует морозный и свежий дух его кожи, видит совсем близко румяное с холоду юношеское лицо и чует — не надо уже и объяснять — все, что переживает сейчас Александр у себя в душе: и робость, и гордость, и капельку стыда за то, что приехал даваться врагу своего брата, и упрямство, и облегчающую радость встречи. Они оба на миг задерживают крепкий, мужской поцелуй, и оба враз отводят глаза. Александр смущенно, Михаил — дабы не смущать гостя излиха. Да к тому же подошел Борис, и надо поцеловаться с ним, уже как со старым знакомым, с другом, который приехал погостить в родной, хорошо знакомый дом. И они подымаются по ступеням терема, все трое. И их, уже на сенях, ожидает Анна с хлебом и солью. А великокняжеские бояре тем часом встречают дружину Даниловичей, ратников зовут в хоромы, а коней слуги разводят по стойлам и коновязям.

Гостям показывают их горницы, слуги подают умыться и переодеться с дороги, и затем — пир, большой, торжественный пир с боярами и дружиной на сенях княжеского дворца. И Михаил чествует гостей, и шутит, и улыбается, слуги носят бесконечные перемены рыбных блюд (пост еще не окончен), пирогов, каш и закусок, различных питий, своих и иноземных, восточные сладости, пряники и орехи, и снова мед, и красное греческое вино... За узкими оконцами палаты гаснет короткий зимний день, разливаясь по снегам прощальным закатным золотом. Звучат раз за разом

здравицы в честь приезжих московитов и тверского великого князя. Гремит хор певцов, звучат сопели, домры и бубны, пляшут скоморохи, уводят под руки по опочивальням не в меру упившихся гостей. Все хмельны и все радостны, только одно, занозою, сидит, не выходит, в душе у Михаила: давешние слова Акинфова сына Ивана: «Так, гляди, и всех Даниловичей переловим!» Что ж это? Неужели и многие так? Неужели они мыслят, что иначе нельзя? Что на дружбе и равенстве, на любви, на том, что все они одно, одна семья, и одна у них родина, один язык и земля, и один враг, там ли, в ханском Сарае, на Западе ли, где властвуют жадные католики,— один враг и одна судьба, и чаша одна предстоит,— неужели на этом нельзя утвердить Русь и закон русский? Или они мыслят власть как насилие и не успокоятся, пока кто-то один — он ли, Юрий ли Данилыч, все одно,— не «переловит» всех прочих и не утвердит, стойно покойному Андрею, своего стола на крови и пепле сожженных городов? А далее что? Как мыслят они себе власть на Руси Великой? Или не мыслят никак? И что должен делать он, ежели они его не могут понять?! Должен подчинить Новгород... А там кого можно «переловить»? Нет, земля должна сама захотеть власти своего князя, и нельзя склонять ее силою под любое ярмо! Не прав ты, Иван, и отец твой, Акинф, убитый под Переяславлем, тоже не прав!

ГЛАВА 23

«Господи! Как я хочу вышней власти! Почто Михайло, а не я? Мало дарил я Тохту? Мало раздал вельможам ордынским серебра, соболей, сукон, кречетов? Мало красивых девок? Мало греческого вина и меда было выпито и пролито на пирах? За что ему, а не мне? За что?! Лествичное право! Смех! Кто об ем помнит, об етом праве! Не то, не то... другое тут! Или заплатил боле моего Михаил... Да нет! Куда уж боле! Батюшка, покойник, за голову схватился бы, узнай, сколь мы передали ордынцам добра! А вота што: слишком я доволил вельможам, Токтаю то и не любо стало! Мол, противу него подговариваю. Из их ведь кто и на деле противу хана... Понимай! Племянник, Узбек, тот ему

не люб, эмиры иные, кто Мехметову веру блюдут, тож не любы. Самого нать было улещать. Всегда самого! И женок ханских николи забывать не след. А я всем давал, всех дарил, встречного и поперечного, лишь бы ордынец нарочитый какой... А Михайло, видно, той порою одного хана обаживал. Вот и передолил меня. Ловок, подлец! И тогды ищо, при батюшке, когда гостил на Москве да про воду прошал, есть ли в кремнике? Ведь вона когда к Москве подбирался! И Акинф не без его же ведома к Переславлю пошел! Не поверю, что сам, ни за что не поверю! И на Новгород Великий Михайло не первое лето зубы точит. Ему Новгород забрать, дак и нам конец. Сядет самовластцем на Руси, никакого удержу не станет ему ни в котором деле... И чем улестил, чем обадил Тохту?! Ну, погоди, царь ордынский, будет еще горя тебе с тверским князем! Он и полков не даст, и с Литвою станет заедино противу тебя, и выход утаивать начнет (не святой же он!). Прошибся, ой, прошибся ты, Тохта, хан мунгальский! Говорено уж баскаку владимирскому, писано уж! А все — как об стену горох!

Брат Иван бает, надо добром... С кем добром, а с кем и... пожестче! Со Святославом это он, верно, хорошо устроил. Снарядили можайского князя на Брянск — довольнехонек! Сидел, дрожал: зарежут, стойно Константина, а как отъезжал с дружиною к Брянску, дак того паче величался, уже и в гости, как равного, звал! Князек... Да ему до Константина, до покойника, втрои выше стать, дак и то не достать! Тот-то был князь! Прямой! Упрямый! И помирал, бают, по-княжески, себя не уронил на последнем часу... А Петька Босоволк, убийца, смерд, трус, за убиение господиново тысяцкое прошал! Уму непостижимо, как на такое и дерзнуть можно было! И дал бы тогды, сгоряча... Да нет, куда ему тысяцкое! Кровью повязан, дак и без того не сблодит. К пронским князьям ныне гонял с грамотами. Толково службу исполнил. Дак и то — перехвати его Василий Костянтиныч, в петлю бы немедля, и концы. Теперь, коли рать с Рязанью, пронские полки оттоле, мы отсель — не выстоять Костянтинычу, нипочем не выстоять! Да еще до всякой рати Орда его прижмет! Тамо ужо попомнят рязанам книжные ихни словеса! В Орду, с доносом, и ту книгу послали, что у покойного Константина сыскалась. Чтущий да разумеет! «Удальцы и резвецы, узорочье и воспита-

ние рязанское!» Вот, коли резвецы, с Ордой и воюйте. А Коломна за нами останет. Братья подвели. Ох, как подвели братья! Тут Михайло сглупил. Я бы на ево месте зараз на Москву кинулси, а он все с Новгородом которы разбират, законник! Теперь, к весне, в распуту, уже и не сунутся... Город нынче же покрепить надо, все одно к осени рати не миновать! Брату Ивану накажу... Сам-то он не опасен? Вроде прост, молитвенник, а когда и умен... очень... излиха умен... Может, пото и не уехал с Сашкой да Борей к Твери? Может, уговор у их?! Упредить, схватить, посажать в железа? И кому тогда верить? Протасию с Бяконтом? Бяконт с Новгородом очень помог, худа не вымолвишь... Протасий? Этот Ивана и освободить может... Эк тогда: «На детей князя свово руки не подыму...» А я не князь ему? Мой наказ ни во что? А ну я ему бы поручил старого Константина убрать?! Что Протасий, что Бяконт — два старых лиса. Чистенькие оба! Им бы по краешку кровушку обойти и чёботы не замарать... Вертят Москвой, как своею отчиной! И почто московляне столь любят Протасия?! Не уберешь ить его, без шуму не уберешь... И опереться не на кого. Родион? Ну, тот хоть Акинфичам враг! Батюшку ихнево порешил на рати, дак ужо в Тверь ходу ему нету...

Так вот и все бояре, суди да перебирай! Московские робки, а пришлые, те и отъехать могут. Так ли опасен брат Иван? Иван изменит — свалит меня Михайло! (Потому и опасен!) А — остался. И дела вершит. За его доглядом и села ухожены, и торг не скудеет, и казна не пуста... Поверить Ивану? Пусть хозяеват да семейные грехи замаливат по ночам... Не мои ли, штоль? Дак я ищо путем-то и не нагрешил! Вот свалю Михайлу, тогда... Тогда сам помолюсь на великих радостях. Господи! Дай же ты мне власть вышнюю! Ни о чем больше не скорбит моя душа! Чист я перед тобою, Господи! Почто этому аспиду, Михайле, почто не мне? Да, я хочу власти! Хочу быть набольшим на Руси! На все пойду! То совершу, не вздохнув, от чего Михайло сто раз ся устрашит! Возьму Нижний. Михайло Андреич Суздальский помер, а брат не силен горазд. Подыму Новгород Великий,— им княжчины отдать, суд владычень и печать посадничью обещать, дак всею волостью в оружии станут! И этого ржевского князя, Федора, на Михайлу поднять проще простого. Он и подлец, да свой! (А и погибнет — пущай! Такого-то не жалко!)

С Костромою тогда глупо створилось. Можно было забрать и Кострому! Бяконта с Борисом послать надо было и дружины поболе. Не подумал в те поры, глуп был ищо...

Господи, дай мне вышнюю власть на Руси! Батюшка, повиждь с небеси и помоги сыну своему набольшему! Прости Сашка с Борисом, не хочу желать смерти им, даже Александру (не попусти, Господи, до таковыя нужи!). Надоест же Михайле кормить дурней попусту, воротят домой... Воро-о-отят! Прости же им, батюшка! Подскажи мне только, надоумь сына своего, как мне поссорить Михайлу Тверского с Тохтой? Хан так еще молод! Скоро ить не умрет... Помоги и ты, Господи! Повиждь с небеси и дай награду страсти моей, дай награду тоске и нетерпению моему!

Дай, Господи! Не томи! У меня изныла душа! Ладони горят огнем, вложи в них то, что надобно мне паче меры, паче жизни самой! Дай, Господи, рабу твоему Юрию, князю московскому, вышнюю власть на Руси!»

ГЛАВА 24

— Мишук! Медведь! Медвежонок курносый! Ужотко проснись! Проснись, соня! А я-то опять ноне всю-то ночку с тобой глазоньки не сомкнула... Заря уж, полно, полно, желанной мой!

Мишук потянулся, еще не размыкая глаз, весь еще в обволакивающем тепле бабьего щекотного запаха, потянулся, попытался прижать ее снова к себе, но женка, уже сердито выставив твердые локти, не далась и отревоженно торопила:

— Вставай! Старик вызнает! Мне тогды и не жить!

Было, и верно, пора. За окном уже посерело. Не вздувая огня, Настюха нашаривала одежку, подавала парню то и другое, приговаривала:

— Ступай задами, через тын перелезь и по тому проулку... Свекор и то даве баял: не к тебе ли, мол? Я ему: «Коли увидашь, дак за волосы мои женские из постели выволоки, тогда и бей! А баять неча попусту, мало ли чего соседи сбрешут!» Сына цельный год нет, как угнали с ратью под Коломну, так и глаз не кажет, а старик и бесится. Куда пойду — ждет меня, что ворон крови...

Про мужика своего Настюха редко вспоминала, и всегда так, походя, на расставаньи, как сейчас, торопливо заматывая косы округ головы и отводя глаза. Она стояла перед ним в мятой рубахе, босая, но уже чужая, неприступная. И — пора было уходить. Скосив глаза вбок, будто нехотя, молвила:

— Завтра вовсе не приходи, гости будут у нас, и про корчагу не забудь. Не увидишь на тыну никоторой посудины, ступай прочь с Богом и не стучи, не ходи по заулку, как того разу. Ну, прощай! — И задохнулась, забросила руки на плечи ему, до боли, почти укусив, поцеловала и тотчас выпихнула за дверь.

Мишук тенью пробрался вдоль стены, прыгнул, потужась, одна глупая жердина хрустнула под ногой, и соседский пес — тотчас залился брехливым, хриплым спросонья лаем. Ругнувшись про себя, Мишук свернул за анбар и, пробежав по зыбко чавкающей, оттаявшей черноте, остоялся. Лезть в грязь в единственных своих тимовых сапогах страсть не хотелось, но псы за спиной уже заливались вовсю. Ославить бабу, мужик которой того и гляди мог воротиться и затеять смертоубийство, Мишуку совесть не позволяла. Пришлось-таки петлять межулками, прыгая по случайным мостовинкам, выбирая твердые, не оттаявшие еще, с кромкою темного льда закраинки и поминутно проваливаясь в лужи. Сапоги погибали. Впрочем, кого винить! Сам же пошел хвастать обновой. А ей — что сапоги! Стянула, не поглядела,— кинулась обнимать... Долговато уже это у них повелось, а все Мишуку будто в первый раз. Ох и баба, ну и баба! Похвастал бы сотоварищам в палате молодечной, а и похвастать нельзя...

Ночная прохлада едва трогала его разгоряченное лицо, и всего переполняло ликованием. Он шел, уже выбравшись на наезженный путь, пьяный от недосыпа и счастья, осклизался, спотыкался и подпрыгивал, чуя, как невесомо сейчас его тело: разбежись — и можно полететь! На мосту через Москву-реку его окликнули сторожи:

— Стой, парень! Откуда? Чей, молодец?

Ждать бы до утра, да, к счастью, попался знакомый ратник.

— А, Протасья, тысяцкого кметь! Проходи, проходи! Хороша баба-то небось? До зари додержала!

Мишук покраснел в темноте, отшутился. Перейдя мост (вот-вот его должны были снимать, лед уже по-

темнел, потрескал и весь покрылся разводьями), Мишук, огибая кремник, полез в гору. Миновав еще одну сторожу, выбрался наконец на угор и, уже подходя к дому, подумал, что худо, ежели дядюшка ныне не заночует, как обычно, в монастыре. Просунув руку, отомкнул щеколду, отворил калитку. В сенях нашарил запор, толкнул разом подавшуюся дверь и — остоялся. Дядюшка, как на грех, пожаловал домой и, видимо, давно уже ожидал племянника. На стук отворяемой двери он пошевелился в кресле, убрал, заложив кожаным снурком, книгу и, отведя покрасневшие глаза от одинокой свечи, хмуро и недобро уставился на Мишука.

Дядя был в лиловом подряснике, камилавке и суконном коче, наброшенном на плечи. В горнице, со вчера дня не топленной, было прохладно. («Вот принесла нелегкая!» — невольно посетовал Мишук.) Сейчас бы сунуться носом в постель, под овчинный тулуп, и заснуть, а тут отвечай — что да зачем... Не маленький!

Дядя оглядел Мишука всего, задержавшись на изгвазданных сапогах.

— За рекою был? — сказал, не столь спрашивая, сколь утверждая.— По бабам шастаешь все, удержу нет...— Примолвил сурово: — Смотри, гулящую девку в дом приведешь — выгоню!

Мишук вспыхнул, промолчал, сдержался.

— От батьки ничего?

— Ничего...

— Давно вестей не шлет...— сказал Грикша задумчиво, поглядев на огонь свечи.— Эх, Федя, Федя!.. Садись, племяш. Оголодал, поди, бегаючи? — спросил он уже не сурово, а устало. У Мишука и впрямь засосало в животе. Дядя кивнул на кувшин с квасом, хлеб и половину сушеной рыбы, и Мишук, ожидая разноса, но не в силах справиться с собой, начал жадно жевать, отрывая крепкими зубами куски судака и крупно откусывая от краюхи.

Дядя смотрел, как он ест, пригорбившись, молчал, чуть покачивая головой. Видно было, какой он уже старый, и Мишук, насыщаясь и добрея, уже со смущением и раскаянием за недавнюю злобу свою поглядывал на дядюшку, соображая, что, пустив племянника к себе в дом, дядя вправе требовать от него и поведения, пристойного своему сану и должности, как-никак келаря Данилова монастыря.

— Схиму принимаю,— вдруг сказал дядя устало, без выражения, как о давно решенном.— Пора.

— Дак как же, келарем-то?..— не понял Мишук.

— Ухожу. И из монастыря ухожу из Данилова, в Богоявленский перебираюсь, в затвор... Пришел проститься с тобой, а ты, вишь...

— Прости, дядюшка! — вымолвил Мишук, теперь только начиная понимать, как не вовремя пришлась нынче его гульба. Дядюшка был и придирчив, и занудлив порой, а все ж остаться без еговой обороны, одному совсем на Москве... Струхнул Мишук. Даже и есть расхотелось. Дядя уйдет в затвор, дак его и в монастыре не навестишь! А отец далеко, в Переяславле, да тоже хворает. Подумав об отце, Мишук испугался того боле: показалось — уйдет дядя, и с отцом беспременно стрясется какая беда...

Дядюшка поворотился, поднял усталые глаза от огня, вздохнул, вымолвил:

— Имя наше не позорь. Не марай. Мы с батьком твоим чести своей не теряли. Тебе одному дале нести надобно. Вот и хочу прошать у тебя: как жить будешь? По бабам век не набегаисси. Ожениться тебе нать. Може, отец присмотрит невесту, а то здесь, на Москве...— Он, не договорив, замолк. Спросил про другое, без связи: — Служба-то каково идет? Век в молодшей дружине тоже не проходи! Протасий, слышно, ныне у князя не в великой чести...

— Дядя! — решился Мишук.— Скажи! Вот княжичи наши к Михайле Тверскому отъехали. Дак, може, они-то и правы? Нам-то как? Сумненье у нас большое — и сказать неловко, и не вымолвить грех — Юрий-то Данилыч не больно ли круто забрал? Михайле ведь великое княжение Тохтой дадено! Чего ж мы с Тверью и с Ордой ратиться учнем?!

Грикша вскинул седую мохнатую бровь, поглядел на Мишука строго:

— Князя свово судить не смей! Князь от Бога ставлен. О своих грехах молись. Иной князь за грехи людские дается!

— Дядя! Ты — тоже грешен? — перебил Мишук.

— И я грешен.

— Дак как же жить, дядя! По правде али как?

Грикша совсем нахохлился и поник, видно, что разговор вызывал в нем безмерную усталость. Да, верно, и не хотелось ему теперь, перед концом своих земных

трудов, решать все это не разрешенное жизнью и суетное кишение страстей, ничтожное перед лицом вечности. И только то, что разговор этот был, возможно, последний, заставляло его отвечать Мишуку:

— Ты, стойно батьки своего, мыслишь, что вот — зло, а вот — добро. Одно убери, другое ся останет... А жизнь, она как окиян, и добро и зло — волны на нем. Возвысь волну, западинка ниже упадет. Данило Саныч добрый был князь, Юрий Данилыч злой, настырный. На нем то и воротилось, чего в отце не было... А дале опять волною подымет, после Юрия-то. Так и прочее в жизни. И все предназначено, из веков в веки. А люди глупы, мыслят, что могут сами ся управить, тщатся изменить жисть! Остареешь — поймешь. А то и не поймешь, как батька твой: о сю пору верит, что ему свободная воля дадена!

В голосе Грикши что-то дрогнуло — отзвуком давнего раздражения, старого, так и не решенного когда-то спора. Дрогнуло и угасло. Давно, видно, спорили, давно отошло...

Мишук медленно опустил глаза. Далекий батька был ему все равно ближе, чем дядя. Но и батька не мог сказать, как ему быть теперь. Одно знал Мишук твердо: задумай Протасий отъехать с Москвы, он, Мишук, поедет вместе с ним. Но Протасий оставался. И служил Юрию. И он, Мишук, не знал, что делать и как жить дальше. И хоть нынче ночью он совсем и не вспоминал о том, да и в иные времена далеко не всегда вспоминалось — то играли в зернь, то боролись с приятелями, то балагурили, хвастали успехами у баб, то были ученья, там тоже не до мыслей: гляди, как бы не отрубить ухо коню да не промазать из лука по чучелу,— а все же нет-нет да и приходило. И в разговорах между своими ратниками тож нет-нет и возникало: кто шумно одобрял Юрия, кто помалкивал. И, видно, многим хотелось, чтобы свой стал великим князем; многим, да не всем... Дак как же все-таки жить?

Дядюшка тяжело поерзал в кресле, поглядел отрешенно, как бы издалека. Вымолвил негромко:

— Так вот, племянник. Жизни своей не порушь. А князеву заботу сложи на Вышнего! Все одно, что бы ты ни сделал, все предназначено искони. Сосни теперь. Ляжь тамо. Поди, ночь-то не спал совсем! А я посижу. Напоследях. Дом заберешь себе, грамотку я выправил. Серебра малую толику оставляю. Не мотай

без дела, лучше зарой на черный день. А там, как знаешь... Может, и по моей стезе пойдешь, с годами-то! Спи.

Грикша замолк, и Мишук, укрывшийся шубой, подумав еще, что ради прощального дня можно бы и не поспать и еще поговорить с дядей, хоть бы и лежа, тут же начал проваливаться в сон.

А Грикша сидел над книгою, не читая, и задумчиво глядел то перед собой, то на племянника, который, хоть и непутевый был, в общем сильно скрашивал ему старость и чем-то, незаметно, помогал жить. Может, самим присутствием своей радостной щенячьей молодости...

ГЛАВА 25

Новгород грозно шумел. С утра разом собрались три вечевых схода: в детинце — перед Софией, на Торгу — у вечнóй избы, и у Сорока мучеников на Щерковой, в Неревском конце. Толпы вскипали и пенились с говорливым волнением, подобно рассерженным водам Ильменя. Бояре, верхами, сновали с Софийской стороны на Торговую, от вечной избы к архиепископским палатам, проталкиваясь среди горожан, что хватали их за стремена и полы, требуя к ответу: что порешили господа вятшие? Где посадник? О чем мыслит владыка? Верно ли, что княж-Михайловы наместники сидят в Торжке? Верно ли, что идет татарская рать на город? Что Михайло хочет прежних княжчин и грозит отобрать суд посаднич? Что тверичи закроют немецкий двор? Что великий князь требует черного бора по всей Новгородской волости? Закамского серебра? Торжка и Бежичей? И тут же прошали: «Послано ли уже к вожанам? Где корела, идут ли двиняне? Готова ли рать плесковская в помочь Нову Городу?»

Бояре успокаивали, как могли: в Торжке наши, и новгородская рать стоит на устье Тверцы. Княжчин не дадим Михайле, и суда тоже. Немецкий двор не закроют, а о черном боре идет пря с великокняжескими боярами досюль. Про рать татарскую невестимо кто и брешет! А слы даве были московские, то князь Юрий Данилыч хочет нас боронить!

И под радостный рокот толпы отпущенный боярин

опрометью скакал по гулкому настилу Великого моста, опасливо поглядывая на готовый двинуться, посиневший и волглый волховский лед. Весна гнала ручьи, точила сникшие сугробы, и уже просыхали рудовые неохватные бревна новгородских городень. Хоть бы и рать татарская, а в распуту и они не сунутце!

Проваливаясь в снежную кашу, торопились по весенним дорогам верхоконные посланцы Великого Новгорода и Твери, везли в калитах трубки скатанных грамот. Сталкиваясь на разъездах, недобро озирали друг друга. Рати ждали с часу на час. Впрочем, передавали, что Волга уже тронулась, на время разделив ледоходом враждующие волости.

Сплошною кашей, налезающей на берега, с редкими промельками быстробегущей воды, шел лед. Разом остановилось все. От усланных на Тверцу воев не было ни вести, ни навести. Поддавшись тяжкому, беспричинному гневу, Михаил, рискуя жизнями своих бояр, отправил очередное посольство на тот берег, через ледоход, и, опомнясь, долго молча смотрел с высокого костра, как отчаянная лодья пробивалась среди сверкающего на солнце крошева, сто раз заваливаясь и кружась, пока наконец каким-то невероятным усилием гребцы не прибились уже под самый Отроч монастырь. Муравьиные отселе фигурки промокших и чудом спасшихся людей разом попрыгали на берег, а пустую полузатопленную лодью тут же утянуло в бешеную круговерть стечки Тверцы с Волгою, мгновенно раскрошив в щепы и перемешав с битым льдом. Больше подобных опытов Михаил не повторял.

Слишком поздно узнал он, что и в этом затянувшемся упорстве Новгорода виноват князь Юрий. Дать волю страсти — тут же бы и поворотить полки на Москву. Но ледоход и распута, заставив ждать, заставили и помыслить путем. Опомнясь, Михаил уступил новгородцам ежели не все, то многое, пригрозил татарскою ратью и добился наконец почетного мира. В мае Великий Город принял его своим князем. Уже отовсюду буйно лезла молодая трава, уже копали огороды, когда по чуть просохшей земле конный княжеский поезд — сам Михайло тоже скакал верхом, с дружиною,— зеленым берегом Тверцы двинулся на Торжок. Новгородские слы ждали его на подставах со сменными конями, старосты без задержки выдавали корм и обилие, и

князь, покинув Тверь пятого, в канун Троицы уже подъезжал к Новгороду.

Благовестили колокола. Укрощенный (или укротивший Михаила?) город готовился к торжественной встрече великого князя владимирского. Юрий Московский, столько сил вложивший в новгородскую прю, как кажется, проиграл и на этот раз.

Город, любимый с детства! Родина матери, великой княгини Ксении. Город, который нужно, необходимо подчинить, чтобы платить Орде новгородским серебром. Точнее, заморским серебром, которое текло из-за моря в обмен на дорогие меха, воск, хлеб, лен, мед, сало морского зверя, рыбий зуб, коней и многоразличную узорчатую кузнь, что продавал тороватый Новгород гостям иноземным. Серебряные ворота Руси! Вечный соперник Твери. Великий, воистину великий город! Город, упорно не хотевший принять его, Михаила, на принадлежащий ему по праву стол. Дерзко выставивший рати к самым тверским пределам. И два года упорно не принимавший его, великого князя владимирского! За спиною которого стояла как-никак неодолимая сила Орды!

И все же он настоял на своем. Без войны. Без татар. Невзирая ни на что: ни на козни Юрия, о коих еще предстоит досыти уведать в Новгороде, ни на упрямство владыки Феоктиста (пока нет нового митрополита, архиепископ новгородский мнит себя первым духовным лицом на Руси!), невзирая ни на что... И без войны. Спасибо ледоходу, остудившему голову князя. Тверской тиун не безделицу давеча толковал: на войну надобно серебро, и на помочь ордынскую паки серебро надобно, а коли война, с Нова Города ни товаров, ни серебра. Откуда ж и взять? Так-то вот!

В споре с новгородцами Михаил упорно возвращался к тому, что было при покойном отце, Ярославе Ярославиче. Андреевых послаблений городу, сделавших великокняжескую власть совсем призрачной, он упорно не хотел принимать. Пото и тянулась столь долгая пря с новгородцами. И — не будь Юрия Московского — он бы и добился своего, но нынче приходилось признать, что переупрямили новгородцы.

Город, любимый с детских лет! И как же все изменилось, расстроилось, похорошело! Розовые тела новых соборов, и венец каменных стен у детинца, новые ополья, и терема, терема! И в дерзких лицах новгород-

ских смердов удаль какая-то новая, небылая, словно чуют, как силы прибыло. Вон тот, черный, или этот, белокудрявый купец со смешливым зраком, или эти, что стоят обнявшись, вольготно, мол: поглянь, княже, на нас! Отвычно. Тревожно. И как-то словно бы молодо, словно бы все впереди и ничто не завоевано еще. Не видел ты, Тохта, этой синеглазой вольницы, не знаешь ты, почем достается твоему русскому князю собирать татарскую дань! А там уж, в Сарае, верно, не один и донос лежит от Юрия: мол, великий князь утаивает выход ордынский...

Вот и Торг, и собор Николы на дворище Ярославовом, ныне захваченном горожанами. Что ж! Дед и отец правы были, что ушли на Городец, за три версты от города, от торговой толчеи, вечевых сходбищ, от рева и угроз черных людей. Князь не должен жить в постоянной осаде толпы. А все же ушли, не сладили... Да! В Твери все иначе. Там и купцы свои, и бояре свои. Для всех князь — защита и оборона. А тут?

Он еще надеялся, где-то в глубине души, что с материною родней на Прусской улице будет легче. Слишком много Ксения насказывала сыну своему про роднюприроду. Да и сам он смутно помнил еще старика деда, приезжавшего на погляд к дочери, в Тверь. Да и когда учился в Новгороде Великом, родня наперебой привечала юного княжича. Где теперь они! Иные умерли, других — не узнать даже. Вырван корень, и не осталось ничего от прежних полузабытых времен. Больше помнили давнюю прю с его отцом, Ярославом Ярославичем,— до его рожденья еще, а помнили! Видел по глазам, по речам чуял. «Сын в отца»,— не говорил, а думал едва ли не каждый из них... И как ошиблись его бояре! Как ничего не поняли в делах градских! (А он понял бы преже?) Это нынче, после торжественного дня с богослужением и принятием венца в Софийском соборе, после трапезы в палатах архиепископских, после того, как увидел обоих братьев Климовичей, Андрея с Семеном, и Юрия Мишинича с ними заодно, после того, как Андрей, встав и жестко поглядев на князя, поднял чару и серебро блеснуло в его руке, стойно оружию... Только после того понял Михаил, что да, верно, совет посаднич и вот они — господа Великого Новгорода, а он, он — принятой гость...

А Семен с Андреем были истинные господа. Он, великий князь, должен был это признать. И что-то

было в них, и в Семене, и в Андрее, что объясняло, почему город столь долго находится в их руках и, видать, не думает восставать противу. Глаза были не жадные — гордые. Значит, не за себя только, а и за город весь! И — жестокость, бестрепетность гляделась в них (у Андрея больше — воин!). Мысленно вспоминал блеск чары, и чуяло сердце: раньше, позже, а станет, очень станет битися с ним!

А вот тут теперь вспоминать. Юрий Мишинич, глава неревских бояр, и Михаил Павшинич, глава бояр плотницких,— оба в родстве с московскими боярами покойного Данилы, что служили еще Александру Невскому по Переяславлю. Вот кто поднялся! Вот где корень зол: опять Москва! Хоть и то сказать, что ж молчит ихняя, «тверская» родня? Нет, не ищи виноватого, великий князь владимирский! Ты сам виноват. Виноват в силе и славе твоей. Виноват в том, что хочешь собрать Русь в единый кулак, а она того не хочет и разбредается на уделы. Виноват, что ты упорен и талантлив, что тебя полюбила земля, и она же теперь капризно мстит тебе за любовь свою. Мстит за то, что ты не оказался хуже, чем про тебя думали...

Что происходит с тобою? Вот они, руки, способные сжать меч и проложить дорогу сквозь тьмы врагов. Ты сидишь в тесовых палатах, на высоких сенях княжого терема. Отсюда, сквозь слюдяные окошки, видны Юрьев и Аркаж монастыри на той стороне Волхова, а ежели встать и подойти к гульбищным окнам палаты, откроется в летнем прозрачном северном сумраке громозжение Великого Города, ныне увенчавшего тебя достоинством своего господина. Тихо светит волховская вода. Белеют башни детинца. И главы, и кресты, и островатые вышки теремов рисунчатым изломанным прочерком окружили мерцающее небо. Словно нет конца городу! Словно вся земля — Новгород Великий, и над ним, в голубом сумраке, неслышные разговоры звезд...

Нет Анны. Она бы успокоила теперь. Взглянуть бы на спящие рожицы детей, почуять мягкие руки жены, прикоснуться к земному, уйти от вечного холода звезд, от холода вышней власти!

В изложнице ждет князя раскрытая постель. Пуховые полосатые подушки круто взбиты, и легкое беличье крытое шелком одеяло откинуто. Постельничий поставил на невысокий столец кувшин с выдержанным

ржаным квасом (князь любит кислое питье). Заботно, уже дважды, заглядывал в палату. Но Михаил, словно тело налилось тяжким бессильем, не мог встать, не мог выйти, хоть и многотруден должен был быть его завтрашний день, день новых, теперь уже княжеских, пиров и приемов...

Два гонца, в грязи и пыли дорог, промчавшиеся сотни поприщ и давеча вручившие ему измятые грамоты свои,— один из Волынской земли, от тамошних доброхотов, другой из самой Кафы, от далекого Русского моря, через степи и Сарай много месяцев добиравшийся к нему и по смешному капризу судьбы поспевший единовременно с первым,— два гонца и две привезенные ими грамоты лишили князя сил на исходе торжественного дня. Из Кафы сообщили, что Геронтий, посланный им ставиться в митрополиты, отвергнут патриархом и кесарем (и, значит, византийский двор отворотился от него!), а с Волыни — что князь Юрий Львович таки исполнил угрозу давнюю, поставил на Русь митрополита из своей руки, игумена Ратского монастыря... И теперь что ж? О чем только думают там, на Волыни? Неволею склоняют его к союзу с Литвой! Будут рвать Русь на части к вящей радости католического Рима. Дождет волынский князь, подарит Галичину с Волынью польскому крулю или великому князю литовскому — тому, кто одолеет из них! Как быстро изветшало наследие великого Даниила Романыча! Передают, при дворе волынском шатания в вере, давно сие передают... И кого мог найти для своей услады бывший шурин? Какого-нибудь тайного католика или ханжу! Бают — праведной жизни... Иная праведность такое прикрывает, что предпочтешь ей блудодея и бражника, был бы бесхитростен сердцем! И жесткие лица Климовичей... Два брата, что держат Новгород. И город хочет того! Все четыре конца градских, даже утесненная Славна, все в единой воле, все в кулаке. Противу князя. Против него, Михаила.

Господи! Он ведь тоже хочет соборного правления на Руси! «Каждый да держит отчину свою». Видит Бог, он не порушил этого древнего завета! Порушил Юрий...

Быти всем заедино, всей Руси, всему языку христианскому, всем православным, наконец! А византийский кесарь ликуется с латинами и отвратил лицо свое от него, Михаила, предав Владимирскую Русь. И волын-

ский шурин спешит туда же, отдавая Западу веру и землю свою. И вот — тоже вверг нож, поставя на митрополию своего игумена... Так вот и гибнет соборное правление на Руси! Чья-то злая воля, кто-то не придет с полками в тяжкий час, кто-то перебежит к врагу, изменит святыням. Юрий Данилыч, кажется, способен Магометову веру принять, лишь бы получить власть... Над чем? И зачем? Что даст ему власть, кроме животного ощущения власти, раболепства низших, необузданного утоления страстей, капризной раздачи направо и налево жадным лизоблюдам, случайным людям из холопской черни народного, родового достояния, добытого тяжким трудом пахарей и ремественников? Что кроме?! А к какой соборности может он призвать новгородских бояр?

Или уж надо установить общие правила, законы, жесткие настолько, что любую непокорную выю склонят долу, и соборно блюсти их... Но такие драконовы законы сами отменят всякую соборность, погубят всякое народоправство, ибо каждому укажут от сих и до сих, и уже не будет жизни, не будет свободного творчества мастера, пахаря или купца, не будет смелости и удали, не будет вольной наживы и торга. Все станут холопы перед законом, и худшее насилие воцарит...

К тому же интересы общего дела требуют порою — или всегда?— временных жертв. Так, Новгород должен поступиться доходами ради Руси Великой! И задача верховной власти — его, Михаилова, задача и долг — блюсти обчее, где сдерживая, а где понуждая, у иных отбирая, ради того, дабы не изгибло все. Его вышний долг — блюсти Русь и православную веру как духовную опору Руси. И вот почему невозможны соборность и народоправие, почему нельзя позволить Новгороду отделить себя от Руси и нельзя позволить Юрию Московскому безнаказанно подрывать великокняжескую власть! Так что же, его долг — подавление? А ежели на престол владимирский когда-нибудь сядет такой вот Юрий?

Сумерки меркли, сгущались и начинали редеть. Постельничий опять заглянул в палату — князь не спит, он, постельничий, в ответе за то перед княгиней! Михаил шевельнулся, увидел, понял немой зов. Вопросил, помолчав:

— Что Александр? (Старшего из Даниловичей он привез с собою в Новгород.)

— Даве ездил по городу, баял с горожаны... А ныне спит, уездилсе... Поздно уже, княже! — с укором добавил постельничий.

Что ж! Ежели не будет опоры во власти духовной, нужно укрепить власть княжескую. Иного пути, кажется, нет. Слышно, и в иных землях укрепляет себя королевская власть! Надобно разузнать погоднее у гостей торговых, что створилось у короля франков Филиппа с его божьими рыцарями?

Надобно вызнать наконец, кто из бояр новгородских явно поддерживает Юрия? Что получают новгородцы по торговому суду? Любыми средствами нужно заставить Великий Новгород давать серебро на ордынский выход! Без того не стоять власти (и ничему не стоять на Руси!). И нужно решить наконец, что делать с Юрием. До сих пор он как-то сам не позволял себе... Да и Тохта не одобрил бы новой войны на Руси! А ежели на место Юрия посадить Александра? Сохранив в целости княжение московское?! В этой мысли он впервые так ясно признался себе. Гнал ее, не хотел додумывать до конца. А Александр — нравился. Прямотой. Честью. Даже видом, статью своей. Хотелось бы иметь такого сына! И, кажется, подружились. Вот ездит по Новгороду, бает с гражаны, и он, Михаил, уверен, что не противу него те речи, что не тайный друг Юрия, хоть и брат, а скорее союзник ему, Михаилу...

Поздно. Светает уже. Он заставляет себя встать. Надо соснуть хоть малый час, ради грядущего дня. И поговорить с Александром! И уведать мысли Тохты! И завтра же — послов в Литву! Власть надо усиливать. Надо собирать Русь!

ГЛАВА 26

Лето 1307 года ушло на новгородские дела, устроение волостей, споры и переговоры с боярами. Он вызвал в Новгород жену и старшего сына Дмитрия. Новый митрополит, слышно, приехал в Киев. Михаил не хотел думать о нем, свалив дела церковные на епископа Андрея. Тем паче что отставку Геронтия и поставление Петра тверской епископ воспринял как личное, ему, Андрею, заушение.

Летом рязанского князя Василия Константиновича вызвали в Орду и казнили там. Кажется, даже в отсут-

ствие Тохты. За казнью стоял, конечно, Юрий, а на рязанский стол сел пронский князь Ярослав. Коломна теперь уже окончательно осталась за москвичами.

Михаила задерживали дела с иноземными послами. Следовало подтвердить мир со Свеей, урядить с готскими купцами. Были долгие пересылки с Орденом и, паче того, с Литвою; здесь, кажется, намечался твердый союз.

Все это время Юрий вредил чем мог. Будоражил Новгород, засылал прелестные грамоты во Псков, невестимо пересылался даже с боярами Михаила. Похоже было, что склонил на свою сторону ржевского князька Федора. И долила обида: все это удавалось Юрию не потому, что был талантлив и дальновиден, нет! Потому лишь, что мирволил распаду Руси, потакал тому, против чего следовало противустать всеми силами власти и авторитета.

Уже не раз и не два беседовал Михаил с Александром. Оба Даниловича были при нем почти безотлучно. Александр, как и следовало ожидать, сперва отверг предложение Михаила, не желая противустать старшему брату. Но раз за разом (а Михаил о всякой пакости Юрия тотчас извещал Александра), раз за разом, мрачнея и задумываясь боле и боле, Александр начинал склонять слух к речам великого князя. В конце концов Москва была его городом. А Юрий не звал братьев назад, не винился перед ними, и даже доходы ихние, с Москвы и волостей, удерживал за собой. И вот настал тот час, когда Александр, острожев лицом, не отверг слов Михайловых, а вопросил: како мыслит великий князь о войне с Юрием? И не захочет ли он, по примеру покойного Андрея, звать татар на Русь?

Татар звать Михаил не хотел. Громить чужими и чуждыми руками родную землю — даже землю Юрия! — он не мог позволить себе.

С Александром заключили ряд. Зимой начали собирать рати. Юрий тоже готовил полки. Не пересылаясь, оба знали, зачем. Михаил пока еще медлил, ожидая, чтобы Юрий сорвался на чем-нибудь, ожидая вестей из Орды — без хотя бы косвенного разрешения Тохты он не рисковал напасть на Юрия.

Святками пришли вести, что Тохта изгнал генуэзских гостей. Те покупали татарских мальчиков у голодных, потерявших в джут большую часть стад родителей. По-

бедители полумира умирали от голода в степи... Русское серебро не проливалось на них даже и отдельными малыми каплями. И невольно думалось: так ли уж могуществен Тохта? Но те же степняки, что от бескормицы продавали детей иноземцам, садясь на конь, становились грозною неодолимою силой, сотрясавшей целые страны. Нет, для спора с Ордою час не настал! Пока еще не настал. И он, великий князь Золотой Руси, должен склонять голову перед ордынскими вельможами... Но, во всяком случае, поступок Тохты с генуэзцами в чем-то развязывал руки Михаилу. Ордынских вельмож надо кормить. Не то многочисленные родичи, племянники, двоюродные и троюродные, сводные и иные дядья, деверья и прочие свойственники взбунтуются противу своего хана. Кафа ограблена, генуэзцы ушли, а он, Михаил, даст серебро хану и скажет, что должен покончить с Юрием. (И попросит полков? Нет, полков татарских, как обещано и себе, и Александру, он не попросит!)

Подошла весна с распутицами, влажными сумасшедшими ветрами, бездорожьем и оголтелыми криками птиц. Наступил сев.

Идти на Москву Михаил решил летом, до жнитва. В июле отовсюду поползли конные и пешие рати и, сбивая порубежные заставы, стали надвигаться к Москве.

ГЛАВА 27

Рать накатывала глухими волнами, железная, без лиц, клубясь, как туман, и, как туман, растекалась, избегая ударов, а он рубил воздух, рубил и рубил, не попадая ни по чему, но знал: кончит рубить, и немая рать сомкнется у него над головой, и тогда погибнет все. Что все, он не знал, но знал, чуял ползущую волнами погибель. И удары меча о воздух отдавали глухо в его голове, гудели, словно его самого били по шелому... Мутный и пьяный ото сна, Протасий наконец прочнулся. В дверь тихо, но настойчиво стучали. Он поднял косматую, тяжелую голову. Лег о полночь, а сейчас не звонили еще и второго часу.

— Кто тамо?— спросил, нашаривая рукоять меча. Кормилец просунул голову:

— К твоей милости, батюшко, гонец. Тайной.— Ста-

рик замялся, оглянул в лампадном мраке покой: нет ли кого? Добавил вполголоса: — Смекаю так, не от Ляксандры ли Данилыча часом?

Протасий опустил ступни на прохладный тесовый пол, прошел босиком, отряхая сон, сунул ноги в мягкие сапоги, набросил зипун. «Зови!»

Сам, тяжело вступив на лавку, дотянулся до лампадного огонька, зажег свечу, утвердил в свечнике. Подумав, зажег другую. Горница осветилась. Хорошо, что лег в особном покое, супруги не тревожить ночною порой...

Гонец, ратник, переряженный в мужицкую сермягу, влез в покой, отдал поясной поклон, в свой черед сторожко озрел горницу.

— К твоей милости Олександр Данилыч шлет. Вота! — подал свиток. Протасий наконец признал ратника: тот был из княжеских, князь Лександра, молодших. Стало, не врет. Строго спросил:

— Никого не встретил дорогой?

— Никого, батюшка!

Подумалось досадливо: «Берегут же Москву Юрьевы молодцы!» В том была сугубая обида, что с нахождением ратной поры князь Протасьеву сторожу у ворот Москвы заменил своей, княжеской. (Так и берегут, поди, перепились с вечера!)

— Велено тем же часом назад.

— Ведаю. Пожди! — кивнул кормильцу. Когда оба вышли, разрезал снурок и развернул грамоту. Вот она! Догадывал. Ждал. Сердце чуяло. Нашарил кувшин, крупно, облив бороду, отпил квасу.

Александр предлагал Протасию, когда подойдут тверские силы, сдать город великому князю. Буде же сие невозможно, перейти с полком на сторону тверичей. Буде и это не возможет совершить, перейти самому с дружиною и затем стать тысяцким Москвы при нем, Александре.

Подрагивающей рукою Протасий протянул грамоту к свечному пламени и ждал, пока последний малый кусочек, обжегши пальцы, не истаял на огне. Тогда, тяжело уронив длань на столешницу, откачнул к стене жесткое, заматерелое тулово и, прикрыв глаза, стал слушать, как кровь толчками била в левый висок. В мозгу, мерцая, кружил огненный хоровод. Одно знал — гонца надобно отослать без грамоты. Почти не удивился, когда, постучав, в покой вошла, в наспех наброшенном

сверх рубахи распашном сарафане со свечою в трясущейся руке, жена. Поставила свечник на стол, перекрестилась.

— Беда какая, Таша? У меня сердце не на месте, помыслила — схожу! Кто это у тебя? — Узрела пепел на столешнице, поняла все.

— От Даниловичей весть?

— Зовут!

Отмолвил и насупился. Оглядел жену, увидел вдруг, какая она уже старая, и в ней, стойно в зеркале, себя узрел. Свои морщины, свои руки в буграх, багровизну мохнатой груди, отвердевшие, с возрастием, уже негибкие члены. Неуж так и порешить? На том и покончить все?

Она опустилась на лавку, сгорбилась, пристально глядючи в жесткое, большое лицо своего главы и заступы.

— Таша! — позвала. Он молчал.— Нельзя нам...— вымолвила с мольбою.— Князь и гневен... а нельзя, немочно. Ташенька! Не молчи! Отзовись! — Вдруг опустила голову и, шепча молитву, начала ронять редкие тяжелые слезы на колени.

Протасий молчал. Знала, не уговорить. Поступит, как сам решит. И он знал, что решить должен сам — один. Да и что тут! Весело ли сожидать с часу на час, как в самую ратную нужу Юрий с соромом лишит его тысяцкого, передаст дружину и волости тому же Петьке Босоволку альбо Родиону, а ему на старости придет поношение ото всех, а невдале — яма подземельная, а жене, а детям — остуда и опала... Чего ждать? Вот уже охрану Москвы отобрал у него Юрий Данилыч. И поделом, поделом! Рука протянулась вновь к кувшину. Судорожно отпил, поставил, едва не отбив дно.

Сором на седую голову! За что? Чем не угодил князю? Что тайных убиений не совершал, яко Петька Босоволк? Что побеждал на ратях? Берег Москву? Помог спасти Переяславль от Акинфа? За службу ежедневную и еженощные заботы великие? За то, что в делах и трудах незаботного ломтя хлеба не изъел за все прошедшие годы? Вот она, награда твоя, тысяцкий Москвы, великий боярин Протасий! Вот она, награда,— в сей грамоте сгоревшей, в сем, яко татю пришедшу, ночном гонце! Знатье бы раньше, уехать вместях с княжичами!

А жена все роняет и роняет слезы и вздрагивает плечами. Старая, косы посеклись, поблекли глаза. Брови

только по-прежнему хороши: вразлет, густые, соболиные. И всегда-то глядел-заглядывался на ее соболиные брови! А вот уже и жизнь проходит. И взрослы сыновья: Данило, надежда отцова, и Василий, тоже не отстал, ни статью, ни разумом. Две дочери замужем уже, и обе в хороших родах московских. Не сошло у них с Бяконтом породниться, а так бы хотелось! Федору тоже любо, толковали о том не раз, да малы у него дети-то... Еще малы. Что ж, и противу Федора пойти?

Встал, ощущая на плечах тяжесть непомерную. Положил большую твердую ладонь на плечо жены,— нет уже той наливчатой крутизны, вся изошла, вылилась в детей, в красавцев сыновей, в дочек... Больно стало за нее, за себя.

— Ты поди! Поспи. До утра, так и сяк, ничо не решу.

Она с промельком надежи, помолодев, глянула на него покрасневшими глазами. Встала, шатнулась, припала к плечу. Выдохнула с мольбою: «Ташенька!» И, погорбясь, ушла, с порога еще оглянувши покой и недвижного середи покоя высокого седого мужа.

Дождав, когда боярыня отойдет, Протасий сделал два шага, неуверенно потянул дверь. Кормилец словно тут и был. Гонец выглядывал из-за его плеча.

— Скажи...— вымолвил и замолк Протасий.— Скажи... Ответа не будет. Покамест...— Он еще помолчал и, стараясь не глядеть в глаза посланному, заключил:— Ступай.

Оба неслышно исчезли. И он, выйдя на галерею, долго ждал в ночной августовской темноте — не загремит ли там, у ворот? Не раздадутся ли крики, лай псов и лязг железа? Нет, все было тихо. В ночном шевелении наполненного ратными города не чуялось ни яростной сшибки, ни кликов поимщиков. Миновал ли? (Поимут — и без вины виноват будешь перед Юрием!) Ночь была тепла, и тонко звенели редкие тут, на крутояре, ночные комары. Стали бить в било на звонnице. Протяжно заперекликали сторожи. Наконец, кормилец замаячил на галерее.

— Ушел?

— Из города вышел невережон, а тамо уж не вем! Дак с грамотой прошел, без грамоты, Бог даст, минует...

— Ладно, поди. Молчи о том.

— Вестимо, батюшка! Не мне говорить...— с легкой обидой отозвался старик.

Почему-то непрошено возникло в уме — давешний наказ бронникам и — не забыть — о копьях: поострили бы наконечники не круто, не то на бою ломлют острия... Вспыхнуло и отошло. Другое нать было думать, другое решать!

Александр, княжич, вестимо, не чета Юрию. А Переяславль? Можайск? Коломна? Михайле ить Переяславль вот как надобен! И опять догадал, что не о том, не про то... Пойдет ли за ним дружина? (И тоже не про то!)

Тяжкими, тяжелыми стопами Протасий со ступени на ступень сошел на двор. Ратник у крыльца (переславской, сын того Федора, знакомца покойного князя Данилы) с готовной приветностью прянул к своему тысяцкому. Протасий приодержал стопы, не зная, как затеять разговор. Сказал негромко:

— Переславской? Федора сынок? — И, на улыбчивый кивок ратника, спросил:— Батюшка благополучен?

— Передавали, приболел малость...— По смущению парня понял, что тому давненько нет вести из дому. Вот так бы и брякнуть: «Едешь ли со мною к великому князю Михайле?» Но вместо того вымолвил:

— К бою все готовы?

— Все, батюшка-боярин! Даве брони чистили и коней перековали почитай всех!

— Пойдете со мною?

— С тобою все головами ляжем! Пущай... Не думают...

Протасий внимательно оглядел парня. От смолисто вспыхнувшего факела посреди двора по лицу переяславца пробегали пляшущие тени. «Про князя Юрия хочет сказать!»— догадал боярин. Протянул раздумчиво, отвердевшими глазами глянув на недальний княжой терем:

— Главы положить легко... Не скучливо тутотка? Али уж породнело на Москве?

— Кабыть и породнело, Протасий Федорыч!

— Како мыслишь о войне? — почти решась, вопросил воевода. Переяславец («Мишук, вот как его зовут, Мишук!»— вспомнил Протасий наконец) горячо и волнуясь — не то зарозовев, не то пламя так легло ему на лицо в этот миг,— отмолвил:

— Ты, батюшка, не сумуй! Мы выстоим! Мы за тебя, за Москву, животы складем, все заедино! Никоторому другому из бояр у нас веры нет, то мы и князю скажем! И противу тверичей выстоим, прикажи только!

— Ну, что ж...— помолчав, отозвался Протасий и опять, туманно, глянул поверх головы парня на княжеский терем. (Охота говорить об измене князю пропала у него после горячих слов ратника.) — Ну что ж...— Он постоял и, не зная, что еще сказать, молча кивнул головою.

А Мишук, когда боярин, оставя его, двинулся по двору, вдруг остро пожалел, что не нахрабрился сказать о главном, о том, что князь Юрий не прав в этой войне, и что ежели тысяцкий решит противустать князю, то и тогда они, молодшие, поддержат своего господина... И скажи Мишук это боярину, кто знает, как бы повернуло одно его слово грядущую судьбу Москвы?

В темноте, узнав боярина, к Протасию подошел дворский с отчетом, потом прискакавший с Пахры ратный холоп, потом двое старост, приведших ополчение из Воробьева и Красного... Протасий всем отвечал, во все входил, отдавал приказы, которых должен был бы — пожелай он помочь князю Михаилу — не отдавать или, напротив, отдавать приказы прямо противоположные нынешним — отослать, например, назад ополчение из Красного, распустить по домам те полторы тысячи мужиков, что стянул он за эти дни на защиту города, отогнать конские табуны за Пахру, да и мало ли что! Тысяцкий Москвы, коли захочет, возможет и всю рать московскую порушить и разогнать так, что нечем и не с кем станет противустать Михайле. И, однако, он продолжал делать то, что было во вред Михаилу и на пользу Юрию. Продолжал отдавать дельные наказы холопам, и все не мог додумать, не мог поймать той единственной, самой главной мысли, которую должно было додумать ему именно теперь. И уже редело, светлело и серело небо, и уже третий факел переменял сторож в кованом кольце на дворе, когда Протасий, с запавшими глазами, вновь поднялся по ступеням крыльца и тут, наверху, на гульбище, понял, что теперь, когда город готовится к бою, ему особенно трудно уехать, особенно трудно предать — не Юрия, нет,— честь свою предать, свое право и свое уменье делать все это: двигать тысячами людей, которые пойдут за ним на смерть (и пойдут потому, что верят ему, а не Юрию!), и — совсем невозможно оставить их всех теперь, в грозный час народной беды,— хоть беду эту и накликал на город сам князь Юрий Данилыч,— раньше, позже, но не теперь! И сурово озрел он еще раз свой двор и по-за двором

суетящуюся предутреннюю Москву. Вспомнил горячую речь ратника Мишука (верно, уже сменился и спит в молодечной избе) и, с почти отрешенною, уже покаянною грустью, княжича Александра, которого, так складывалась судьба, должен будет он, ежели не уедет, предать на этот раз ради изверга и убийцы Юрия... Подумал так, отворотил лицо, полез в терем, в изложню, соснуть мал час в передрассветной, ломкой, точно весенний лед, тишине.

Уже почти решив, что не оставит града, Протасий у самых дверей изложни столкнулся со старшим сыном Данилою. Тот был румян со сна и бодр.

— Батя, не спишь! Я уж услыхал тебя на дворе, дак дай, думаю, выйду! Беда какая ли?

Протасий отмотнул головой. Вся кровь бросилась к сердцу, когда узрел сына. Схватил Данилу за твердые предплечья, притянул к себе, глянул близко-близко, глаза в глаза. Что ж, Юрий Данилыч, и парней моих не пожалеешь? Не пожалеет ведь! Дак не отдам псу! Пущай Господь в горней выси рассудит нас с тобою, московский князь!

— Ты што, батя, батюшка?— отревоженно прошал Данила.

— Так... Устал я, сынок, малость... Ты сходи тамо, за меня побудь... Коломенская помочь должна подойти из утра...

— Будь в спокое, батюшка, справлю все!

Протасий наконец отпустил сына, легонько оттолкнул:

— Ступай.

Сам отворил дверь и, низко сгибая голову, полез в изложню...

На Москве уже разноголосо заливались петухи. Данило, названный так в честь покойного князя, вышел на гульбище, глянул в заречье. В редеющих сумерках по Коломенской дороге тянулось конное и пешее войско — шла коломенская помочь. Перегнувшись через перила, Данила крикнул стремянного и велел подавать коня.

У речных ворот сына московского тысяцкого с его свитою, однако, задержали. Ругаясь, он поднял было плеть, но переломил себя — еще не хватало драться с княжьими кметями! Решив все-таки не будить роди-

теля, круто поворотил к терему Юрия. Балуют тамо! Враг у ворот!

В княжеские палаты Данилу пустили тоже не вдруг. Дружина осталась за воротами, саблю пришлось отдать придворному холопу. После ряда задержек его все же допустили на сени. Князь Юрий сидел с дружиною и был порядком хмелен. По мятым, осоловелым лицам видать было, что пили и не ложились всю ночь.

На жалобу Данилы князь качнулся, отвел рукой со лба прилипшие волглые рыжие кудри, недобро глядючи, вымолвил:

— Мой приказ! А коломенску рать без тебя встретят!

— Мал глуздырь, а туда ж, за батькой! — явственно произнес кто-то из пирующих. Данило залился горячим темным румянцем, дивно похорошев, свел брови, рука рванулась к поясу, где только что была сабля. За столом усмехнулись:

— Уже и в княжеской гридне ратиться хочет!

В этот миг в палату вошел княжич Иван. Просительно оглядел светлым взором сына тысяцкого и старшего брата и, верно, не то услышав что, не то догадав, махнул Даниле: — Пожди тамо!

— Почто задержали молодца? — спросил он, когда Данила вышел.

— Нынче ночью, бают, к Протасию гонец был тайной! — громко сказал Юрий, оборотив к брату упорный яростный взор.— Ни от кого иного, как от Сашки с Борисом!

— Грамота могла быть и с тем, дабы ты на Протасия опалился! — пожав плечами, возразил Иван и, в свой черед, оглядел застолье.— Тверичи в Волоке Ламском, а нынешней ночью Клязьму перешли! — сказал он негромко и просительно отнесся к брату: — Выйди на мал час!

Юрий неохотно встал на неверные ноги, вылез из-за стола. Под настороженными взглядами дружины и враждебно-пронзительным зраком Петра Босоволка братья вышли из покоя.

— Во время ратной поры снять тысяцкого — стало самих себя разгромить еще до ворога!

Юрий, покачиваясь и хмуро усмехаясь, глянул на нежданно построжевшего Ивана, фыркнул:

— Устал я от ево!

— Кем заменишь?

— А — Петькой!

— Ратные примут?

Юрий презрительно усмехнулся.

— Мне как: до стыда еще уехать к Михайле или поглядеть, как тебя, связанного, поволокут во тверской стан?

Юрий рыкнул и, трезвея, вперил острый взгляд в братнее лицо:

— Так мыслишь?

— Слушай, Юрий! Я служу тебе всею душой и кажным помыслом. Вот крест, и пусть Всевышний поразит меня, ежели лгу! Но не дай порушить отцово добро! Молю тебя, брате! Хошь, на колени паду?!

Юрий засопел, утупил глаза.

— Оставь...— Махнул рукой как-то вкось.

— Дозволь дельный совет подать! Я ить тебе о сю пору худа не советывал! — попросил Иван, поднимая на брата прежний свой, прозрачный и словно бы не от мира сего, взор.

— Ну!

— Отпусти Протасьича, пущай рать коломенску встретит, а к тверским боярам не худо бы и от нас грамоту послать: одно на одно и выйдет.

— Кому? Они, как псы, все умереть за Михайлу готовы!

Иван опустил глаза и ответил тихо:

— Ивану Акинфичу.

— ?!

— И не требуй многого. Сам обещай. Села те, переславски, что мы под себя забрали, дак тово... доход с их... пущай своих посельских шлет! С Родионом сговорим опосле, удоволим его из обчего...

Юрий долго-долго молчал, разглядывая брата-молитвенника. Заглядывал, недоумевая, в честные светло-голубые его глаза и опять, как когда-то прежде, издрогнув, подумал: не слишком ли опасно умен младший брат? Иван Акинфич... про которого сам бы не подумал ни за что на свете,— сын убитого врага! И, конечно, ежели кто может изменить Михаилу, то только он!

Хмель уже совсем покинул Юрия, оставив лишь муть и изжогу («Верно, что горе-воеводы — враги у Москвы, а мы бражничаем!»).

— Поди, надумал, ково и послать к ему? — угрюмо догадал Юрий.

— Ты мне поручи только, Юрко! Я все сделаю! — примирительно ответил Иван.— А Протасия не трогай. Добра не получишь, а худа не избудешь!

— Ладно...— ответил наконец Юрий, покивав головой. В утешение себе он тут же представил, как обозлит Босоволка братний совет оставить тысяцкое за Протасием: то-то взвоет, пес!

Юрий тряхнул головой (муть пьяной ночи больно колыхнулась под черепом), крикнул слугу. Не ворочаясь в палату, велел готовить коня и тут же наказал отпустить сына тысяцкого встречу коломенской рати. Он был уже вновь деловит и весел, стремителен, готов скакать и объезжать полки на ближних к Москве заставах.

А Иван, проводив брата, вышел на глядень и долго устало смотрел в заречные дали по-за Неглинкой, туда, где уже скоро должны были замаячить конные тверские разъезды, пока на светлеющем окоеме не разлилось золото утренней зари и жгучий расплавленный краешек солнца не вылез из-за далекого леса, пробрызнув светлотою по маковицам и кровлям теремов. Тогда Иван, прошептав что-то про себя, одними губами, начал спускаться по ступеням, складывая в уме, как и что должно написать старшему сыну Акинфа Великого, который сейчас, во главе победоносных ратей, близится к Москве... Написать так, чтобы Иван Акинфич польстился на московские посулы и не увидел в них чрезмерной слабости. Ибо у слабого попросту отбирают, без всяких с ним соглашений... И нужно к тому же, чтобы грамота успела к Акинфичу в ближайшую ночь.

ГЛАВА 28

Война обгоняла жатву. В тяжелой августовской пыли шли войска, топча золотой хлеб. Пугливые крестьянские возы со снопами шарахались в рожь, уступая дорогу конным ратям. Тускло горело на жаре покрытое пылью железо. И, казалось, усатые, тяжело колеблемые ветром головы колосьев повторяют ощетиненный копьями очерк конных дружин.

Великокняжеские рати надвигались на земли Москвы широким полумесяцем, следуя мунгальскому на-

вычаю загонных облав. Левое крыло, где воеводили пришлые бояре — Иван Акинфич с Андреем Кобылой, перенимало переяславскую дорогу и подходило к Москве с востока. Правое крыло, во главе с Бороздиным, захватив Волок Ламской и отсекая Можайск, угрожало Рузе. Михаил с главным полком шел через Дмитров прямо на Москву.

Тохте, занятому ссорой с генуэзскими купцами (татары по его приказу нынче погромили Кафу), через владимирского баскака была послана грамота, в коей война объяснялась непокорством Юрия, его нечестностью в выплате ордынского выхода и, главное, поддержкою им новгородской смуты, от чего страдали и русская и ордынская торговля, а великий князь владимирский не мог собрать нужного хану количества серебра. Даже и владимирский летописец отмечал позже, что поход на Юрия был затеян Михаилом по причине «войны новгородской». Все это была святая правда, и одного лишь не повестил Михаил хану, что поход на Москву был нужен прежде всего ему самому ради укрепления единовластия на Руси, а твердая власть великого князя была залогом грядущей независимости страны от всякой сторонней власти — прежде всего от Орды и хана мунгальского. И о том, что в случае успеха он мыслит заменить князя Юрия на московском столе Александром Даниловичем, тоже не написал Тохте Михаил. А, значит, в самом дальнем и самом главном он все-таки обманывал Тохту? И лепо ли было теперь говорить ему о дружбе с ханом? Надеяться на заступу мунгальскую? Впрочем, татарской конницы в помочь своим ратям Михаил у великого владимирского баскака не попросил. И без конницы этой ему становилось трудно.

Не поспевали гонцы, то и дело рвалась тоненькая ниточка связей между раскиданными на десятках поприщ полками. Все чаще московские разъезды безнаказанно вклинивались в порядки тверских дружин и, натворив переполоху, уходили на рысях, избегая ответных ударов тверичей.

Юрий, как выяснилось, пользуясь погромом, учиненным в Рязанской земле, и казнью рязанского князя Василия Константиновича, снял заслонные полки с южного рубежа, вывел коломенскую рать и всю эту силу стянул к Москве. (В чем, впрочем, была заслуга

не столько Юрия, сколь его дальновидных воевод, и прежде всего Федора Бяконта с Протасием.)

Конные стычки делались все ожесточеннее, и все чаще Михаилу приходилось посылать наперед крупные дружины из главного полка. Войска зорили деревни, жгли усадьбы московских бояр и большие скирды княжеского хлеба. Ленивый дым столбами клубился в пыльном мареве, увеличивая духоту.

С возвышенных мест, придерживая коня, Михаил озирал перелески и поля, в которых, сгибаясь долу, бабы продолжали серпами жать хлеб, меж тем как мимо них змеисто текли и текли по дорогам и без дорог конные и пешие ратники, покрытые с ног до головы пылью. И по тому: хищно, ища поживы, или беззлобно, с невольной жалостью к испуганным селянкам и неистребимым уважением к древнему великому труду пахаря озирали жнущих баб проходящие кмети, разом угадывалось, кто дружинник, потомственный воин, чья нива — поле ратное, а кто оборуженный мужик, коему и самому-то невтерпеж скорей воротить до дому да круто начать валить горбушею перестоявший хлеб. И Михаил в невольной задумчивости удерживал коня на холмах, откуда война и жатва — несовместимые в сути своей, как хлад и огнь, влага и твердь, жизнь и ее смертное отрицание,— враз предстояли взору.

Поначалу великого князя Михаила еще долили мирные заботы, оставленные назади, в Твери. Заботила судьба дружины иконописцев, вызванных им из Суздаля подписывать соборный храм, коих он, узрев мастерство и талан, мечтал оставить у себя, и уже баял о том со старшими мастерами, суля почет и прибыток. Мечталось утвердить во Твери училище иконного письма, книжного дела и пения церковного, достойное стольного града Владимирской земли. Пото уже перебрались в Тверь избранные владимирские певчие — знатоки византийского осьмигласия, распевщики, гимнографы и хитрецы крюкового письма. Князь почасту пел и сам вместе с певчими в соборе и деятельно добивался устроения у себя лучшего хора на Руси. Тревожила также судьба киевского философа, мниха лавры Печерской, коего приветил Михаил еще в бытность тверским князем, уже ветхого деньми, а ныне изрядившегося в долгий путь на родину, откуда чаял добыть редкие книги и ученых людей для

князя обещал привести. Он да еще духовник князев с игуменом Отроча монастыря почасту толковали Михаилу непривычное еще и доднесь на Владимирщине учение о единовластии, яко свыше сущем даре от Господа, применяя оное учение к тверскому княжескому дому... И Михаил, глядя на пакости Юрия Московского, непокорство новгородцев и глухую злобу волынского шурина своего, нет-нет да и задумывался над сим учением, коим византийские кесари, а ныне и короли земель западных подтверждали и укрепляли единовластие в землях своих. Все это, однако,— и дела посольские, хитрые уловки торговых гостей немецких, что через его земли стремились проникнуть на Восток, в далекую Персию, и градские заботы, и даже дела семейные,— все это постепенно отодвигалось, меркло, уступая место насущным воеводским заботам.

Старшего сына, Митю,— ему шел девятый год,— Михаил нынче взял с собой. Пусть поглядит на взаправдашнюю, не детскую войну! Сын держался молодцом. Часами выдерживая в седле, скакал рядом с дядькой, обгоняя тяжело и ходко идущие пешие рати, и с радостной гордостью являл отцу свою седую от пыли, умученную детскую мордочку, старательно пытаясь в такие мгновения принять пристойную воину осанку.

Впрочем, и не до сына уже было. Хотя в умножающихся сшибках с московитами великокняжеские дружины постоянно одолевали, Михаил опытным чутьем воина угадывал недоброе. Вдруг и сразу показалось, что его обманывают, что войска идут не там и не туда, куда говорят ему, что Бороздин опоздал и московская рать готовится нежданным ударом разорвать его силы надвое и, может, разгромить по частям. Будь у Юрия толковый воевода, он бы уже сейчас это сделал!

— Эй! Что там!

— Ходу нет, княже!

Подскакавший дружинник, размазывая грязь по лицу, частил:

— За лесом кованой рати, что черна ворона, едва ушли!

— От Бороздина есть ле кто?

— С ночи не было никоторого гонца.

— Так... Кованая рать, говоришь? В бронях?

— Все в бронях, княже! — подтвердил обрадованный, что его не ругают, молодший.

— Родионов полк, должно! — сказал Михаил вслух и вопросил строго: — Напереди что?

— Наши, вроде...— растерянно отозвались сразу несколько голосов,— часа три как пешцы прошли...

Вот оно. Так. Родион... Михаил оглядел бояр, приметил решительное лицо Микулы — этот!

— Найдешь Бороздина! Пущай не стряпая идет к Москве! Всем вздеть брони! К утру чтоб выходили на Сходню, понял? Поскачешь с дружиной. Коли что, пробивайтесь с боем! Ты, Арефий, скачи вперед, останови пешцев. Пущай оброют стан и ждут в оружии! Никанор! Окишь! Семен! Тверской полк сюда! На рысях! — Сынишкино личико кинулось в очи...— Семен! Княжича захвати с собою! — крикнул Михаил вдогоню.

— Батя! — с надеждой и горестью выдохнул мальчик. Но отец, непривычно грозный и чужой, только мотнул шеломом, как отгоняя муху, и Митин конь, схваченный за узду, поскакал с прочими назад по дороге.

— Бой будет! — объяснил ратник на скаку.— Нельзя тебе ищо!

Встречь и мимо уже мчались, подскакивая в седлах, подтянутые, построжевшие ратники. Мотались гривы коней, вздрагивали кончики копий, и Мите, только что до слез разобиженному, что его отсылали назад, в товары, вдруг стало страшно за отца: а ну, как тятю убьют на бою!

— Тятю не убьют? — спросил он ратного, морщась от густой пыли, поднятой проносящейся конницей. Ратник ворчливо отверг:

— Неча и баять такое! Твой батюшка во многих сечах бывал!

В голосе кметя прозвучало такое почтительное уважение, что Митя успокоился немножко. Поехали обочь дороги, по истоптанному хлебному полю. Мимо и встречь шли и шли на рысях, все убыстряя и убыстряя ход, конные тверичи, и никто из них не смеялся и не шутковал с товарищами, как было еще час назад. Митя, глядя в их насупленные лица, начинал, робея, понимать, что вот это, наверно, и есть взаправдашняя война, хоть еще не было ни скепания сабельного, ни треска копий, ни свиста стрел, ни конных сшибок, ни крови...

До боя, впрочем, как узнал Митя к вечеру, дело не дошло. Родион, увидав, что его обходят конные тверичи, и завидя над полком великокняжеские стяги, не выдержал, поспешил отступить к Москве, так и не поняв, что мог сам, в свой черед, обойти и даже пленить Михаила. Об этом со смехом и шутками говорили вечером в стане, когда великий князь, воротясь, раздавал останние приказы воеводам. (С Бороздиным наконец установили связь, Микула доносил, что полки правой руки прошли Рузу и близятся к Москве). Митю, засыпающего на ходу, отец подхватил на руки, подкинул в небеса, и Митя, испуганно-счастливый, прижался к знакомой бороде и твердой скользкой броне, заново переживая свой давешний страх за отца.

Эту ночь Михаил почти не спал, разыскивая через гонцов и сводя воедино свои рати, и к утру уже полностью овладел полем. Плотные ряды тверичей и владимирцев в боевых собранных порядках все гуще и гуще выходили из лесов на пригородные росчисти, полки тут же смыкались крыльями, и можно было уже не страшиться прорыва или охвата со стороны москвлян.

Отвердевшими очами Михаил зорко выглядывал с каждого угора: город вот-вот должен был появиться в разрывах изреженных лесов, и уже не смотрел на пожары, на спасающих скарб жителей, на изломанные хлеба, на густые столбы дыма от горящих ржаных зародов, уже бездумно взирал на полон и скот, что гнали по дорогам ратные (созови он татар, тут бы не осталось уже ни одной целой деревни!), ибо сейчас ему приходило держать пред мысленными очами все свое войско, пылящее по дорогам; и от ежеминутных гонцов узнавая, где тот или иной полк, князь тут же отмечал в уме перемещения ратей, торопил или удерживал воевод, и конные кмети стремглав летели с приказами сквозь пыль, поля, понурые от дыма леса, пожары и прах деревень.

Война подкатывала к Москве. Двадцать третьего августа, сбив последний заслон на Сходне, Михаил увидал вдали московский кремник; двадцать четвертого послал Ивану Акинфичу приказ выйти на коломенский путь и, буде возможно, бродом или плавом, перейдя реку, зайти в тыл москвичам. Вечером того же дня подошли от Можайска последние дружины правой руки. Доле Михаил порешил не ждать и наутро, двадцать

пятого, на память апостола Тита, приказал изготовить полки к бою и осадному приступу. Двукратные послания княжича Александра московскому тысяцкому ответа не возымели, и рассчитывать на добровольную сдачу Москвы уже, видимо, не приходилось.

Поздно вечером, отдав последние наказы воеводам, Михаил подъехал к своему шатру и устало спешился. Кинул стремянному повод и, нагнув голову, пролез в шатер. С низкого ложа ему навстречу поднялся Александр Данилыч. Они обнялись. Сели на раскладные ременчатые стулья. Слуга подал хлеб, обугленное на вертеле мясо и квас. Оглянувшись на гостя, поставил на дорожный столец сулею с вином, мису с восточными сладостями и изюмом. Удалился. Князья остались одни и сперва занялись едой. Оба пробыли в седле почти сутки. Михаил молча разлил вино, молча выпили. Александр был непривычно хмур. Он жевал, изредка взглядывая на Михаила. На худом лице очень явственно двигались крупные желваки.

— С делом ли, князь? — наконец нарушил молчание Михаил. Александр шумно вздохнул, обтер рот, откинулся. Поглядел строго в лицо великому князю:

— О Переяславле речь!

— Москва еще не взята,— чуть охмуря брови, возразил Михаил,— одолеем Юрия, будем делить волости...

— Все равно! — не отступая, молвил Александр.— Мне брать княжество или объедки от него придет?

— Русь должна быть единой, Саша. Мы ить с тобою досыти баяли о том!

Он сказал это мягко, с чуть заметным упреком. Александр потупил глаза, залившись неровным румянцем:

— Переяславль и ныне слывет в волости великого княжения... А совсем штоб... Меня бояре проклянут московски и... самому жаль! — Он решился поднять глаза на Михайлу. Тот глядел на Александра с усталою горечью. Неужели корыстные заботы княжений, тверского, великого и московского, сошедшие, как на пробном камне, на судьбе Переяславля, разведут его с этим мальчиком, которого он так хотел иметь своим сыном!

— Я не знаю, Александр, как нам решить с Переяславлем. Пусть будет так, как теперь. Ну, быть может... да что делить шкуру неубитого зверя! Важно не это! Важно, чтобы мы, ты и я, оба думали прежде всего о судьбе Руси, потом уже о своем. А иначе, боюсь,

погибнет наша родина, и наследие наше — твое ли, мое — вместе с нею. Без родины мы ничего не спасем!

— Я знаю это! — ответил Александр, подымая взгляд, уже без внутреннего усилия, просто и строго поглядев на Михаила. (Знаю и то, что моя с Борисом дружина мало что значит в войске великого князя! Но не дай Бог и ему, стойно брату, сев на московский стол, в свой черед вступить в ссору с великим князем владимирским!) Прости меня, князь! Но ты сам хочешь, чтобы я занял московский стол. И потому я и хотел поговорить с тобою до боя... Ведь решать за все княжество не мне одному, есть бояре, народ...

— Знаю. И все равно хочу иметь дело с тобою, а не с Юрием. Ты честен. И у тебя есть совесть и прямота. Поэтому с тобой можно иметь дело и тебе можно верить. Что бы ты ни решил, Александр! Понимаешь меня?

Оба встали и стояли несколько мгновений, задумавшись. Потом Александр порывисто шагнул и обнял Михаила крепко-крепко.

— Прости, князь! — пробормотал он.— Прости и верь. Веры твоей не обману.

Ночь опустилась на стан. В ночи глухо ржали и топотали кони. Михаил спал, вскидываясь во сне. Спал Юрий, тоже беспокойно ворочаясь с боку на бок, уже со страхом, порастерявши давешнюю спесь, думающий о завтрашнем сражении. Спал, отдав последние приказания и благостно сложив руки на груди, на высоко взбитых подушках великий боярин Федор Бяконт. Он сделал для своего князя все, что мог, и не его вина, что Юрий все, что мог, погубил и испортил. Теперь, ежели не спасут воеводы и не вмешается Орда, погибнет московский князь! А и ему, Федору, опала предстоит от Александра, ежели, конечно, не поймет княжич, что и для него тоже Федор Бяконт сможет хорошо послужить. А ежели не поймет? Тогда в монастырь! Спать, спать! — одернул он себя и, верно, заснул, с непривычно суровым, как бы уже монашеским, отрешенным ликом. Спал, постанывая во сне, Родион, слишком поздно понявший, какую промашку он совершил днями, отступив перед Михаилом. Спали кмети и оборуженные мужики на возах и под возами, в избах и шатрах, и прямо в поле, на теплой земле, завернувшись в попону. Лишь сторожевые ходили, перекликаясь да поглядывая на недальний вражеский стан... Не спал воевода Прота-

сий. Он уже отослал последние наказы и последних слуг отправил на покой, чуть не силой заставил лечь сыновей и теперь сидел, пригорбясь на ложе, слушая храп стремянного, что повалился на полу на сеннике, у постели своего господина, готовый к завтрашнему ратному дню. А воевода сидел и думал. Все уже было сделано, и, умри он в сей час, все пойдет само собою, по означенному пути. И оттого, что все уже было совершено и переделано и готово к завтрашнему бою, настала ему пора помыслить в останний раз: с кем же он, с Юрием или с Александром? И как поведет он себя в завтрашней сече?

Позавчера струхнувший Юрий вручил ему всю полноту власти. Теперь он, буде восхощет, легко мог открыть ворота Михаилу. И потому теперь это казалось особенно трудно совершить. Легче — опальному. Легче ли? Всегда нелегко! И труднее всего, когда затронута честь. Паче славы, почестей и удачи русичу — честь. Пусть даже никто и не уведает о том, пусть надругаются и проклянут, а честь твоя с тобою — и все при тебе. И ветер, и родина, и дальние синие окоемы — лишь бы честь была не порушена! Для себя. А не продал он ее тогда, раньше, когда не остановил князя по дороге в Орду? И не сейчас ли должен воротить ее себе, хотя бы и кровью, хотя бы и изменою князю... Изменой?!

Длится ночь. Храпит, раскинув руки, стремянный. Не спит Протасий, тысяцкий и воевода Москвы. Терзает себя. Думает и не может уснуть.

Косые светлые стрелы солнца вонзились в тонкую пелену речного тумана и, порвав ее в клочья, обнажили сырые от росы бревна пригородных изб и быстро идущие мимо них по дороге с копьями, рогатинами и топорами на плечах густые ряды ратников в толсто простеганных войлочных или суконных тегилеях, с продолговатыми щитами, обитыми полосами начищенного железа, в клепаных шеломах, мисюрках, шишаках, а то и просто в шапках, крест-накрест покрытых нашитыми полосами жести,— хоть так спасти голову от гибельного сабельного удара конного воина. На ногах у большинства кожаные поршни, лапти, редко у которого сапоги. Долгие подолы посконных рубах полощут по коленям из-под войлочной свиты. Рукавицы у большинства — за поясом. Перемежаются юные и бородатые лица: почасту

отец идет с сыновьями, и безусые или с легким пухом на щеках парни поспевают за матерым, в полседой бороде и косматой гриве, топырящейся из-под шелома, родителем. Идут дружно, ходко, но не в ногу, не идут, а «валят» разгонистым дорожным крестьянским шагом, вытаптывая сырую от росы и еще не пылящую дорогу. Это — пешцы, тверское крестьянское ополчение, мужики, озабоченные неснятым урожаем да тем, как там, дома, бабы управят со скотиной? Иные хозяйственно выглядывают — чего тут можно будет прихватить с собою? Какой ловкой снаряд, лопотину какую, портно ли, оружие с убитого — а это уж великая удача, бронь добыть альбо дорогой меч! Такая справа перейдет от отца к сыну, от деда к внуку, доколь не погибнет ратник на бою и в свой черед не снимут с него чужие руки дóрогую древнюю бронь.

Проскакали, тесня к обочине пешую рать, стремительные, облитые сверкающей чешуею доспехов конники с опущенными стрелами шеломов, с сулицами наизготове, ушли в туман, притаившийся в западинке у излука реки, и вновь, под завистливые взгляды пешцев, вылетели на угор, на солнечную звень и радостный зоревой ветерок-утренник, разом взъерошивший гривы коней. Подъехал боярин, стал прошать старшого у пешцев, за боярином прискакал конный холоп, сказал что-то, и боярин, не договорив, заворотил коня и умчал. Мужики заостанавливались недоуменно. Степан (они были тут вчетвером: Степан с сынами и Птаха Дрозд так уж и держались одной деревней) начал в голос ругать давешнего боярина. Но тут о край поля, вдалеке, показалась конная рать и на рысях, переходя в скок и опустив копья, начала широкой редкою чередою приближаться к ним. Мужики не вдруг поняли, что то — враги, и смешались было. Но разом подскакал свой боярин, прикрикнув, начал сгонять ратников в строй и, кое-как выправив ряды, повел их через поле встречь уже близкой коннице. «А-а-а! Москва-а-а!» — летело оттуда.

Степан, чуя, как разом охлынуло и стало куда-то проваливаться сердце, поднял рогатину... Батько бы, покойник, увидел — застыдил. Эх! А все одно: тряслись руки, тряслась рогатина. Глянул вбок — на сынах лиц не было, и от этого немного опамятовал — отец все же, должон пример казать! Прикрикнул на парней, увидел Птаху, Дрозда, низкого, широкого в плечах. Птаха со-

всем втянул голову в плечи, но хоть рогатину держал прочно. Глянул вперед и — обмер. Прямо на них мчал на коне бородач с отверстым ртом, кричал непонятное и с жутким осверком размахивал саблей. Степан не то рыкнул, не то всхлипнул, и тотчас вершник налетел на них, грудью выбив у одного из парней рогатину. Оскаленная страшная морда коня и сумасшедшие глаза ратника с распяленным в реве ртом нависли над Степаном, и оттуда, с выси, ринула вниз сверкающая струя сабли. «Все! Конец!» — подумал Степан, но в тот же миг, словно сонное наваждение, и конь и всадник исчезли, отлетели прочь, и гибельный удар пролетел в пустоту. Оказалось, это Птаха ткнул всадника сбочь рогатиной, не сильно и ткнул, тоже с переляку, видать, да попал коню в пах, в болькое место, и тот, взвив в небеса и едва не сронив хозяина, отпрянул на добрых полторы сажени. Но Степан не успел даже и крикнуть Птахе благодарное слово — на них несся уже новый всадник с таким же распяленным в реве ртом и вздетою саблей. Четыре рогатины дружно, хоть и неловко, сунулись ему встречь, и конь, взмыв на дыбы, затанцевал на задних ногах, а всадник начал рвать лук из колчана, и сорвавшаяся с тугим звоном стрела прошла над самыми головами мужиков, к счастью, не задев никоторого. Видно, стрелок был хреновый.

Со всех сторон орали, неслись, рубили, дико ржали кони, но что-то уже переломилось, верно, свои сумели отбиться по-за клетями и огородами, и московские комонные начинали заворачивать коней. Четверка чудом уцелевших сябров скоро влилась в строй однополчан и вместе с ними пошла вперед по полю, вослед отступающему врагу.

Михаил глядел с холма на эту сшибку. Он ожидал, что пешцы побегут, и готовил конный полк, чтобы ударить на московитов сбоку и с тыла. Пешцы, однако, не побежали, а когда это, самое слабое, набранное из дальних деревень, ополчение остановило и вспятило конницу, он удивленно и одобрительно раздул ноздри:

— Каковы!

То, что, отступив, москвичи тем самым избегли окружения и приходилось бросать конницу не в охват, а всугон врагу, его не огорчило. Радостно было уведать, каким народом наградил его Бог. И он снова, как уже не раз в боях, подумал, что при добрых воеводах, даже хотя бы и не с великим таланом, но просто при чест-

ных, некорыстных и заботливых к своему ратнику воеводах, русичи могли бы стать непобедимы в любом бою и против любого ворога — закованных ли в железо рыцарей, коих не пораз уже били новгородцы со псковичами, степной ли, доныне непобедимой конницы, которая не должна, не может побеждать Русь среди этих холмов и лесов!

Он тронул коня и шагом поехал по полю. Мимо, вскок, всугон отступающим москвичам, шел, рассыпаясь лавою, конный кашинский полк, и, завидя своего князя, ратники кричали и подкидывали копья, кто умел, ловя их на скаку, стойно татарским богатурам.

Пешцы, которых скоро обогнала своя конница, остановились и, сгрудясь, начали считать потери и собирать своих. Кто-то побежал искать подводы, что шли за полком, другие перевязывали и собирали раненых, пока, до подвод, устраивая их в большом боярском овине с жердевой пелятью, на рассыпанных снопах молодого хлеба. Собрали порубанных, при раненых оставили сторожу и вновь двинули вперед по дороге, вдоль речки и примолкших, крепко затворенных хором, хозяева которых, ежели не забиты в московский острог, сидят сейчас, верно, в погребах, пережидая ратную напасть.

Всей картины боя им, пешим ратникам, было отселе не видать, никто из них не знал даже, что речка, к которой уже не раз сбегали испить водицы и торопливо облить разгоряченную голову, зовется Неглинкою и течет прямо к городу Москве. Шли и стояли, прея на жаре, жевали запасенный хлеб, у кого был, и снова шли. Вспятились о полден, развели костер и кормились кашею, не снимая ни оружия, ни шеломов, так приказал боярин. Отовсюду слышались топоты коней, ржание, почасту долетали крики боя, в воздухе все время стоял гул. Один раз невдали проскакал сам князь Михайло, на атласном черном коне в сбруе под серебром и в дорогой зеркальной броне, и мужики рванули было его посмотреть, но боярин, истошно завопив, воротил бегущих и, ругаясь, установил строй.

К пабедью, однако, их снова тронули вперед, и тут, уже при виде деревянной, ярко пылающей с одного краю крепости, на них густою и яростною толпою вновь ринула конная московская рать. Кони с оскаленными мордами и орущие всадники, казалось, были всюду. Какой-то седатый боярин, большой, на большом коне,

скакал напереди с воеводским шестопером в руке, и тверских мужиков враз разметало, точно вихорем. Кто не лег, порубан, бежали, прячась по-за клетями и огорожами, улезали ползком. Степан свалился куда-то в овраг (что и спасло), на него пал какой-то мужик; побарахтавшись, узнались, оказалось — Птаха. С отчаяньем Степан выдохнул:

— Сыны!

— Здеся... Лешак сухой, едва не задавил! — выругался Дрозд. Близняки бежали с ним, и теперь один за другим тоже свалились в овраг. Парни были в крови, их трясло, оружие потеряли оба. «Батя, батя,— бормотал один,— батюшка!» Другой же закатывал глаза и хрипел. Степан, опамятовав, подрал рубаху, стянул кой-как парню кровоточащую рану и, видя, что тот уже и не стоит, натужась, взвалил сына на плечи. Так и потащились. Где тишком, где ползком. Птаха нес две остатние рогатины, Степан — сына. Солнце садилось, и по низам повело сырью. Звериным чутьем вылезли они к прежнему месту, с которого утром начинали бой. Их окликнули. У Степана уже дрожали ноги, и, окажись впереди москвичи, он бы, верно, сел на землю и сдался. Но то были свои, тверские. И конница, что маячила в сумерках над погасшею темною землей, была своя, тверская. Чьи-то заботливые длани приняли из сведенных, онемевших рук Степана обеспамятевшего парня, уложили на телегу, подали целебное питье. Подошел сухой мужик с морщинистым, как бы вмятым ликом, спросил строго:

— Покажи, цего навертел тута? — Ловко размотав тряпицу и диранув засохлую кровь,— парень дернулся и застонал,— знахарь сперва густо смазал рану чем-то пахучим, потом шваркнул лепешку из целебных трав и вновь, уже по-годному, перевязал раненого. Степан заметался было, думая, чем отплатить знахарю, но тот, поняв движение мужика, легко отвел рукой, кинув не без гордости:

— Мы мзду от князя емлем! — И, отворотясь, занялся другим раненым.

Степан стоял на дрожащих ногах, смотрел, отходя, тупо слушал, как конные кмети взапуски ругают своих бояр: «Бороздин виноватый, боле никто! Не поспел, старый хрен! Вишь, мужиков дуром посекли!» И лишь постепенно начинал понимать, что дуром посеченные мужики, это они сами, и что кругом — свои, и твер-

ская рать не разбита, как он уже помыслил в овраге, и, отходя, переставая трястись, видя, что и парень, испивши горького отвара, приходит в себя (а уж волок-то из последних сил, не чаял донести живого!), Степан наконец понял, что они спасены, и — заплакал.

— Эк уходило мужика! — сожалительно проговорил кто-то из комонных. Откуда-то вновь вывернулся Птаха Дрозд, сунул ему прямо в бороду мису мясного горячего отвара, и Степан пил, обливаясь, всхлипывая и успокаиваясь от горячей сытной пищи.

Темнело. Там и тут вспыхивали костры. Ратные все спорили, все поминали Бороздина, не подошедшего вовремя с полком, выискивали иных виновников неуспеха... Все дело, однако, было в московском тысяцком, Протасии.

Протасий из утра не покидал Москвы. Уже когда на Неглинной развернулось сражение, он предоставил Юрию самому руководить боем, а когда тот потерял половину конницы и потребовал подкреплений, Протасий отослал из города на подмогу Юрию последние верные князю дружины пришлых рязанских бояр и мог бы теперь, заняв ворота верными себе людьми, сдать город великому князю. Он не сделал этого. Сидя в тихом покое, он, казалось, слышал гул сражения и знал, что Михаил одолевает. Видел, как Родион кидает свою кованую рать в сумасшедшие сшибки, раз за разом теряя людей, как Юрий, разметав рыжие кудри из-под шелома, мечется по полю, пытаясь остановить бегущих; прикидывал, перешли или еще не перешли тверичи Москву-реку у Красного... Протасий сидел один, палатние холопы не пускали к нему никого. Он, как сидел с вечера, так и не лег в постель. Да так бы, может и просидел все сражение, но вдруг двери расшвыряло, словно ветром. Старший сын, Данила, возник перед отцом. Лицо обожженное боем, стремительное:

— Батюшка! Что ж это! Надоть дратьце альбо уж — город сдавать Михайле! Чего бы одно! — И — привалил к стене.

Протасий встал, затянул отвердевшими руками пояс:

— Пошли!

Данила, даже и не зная еще, что решит отец, но, радостный, устремился вслед. Протасий сошел с крыльца и грозно оглядел двор. И как же все зашевелилось,

побежало, задвигалось! Тотчас ему подвели коня, заседланного уже, в кожаном налобнике, под тяжелой боевой попоною, готового к борони. Все ждали, все!

— Пожди тута! — бросил он стремянному. Сперва — на стены.

С костра было далеко видать: и махонькие отселе, скачущие всадники, не поймешь враз — свои ли, чужие, и тоненько докатывающий крик ратей. Вот зашевелились игольчато и пошли пешцы. Вот чья-то конная лава ударила, да запуталась меж клетей на берегу Неглинной. Вот... Наметанный глаз Протасия скоро начал разбирать, где свои, где чужие. Московская рать, стиснутая с боков, явно пятила, и с той стороны, в занеглименье, пятила борзо, и, потеряв строй, уже бежали. И... кто это там мечется на коне, ловя бегущих? Неужто Юрий? Сам?! Ай да князь! Труслив, а себя превозмог! Ну дак — свое бережет. В батюшку. Данил Саныч добро берегчи — тоже себя не помнил. И на ратях покойник не робел никогда...

— Вот те и Юрий, охрабрел?! — сказал он вслух Даниле. Сын подтвердил готовно:

— Юрий Данилыч дважды в сечу кидался! Ранили, кажись, а не уходит! Только все одно сомнут.

— Сомнут. Не с Михайлой нам ратиться!

В это время начали загораться клети и скирды хлеба и сена за Неглинной. Повалил дым, потом ярко вспыхнуло пламя.

— Никак сам Юрий поджег? — не веря себе, спросил Протасий. Тверичи, остановленные огнем и дымом, вспятили и начали обходить, приближаясь к стенам Москвы.

— Совсем худо,— вымолвил Протасий.

— Батюшка, коли уж... дозволь! — просительно вымолвил Данила.

Протасий долго молчал, непривычно шевеля бородой, сжимая и разжимая длань, следил и видел: сомнут! Юрию б не соваться в бой ноне, а глянуть вот так, с костра, ведь не видит, не видит, обойдут! И, оборотя чело к сыну, с выдохом бросил:

— Скачи! — И не поспел сказать ничего более. Данила вихрем слетел с костра, соколом взвил на конь, и уже, открывая тяжелые створы ворот, затеропились внизу ратные, уже выносятся кормленые, выстоявшиеся кони и слышен отсюда звонкий цокот копыт по тесовому настилу моста через Неглинную.

Оборотясь, Протасий спросил у готовно взявшегося за плечом холопа, где младший сын, Василий.

— Василий Протасьич, батюшко, с братцем поскакали вместях.

Прихмурил брови тысяцкий, ничего не отмолвил. Вдали, за рекою, конная запасная рать, ведомая Данилою, уже сближалась... сблизилась... ударили... Издали, словно игрушечные, падают с коней люди; падают кони, сшибаясь грудью; режущий крик: «А-а-а-а, Москва-а-а-а!» — доносит аж до вершины костра.

Редко так вот рубятся, обычно одни скачут, другие бегут, заворачивают коней, а тут те и другие решили не уступать, и колышет, колеблет, катает по огородам, разматывая меж клетей и хором клубки яростно секущихся кметей. Где там Данила? Но московский стяг рывками начал-таки подаваться вперед, вперед, и вот — тверская дружина наконец-то вспятила, поворотили коней. Отбили! «В горячке поскачут на прорыв, пропадут!» — помыслил Протасий и велел холопу скакать, воротить полк Данилы.

— Построжи! Молви, батька велел!

Какая-то замятня совершилась меж тем за клетями. Густо грудятся всадники. Чего там, не поймешь. А тверичи бегут, но свои уже не скачут им вослед. У Протасия вдруг и от чего-то упало сердце, испариной взялось чело. Он торопливо начал сходить с костра, раза два чуть не упал, проминовав ногою крутые скрипучие ступени. Выбежал, пал на коня. Уже выезжая к воротам, понял, что замятня нешуточная. Встречь бежали, кричали, и уже на выезде встретил толпу смятенных ратников и холопов и — понял. Остоялся. Уже незнакомая седая раскосмаченная старуха, в которой с трудом признал свою супругу-боярыню, забилась у ног всадников, хватая что-то свисавшее с седел. Мельком, спешиваясь, углядел бледное лицо меньшего, Василия, над мордой коня и — не удивился. Так все и должно было, как и произошло. Вот она, отплата за его грех!

Тело Данилы положили на попону, сбочь дороги, и предстали взору разметанные кудри любимого сына, его ясный лик, на коем еще и сейчас не угасла стремительная удаль движения. Видно, убили враз — стрелой ли, копьем,— и не почуял, как, а с лету, с маху, думая еще, что скачет, и, роняя саблю, несся вперед, к закружившей радужной траве, к зеленой траве, к земле, истоптанной яростью копыт, к горячей и мягкой роди-

мой земле, чтобы грянуть о нее грудью... Жена выла по-волчьи, неразборчиво выкрикивая не то жалобы, не то проклятия, скрюченными когтистыми пальцами хватала и трясла тело сына. Сбегались, грудились вокруг растерянные москвичи.

С занеглименья, с той стороны, уже, верно, подобрались к стенам и метали в город горящие, обернутые смоленой паклей стрелы. Пламя вздыбилось над верхушками хором. Видно, зажгли князев конный двор, гордость Данилы. «Не тушат! — догадал воевода.— Перепали Юрьевы молодцы. К женкам под подолы залезли!» — помыслил он, ярея. Что-то стронулось и отвердело в сердце старого тысяцкого. Он тяжело повел шеей, велел холопам, не глядя:

— Хоромы — тушить! Женок всех — с ведрами!

И побежали, заспешили разом к городской стене. Тогда Протасий, сняв шелом, встал на колени, сложил сыну руки, ткнулся губами в дорогое, уже похолодевшее лицо и встал. Сказал сурово:

— Погиб, яко воину надлежит! Отнести в церкву. А вы,— он обежал глазами ратных и узрел, как тянутся перед ним растерянные было дружинники,— вас поведу сам!

Он всел на конь и, возвысив голос до медвежьего рыка, приказал:

— Снять всех со стен! Князевых молодцов — ко мне! Копьями гони псов!

Вокруг него уже собирались градские воеводы, подскакивали, ждали приказов.

— Ты,— оборотил он костистый тяжелый лик к ближнему боярину,— скачи за реку, сними коломенский полк и — на рысях!

— Тверичи прямь Данилова стоят, перейти реку могут...— неуверенно возразил было боярин.

— Иван-то Акинфич! Ни в жисть! Побоитце! — отмолвил Протасий с презрением.— Сымай заставы, всех веди!

И боярин поскакал. И скоро появились сбавившие спеси княжеские холопы и дружинники, чаявшие было пересидеть сражение в городе.

— Всех построить и — в бой! — велел Протасий. Кто-то — тысяцкий даже плохо различил, кто,— подъехав на дорогом коне, закочевряжился было, и Протасий, молча вырвав лезвие дорогой тяжелой сабли и страшно оскалясь, с маху, вложив в удар все, что засти-

лало туманом глаза, развалил спорщика вкось, от плеча до паха, наполы. И голова с одной рукою, помедлив, шмякнулась сбочь коня, а полтея, обвиснув, повалилась на другую сторону, глухо ткнувшись о бревенчатую мостовую. И, уже не глядя на труп, опустив клинок (стремянный кинулся платом обтереть кровь с лезвия сабли), Протасий повелел прочим: — Пойдете напереди! — И к своим: — Который умедлит из ентих, колоть без жалости!

Эти,— коих Юрий нежил и холил, одаривая платьем, оружием, серебром, позволяя измываться над прочими,— эти обязаны были теперь, в сей тяжкий час, лечь костьми за своего князя. Лягут! А свои пойдут назади и не позволят даже и трусам повернуть вспять.

Уже подходил на рысях, гремя по наплавному мосту и низко прогибая почти зарывшиеся в воду бревна, коломенский полк. «Теперь — всеми силами в лоб, и пусть поможет Бог или уж решит со мною, как ему нать по совести!» — помыслил Протасий и, подняв глаза на главы соборной церкви, перекрестил чело...

Бороздин умаялся за прошедшие сутки вконец; погибал от жары, потное тело свербело под панцирем, и не почешешь, на-ко! Пришлось спешно вести полк на выручку великому князю, и теперь, в виду московских стен, лепо было отдохнуть, отмыть пот и грязь, а там, не торопясь, приступать к осаде города. Но ни вздохнуть, ни даже поспать старику не довелось. Михайло объявил бой из утра, а у Бороздина все подходили и подходили останние рати. И боярин, из упрямства, встречал их сам, хотя давно уж, в его-то годы, следовало слезти с коня и, свалив заботы на молодших, завалиться в шатер...

Мал час соснув на заре, Бороздин, у коего все тело ломило и жгло, как огнем, был точно пьяный и не вдруг соображал, что же происходит. Ополдни он еще бодрился, но к пабедью уже совсем изнемог. Увидя, что княжеские рати всюду одолевают, он теперь только и ждал отдыха, не чая никакой беды. Поэтому, когда из разверстых ворот Москвы излились свежие конные рати и, разметав пешцев, ринули на тверские полки, Бороздин, вместо того, чтобы бросить своих встречь, в защиту пешцев, начал бестолково метаться, отводя

полк, и полк, сбитый с толку своим же старшим воеводой, не выдержал конного удара, покатился назад, топча и расстраивая тверскую городскую пешую рать, прославленное стойкостью ремесленное ополчение, которое тоже смешалось и вспятило, расстраивая ряды.

Никак не мог помыслить тверской боярин, что перед ним все и последние силы Москвы и что скачущий напереди, со страшно закаменевшим лицом, даже не опустивший стального пера на шеломе московский воевода — это сам тысяцкий Протасий, ищущий себе не чести, а смерти.

Михаил слишком поздно увидел замятню у Бороздина и, не зная толком, что происходит, удержал владимирский конный полк, готовый ринуть в сечу. Он знал, что в такой каше это бесполезно, может произойти любое всякое, и ждал гонца от Ивана Акинфича с известием, что тот перешел реку. Тогда — и не раньше — следовало ударить москвичам в лоб. Гонца не было. Владимирцы громко роптали. Уже побежала городская пешая рать, и приходилось вводить в дело запасные полки, но владимирцев он все же удерживал, чая, что Иван Акинфич наконец-то перейдет реку...

Уже в предвечерних косых и багряных солнечных лучах рубились ратники, зверея, сшибая друг друга с коней, храпя и хрипя, гибли под саблями и слепыми ударами конских копыт, расщепывая щиты и шеломы. И уже бессчетно кровавил вновь и вновь Протасий свою дорогую саблю, многажды заворачивал вспятивших и — достоял-таки. Вдали затрубили тверские рожки, ратные стали покидать поле, и тогда Протасий велел, в свой черед, собирать остатних ратников и уводить поредевшие, измотанные дружины назад, к городу. У него самого плыли уже кровавые круги перед глазами. Бой затухал. А Михаил все ждал гонцов от воевод левого крыла, и лишь уже поздно-поздно, в начале ночи, узнал, что Иван Акинфич простоял без дела, так и не перейдя реку.

Так окончился этот день, в коем не было ни победителей, ни побежденных и про который московский летописец писал потом с торжеством, что князь Михайло, хотя и много пакости сотвори, но «не успев ни что же».

Пожар детинца погасили только к утру. Успели сгореть княжеские хоромы, житничный двор, и обрушилась от сильного огня подгоревшая церковь — первое

и единственное каменное строительство Данилы. Ее так и не восстановили потом, не до того было, сложили деревянную на пожоге.

Ночью Михаил вызвал к себе Ивана Акинфича и имел с ним злую молвь.

— Кабы не ты — город взяли бы нынче! — с тяжелою ненавистью глядя в гладкое, ражее лицо Акинфича, говорил Михаил, подозревавший измену боярина. Иван стоял почтительно и только чуть-чуть, совсем незаметно, как бы про себя, усмехался. Князь Михайло не знал о грамоте Даниловичей, не мог вызнать! За грамоту ту был спокоен Иван.

Дело было, впрочем, не только и не столько в тайной грамоте Даниловичей. Узнай Иван Акинфич, что Михайло решительно одолевает Юрия, он бы перешел реку. Но перейти Москву при неясном исходе боя, а там, гляди, застрять в тылу победоносной московской рати и быть окружену, разбиту и убиту, как отец под Переяславлем,— этого он не посмел. Протасий верно угадал характер Ивана и как в воду смотрел, когда бросил свое: «Не посмеет!» Старший Акинфич попросту боялся. Впрочем, испугавшись на рати, перед лицом князя Михайлы Иван не трусил отнюдь и потому не робел и оправдывался толково:

— На правой руке невесть что створилось, опасно было о реку бродить! Да и то сказать, княже, прямого наказу не было с полком в заречье переходить... В зажитье посылал, пограбили малость. Грехом, монастырь Данилов сожгли... Пополоху наделали, словом.

Михаил мрачно молчал. Не умея возразить, он чуял, однако, в доводах Ивана Акинфича некую обманную уклончивость. На Переяславль, небось, кинулись безо князева слова! Опять же не упрекнешь: то отец, Акинф Великий, с сына за покойника отца не спросишь.

— Еще скажу,— добавил, помедлив, Иван, взбрасывая на князя и вновь опуская глаза,— в полках мор открылся. Даве четверо, никак, окончились железою. Уходить нать, не то всюю рать потеряем без бою! Еще и потому...— Он не договорил и вновь утупил очи.

Про мор Михаил знал уже и сам. Повестил о том Александр Данилыч, лично посетивший занемогших ратников.

— Ладно, ступай! — сдался наконец Михаил, так и не решив, что перед ним: робость, глупость или измена?

ГЛАВА 29

Ночью начались переговоры. Юрий, по настойчивому совету брата, отступался от всех новгородских дел, рвал тайную грамоту о союзе с новгородцами противу великого князя, о которой вызнал Михайла, подтверждал, что Переяславль числит в волости великого княжения, во исполнение чего разрешает Акинфичам получать доходы со своих переяславских волостей, и тут же, через баскака, выплачивает все недоданное серебро на ордынский выход...

Всего этого было мало, очень мало, все это были новые отвертки Юрия. Следовало, быть может, отнять у Юрия Можайск, но князь Святослав довольнехонек сидел в Брянске, уже союзником Юрия, и вряд ли обменял бы свою новую волость на маленький Можайский удел. Следовало, быть может, решить что-то с Коломною, но единственный наследник убитого Юрием князя Константина, Василий, казнен в Орде, и Рязань досталась совсем иным, пронским князьям, как слышно, союзникам Юрия... И полною издевкою звучало, что Акинфичи, не бившиеся на борони, враз получили свое добро. Но не мог же он лишить принятого великого боярина его родовых отчин, находящихся на земле врага! И даже ввести войска в Переяславль он уже не мог. В полках начинался мор, и, главное, самое страшное: заболел княжич Александр Данилович.

Под утро, уже убедясь, что тверичи склонились к переговорам, Юрий посетил терем Протасия. Конечно, тысяцкий вчера спас Москву, но кравчий, которого давеча Протасий развалил напополы, был любимцем князя. Для маленьких людей малое всегда ближе большого, и Юрий хотел ежели не наказать, так хоть постращать упрямого боярина.

Старый тысяцкий принял князя в вышних горницах, остраненно указал на стол с закусками и вином. Сам лишь притронулся губами к чарке. Лицо у тысяцкого было совершенно мертвое, в нем словно проявились все кости черепа, и только глаза в красной кровяной паутине были живые и страшные. Протасий не спал и эту, вторую ночь, проведя ее всю в церкви, у гроба сына.

Юрий поперхнулся чарой, с кривоватой улыбкой покаялся:

— Виноват перед тобой!

— Я виноват пред Господом, Юрий Данилыч, по грехам и казнит! — неуступчиво возразил тысяцкий. Помолчал, думая о чем-то своем, безмерно далеком, пожевал губами, будто говоря что-то про себя, наклонил голову, покивал, глядя кровавыми глазами в пустоту, мимо Юрия. Вымолвил: — Без опасу, княже. Уходят тверичи. Али еще не слыхать? Бают, мор у их открылся... С Волги мор-от, теперь и до нас докатило...— Сказал и поник, тихо, почти беззвучно добавил: — Сын убит, знаешь ли хоть?

Юрий кивнул задавленно, бессильный и нелепый перед безмолвным горем старика. Пропала охота корить Протасия за самовластво, да и сам себе Юрий так мелок показался на миг, что стало соромно («Ивана нать было послать!» — подумал про себя). Сидел молча перед накрытым столом, изредка встряхивая рыжими кудрями, думал, как уйти, не обидев воеводу. Шевельнулся наконец. Протасий поглядел на него с трудом, словно вспоминая что, поморщил лоб, увидел, что князь привстает, изронил тихо:

— Поди, княже, прошать пришел, чего напрасной смерти слугу твово предал? Не мог иначе, Юрий Данилыч, разбежались бы все, и Москвы не спасти! Ты не горюй... Добрые сами гибнут на ратях, а холуев разводить — в ину пору и самого съедят! И еще: держись старых бояр отцовых, Данилыч. А Петро-то твой, Босоволк... он тебя не спасет...— Сказал и поник, и Юрий вышел, стыдясь, тихонько, как от больного.

Михаил устало смотрел на грамоту князя Юрия. Следовало согласиться и подписать мир. Он только что воротился от Александра. Надежды не было. Страшная моровая болезнь еще никого из захваченных ею не оставляла в живых. Княжич умирал, и помочь ему было невозможно. А с его смертью рушилось все задуманное. Некем стало заменять Юрия, и, значит, нелепо уже было продолжать эту, ихнюю с Юрием, княжескую котору. Никто — ни сами москвичи, ни ханская власть — не позволит ему попросту захватить московское княжение, да об этом как-то и не думалось вовсе, настолько это было невозможно, ненужно и на-

столько противоречило всему строю мыслей Михаила, да и всех других. С наследственным правом не шутят на Руси! Он сдавил лоб сильными руками, зажмурил глаза. Как нелепа жизнь! На какой тоненькой паутинке висит человеческая судьба, судьба царств и народов! Стоит и ему самому заболеть (хотя так же точно мог бы заболеть и Юрий!)... Что ж это?! К чему тогда все высокие замыслы, прехитрые мудрования думных бояр, талан воеводский и удаль ратная? К чему слезы матери и улыбка дитяти? Что ведаем мы о путях Господних? Кого постигнет вышняя кара? И когда? И за что казнит ны, и почто медлит порою сокрушить выю грешничю Вседержитель? Бог ратей и судия праведный! Дай ответ рабу твоему, да не возропщет ведомый на путях твоих!

Белая пергаменная грамота немо ждала печати великого князя. Мужикам надо домой, убирать хлеб. Все останет по-прежнему и на прежних путях. И не снимет с него никто, ни люди, ни Бог, ни совесть, бремени вышней власти — тяжких забот о Великой, о Золотой, о Святой Руси!

— Болит, Саша? Саша!!! Отзовись!

— Болит. Ты подале, Боря, подале от меня... Я вот трогал... болящих, и вот... огнем жжет, скорей бы уж...

Княжичи были одни, только слуга временем входил и выходил из шатра, подносил прохладное питье господину. (Завтра и он свалится в огневице.)

Александр открыл глаза. Пот крупными каплями стекал с его чела на мокрую подушку. Будто полегчало на миг, и разом возникла сумасшедшая надежда. Так не хотелось, не чаялось умирать!

— Борь, ты здесь? — Он начинал уже плохо видеть.

— Здесь я!

— Не подходи, не подходи...— пробормотал Александр, примолк, трудно дыша с хрипами и присвистом. Сказал сипло, глядя в полог шатра:

— Что я видел? Что содеял? Что смог в жизни? Вот! Окровавил саблю в первом бою, и то противу своих же! Чаял Протасия встретить на борони, не сумел... И к лучшему... Зачем теперь... Со зла хотел, а нельзя так, со зла... Протасий, он, может, честнее меня. Мы с тобою чистенькие захотели быть... Ото всех ся отделить... Ты слышишь меня, Борь? Умру, как трава...

Не знаю, что делать? Может, прав наш Иван, что не бросил... со своими надо... Все русские свои... да сейчас этого нет, вот все и хрупко так, словно рохлый лед... Надо собирать своих, хоть с малого начать: простить Юрия... Ты теперь к ним воротись. По миру примут... Семья, род... Что-то сделать можно только вместях!

— Ты же сам баял, Саша, сам баял, пото и уехали...— Борис трясущимися пальцами поправил свечу. Лицо брата временами, когда он начинал скалиться, становилось страшно. Мышцы вздувались буграми, железные руки брата свивала судорога. «Неужели он умрет?!» — с ужасом думал Борис, понимая всем существом, что без Александра он ничто, словно сухой лист на ветру. И теперь еще это, про Юрия...

— Да, я и сейчас скажу, что Юрко злодей! — перемогши себя в очередной раз, продолжал Александр.— Не прав он, во всем не прав, а все же что-то... Не устает он... Вот и теперь: думашь, окоротил его Михайло? Не-е-ет! Теперь в Орду поскачет, к хану... Не мытьем, так катаньем! Одни понимают все... и бессильны, дак то еще горше, а кто делает, у кого задор, тот и живет. Жизнь — это усилие. Пока есть сила, живешь, а там...

— Князю Михайле сил тоже не занимать стать!

— Вот это и трудно, очень трудно, трудно решить, понять... У обоих... упорны... Михаил выше, да он иного не зрит, с выси-то... Можно галить, проклинать... а ежели снизу, не сверху... Вот Михайло! А почто Акинфичи? Боюсь, подведут... вот Бороздин... дак не по старости, не по глупости даже (то есть и по старости, и по глупости!), но, главное, отвечивать не привык, нет этого: «сказал — сделай!» А Юрий — нет у него предела, он на все пойдет. Давеча почто, мыслю, отразили нас? Татарской конницы не хватило, не то бы нынче сидели в Москве... Дак я сам, сам! Михайлу просил татар не водить, разорили бы все тут, а Юрко — тот навел бы и татар... Юрко все может... А с татарской помочью взяли бы беспременно Москву! Дак зато, как дядя Андрей, ото всех проклят... От кары за грех и Юрко не уйдет, не сам, дак в роду отзовется, поздно ли, рано — все одно! Вот и помысли тут... Больно, нутро жжет, огнем, трудно терпеть... Устал уж. Легче на рати... И всё в чаду... воздуху, дышать...

Александр, скрипя зубами и скалясь, опять начал катать головой по подушке. Лицо у него приметно уже

покрывалось синеватою тенью. Борис немо и скорбно смотрел, как угасает брат, и понимал, что с гибелью Александра он уже навек — никто, что ему придет воротиться к Юрию и послушно ходить под рукою старшего брата, и уже и мысли не помыслить о том, прав или нет Юрий, и что́ все его дела и старания перед вечным искусом добра и зла?

— Саша! Ты живой еще?

— Живой, Боря, пока живой... скоро... созови... испить бы...

ГЛАВА 30

— Красного и светлого праздника день Благовещения празднуем, начальный и первый сей середи владычных праздников, главизна нашего спасения! Радостью радуемся и веселием веселимся!

Как древле жена погубила грехом человецы, из рода в род — Ева Адама, так Мария-дева, безгрешно роди Господа нашего Иисуса Христа, спасла ны к новой жизни, свободив от смертныя тли и осуждения. Сия есть праздника сего вина, сия есть тайны сея сила, сего ради вся тварь ликовствует и играет и веселится. Прииде бо Христос!

И да в сыновление приимем, да будем к тому не рабы, но свободнии! Яко преже сего глаголал вам — три убо чина спасающихся: рабство, наемничество и сыновство. Ибо раб страха ради благое творит. Наемник же ради приятия мзды творит доброе и угодное Богу. Сын же творит добро любви ради, яже к Богу и Отцу, по заповедям Его!

Так будем же, братия и сестры, не рабы, но свободнии, не миролюбцы, но боголюбцы, не по плоти ходяще, но по духу. Ибо по плоти ходящии — плотская мудрствуют, а иже по духу — духовная. Мудрость бо плотская — смерть, мудрость же духовная — живот и мир. Понеже бо мудрость плотская — вражда есть на Бога, закону божию не повинуется, даже ежели и может, а плотски живущи Богу угодити не могут!

Сей праздник Благовещения пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии — спасения нашего обновление и изменение. И сего ради должны

мы духовно праздновати: правдою, любовью и кротостью, миром и совокуплением, долготерпением, благостынею и духом святым. Да не праздно и не бездельно Господа нашего Иисуса Христа устроение собою показуем!

Должны же есмы молитися и скорбети о мире, зряще приходящая многа зла и люта, грех ради наших! И мор, и глад, и нелюбие, и ратное — брат на брата — нахождение, и утеснение христиан от иноплеменник... Должны есмы скорбети и о братьях наших, сущих во пленении, и о страдании их, и сокрушении и озлоблении, и мольбы приношати о них, ради молитвы к Богу, да посетит и утешит их души, обессилевшие от стужения и скорби нападения враг наших.

Братия! В день сей светлый воспомянем Ее, пресветлую деву, и воскликнем все, яко же древляя Елисавет: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего!»

Есть среди вас некие, глаголящие, яко Богоматерь просто сосуд, приявший в себя Богосына. И есть иные, глаголящие, подобно латинам, о непорочном зачатии божьей матери, яко дева Мария не была зачата во грехе, ради грядущих заслуг сына своего, и обладала первородною праведностию. Все сии, и умаляя и возвышая,— принижают! Паки и паки лишают матерь божию ее человеческого естества! Словно бы и не страдала она, и не болела душой, и не скорбела, яко же и всякая матерь о дитяти своем!

И вот — крест и Голгофа. И вот Спасителя подымают на крест, а толпа смотрит, и иные хулят и ругают ему, и ученики разбежались в ужасе, и Петр трижды отрекся, и плакал потом от стыда, и еще никто не знает о Воскресении, не ведает чуда. Еще только пройден его земной, жестокий и трудный путь. И вот он там, на кресте, а тут вот, вокруг, стражи римские.

Где же в ту пору была она? Где была Мария, матерь божия? — Митрополит большими добрыми очами обводит плотную толпу переяславских граждан, стесненную в каменных стенах собора, и трепещущими, порхающими движениями рук с длинными, красивыми перстами как бы ищет что-то, разводя и раздвигая заграждающих ему очеса, и со страданием, но светло и ясно, словно увидав наконец в толпе ее, Марию, восклицает: — Да где же ей быть! Тут она стояла! В толпе, среди людей! Стояла, как и всякая мать, взирая на казнь и

болея о сыне единственном! И не разрывалось ли сердце ее при виде крестной муки своего дитяти? Коликою мерою измерить нам горе наших матерей и жен? Коликою мерой измерим любовь, иже хранит и зиждет и лелеет ны от колыбели и до могилы? Не свет ли это, не отсвет ли горней любви, осеняющей мир? Не такожде ли и мы должны возлюбить братию свою во Христе и молитися не токмо о верныя, но и о неверныя такожде, и о врагах, иже вратят на ны и свирепствуют, и гонят — понеже и Господь печется и помышляет о всех! И солнце сияет и на лукавыя и на благия, и дождит на праведныя и на неправедныя, и всех насыщает и одаряет милостью своей!

Любите же братию свою, любите и враги ваша, добро творите ненавидящим вас, благословите клянущих вас, яко да будете сынове Вышнего!

На улице был голубой март, легчающее от высоких облаков промытое небо, и томительной вешней сырью доносило в отверстые двери от недальней озерной шири готового вот-вот проснуться Клещина.

Мишук, зажатый в толпе, изо всех сил тянул шею, стараясь разглядеть Петра. Новый митрополит был высок ростом, горбонос, худощав и широкоплеч. Борода невесомым круглящимся полукругом осеняла его крупное лицо, крупное и чистое, как бы промытое весеннею синевой, истинно иконописное, по-мудрому доброе и словно бы неземное. Полные восторга глаза в покрасневших глазницах и чуткие трепетные персты обличали в нем не токмо философа и книжника, но и певца красоты. Казалось, Петр перстами бережно осязает паству свою, договаривая то, что не сказалось словами и голосом.

— Художник! Изограф! — шептали в толпе знающие. Уже многие уведали, что цареградский патриарх благословил Петра иконою, написанной им самим и поднесенной некогда покойному митрополиту Максиму.

— Перст! Перст божий! — шептали, передавая друг другу эту историю, прихожане. Мишук краем уха едва ловил шепоты и хвалы, скорее как помеху тому, что говорил сейчас митрополит с амвона. За эту зиму многое и скорбное совершилось в Русской земле, многих унес мор и из простой, и из нарочитой чади, не разбираючи богача от бедняка, горожанина от смерда и холопа от господина. Потому и слушали так без-

отрывно, многие со слезами на глазах. У самого Мишука зимою умерла мать, и сейчас ему кажет порою, что Петр говорит для него одного и ему одному, и утешает, как может, протягивая персты в его сторону и на него, Мишука, призывая с выси горней мир и любовь.

Прошлый раз Мишук приезжал в Переяславль на Покров, вскоре после заключения мира. Протасий, обративший внимание на Мишука в бою, наградил ратника и дозволил съездить домой, навестить родителя-батюшку.

Тогда они сидели в отчем доме, в родимом Княжеве-селе, от которого Мишук уже заметно поотвык, за тесаным столом, плечо в плечо с родителем, и Федор, с подъеденным временем лицом, угощал сына. Отец в последние годы заметно стал сохнуть и как-то уменьшаться в размерах — или уж сам Мишук так вырос? Поболе стал родителя-батюшки на полголовы. Сидели, калякали. Мать сама подавала на стол, хлопотала, с мокрыми от радости глазами. Мишук, раздуваясь от гордости и чуть-чуть прихвастывая, сказывал, как скакал по полю рядом с самим тысяцким Протасием и рубил разбегающихся пеших тверичей, как они вспятили полк Бороздина и спасли город и князя Юрия... Отец слушал, хмуро кивал, подливал меду. Мишук наконец опамятовал:

— Что ты, тятя? Али недоволен чем?

— Да нет...— с неохотой, не вдруг отмолвил отец,— вспомнил... дружок был у меня, да сказывал я, Прохора сынок, Степан. В Тверь ушел. Дак ты, тово,— подумалось вот грехом,— не зарубил ли ево на бою том?

С трезвеющего Мишука слезала хмельная удаль. Он как-то оробел и уже со стыдом и тревогой, вспоминая и боясь, пробормотал:

— Словно бы стариков не рубил никоторого...

Окончательно протрезвев, он сидел над чарой. Все простое давеча стало враз сложно и трудно уму.

— Как же, батя? — жалобно вопросил он.

— Так вот, Мишук! — жестко, не жалея, отмолвил отец.— Своих бьем! Стойно при Андрей Саныче, покойнике, не к ночи будь... Пей! Добро, жив остался... Мать вон сама не своя... Один ты у нас... Мог и он тебя, и не узнал бы тоже...— Помолчав, отец добавил: —

А что Александр Данилыч умер, ето худо! Теперь Юрию и окорота не будет ни от ково. Так-то, сын! Давай уж и я с тобою... Подлей, мать!

Так же, как и в прошлые наезды свои, Мишук тогда гулял по беседам. О сердечных делах не говорил отцу, но с возвращением в Москву коломенского полка с заречной сударушкой пришло Мишуку расстаться. И, мало перегоревав о том, он теперь глушил воспоминания удалью и гульбой.

Феня хлопотала женить Мишука, даже и невесту присмотрела почти, но время пролетело быстро, пора было ворочаться в полк, и так и осталось.

Мишук, уезжая, не чаял беды. С матерью простился рассеянно, больше занимала одна криушкинская девка-перестарок, с которой у него нежданно-негаданно закрутилась хмельная короткая и горячая любовь. А зимой мать умерла моровой язвой. Весть о том пришла поздно, Мишука как раз услали в Можайск, и так и сошло, что домой довелось попасть только на Благовещенье, в марте...

И хоть давно уже знал, что не встретит матери, но, когда, подъезжая, завидел обширную соломенную кровлю родимых хором, мелькнула сумасшедшая надежда, что вот сейчас выйдет мать, рябая, некрасивая, улыбнется беспомощно, обнажив съеденные редкие и почернелые зубы, и у него упадет сердце, и он спрыгнет с коня прямо в материнские объятия, притиснет ее плечи, услышит знакомый запах материного пота, отчего дыма и навоза, будет целовать мягкое, дряблое и мокрое от слез лицо, а там и батька выйдет, усмехнется или остро́жит, и он поймет, что снова — дома и снова он паренек, отрок, а никакой не взрослый ратник и мужик...

Но матери не было. Не вышла Феня, не бросилась к нему. Только Яшка-Ойнас, старший холоп отцов, седой как лунь, стоял у заворы, подслеповато, лопаточкой темной задубелой руки прикрывая глаза, смотрел на молодого хозяина. Узнав, засуетился:

— Мишака! Мишака! — Схватил поводья коня, кивая и бормоча: — Феня, Феня, нету!

Отец выбежал, обнял, вжал бороду в широкую грудь Мишука и затрясся в немых рыданиях. Мишук скорее завел родителя в горницу. Тот долго не мог прийти в себя.

— Ждала, дак не хотела умирать-то! А ты вон и на

сороковины не бывал. Ну, на могилку-то сходи, поклонись!

За несколько месяцев отец изменился так, что не вдруг можно было и узнать. Еще усох, поседел, и весь стал какой-то неуверенный, робкий. Забывал, путался. Мишуку пришлось не пораз прикрикнуть на баб, что обихаживали дом, и отец виновато покаял ему:

— Остарел я, не могу... Ты уж их построжи тута! Без матки... Всяко было у нас с нею, а вот не могу. Словно иной раз забудусь, спрошу: «Чего ворчишь?» Опомнюсь,— нет ее, нет! Видать, скоро и мне нать за нею, на погост...— Он снова заплакал, и у Мишука защипало глаза.

С острым прозрением понял он вдруг, как призрачны богатство, добро,— то, за что люди бьются всю жизнь, день за днем, неустанно, не понимая, что дело не в богатстве; не в зажитке, не в серебре и рухляди, а в себе самом. Пока есть сила, да молодость, да голова на плечах — все можно, и все по плечу. Тут и зажиток, и власть, и воля твоя. А ушло то, и свои же холопки учнут на твоем же добре тыкать тебе в нос, словно ты уже и не хозяин, а последний нищий, коего лишь из жалости не выгнали за порог. Дак вот и думай, что есть жизнь и что в ней важнейшее всего? Нет, не добро, не зажиток, только не добро! Может, лишь доброта, то, о чем говорил митрополит Петр, доброта и жалость, любовь матерня, а о бренном не стоит излиха себя и заботить!

Отец уже мало вникал в княжеские дела, покивал головой, пока Мишук сказывал про Юрия, оживился только, когда заговорили о новом митрополите Петре, о котором на Москве баяли наразно. Сплетни о Петре отец разом отверг:

— Святой муж! Ты послухай ево! Вот на Благовещенье будет говорить у нас в соборе. Послухай...— Отец сказал и повесил голову, понурился вновь.

Мишук в тот же день побывал на могиле матери. Всплакнул и в свой черед покаял, что не сумел хотя бы похоронить мать. Все было холодно и незнакомо. Белые шапки снега на крестах лишь чуть-чуть подтаяли. Вечерело. В бледном холодеющем небе уже зажигались звезды, кругом облегла тишина, и даже отец, неслышно подошедший и ставший посторонь, не нарушил несказанного одиночества зимних могил.

Стоял Мишук, и горько было, и странно, и все не

вмещалось, как это: мать ходила, бранилась, кашляла, купала его в корыте, сильными руками выколачивала белье, ходила за скотом, и вечно кони бегали за ней, как собаки, и вечно была она неприбрана, и широкий разлатый нос достался от матери Мишуку, и из дому в Москву когда-то уехал он на возу без особого сожаления, а все знал, что мать есть, что в редкие побывки свои обязательно встретит ее, услышит ее ворчанье, увидит вечно лезущие из-под повойника сивые редкие волосы, ощутит ее руки, сильные, не женские, в узлах вен, и она будет ходить по дому и наливать, и подливать, и накладывать в мисы домашнее варево, и доставать пироги, и спрашивать, перебивая батьку, и ахать, и хлопотать...

Он потрогал крест, отер снег с холодного дерева, погладил морозную наледь, и вновь защипало глаза — так сиротливо стало на земле без нее!

Дома собрали родных, помянули Феню — ради Мишука... Да, все было не так в этот его приезд. Отец, видно, жил уже больше воспоминаниями. Много толковал о своей сестре, тетке Опросинье, что когда-то, давным-давно, погинула безвестно в ордынском плену или даже и жива еще где-то в Сарае. Так нынче утверждал отец, раньше все, как помнил Мишук, считавший тетку покойницей. «Свидеться бы...» — бормотал он, глядя потухшими глазами куда-то в пустоту, в далекие прошлые годы.

Мишук помогал чем мог по дому, а в общем, не знал, куда себя девать. Осенняя сударушка его подалась куда-то из деревни, да и не тянуло его нынче к ней. Так только, ради пустоты в душе, сходил на две-три беседы, понял вдруг, что уже перестарок и новые девки смотрят полунасмешливо на его отросшую бороду. Жалко было отца, позвал было с собою в Москву. Федор покачал головой:

— Мне теперя край. Все. От могилы Фениной не уйду. Пущай тута и похоронят, вместях. Когда с ей и худо жили, а не расставались николи, и уж там не расстанемси...

Он не договорил «за гробом», махнул рукой только, перевел разговор на другое:

— Бают, митрополит Петр отселе в Новгород Великий едет. Ты на Москве-то погордись, что слыхал ево! Я был помене твоего, во Владимере, дак мы с князем Данилой, покойником, пискупа Серапиона слышали в

соборе. Дивно баял! О сю пору, как вспомню, на сердце легчает. О бедах Русской земли, да много чего! На Москве есть его «Слова», списаны, ты поглянь у дядито... В затворе, говоришь? Грикша? От мира ушел? Ну, его такая стезя... А про Петра, кто слыхал, все в одно бают, яко новый Златоуст!

Он улыбнулся, слегка раздвинув обострившиеся морщины лица, продолжая глядеть по-прежнему куда-то в даль прошлых, незнакомых Мишуку лет. Помолчав, добавил:

— Оно, знашь, ино слово на всюю жисть. Да, на всюю жисть!

И Мишук подумал вдруг с новою болью, что и отец скоро уйдет от него, вслед за матерью, и уже сейчас, в воспоминаниях, прощается с миром. Быть может, и вся-то правда в духовном подвиге? А то, что было с ним о сю пору — и девки, и удаль ратная, и молодецкие попойки товарищей,— суета сует и всяческая суета. Светлое лицо митрополита Петра стояло пред мысленными очами, указуя какой-то новый, небывалый доселе путь...

И будто почуяв что-то или догадав, так, что даже и вздрогнул Мишук, отец возразил вслух на его молчаливые думы:

— Ты оженись... В монахи не иди. Материну волю уважь. Да корень наш не изгибнет...

Отец пожевал беззубым ртом, подумал, добавил тише, глядя перед собой:

— Чтобы свеча не угасла.

ГЛАВА 31

С мытом, сбором весчего, конским пятном, лодейной и повозною данями налаживалось. Михаил мог уже сказать себе, не кривя душой и, в общем, сильно не ошибаясь, сколько и чего берут его данщики, вирники и тиуны на вымолах, на рынках, у ворот и перевозов. Потребовалась жестокость, и он ее проявил. Славившийся силою в кулачных боях, редкий знаток коней, гроза ярмарочных менял, лихой в гульбе и еще того более лихой во взятках, кои он брал исправно с правого и виноватого, «несытый кровопивец» — по слову иных гостей торговых, главный конский тиун Твери

Романец бежал от него в Орду. Другие мздоимцы и того пуще — поплатились головами. Зато теперь сборщику с большого сбора данническое шло с прибавкою от княжеской казны. Стало опасно жить поборами с купцов и выгодно — княжою службой. Радовались купцы. Ширился торг. Все новые и новые гости торговые из дальних и ближних земель собирались на пристанях Твери, Кашина, Зубцова, Кснятина и прочих тверских градов и рынков торговых. Того милее: тверские смерды, рядовичи, избавленные от диких поборов (положи свое тиуну и торгуй, боле тебя не тронут!), охотней и чаще стали бывать в торгу. Нехитрый сельский товар, а, глядишь,— поболе того товару — сытее горожанин, «ремественник»; а и смерд, скопив на рынке толику серебра, замог отдавать в срок неминучую дань ордынскую, проклятую полугривну, которую плохою порой — ревмя реви — не добудешь ни за хлеб, ни за мясо, ни за рыбу — никто не дает,— впору с женки колты сымать да у дочек кольца серебряны с перстов... един сором!

Тиунов да вирников пристрожить было мочно, труднее — с боярами. Кажен во своей волости господин, кажному докажи, что для его ж корысти выгоднее купцей-гостей не зорить да мужиков по миру не пущать... За всеми теми заботами, зело не княжескими, ночей не досыпаючи, кусок не доедаючи, Михаил должен был еще и за Юрием следить, чьи пакости и шкоты начались тотчас, как подписали мирную грамоту с Москвой. Но и та беда не беда, коли есть беда горшая! От моровой язвы скончалась государыня-мать, заразилась, обходя и утешая болящих. Похоронили великую княгиню Ксению во Владимире, в Княгинином монастыре.

И не Бог ли за какой неведомый грех казнил Михаила, сводя на ничто все его многотрудные дела? Мор, утихший было зимою, к лету возобновился вновь, а в июле, будто мало было одной беды, распространился ящур. Умирали кони и скот. Но и то было не последнее горе. В августе началось невиданное нашествие мышей. Так к мору и скотьему падежу прибавился голод.

Почернелый от усталости князь верхом возвращался из Владимира. Всюду было одно и то ж. Давеча по-

сельский княжого села на Дубне провел его в житницы, где кучами лежало только что свезенное и уже дурно пахнущее зерно нового урожая. В полутьме просторного сарая что-то шуршало и шевелилось по всему полу серою пеленой. Князь ступил, как почуялось, в мягкое, пружинящее под сапогом, и тотчас раздался неистовый злобный писк. Под ногами были мыши. Он шел и давил их каблуками, а зверьки кидались посторонь, иные лезли, цепляясь, по сапогам, злобно посвечивали их крохотные бесчисленные глазки. Михаил, осклизаясь на трупах грызунов, едва выбрался наружу, стряхивая с платья вцепившихся мышей, и еще и сейчас, вспоминая кишащую нечисть, вздрагивал от ужаса и отвращения.

Ехали полем, уставленным бабками сжатой ржи.

— И здесь? — спросил Михаил.

— И здеся! — отмолвил служилый боярин. Соскочив с коня, он приздынул бабку, и тотчас серая кучка под нею россыпью кинулась по сторонам.

— Гляди, княже! — сказал боярин, поднимая сноп. Михаил принял и не почуял тяжести: в руках был уже не сноп, а легкий и пустой пучок соломы.

— Погибнут мужики! — строго проговорил боярин, вдевая ногу в стремя.

Налаженная торговля, дани, кормы, ряд и власть — все грозило рухнуть вновь, когда начнут умирать по дорогам и в избах, когда самый смиренный мужик, и тот пойдет с кистенем на дорогу, не в силах зреть голодной смерти детей, когда ни хлеба на новгородскую торговлю недостанет, ни серебра на ордынскую дань. Чтобы хотя сама Тверь не вымерла и не разбежались от голоду, хлеб надо было везти с Волыни (ежели не воспретит бывший шурин!) или даже с Литвы... Везти хлеб, стало — опять доставать береженое серебро, лопоть, скору и слать за рубеж, вместо прибытку от уряженных дел торговых!

И стыдно станет скакать по этим дорогам в княжеских портах, сытому на сытом коне, когда трясущиеся от голода и стужи, с потухающими взорами смерды будут плестись обочь, с тщетной надеждою провожая глазами княжеский поезд. И надо будет скакать! И надо будет быть сытым — для дел и борьбы! И ничем нельзя будет помочь им до новины, до нового урожая...

От Волыни и хлеба мысли перескочили к новому

митрополиту, Петру, коего Михаил видел лишь мельком и еще не постиг. Епископ тверской, Андрей, кипел раздражением на пришлого духовного главу Русской земли, а сам Михаил, припоминая козни волынского князя, опасался митрополита и не доверял ему, хотя внешним обликом своим, статью и зраком, Петр показался ему даже приятен. Летом митрополит отбыл в Новгород, и опять было опасение: не станет ли Петр, в угоду Юрию, мирволить новгородской смуте?

Сейчас приедет он домой, вызовет епископа Андрея, чтобы говорить о голоде, и вновь услышит хулы на Петра, а там вмешаются игумен Отроча монастыря и духовник Михаилов, и будут вновь читать и молвить от древлих словес киевских, от византийских украшенных речей, и превозносить его величие, и повторять то, что он уже совершил и намерен вершить впредь, и все будет правда, и... словно он уже видит их: синие лица и скорбные, в черных кругах, огромные очи умирающих с голоду детей,— и ничего нельзя будет совершить, и ничем помочь!

Он пришпоривает коня. Морщится от густой дорожной пыли. Вновь вспоминает полный мышами сарай и вздрагивает от омерзения... Близится Тверь.

Анна встретила легкая и тихая, как всегда. Поглядела светло — и согрела. Немного оттаяла душа. Теперь, без государыни-матери, в ней одной находил Михаил защиту от тяжких дум и гнетущего холода вышней власти. Прошел в покой, омыл лицо и руки. Мальчики ждали отца. Страшился о них — нет, не заболел никоторый! Митя и Сашок, и самый меньшой, Костюшок, на руках у мамки. Старшие — высокие, большеглазые отроки. Хороших детей рожает ему Анна! Сыновья сказывали о своих заботах и горестях, об ученьи. Михаил кивал, слушал вполуха. Анна улыбнулась с мягким укором:

— Да ты поешь, не томи заботою душу! Даже и ночью в постеле все об одном и об одном, на все ведь воля божья, хоть того боле себя мучай!

— Прости, Нюша! — Михаил привлек ее рукою, прикрыл на мгновенье глаза.— Мышей ныне зрел. Тьмы и тьмы! Кишат, гадят... Не мощно вынести взору. Голод грядет!

Она огладила Михаила молча по волосам, потом осторожно освободилась от его руки, пошла наливать

квас. Склонилась, высокая, легкая, не ответила ничего, а как-то и успокоила словно.

— От зарания до заката дела и дела! Тебе, пока не стал великим князем, словно легче было, не жалеешь?

— О чем? Не знаю, Анна. Ты одна у меня! И Русь... От власти, Богом данной, не отступить. Мне о том дати отчет Вышнему!

— Игумен Иоанн то ж бает! — возразила Анна.— Ну, тогда и не ропщи! — Она вновь улыбнулась мягко, чуть заметно, и подала чару. Мальчики слушали, не совсем понимая.

— Мама, а наш тата — самый-самый большой на Руси? — задал свой любимый вопрос Митя и, не давая ответить, добавил торопливо: —Ведь Тохта тамо, в Орде?

— Самый-самый большой, Митя! — ответила Анна и огладила в черед пушистую русую голову сына. Слуги внесли новую перемену блюд, и Михаил вновь подумал, что здесь, в этом тереме, голода не увидит никто, и неизвестно, хорошо ли это, хотя поделать и тут ничего нельзя, и не волен он, даже ежели восхощет, заставить голодать великокняжескую семью. Да и не поймет этого никто, даже те, с синими лицами, умирающие по дорогам, не поймут и осудят. Иные, высшие заботы возложены на него Богом и людьми, и ради тех, высших забот даны ему пышный стол, высокий терем, платье цветное, блеск и узорочье власти, окружившей его. И все же,— и потому такожде,— он один в ответе за них, и за тех, мрущих по дорогам... (Господи, дай на час малый забыть о беде, дай отдохнуть от трудов господарских, Господи!)

Но отдыха не было. И не было сна. Анна уже спала. Спали дети, спали бояре и дружина на сенях, спали холопы и слуги. За задернутым шелковым пологом плыла тишина. Спала земля, отдыхала от дневных трудов. Изографы отложили кисти, монахи-писцы — перья. Ученые книгочии спят, видя торжественные сны. Спят в теремах и избах. Спят и бредят больные, стонущие во сне. Не спит лишь мать у постели недужного дитяти, и не спит князь великий у себя в терему.

Он сломил Новгород и укротил Юрия. Наладил ремесло и торг. Утвердил законы и очистил землю от разбоя и татьбы. Покарал судей неправедных. Он учит детей и держит их в строгой простоте, дабы и в детях воспитать, паче всего, долг и обязанности, а не по-

хоть и гордыню власти. Он милостив к низшим, заботен ко мнихам и монастырям, рачителен к научению книжному. И вот: язва, и близкий глад, и скотий мор, и мышей нахождение, и смерть государыни-матери, а прежде — смерть княжича Александра, смерть, погубившая все его дело на Москве... И неудача с митрополитом, и рознь с Волынью... Ведь выбирала его земля! За что же такое? Почто? Чем согрешил он перед божьим престолом? Коликими казньми еще казнишь мя, Боже?!

Или он обогнал время свое и помыслил строить Русь в пору распада и тления? Но не пройдет время то, и не выстоит и исчезнет Русь, ежели все, и тем паче он, глава, помыслят переждать, пересидеть, не противясь, сами склоняясь перед чуждою силою, яко волынский шурин Юрий! И что же тогда? Будут изворачиваться, верить, что в бессилии — мудрость змиева, и паки погубят и Русь и себя... А потом, словно волны окиян-моря, Литва и Орда с двух сторон затопят его лесную многострадальную родину, затопят и сомкнут воды свои над этой померкшей страной. Погибнут князья, падут храмы, и сам язык русский исчезнет в волнах чуждых наречий, и сама память изгладится о племени, некогда сильном и сотрясавшем землю... Или останут некие по лесам, в черных избах, и даже речь сохранят, и будут вспоминать порою, что вот «было когда-то и у нас!» — но все реже и реже, и загаснет память, и с нею умрет народ, рассыплется по земли, яко порванное ожерелие... Так должен кто-то стать вопреки тому и в нынешнюю глухую годину! Стать, и нести крест, и боронить, и вершить подвиги, даже зная, что обречен временем и годиною своей! Не к тому ли казнит, и не на то ли указует ему Господь жезлом железным? Или он виновен в чем, что всё так вот наниче и попусту? Дай силы, Господи, верить и устоять! Дай силы, Господь, устоять, даже и не веря! Хранил же ты меня в путях и ратях, от мора, меча и нужныя смерти! Ведомы тебе одному пути судьбы, и в руки твои предаю дух свой! Дай силу творить и дай веру верить не уставая!

Меркнет ночь. Спит земля. Спит, тихо дыша, Анна. Не спит, думает думу, великий князь Русской земли.

ГЛАВА 32

Три свадьбы гремят на деревне. Три невесты, сидя в ряд, встречают гостей. Чинно встают, кланяются и снова садятся рядом на лавку. Две из них, курносые и широкоскулые мерянки, поглядывают любопытно на третью, беленькую, высоконькую и долгоносенькую Степанову дочь. Мерянки выходят за близняков — сыновей Степана, а дочку выдает Степан за сына Птахи Дрозда, в мерянскую семью. Впрочем, молодых порешили выделить, срубив им новую клеть. Так настоял Степан, чести ради.

Хлопают двери. Соседки, аж из залесья, лезут и лезут. Любопытные старухи с клюками, вездесущие молодки и шустрые девки, губатые, круглоглазые, аж запыхавшиеся от восторга и нетерпения,— свадьба! А тут — тройная! И невест сразу три! Не стесняясь, громко, обсуждают невест. Те терпят, лишь вспыхивают. Иная гостья такое скажет — хоть ничью пади. А отмолвить нельзя — свадьба! Вечером — девичник. Будут водить хороводы, петь русские и мерянские, вперемежку, песни, но больше русские, которые местные девки поют, отчаянно перевирая слова. Будет седой мерянский колдун обносить молодых, заговаривать от лиха, от сглаза, от черной и белой немочи, от злого ворона и лихого человека, будет ворожить, женихам — стояло бы твердо, яко скотий рог, невестам — на сухоту-присуху, чтобы без своего суженого не пилось, не елося, ни спать, ни дневать не хотелося. Этою ночью молодых положат уже спать вместях, а назавтра монах, нарочито позванный из монастыря, перевенчает все три пары, и настанет заключительное торжество: большой, или княжий, стол... Это завтра, а сегодня смотрят невест и гуляют до вечера мужики.

Свадьбы решались давно, и кабы не новая клеть, затеянная Степаном, молодых перевенчали еще весной. После похода многое перевернулось в душе у Степана. Допрежь того сто раз подумал бы он еще: отдавать ли дочерь за мерянина? А ныне и на Марью прикрикнул: «Кабы не Дрозд, не воротили бы и домовь!»

С московской рати пришли в деревню сябры кровными друзьями. Степан не забывал, что обязан Дрозду жизнью, а Птаха Дрозд, знавший про себя, что и он без Степана ничто, прикипел сердцем к соседу не шутя. Зимой и охотились вместях. Подлечив парня, выходили

целою загонной дружиной. Двух медведей взяли живьем и выгодно продали боярину, свезя в Бежецкий Верх, набили лосей, навялили и насолили мяса. За бобровые шкуры выручили серебро, коим, не делясь и не очень его считая, выплатили ордынский выход и княжую дань. Мор, по счастью, не проник в их глухую деревню (да и узнавши, что почем, сами береглись, не совались бесперечь туда, где слыхом слышали про болесть). Миновал их и скотий падеж, а мышь, осеннею порой наводнившая леса и пажити, тут тоже мало наделала беды. Допрежь спасу не было от хорей, куниц и ласок. Ястребы и совы, бывало, воровали кур. А тут все они пригодились нежданным побытом. Для мыши все они — главные вороги, и, шныряя по дворам, лесные разбойники сотнями давили мышей прямо на глазах. Потому, верно, высокие, на подтесанных в кубец ножках анбары оказались невережёны, да и хлеб частью удалось спасти. Иван Акинфич, получивший по миру свои переяславские волости, не прижимал их тут из лиха данями, иное и простил по тяжкой поре. И так, не заглядывая далеко в даль, не горюя о проторях, радуясь и тому, что жизнь идет своим заведенным побытом, непорушенною чередою дневных трудов и короткого ночного отдыха, деревня выжила этот год и даже строилась, а значит, богатела, ибо только от твердого зажитку берется смерд за топор.

В клети — чад коромыслом. Жарко. Все мужики вполпьяна, орут, благо девки и бабы в другой хоромине. Степан во главе стола, в обнимку с Птахой. Тут же принаряженные отцы невест: пробуют пиво, и уже напробовались в дым. Перебивая друг друга, спорят с веселой яростью, то и дело поминая князь Михайлу и старые обиды свои.

— Вот ты дочери клеть срубил! Пожди, Степан, срубил? Я не в обиде на то, ты, Птаха, в ум не бери, а только — срубил? Ну! Дак вот я теперя скажу: величаешься ты, Степан! Меря мы, меря и есь, дак и чево тут! Ну?! Хуже, да, хуже русичей? Не-е-е, ты отмолви, Степан, хуже, да?!

— Тихо, мужики! Мне Птаха жисть спас!

— Да? А клеть ты срубил? К ему, значит, в семью не хошь дочерь давать? Ты, Дрозд, молчи, молчи пока! Я Степана хочу прошать! Вот мы тута вместях и на

рати вместях, да? И как же так получатца, значит? А мы меря, меря и есь, и всё! Дак ты как же, Степан, а? Тиха! Тиха-а-а, мужики!

— Вот ты Окинфичам, ну, скажем, все мы тута, а только меря мы, меря и есь. И князю, и все одно... И попу...

— Тиха-а! «Меря» — заладил! Слухай! Слухай, ты!

— Постой, мужики, посто-о-ой! Скажи им, Степан!

Пиво шумело в головах, ходило в корчагах. Мужики ярели, выплескивая древние обиды, и тут же, лапая за плечи, лезли с мокрыми поцелуями в бороды друг другу.

— Тиха-а-а-а! — встал наконец Степан. Стоял, качаясь, опираясь на широкое плечо Дрозда.— Величаюсь, да! Я здеся, на етой реке, первую клеть срубил! Перву пашню взорал! И что русич я, величаюсь тож, и батьку мово... Батька мой рати водил с Ляксандрой, может, с самим! Да!

— Слухай, слухай, мужики!

— Да! — крикнул Степан и грянул медной чашей о стол.— А ты, Птаха, ты жисть... Вота! Давай, поцелуемси с тобой! Так! Дак вот, мужики! Сынов женю, и дочерь даю! Князь един, и вера наша святая! Кто тута меря? Русичи мы! Все! И ты, Птаха, русич, и я, всё, и — вот! — И, не зная, чего еще сказать, Степан, постояв, повторил: — Вот! — И сел с маху на лавку, что-то еще договаривая охватным размахом руки.

— Одна русь, одна!

— Меря!

— Кака меря, русь!

— Нет, а допрежь...

— Чево допрежь, малтаешь маненько, и вера та же!

— То-то и есь, что вера...

— Меря мы!

— Русичи!

— Меря!

— И меря, да русь!

Плещет пиво, кружит молодым хмелем горячие мужицкие головы. Яро спорят, бьют по плечам друг друга, лезут мокрыми губами целоваться, расплескивая коричневое густое хмелево, соседи-сябры, рядовичи, а отныне сородичи. И, пожалуй, верно, что уже тут не два чуждых и разных племени, не чудь и славяне, а одно — Владимирская Русь, народ.

ГЛАВА 33

Протасьиха отстранилась от больших, установленных на подножье пял и прищурилась. Лиловый шелк был тускловат, лик Глеба на пелене потому и не смотрелся так, как хотелось бы. Она недовольно вскинула твердый морщинистый подбородок, попросила:

— Глянь, Марья!

Бяконтова неспешно поднялась. С годами в ней, при небольшом росте, прибавлялось и прибавлялось дородства. Порою и наклониться за чем становилось тяжело: клубок ли уронит, спицу — все девку надо кликать. Дома иногда жаловалась: «Почто таки черева наростила, Осподи! И ем-то мало совсем!» Подойдя, остановилась, глянула с легкою завистью в работу — мастерица была Протасьиха, ничего не скажешь!

— Кабыть потемняе нать маненько?

— Ото и я гляжу! — согласилась Протасьиха.— Нерадошен цвет-от!

Потянулась к укладке, стала перебирать дорогие иноземные шелка, наконец нашла несколько мотков, приложила:

— Етот?

Марья Бяконтова склонила голову набок, сощурилась:

— Словно бы и еще потемняе...

— Тогды етот вот! — решительно заключила Протасьиха, прикладывая к туго натянутой пелене моток темно-лилового, почти черного, шелку.

— А не все крой! — вздохнув, посоветовала Марья.

— Не всю и хочу! Отемню тута, чтобы лик показать! — строго сказала Протасьиха и потянулась за иглой. Бяконтова еще поглядела, потом пошла на свое место.

Высокая, строгая, еще не старая видом Васильиха, Афинеева матка, в черном вдовьем платке (мужа убили о прошлом годе на рати тверичи), только вскинула глаза на них, не выпуская из рук быстрые спицы, поджала губы. Со смерти мужа, кажись, и не улыбнулась ни разу. Блинова зевнула, прикрыв ладонью и мелко перекрестив рот. Она, сидя за швейкой, застилала головку золотом с жемчугами. Работа спорилась у нее, и она спешила. Дома муж, дети, слуги, смерды из деревень — некогда и вздохнуть. Только на беседе и можно всласть посидеть за шитьем. Рыхлая Окатьиха

отложила костяные новгородские спицы, легко уронив руки на колени, прикрыла глаза и повела головой:

— Ломота одолела! Мозжит и мозжит, видать, к холоду!

— И пора! — отмолвила, не подымая головы, Блинова.— Хошь снегом-то срамоту прикрыть, с мышей ентих, Господи! Всё ить изъели!

Прочие молча согласно покивали, продолжая работать.

Пять больших боярынь сошли на беседу в терем Протасия и теперь сидели на женской половине, изредка перекидываясь словом, истово работали, радуясь тому, что можно отдохнуть от суедневных дел, посудачить, узнать новости, да и просто так посумерничать впятером — за трудами господарскими редко так-то выходит!

Девка внесла новое блюдо с орехами, изюмом и пряниками. Налила малинового, на меду, квасу из горлатого поливного кувшина в серебряные чары, обнесла боярынь. Блинова кивком поблагодарила, Окатьиха отрицательно покачала головой. Обе вспомнили толпы нищих, осаждающих сейчас крыльца боярских усадеб и паперти церквей. Девка вышла.

— Мужа обиходить — много нать! — продолжая прерванный разговор, сказала Афинеева.— У иной холопов полон двор, а хозяин на люди выйдет — у зипуна локоть продран, сорочка сколь ден не стирана, у коней копыта в назьме, сбруя, и та не начищена путем! А еще и поет: ночей, мол, не сплю, все о ладе своем думу думаю!

— Есь, есь всякие...— ворчливо отозвалась Протасьиха. Подруги покивали молча, все понимали, в чей огород метит Афинеева матка, и никому не хотелось говорить яснее. Афинеева поняла, перемолчала, поджав губы, повела об ином:

— Ты, Марья, сына-то жанить не мечташь?

— Не хочет! — со вздохом отмолвила Бяконтова.— За книгами всё. В монахи ладит, гляжу по всему.

— Первенец!

— Вестимо, жаль! А мой не велит неволить, дак и не неволю уж...

— А хрестной что думат?

— Иван Данилыч? А что думат?! Иногда прошает о чем, а так... Княжич-от! Ему и Федор мой не указ!

— Иван ноне вместо Юрия Москву блюдет! — сказала Блинова строго.

— Рачительный! — отозвалась Афинеева.

— Глазатый! Всякую неисправу тотчас углядит!

— И молитвенник,— подхватила Окатьиха,— нищих у церкви никоторого не пропустит, всех оделяет по всякой день!

Про княжича Ивана нынче на Москве говорили всё чаще, и обычно так вот, с похвалой. Особенно те, кто, как Афинеева, Окатьиха и Блинова, происходил из старых местных родов. Им, отодвинутым несколько в тень при Даниле, теперь, с вокняжением Юрия, открылись пути к власти и богатым кормлениям. И потому трое московских боярынь, хваля Ивана, метили в Юрия, а Протасьиха с Бяконтовой обе промолчали. Протасьиха, та поспешила переменить разговор:

— Ноне много нищих! Из деревень бредут и бредут. Я уж велела на поварне кормить их, не то замерзнет которой у ворот — слава пойдет по всей Москве: мол, великая боярыня толь до людей люта, убогих голодом морит!

— А и мерзнут! — возразила Афинеева матка.— Иной из последних сил доползет, у рогаток ночь пролежит и готов.

— Ищо холодов-то нет, чего зимой будет! — подхватила Блинова.— А и корми, не укормишь. Хлеб-от и позалетошный, что в анбарах лежал, весь мышь потравила. Зайдешь, дак и в нос шибает. Было зерно, осталось мышье г...о.

— Ну, ты тоже скажешь! — снедовольничала Афинеева.

— Дак что ж, коли правда! Ить ево, как ни назови, а в пирог не положишь! — решительно отрезала Блинова и вновь склонилась над головкою, ладя уместить крупную сверленую жемчужину в середину выпуклого золотого цветка.

— Юрий Данилыч жениться не заводит? — спросила Окатьиха. (И это был молчаливый разговор про Ивана. Младший явно начинал одолевать старшего во мнении, пока еще таком вот, бабском, но не с него ли все и начинается? Останься Юрий без наследника,— это все понимали,— княжить придет когда-то Ивану.)

— Году еще не прошло! — осторожно отозвалась Марья Бяконтова.

— Дак что год! Пока то да сё, и год минет. Князю

без княгини как-то и несрядно кажет! — сказала Блинова.

— В Орде б не женился! Посадит ордынку нам на шею,— вздохнула Окатьиха.

— Как решит, так и свершит. Князь! — сурово отозвалась Протасьиха, не подымая глаз от шитья. Афинеева матка внимательно поглядела на хозяйку и покачала головой:

— Петр-от Босоволк все у ево в чести! — добавила она, не то спросив, не то подтвердив сказанное. Опять перемолчали. О том, что князь не мирволит Протасию, знали все.

— Была бы у Михайлы дочка повозрастнее, да оженить бы с Юрием-то Данилычем, и которам конец! — сказала, вздохнув, Окатьиха.

— Нет уж, Юрья Данилыча нипочем не смиришь, ни женой, ни казной, ни ратной грозой! — вновь подала голос Блинова.

— Не привез бы новой войны из Орды-то! — сказала Протасьиха.— Опять сыновей терять!

И это перемолчали. Только Афинеева пробормотала вполголоса:

— Не у тебя одной...

Блинова однако не уступила:

— Юрия тоже понять мочно! Княжество богатое, Переславль по праву даден, в отчину от Ивана Митрича. Данил Лексаныч, покойник, году только и не дожил до великого-то княженья. Нам ся того лишить обидно! У моево-то волости все тута, у Москвы, я для вас говорю!

Протасьиха мрачно оглядела Блинову. Подбородок у нее упрямо отвердел. Отмолвила:

— Мой Протасий Москву спас!

Рознь Юрьевых «новых» со «старыми» — приближенными покойного Данилы — грозила уже прорваться наружу. Пора было перевести разговор на другое, и тут вновь вмешалась Бяконтова:

— Не слыхали, митрополит-от нынче приедет?

— Иван Данилыч рек, что приедет,— ответила Блинова.

— Как ищо и заможет! Тамо, в Володимери, тоже немало ему забот! — все еще гневясь про себя, возразила Протасьиха.

— Баяли, едет на Москву! — поддержала Блинову Афинеева матка.

— Полюбилось ему у нас. Третий раз уж, и живет подолгу. Место тут тихо, после иных-то городов! — согласилась Марья Бяконтова.

— А красно говорит! — вздохнула Окатьиха, вспоминая Петра — высокого, большеглазого, полюбившегося ей с первого погляду. Протасьиха, которой разговоры о новом митрополите тоже были неприятны, как все, что хоть как-то связывалось с князем Юрием, перебила Окатьиху вопросом:

— А ты, Стеша, сына жанить не думашь?

— Офеню?

— Ну!

— Невесты все не присмотрим...— нерешительно протянула Афинеева.

— У меня есть одна на примете. Роду доброго и собой видная!

— Ктой-то? Кто? — заспрашивали подруги.— Маша Васильева? Саня Кочевых?

— Не она! И не она тож! — отвечала Протасьиха, довольная, что раззадорила подружек.— Угадайте, вот! — Сама помолчала, щурясь, перекусила нитку, подумала, примеряясь к шитью, потом наклонилась к Афинеевой и сказала негромко: — Таньша Редегинская!

Боярыни ойкнули. Афинеева матка с сомнением покачала головой:

— Пойдет ли за моего-то?

— Я возьмусь, так высватаю! Ты преже со своим молодцом перемолви!

— Невеста хоть куда! — одобрила Блинова, на этот раз вполне соглашаясь с Протасьихой, и, показав руками около груди и бедер, добавила: — Справная!

Порушенный было мир восстановился, и боярыни вновь согласно заговорили о детях, погоде, хозяйстве, браках и смертях, о том, что Валя Кочевая после первых родов очень раздалась в бедрах, а была девушкою такова тоненька, никто и помыслить не мог; что у боярина Александра всё не стоят дети, а старик Редегин, умирая, наказывал своим ни за что не делить вотчин... Разговаривая, боярыни продолжали рукодельничать, каждая свое, неспешно прикладываясь к чарам да изредка протягивая руку к блюду с закусками. Окатьиха не без гордости сказывала, что к ее дочери нынче трои послов приходили звать на беседу — толь дорога стала! А Марья Бяконтова вновь жаловалась на старшего сына, Елевферия, крестника княжича Ивана, который вовсе отбился

от рук, ни игры, ни потехи сверстников ему не надобны, с отцом только и речи о праве да правде... «Боимся, что переучили ево! Иной порою словно блаженный какой!»

Протасьиха слушала и не слушала. Ей тоже хватало забот. В нынешнюю смутную пору нужно было не уронить чести своего рода — пото и собирала великих боярынь у себя! Нужно было женить второго и последнего, теперь уже единственного сына, а там, ежели ратная пора придет, не спать ночей, молить Господа, да не попустил бы погинуть ихнему роду, ждать внуков и опять не спать, растить, лелеять, надеяться... Да не опалился бы князь Юрий на хозяина! (Почто, и верно, не Иван Данилыч князем?! Куда б спокойнее было!) Да не пал бы мор, огневица ли, да не сглазил бы кто — мало ли и без Петьки Босоволка завистного народу на Москве!

Расходились уже в глубоких потемнях. На улице толпы нищих и нищенок, нынче переполнявших Москву, кинулись вперeймы, с жадно протянутыми руками. Кабы не слуги, и до хором не пробиться!

Марья Бяконтова, придя домой, сунула нос в горенку старшего сына. Олферка, сильно вытянувшийся за последний год (а все был невелик ростом, в родителя!), обернул к ней бледное сосредоточенное и какое-то не от мира сего лицо. Прозрачные глаза отрока с требовательной укоризной вперились в мать, руки нетерпеливо и неотрывно вцепились в раскрытую книгу.

— Ты что, мамо? — спросил Елевферий хрипловатым, ломающимся голосом. Светлая бородка клинышком уже опушала его щеки и островатый подбородок. Марья, намерившаяся было укорить сына за позднее ложенье, невесть с чего оробела и, проговорив: «Чти, чти, так зашла», попятилась вон из покоя. Только чтобы подольше побыть со своим трудным и уже давно непонятным ей дитем, она сказала:

— Афинеева бает, митрополит скоро будет у нас, на Москве!

— Преосвященный Петр уже прибыл,— хриплым детским баском возразил Елевферий.— В Крутицах уже!

Бяконтова постояла, осмысляя, и, устыдясь, что сын и тут ведает больше ее, тихо вышла, прикрыв дверь. А отрок, вздохнув и сильно потерев глаза, вновь вперил очи в книгу. У него к митрополиту Петру была своя нужда. Ближайшим днем он порешил так или иначе, а побывать

в Крутицах и поговорить с митрополитом, и уже просил о том своего крестного, княжича Ивана.

А Иван Данилыч этой ночью задержался в Крутицах. Петр приехал просто, без большой свиты, всего с несколькими клириками и с двумя десятками слуг — необходимой охраной по нынешней голодной и разбойной поре. Снег еще не пал, и тележная тряска на выбоинах и колеях отвердевших осенних дорог порядком намяла ему бока. В тесаном невысоком покое с маленькими оконцами, сквозь которые только и виднелись мохнатые лапы сосен да путаница березовых ветвей, было тепло и тихо. Он смог переоблачиться и отдохнуть, отметив для себя уважительное терпение княжича Ивана, что никак не тревожил его, недокучно сожидая, когда Петр отдохнет с дороги.

Лишь в позднем вечеру, когда уже сам Петр вышел на сени, Иван подошел к нему под благословение, осведомясь при этом, добро ли почивал митрополит с пути и все ли по-годному устроили слуги в его покоях.

— Дорогой-то ноне много шляющего народу. Нищи да и разбойны — глад! А иные и разбаловали... Я уж боялся тут — нападут, не ровен час!

— Ничего! На служителя божьего и разбойник ся устрашит руку вздынуть! — отозвался Петр.— Худо, что глад. Голодному преже помоги, потом рцы о Господе!

— Помочь нечем! — отрывисто возразил Иван.— Мышь потравила весь хлеб. Я уж и так... и кормлю, и привечаю на Москве. Даве раздавал мзду, один обежит да вновь подойдет, до трех раз. Я укорил, а он: «Ты-де, князь, не милостив!» Озлел народ. Купляю хлеб на Волыни, дак на всех не укупишь. Верно, грех на нас какой! А за нас и народ страждет!

Петр улыбнулся, любуясь княжичем. Была в юном Даниловиче некая тихость — не показное смирение, но внутренняя, любезная сердцу его тишина. И в светлых голубых глазах княжича тоже была тишина неземная, хоть и, не очень обманываясь, чуял митрополит в сем отроке сугубую твердость сокрытую. Но и это было любезно его сердцу после волынского двора, после умирающего в жалкой пышности своей Царьграда, где не было простоты, но не было и твердости, ибо никто уже там ясно не сознавал, к чему и зачем живет он на этой земле.

Московский князь Юрий с разбойными жадными гла-

зами с первого разу не понравился ему. В Юрии тоже была твердость, но какая-то злая, не разбирающая путей, безразличная к добру и злу, и потому опасная. Наставить такого на путь правый было наверняка почти невозможно, хоть и льстил, и льнул к нему молодой московский князь. Но льстил и льнул, как уже уведал Петр, по злобе на великого князя владимирского Михаила, а не по убеждению души. И это разом отвратило Петра, и неизвестно, как бы еще сложились грядущие судьбы Руси Владимирской, кабы нелепая пря, отяготительная как для Петра, так и для великого князя, не развела его с Михайлой Тверским. Епископ Андрей и бояре, что хлопотали о поставлении Геронтия, яростно клеветали и хулили Петра, и Михаил, связанный нелюбием бояр, ссорою с волынским князем и гневом тверского епископа, ограничился уставною торжественной церемонией встречи, так и не сойдясь с новым митрополитом накоротке.

Петр, лишенный дружбы с великим князем, искал себе угла, где мог бы уединяться и думать, отдыхать от своих воистину великих трудов, бесконечных путей и служб, проповедей, церковных судов, исправлений чина (множицею обнаружились нарушения уставов и даже впадения в ересь, не столько по злобе и лукавству ума, сколь по незнанию и простоте душевной).

В Москву Петр приехал, объезжая удельные княжества и города, так же, как он наезжал в Ростов, Кострому, Рязань, Муром, Нижний. Приехал после Переяславля, в один путь, проездом к Смоленску, и не собирался задерживаться долго. Но тут, в Москве, встретил он княжича Ивана и омягчел душой. Иван, как оказалось, был истинный хозяин Московского удела. Юрий — в хлопотах и поисках друзей противу Михайлы Тверского — бывал у себя лишь наездами, да и то почти всегда застревал в Переяславле, сделав этот спорный город своей столицей. Княжич Иван так принял и успокоил Петра, так сумел ненавязчиво и толково создать ему возлюбленную тишину и уют, что Петр и задержался в Москве долее намеченного срока и вновь, уже нарочито, гостил в этом городе, а теперь вот приехал в третий раз, сам еще не ведая, что эти наезды будут повторяться и умножаться и что когда-нибудь придет нужда летописцу отметить, что он, Петр, «возлюби маленький городок Москву» и, «почасту в нем бывая», предречет городу сему величие в грядущих веках.

Ничего этого пока еще не было. Был отдых. Было место, где не томили беседой, ничего не требовали, где он мог вновь взять в руки кисть и в тишине, под шум соснового бора, творить образы святых мужей, вновь и вновь повторяя на покрытой левкасом доске любимый лик матери божьей и за творчеством забывая томительные думы о церковном и всяком ином нестроении на Руси...

Сверх того, и важнее того, хоть Петр и не признавался в том даже самому себе, он искал места, откуда начинается родник. Есть озера и реки, есть омуты и мели, есть болота и ручьи, и есть место топкое, где всюду вода, и посверкивает, посвечивает меж травинок, и тихо струится покрытая ржавчиной, но не гнилая, а как бы пронизанная свежинкой,— родниковою прозрачною чистотой. Но сам родник не виден, он где-то здесь, тут или там, под слоем мха, под кокорой, под лапами ели, под склизкою от тины каменною плитой. И надо его найти, и не ошибиться, не принять за стрежень родника боковинку, крохотную ниточку воды, что тут же и погинет в желтой тине. Но когда родник обнаружен, только стоит отвалить плиту или кокору, скинуть слой мха,— и весело забьет, кружа хороводы светлых песчинок, заплещет, впитывая свет, полнясь и изливаясь потоком, целебная живительная вода, влага жизни.

В надменном бессилии волынского князя, не чаящего беды от приближенных ко двору католиков, в усталости Византии, склоняющейся к унии с враждебным Римом, в бесконечных спорах, рождающих смуту, видел Петр, со страхом, скорбью и гневом, близящийся закат православия, оскудение тех родников, коими только и жила, и росла, и спасалась земля славян. А раз так, то надлежало иссечь кладези новые, дабы напоить студеною влагою веры иссохшую твердь. Полжизни отдав трудам духовным у себя, в Ратском монастыре, Петр с унынием видел, что и верят, и любят, и поклоняют ему, а не может зажечь он ни в чьей душе огнь ответный, не видел он в пастве своей, ниже в прихожанах, воли к подвигу. А без подвига, сурового апостольского деяния, без подвижничества и проповедания не стоять, не выстоять, не спасти свет истинной веры, веры православной (да и ничего не спасти!) — это он знал. И искал родник. Потому и тревожил так Петра княжич Иван, и беседы с ним потому и были столь любопытны для митрополита, что чуял Петр в нем то, что было как-то разлито во всей здешней стороне залесной,

во всей обширной Владимирской земле — силу духовной жажды и способность к деянию.

Впрочем, всего этого еще не ведал, вернее не осознал ясно, ни сам Петр, ни тем паче княжич Иван, намерившийся нынче привести к митрополиту своего крестника, Елевферия, по неотступным просьбам последнего, жаждущего расспросить Петра, дабы самому понять погоднее, о латынском богослужении и о делах далекого цареградского патриарха.

Иван высказал свою просьбу вскользь и никак не настаивая. Он почти ожидал, что Петр пропустит сказанное мимо ушей. Но митрополит, живо встрепенувшись, стал расспрашивать и, в заключение, велел привести юношу не стряпая, прямо назавтра. Эту весть из утра Иван передал крестнику, и счастливый Олферка до вечера уже не находил себе места, ожидая великой для себя встречи.

...Они явились, когда уже темнело, и вошли в покои митрополита только вдвоем, крестный с крестником. Небольшую свиту из молодших Иван оставил за оградою, даже не допустив до дверей хоромины. Понимая, как отяготительна Петру пышность боярских и княжеских приемов, Иван старался, елико возможно, не подчеркивать ни звания, ни значения своего. Он и спешился там, за бревенчатым высоким тыном, и, осенив себя крестным знамением перед иконою, утвержденной в ковчежце над воротами Крутицкого подворья, прошел к хоромам Петра пеш, легким наклоном головы отвечая уставным поклонам служек и слуг митрополичьих.

Елевферий следовал за Иваном, робея, как в детстве. Скромность окруженных лесом бревенчатых хором, скупо кое-где украшенных крупною, одним топором выполненною резью, казалась ему нарочитой и значительной. Именно так, в монашеской, скитской простоте, и должен был отдыхать духовный владыка Руси — «не собирайте себе богатств видимых...». Зато иконы в покоях были чудесны, и Елевферий даже пожалел, что не удалось их подольше рассмотреть,— гостей тотчас пригласили в горницу самого Петра.

И вот Олферка видит его близко-близко, перед собою и над собою. Петр высок, а лицо у него, вблизи, доброе и даже немножко беззащитное, словно и не он потрясал народ проповедническим словом в церквах и соборах Владимирской земли. И руки такие легкие, трепетные, словно порхают, благословляя.

Они уселись. Елевферий плохо видел, что вокруг и по

сторонам, а спроста рещи — не видел вовсе. Он сидел, выпрямившись, стойно струна, с пересыхающим ртом, готовый внимать и держать ответы. Читанное им долгими ночами, затверженное и запечатленное в уме, кажется теперь такою малостью! Ему мнится, что сейчас Петр скажет что-нибудь столь мудрое, что его уму это будет даже и не постичь. Но Петр расспрашивает о родителях, о матери, и Елевферий, постепенно успокаиваясь, приходит в себя и начинает понимать и внятно отвечать на вопросы. Разговор постепенно переходит на дела веры, и Петр, мягко экзаменуя отрока, не столько вопрошает уже, сколько рассказывает сам.

Прочтены затверженные наизусть, как «Отче наш», и разобраны символы веры — Никейский и Халкидонский. Отрок говорит звенящим, срывающимся голосом, а княжич повторяет про себя, слегка шевеля губами и переводя взгляд со старца на отрока и обратно. Иван умеет слушать и запоминать, и сейчас этот дар наипаче пригождается ему.

— Сыне мой! Ведомо тебе, яко наша православная церковь хранит в чистоте учение Иисуса Христа и апостолов, как оно изложено суть в Святом писании, Святом предании и в ветхих символах церкви вселенской. Семь признанных вселенских соборов не творяху новых верований, но лишь уясняют и повещают веру церкви, яко изначальну сущу. Паче всего надлежит знать и помнить вот это: соборное церкви православной естество! Кто хранитель благочестия и предания в православной церкви?

— Хранитель и содержатель веры весь народ церковный, сиречь самое тело церкви!

— Истинно так. Кого анафемствует православная церковь, свершая чин православия?

— Чин торжества православия сложен Мефодием, патриархом Цесаряграда, и анафемствует отрицающих бытие Божие и Промысл, духовность существа Божия, такожде и свойства, ему присущие, паки — равносущие и равночастность Сына божия и Святого Духа Богу-отцу, отвергающих нужу пришествия Господня, страданий и смерти Спасителя, не приемлющих благодати искупления, отвергающих приснодевство Пресвятой матери божьей, отрицающих бессмертие души, кончину века, суд и воздаяние, такожде соборы, таинства, такожде хулящих святым иконам, и прочая, и прочая.

— Аминь. Зрите же ныне, сынове, яко римская церковь, начав с малого и ничтожного, приходит к великому

и гибельному искажению веры Христовой. Не делая различения между святыми книгами Писания, а также Писанием и Святым преданием, она отверзла врата для суемудрых толкований, а также исправления Христовых заповедей. Почто причащает римская церковь мирян лишь под одним видом — одним хлебом, а под двумя видами — сиречь вином и хлебом, телом и кровью Христовыми — евхаристию преподает токмо иереям и клирикам? Почто приняла пресловутое filioque — в противность Христовой заповеди о Святом Духе, яко от Отца исходящу, учит днесь: не токмо от Отца, но и от Сына? Имущему веру достоит прияти троичность Отца, Сына и Святого Духа непостижимою для разума тайною — токмо сие! Почто церковь римская уклонилась от учения Августина Блаженного о грехе первородном? И паки учит о таинствах: ежели оное по правилу содеяно над неимущим веры, то все равно сообщает ему благодать?

Княжич Иван вмешался:

— А ежели неверующий бесерменин, татарин ли, а его, скажем, насильно окрестят, и он будет равно осенен благодатью Христовой?

Петр благодарно поглядел на княжича и поднял указующий перст:

— Церковь православная учит: таинство суть действенно, независимо от заслуг дающего оное. И от недостойного, но не лишенного сана иерея можно принять таинство, и оно будет действенно. Но от принимающего таинство наша православная церковь требует безусловной веры, сознания величия и значения таинства и также сердечного хотения принять оное!

От каждого христианина требуем мы выражения веры в добрых делах, ибо вера без дел мертва есть! Того церковь наша и не приемлет римского учения о делах сверхдолжных, якобы совершенных святыми мужами в уплату за грехи прочих, равно как и права римских пап на сем основании давать индульгенции, или разрешения от грехов, почасту к тому же за мзду даваемые. Недостоит церкви торговать благодатью божьей!

Зри, яко римский первосвященник, согласно учению ихнему, вознесся над прочими — непогрешим и владетелен, и яко наместник Бога на земле сотворен!

Зри во всем — нарушение соборности церкви: и в запрещении мирянам читати Библию, и в почитании папы, и в разности причащения, сиречь евхаристии...

Зри во всем, яко человеческое и суетное побеждает божье, яко земное и плотское одолевает духовное и святое! Зри — церковь божия претворяет себя в земную, цесарскую власть! И тут уже торговля загробным блаженством, покупаемым за земные злато и серебро — те сокровища, о коих Христос заповедал верным не сбирать себе, не копить, но, раздавая неимущим, жити, яко птицы небесные! Во всем, во всем, паки и паки, видим мы отвращение от заповедей Христовых!

— Но власть соборная слабее власти единодержавной! — сказал, пошевельнувшись, Иван.— Просвети мя, отче! Об этом мысли мои и в день, и в ночь! И католики римские не оттого ли успешны, что съединены вкупе под властью папы?

— Земные успехи, слава, почести, и даже величие царств — много ли весят пред Господом? Погубивший душу ради суетных благ мира с чем явит себя на Страшный суд? Да и здесь, в бренной этой жизни, кого взыскует наша душа — злого и сильного или же доброго и верного? И князь на престоле ищет любви в слугах своих! Кольми паче Господь наш ищет в нас веры и любви! Кроме того, Иване, в дела власти земной церковь православная не вступает. Чти: «Царство мое не от мира сего».

— Но можно ли творить зло ради добра? И в чем тогда святость власти?! — мрачно и глухо спросил Иван. И над ними всеми повеяло тенью Юрия, который сейчас — и все знали, что ради новых козней своих — ускакал в Орду.

— Можно ли простить все,— с усилием продолжал Иван,— и споспешествовать правителю неправому в делах его?

Елевферий во все глаза смотрел на крестного, который сейчас казался много старше своих лет и был каким-то совсем чужим. Нечто даже жестокое проявилось в его лице с нахмуренным челом и потемневшими от борения мысли глазами.

— Чую смятение твое,— ответил Петр, помолчав,— но того, что требуешь ты ныне, я не могу тебе повестить. Паки повторю: в земные дела князей и кесарей не вступает власть церкви православной! Помни такоже, сыне, о свободе воли, данной каждому, дабы по воле своей творить злая и добрая. Иначе не было бы ни грешных, ни праведных, ибо раб, по принуждению тво-

ряяй злую волю господина своего, более ли виновен, чем господин его, на злыя раба своего пославший?

Иван опустил голову, долго промолчав, отмолвил тихо:

— Прости, отче!

И Елевферий вздрогнул, почуя смутную жуть в тихом ответе Ивана Данилыча. Только ли про князя Юрия спрашивал сейчас митрополита Петра крестный? И почему речь идет все только об одном: о далеком Риме и латынской ереси? Разве нет рядом с ними бесермен, Орды, язычников-мерян? Что знает митрополит такое, от чего он, сидя здесь, в глуши московских лесов, не оставляет думать об одном и том же — латынском, католическом Западе, близящейся от заката беде? И крестный тоже понимает что-то такое, что пока еще неясно ему, Елевферию. Или тоже только хочет понять? Одно лишь ощущает Елевферий ясно: его путь — здесь. В этом борении мысли, в трудах духовных, а не инаких, быть может, даже в монашестве, хотя об этом он до конца еще не решил.

Тесен покой. Бревенчатые стены кое-где источают капли смолы. В узенькие оконца — только черный очерк леса да расплавленный холодный серп луны, белый свет которой дрожит и трепещет на пороге желтого круга, очерченного пламенем двух чистого воску свечей в кованых медных свечниках. Старик, сухощавый и высокий, сидит на лавке, слегка расслабя члены и опустив плечи — он все-таки устал, хоть и не хочет признаться в том даже самому себе. Молодой княжич сидит в креслице и смотрит смятенно, остро и беззащитно, так, как никогда не смотрел бы, будучи на людях. И не благостен он, и не тих, а трепетен и страстен, и весь подобен натянутой до предела тетиве.

— Ведаю я, что то — грех, и сомневающийся в вере своей погинет, но просвети и укрепи мя, отче! — говорит он.— Одни мы, и нет нам опоры ни в ком, ежели сам Царьград не может противустати латинам! Утверди мя, отче, да не ослабну в вере своей!

— Дитя мое! (Верно, дитя, и детские, прямые и ясно-беззащитные мысли осеняют главу твою, княжич!) Дитя мое, сохранивший веру — живот свой сохранит, потерявший веру прадедов — мертв суть, и народ, отринувший предание свое, рассыплет пылью по лицу земли. Никто не один вкупе с Господом! И от

малого ростка, сбереженного, паки возрастет древие, осеняющее мир!

Отрок, брошенный ими двумя и потрясенный до дна души своей, замерев и не шевеля ни единым членом, глядит, всем существом вбирая слова и то, что высказываемо ныне помимо слов и, верно, важнее даже самих слов, то, что определит когда-нибудь всю его последующую судьбу.

К чему должно устремить силы, годы и жизнь, данные ему Господом? Что есть высшее благо всего сущего? Что должен свершить он для народа своего? Ибо только так — в бытии народа — оправдание всякого бытия на последнем суде!

Издалека, из иного какого-то мира, доносит в покой мерные удары в било. Протяжный гаснущий звон уходит в ночные леса. Полночь.

ГЛАВА 34

Высокий стройный юноша, с замечательно красивым лицом, точно каламом изографа обведенным по краю скул и надменно приподнятой верхней губы тонкою чернью бороды и усов, искусно подбритых, умащенных и расчесанных, волосок к волоску, пленным персидским брадобреем, сидел на пестрых подушках, скрестив ноги, и, напряженно выпрямившись, внимал муфтию.

Шло чтение. Читали по-арабски и тут же переводили на татарский, принятый в Золотой Орде язык. Чтец и толмач сидели рядом, так же, как и юноша, поджав ноги, и первый высоким голосом нараспев произносил звучные арабские слова, а второй вторил ему, словно эхо, тоном ниже. И потому, что читали с переводом, чтение шло медленно. Но красивый юноша, вперяя в муфтия свои удлиненные и слегка раскосые, чуть-чуть приподнятые к вискам глаза, затверживая для себя шепотом незнакомые арабские слова, слушал внимательно, не проявляя ни усталости, ни рассеяния.

В высоких, сплошь изузоренных аланским чеканщиком кованых стоянцах курились аравийские благовония. От человеческого дыхания чуть колыхались светлые огоньки в медных византийских светильниках. На ширазских, бухарских, газнийских и мервских коврах, на узорных золотоордынских кошмах, сплошь застлавших и завесивших глиняные, выложенные серым кирпичом полы и узорные панели стен, было развешено

и разложено оружие, стояли чеканные и поливные кувшины, русские братины, сасанидские серебряные блюда с шербетом и фруктами, с вином и кумысом, с рознятыми частями густо начиненного специями барашка и со звеньями той благородной рыбы из реки Итиль, вкус которой, по утверждениям знатоков, превосходит самую нежную баранину.

Спутники юноши порою прикладывались к блюдам, брали то и другое, кто двоезубою вилкою, а кто просто руками, чтобы потом, съев и бросив кости позадь себя, опрятно обсосать пальцы и, вытерев руки о кошму, запить мясо чашей кумыса или вина. Сам юноша не притрагивался ни к чему. Раза два всего лишь он пригубил кумыс из русской серебряной чары, поставленной перед ним арабским обычаем на низкий столец узорного дерева, но ни вина, ни мяса, ни фруктов даже не коснулся. Чтение захватило его целиком, и он сейчас слегка презирал своих спутников, коим чревоугодие застило высокую мудрость книжных словес.

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! — читал муфтий.— Хвала и слава великодушному творцу, благодарность и признательность создателю, который из белизны дня сотворил стоянку для жаждущих, обитель бытия и тлена. Щит для лика луны раскрывается каламом его мощи, его воля извлекает из ножен утра лучи, подобные мечам. Он всемогущий — на его совершенную красу не садится пыль исчезновения. Он — совершенный, за полу великолепия которого не ухватится рука ущербности. Мыслимые опасности ничтожны в пространстве его могущества, шаги помыслов не достигают окоема его владычества. Он воздвиг возвышенный дворец неба без орудий делателя, сшил зеленое платье небосвода без ниток и ножниц. Он превратил субстанцию воды посредством тепла в вещество огня, а вещество воздуха посредством холода отправил в средоточие влажности. Он заставил двигаться и покоиться четыре первоначальные материи — огня, воды, земли и воздуха — в средине вышнего мира. Смешав дым и пар, он создал в небесных просторах гром, молнию, облака, ветры и метеоры. Сочетав два тонких естества, он создал в сердце грубого камня драгоценные каменья и металлы. Из родов живых существ он выделил человека и сделал его венцом существ и заглавным листом творений, как он сам сказал: «Мы уважили потомков Адама и поселили их на суше

и море, одарили их приятными вещами и предпочли их всем другим созданиям». Он сделал человека полным хозяином и правителем всех низших соединений, одарил его способностью повелевать и запрещать и послал — для дел будущего мира, для упорядочения жизни — пророков (да приветствует их Аллах и да благословит!).

Он ниспослал веления в виде красноречивых посланий, а устами пророков послал вести в виде откровения, установил людям законы и обычаи и приказал им быть справедливыми и строгими в наказаниях, быть покорными правителям и молиться ему, как он сам об этом сказал: «Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они повиновались мне».

Ради утверждения и упрочения законов мудрости, ради поддержания и подкрепления основы действий и поступков он научил людей знанию и мудрости, шариату и тарикату, как об этом сказал всевышний, всеславный и всемогущий Аллах: «Нет ни зернышка в темных уголках земли, ни влажности, ни сухости, не предусмотренных в ясном Писании».

Для наказания и покорения грешников, для искоренения и обуздания насильников, на горе и скорбь невеждам он даровал разум и усердие, а кроме разума и усердия — священную войну с неверными. Он ниспослал Писание и меч, как об этом сказал сам всевышний, всеславный Аллах: «Мы ниспослали людям писание и весы, а также железо, которое и вредно, и полезно для людей».

Писание — это разум, весы — усердие и железо — меч. Они ниспосланы для того, чтобы мудрые постоянно видели чудеса Писания и чтобы посредством разума, мудрости, логики и рассуждений познавали доводы, свидетельствующие о всемогуществе, доводы о сотворении мира Аллахом и его мудрости, чтобы невеждам, лишенным доли того мира, сначала доказывали словом Истину, а потом уже карали их мечом, ибо невежда, если он не будет наказан в этом мире, не устрашится муки того мира и не будет сторониться подстрекательства к смутам и возбуждения к пороку».

От высокомудрых слов муфтия у красивого юноши восторженно кружится голова. Величественная картина мироздания, сотворенного Аллахом, стоит у него перед глазами. И он, он — один из избранников Аллаха! А ежели Токтогай, его дядя, умрет, тогда ему дана будет власть надо всею Ордой!

— Священная война! — шепчут его губы. Вот оно! Вот источник силы и власти, власти, да! И они — верующие мусульмане — помогут, поддержат, дадут ему серебро и воинов!

А эти? Старая монгольская знать — пастухи и кочевники! Вот они: кто дремлет, кто ест, со свистом обсасывая пальцы... Думают, что можно по-прежнему приводить связанных рабов и рабынь, грабить города, а после пить кумыс и хмельное вино, запрещенное пророком... Он видит горящие глаза тех, верующих,— их много! Да, прав муфтий! Религия без власти и власть без религии равно ничтожны. Вот основа! И — никакой жалости!

Было, да! Рушили города, захватывали земли и страны. А потом, после? Хмель невежества, пьянство, разгул и — вот: воины Темучжина режут друг друга, а великая империя моалов давно уже распалась на куски. Чем можно скрепить это степное и многоязычное море? Только верою! И всех, кто воспротивит тому,— под нож! Вино мутит разум, великие царства, читает муфтий, рушились по вине невоздержанных правителей, а они пьют! Пьют и сейчас, здесь, не прислушиваясь к священным словам!

Юноша кривит губы. Недовольно приподняв гнутую бровь, презрительным взглядом окидывает заснувшего старика монгола. Но тот, в сей же миг разлепив старческие желтоватые глаза, говорит без выражения и гнева, так, как говорят: «приведите лошадь» или «налейте кумыс»:

— Орду не заставишь принять веру арабов!

Сказал и поник, не то вновь задремал, не то просто пригорбился, почти смежив желтые глаза на пергаменном морщинистом лице.

Толстый человек с бычьей шеей, с плоским лицом и заплывшими щелками глаз (это он ел руками и срыгивал, откидывая кости за спину), перевалившись с боку на бок, лукаво взглядывает на юношу:

— Э-э, Узбек! Тогрул прав, зачем тебе гнать всех под веру арабов? Твой пращур, великий Темучжин, не взирал на веру своих нойонов, он смотрел, как служат ему, и покорил мир! Ты требуй от нас верности и послушания, а во что мы верим — кому какое дело!

Хитрые, они только притворялись, что спят, а меж тем давно уже уразумели тайные замыслы Узбека. И ропот не то одобрения, не то гнева возникает и ши-

рит под кирпичными сводами. Неясный, грозный, он колышет, сдвигает с мест сидящих, темным огнем зажигает глаза — нет мира и нет единства в этой толпе!

Сухощавый монгол со строгим лицом, несторианин по вере, поддерживает толстого:

— Степным батырам нельзя брать купеческую веру! Наши воины молились Исе и разбили самого главного повелителя арабов, который сидел в Багдаде, копил золото и не сумел защитить себя, когда пришла война! Молись Исе, Узбек! Нашему или урусутскому Иисусу, которому учит русский епископ в Сарае,— вера арабов погубит всех нас!

Слово наконец сказано, и чинное доселе собрание разом вскипает:

— Нет бога кроме Аллаха, и Магомет пророк его! — раздается яростный вопль. В ход уже пошли руки, трещат халаты, кто-то кого-то расшвыривает, опрокидывая блюда...

Большинство присутствующих — мусульмане, и они дружно накидываются на несторианина. Ордынские вельможи из булгар, татар и пришлых, они уже не верят «Великому небу» завоевателей полумира, не хотят верить они и в Ису (несторианского Иисуса Христа) — распятого Бога подвластного им народа. Учение Магомета, о котором день и ночь толкуют купцы и проповедники «веры арабов» в Сарае, принятое у булгар, сейчас называющих себя татарами, переменивших язык, но не веру предков,— это учение им ближе всего. И только русский епископ, главный урусутский поп в Сарае, с мнением которого очень и очень считаются в Орде, страшит и удерживает многих из них...

Когда поднявшаяся громкая пря стала переходить в свалку, пышнобородый вельможа в зеленой чалме, по виду чистый таджик, незаметно увлек Узбека в сторону:

— Разве можно слушать тех, кто даже друг с другом не могут прийти в согласие! — шепчет он на ухо юноше.— Русский бог Иисус — не бог, а только пророк Бога единого и великого. Так говорит Мухаммед! Не верь урусутам, Узбек! Не верь и тем монголам, которые поклоняются Исе! Помни, Узбек, только подняв зеленое знамя истинной веры, ты получишь власть и станешь царем царей!

Еще понизив голос и оглянувшись, не услышал бы кто, пышнобородый прибавляет:

— Токтогай скоро умрет! Его глаза уже перестают различать истину! А христиан не бойся! Русский коназ Юрий — враг коназа Михаила. Ты прими его, Узбек, и он поможет уговорить главного русского попа!

На красивом лице юноши что-то вздрагивает. Нечто, как бы и жадное и мелкое, на миг появляется в глазах, словно тень неуверенного вожделения коснулась его чела. Он плохо понимает людей и потому с особенной силой цепляется за веру и за тех, кто ведет его, с помощью ислама, по опасному пути к вышней власти над Золотою Ордой.

ГЛАВА 35

Эх, кони! В бубенцах, в серебре! Вянет осень, березовым золотом щедро обрызгав леса. Звонкий ветер холодит лицо, и так молодо, радостно вновь от всего — от удали, бешеной скачки добрых коней, славной дружины, от успешного ряда с молодым суздальским князем (почти уступили Нижний ему; то-то взбесится, как узнает о том, Михайло!). Эх, молодость, жисть — любота! Стыдно сказать, грех подумать, а в пору и срок умерла нелюбимая супруга. Разом помолодел, словно на волю вышел из затвора. Недаром «золотым князем» прозвала его Кончака, сестра Узбека, там, в далекой Орде. «Алтын коназ»! Красивая девка — ордынская княжна! Словно и годы свалили с плеч, и можно покуролесить и почудить вдоволь. Эх, воля вольная!

Скачет Юрий, разметав рыжие кудри на ветру, скачет — ладони зудят от нетерпения. Рвет удилами губы коня. Скачет к успехам, к новой своей весне в струях грядущих дорог; чует сердце, и сладко от ветра и воли, сладок звонкий осенний простор!

Мор утих зимою. Мор уже и не страшен ему! А хлеба нынче поднялись на диво. Людей попропадало, конечно, дак зато Михайле теперича труднее станет рати собирать! Теперича что? Теперича в Новгород Великий новых тайных послов! Казну Иван сбережет, и Борис, воротившись из Твери, нынче в полной его воле! Без Александра Борис не страшен. Стариков — Протасия с Бяконтом — поприжать... Или еще не время? Нет, не

время! Да и что Москва, без него берегут Москву! Може, он тамо и не сядет! А хошь, вон на Переславле... альбо в Нижнем! А Москву берегут не хуже Михайловой Твери. И дани у него в срок, и купцам легота, и народ валит к нему с Рязани... Что Москва! Мир — на ладони! (Станет ли Узбек ханом? Тогда б и сестричка евонная погодилась — пока-то торопиться не нать!) Ветер, осень, а в сердце весна! В Сарай тоже послов! Тохта, слышно, далече, в Синей Орде, в степях. Нынче стало мочно понять, кто станет после Тохты. Навряд Ильбасмыш! А очень возможно, что и Узбек! Этот с бесерменами все... Ну и шут с им! Обещать все, что захочет, все на свете обещать! Ничего не жаль! Сарского пискупа давеча уговорил не встревать в дела ордынски... Тем, почитай, Узбеку уже и заплачено сполна! Крестить Орду... Зачем ее крестить! Все одно — нехристи! Без ихнего духу в церквах дышать будет легше. Свалить бы Михайлу! Пущай Орда обесерменится — пес с ей! Да зато будет он, Юрий, князем великим на Руси!

Ладони зудят нетерпением, звонкий холод плещет в лицо. Пушистые пропыленные огненные кудри летят и треплются по ветру, и дружина, вослед молодому князю, ярит и торопит коней.

ГЛАВА 36

Корабль из Цареграда плывет в Кафу. Близится берег. Моряки роняют большой парус, в воду опускают весла, и скоро смоленый, покрытый солью крутой борт глухо стукает о причал. На берегу кричат, тянут за веревки, подчаливая судно. После однообразного многодневного шума моря торговая толчея берега оглушает путников. В разноязычии итальянской, греческой, татарской, аланской и русской речи, в пестроцветьи и лохмотьях, облитый солнцем город кипит и суетится огромным людским муравейником. Путники в монашеских одеяниях минуют торг, отводя глаза от полуголых невольниц и покрытых струпьями невольников, отстраняя спокойными взмахами рук лезущих к ним коричневолицых нахальных торгашей. Скоро путников встречают и, уже расталкивая толпу, ведут на греческое подворье, где можно переодеться, умыться и от-

дохнуть. После молебна и трапезы цареградский клирик показывает грамоты, подписанные кесарем и патриархом Афанасием. Сожаление слишком ясно читается на лице византийского чиновника, обманутого в корыстных надеждах своих: взятки тут не будет, и даже более — все просимое нужно предоставить быстро и с особым тщанием, ибо на его место в богатой Кафе слишком много охотников в далеком Цареграде. Поэтому в тот же день, к вечеру, на подворье приходят ордынские татары, смотрят грамоты, кивают, лопочут по-своему, жадно оглядывают патриарших послов. Клирик ничего не хочет давать татарам, и кафинскому наместнику, к вящей досаде, приходится платить самому. Ордынцы, вообще-то, не должны брать подарков с патриаршего посла, но поди втолкуй это местным татарам! Торг и споры продолжаются два дня, после чего, наконец, подают лошадей, и тряский дорожный возок греческого клирика выкатывает из ворот Кафы в степь. Начинается долгий путь в Сарай. При каждой смене лошадей одно и то же — татары выпрашивают подарки. Клирик — недаром он в простой рясе, с простым, даже не серебряным, крестом на груди — дает помалу: горсть сухарей, несколько кусков дешевых тканей. Старейшин угощает иногда греческим терпким вином из смоленой глиняной бутыли. Тянутся день за днем. Безводье, пыль и жара донимают путников. Но клирик, привычный ко всему, глядит бесстрастно на ровную, в мареве, степь от края и до края неба да щурит глаза, когда слишком донимает пыль. В Сарае их встретит русский епископ и посадит в лодью. Там можно будет отдохнуть от сухой пыли, от жадных, привязчивых ордынцев. И потом опять потянутся бесконечною чередою день за днем. Будет струить свои воды река, огибая борта, гребцы будут подымать и опускать весла, и медленно будут проходить мимо зеленые волжские берега.

С собою клирик везет ларец, окованный черным железом. В ларце грамоты: донос на митрополита Петра и повеление патриарха Афанасия разобраться на месте, соборно, совокупив для сего русских иерархов церковных и властительных мирян. Донос послан тверским епископом Андреем и обвиняет Петра в мздоимстве и многих других неправосудных деяниях. Доносы не новость в древней Византии, и ежели бы цареградские власти верили каждому доносу, то град сей давно уже перестал бы существовать. Доносы чаще всего лишь

принимают во внимание. А верить им начинают лишь тогда, ежели это нужно кому-то и для чего-то. И донос на русского митрополита не был бы принят патриархом, ежели бы не принадлежал епископу стольного града русского великого князя, ежели бы к тому на митрополита Петра не опалился волынский князь, оскорбленный явным предпочтением, выказанным Петром Суздальской земле, в ущерб Галичу и Волыни. И, наконец, наиважнейшее заключено в том, что сам патриарх не весьма доволен деятельностью русского митрополита Петра, слишком уж независимого от велений Цареграда. И потому клирику, что терпеливо переносит тяготы долгого пути, даны самые широкие полномочия. Он может и сместить митрополита, ежели того потребуют на соборе русские епископы и великий князь, с мнением коего несколько опрометчиво, как кажется, не согласился не так давно патриарший престол.

И клирик сидит, сложив руки, и бесстрастно глядит вперед, туда, где в речных извивах открываются с каждым поворотом новые и новые занавесы зеленых берегов. Пахнет водой, свежестью, теплыми испарениями лугов, иногда ветер доносит запах соснового бора. Гребцы поют, натужно подымая и опуская стеклянно блестящие мокрые весла. Плещет и булькает вода, обегая смолёные борта. В ларце, окованном черным кружевным железом, лежат и ждут своего часа патриаршьи грамоты с вислыми серебряными печатями, вручающие цареградскому клирику власть над грядущей судьбою русской церкви.

Рубленые городни стен. Бревенчатое нагромождение построек, среди коих лишь отдельными пятнами белеют старинные соборы. Непривычно чистый воздух, с какими-то острыми и тонкими запахами, верно от вянущих трав. Белоствольные деревья, по листве тронутые светлым золотом. Осень.

Они подымаются от причала по крутой дороге, ведущей в город. Сейчас клирика и его спутников встретят. Весть о патриаршем посольстве была послана загодя, с пути. Вот уже, кажется, и встречают! Да, это к ним. Извиняются — лодью клирика приняли за другую. Ему переводят по-гречески, хотя он немного понимает и сам русскую речь. Клирик кивает. Дорогою он

решил уже, что лучше разобрать дело келейно, собором одних епископов, и, осудив Петра, послать Афанасию и кесарю ходатайство о назначении на Русь митрополита-грека. Самого Петра клирик никогда не видел и мнит встретить сейчас хитролицего осторожного человека или громогласного властителя, взъяренного, аки медведь, и не сразу понимает поэтому, что высокий, сухощавый, с ясною печатью тонкой духовности на лице, да еще в простом одеянии — лишь золотой наперстный крест выдает его значение в ряду прочих русских иерархов, собравшихся для встречи,— что именно он и есть тот самый Петр, мздоимец и даже святотатец, коего он, клирик, обязан низложить, лишив сана митрополита русского. Донос и человек двоятся, никак не согласуясь друг с другом, и это портит удовольствие оконченного трудного пути.

Клирик холодно приветствует митрополита, неспешною стопою проходит в приготовленные покои,— в это царство тесаного дерева, резного дерева, рубленого, пиленого и сверленого дерева, дерева, раскрашенного вапою, и чистого, сухого, как будто даже потрескивающего слегка. Впрочем, в покое его окружают привычные предметы, многие даже и цареградской работы, и он с удовлетворением омывает руки и лицо, меняет дорожное облачение, распоряжается, куда что поставить из привезенного с собою. Потом, водрузив ларец на стол, достает ключ и, надавив, поворачивает ключ в прорези замка. Ларец распахивается с легким звоном. Он берет грамоту с вислыми печатями на ней, несколько мгновений держит ее на весу, потом, покачав головою, кладет назад и запирает ларец.

Его и спутников приглашают откушать. Проводят в малую митрополичью трапезную. Тут их принимает сам Петр. Трое греков едят жаркое, пироги и рыбу, пьют русский мед и греческое вино. Трапеза проходит почти в молчании. Трапезующие перекидываются незначительными словами о путях, погоде, здоровье великого князя владимирского Михаила, патриарха Афанасия и кесаря. Под конец клирик, неторопливо вытирая пальцы вышитым рушником, подымает на Петра строгий взор и говорит нарочито и негромко, что прибыл к нему «для рассуждения дел некаких». Петр, осуровев лицом, кивает согласно, но не теряется и не суетится без меры — ждет. О существе дела он уже наслышан или догадался. И клирику, хоть он и не пока-

зывает вида, поручение патриарха на миг представляется слишком поспешным и даже, возможно, неразумным несколько. Каков-то еще окажет себя доноситель? Впрочем, он слишком чиновник и тотчас справляется с собой. В конце концов, что, кроме располагающей внешности, ведомо ему о сем муже? Достоит уведать мнение прочих епископов, иереев и мирян, и сугубо самого великого князя владимирского. Посему он говорит Петру, оставшись с глазу на глаз, немногое: что послан патриархом для надзирания дел святительских и должен собрать вкупе епископов Суздальской земли. Петр не расспрашивает, не просит и не умоляет, не тщится задобрить цареградского посла — и это все странно и непривычно для умудренного жизнью грека: русский митрополит вроде бы даже не понимает, что дело идет о его личной судьбе. Он сразу велит разослать гонцов и только просит подождать немного ростовского епископа Симеона, ибо тот отбыл в Устюг, место неближнее, и посему скоро явиться не сможет. Так кончается первый день патриаршего посланца во Владимире. Вечером греки, несколько озадаченные, беседуют друг с другом. Впрочем, к великому князю Михаилу Ярославичу уже послано. Греки расходятся по своим кельям и засыпают под тихое потрескивание прогретых и просушенных летним солнцем бревенчатых стен.

Михаил Ярославич рассерженно расхаживал по палате:

— Нет и нет! Не должно власти мирской решать дела святительские! Пусть соберут собор! — И на собор он не поедет, нет! Детей — пошлет. Как бы ни решилось, все равно!

Епископ Андрей, духовник и игумен глядят на своего князя с сердитым отчаянием. Как его убедить, что иначе, без прямого князева слова, Петра могут и не осудить, а значит...

— Ведомо ли Михаилу, что митрополит Петр уже зачастил в Москву?

— («И тут Юрий! Все одно не соглашусь!») А ведомо иереям, зде сущим, во что обратится церковь, ежели дела ее, паки и паки, станет решать мирская власть? Да, пусть лучше прогадает он, великий князь Михаил, да не впадет в скверну церковь русская! Господу, а не

князю вручите ее судьбу! Да, он тоже наслышан о делах Петра, и глаголют о нем лишь доброе, и не он посылал донос патриарху! Да, я великий князь Руси! Да, судьба земли в деснице моей! И мне ведомо, что власть силы сокрушает земное и зримое, вещественное и телесное, но невещественное и бестелесное одоляет лишь духовная сила. Мысль не зарубишь мечом! И дух не прободешь стрекалом! Почто ряса, коей прикрыт иерей, тверже панциря воина?! К чему же вы мните отринуть незримую, твержайшую железа защиту сию ради земной и тленной? Заменить дух насилием? Зачем?!

— Но, князь, суд церкви и святительское покаяние, на грешника налагаемое,— тоже насилие над плотью! И чадо свое отец добрый приневолит силою к деланию полезному. И, выросши, отрок поклонит родителю своему ради насилия того!

— Да! Да! Да! Сын воздаст отцу, ибо отец, любя чадо свое, принуждает к деланию полезному. Но не того просите вы от меня ныне. Не лукавь, Андрей. И ты не лукавь, и ты! Господь рассудит тебя с Петром по истине и соборно. Мыслю, патриарший посол мнит рассудити дело сие с утеснением противу митрополита Петра... Иначе бы не приехал! Но об ином — пусть решает Земля, и пусть не княжеская власть, но сам Господь рассудит истину в делах святительских. И — будет! Полно того. Я сказал.

Без воли Петра весть о намерениях цареградского клирика начала растекаться по земле все шире и шире, порождая толки и смуту. Спорили иереи и бояре, спорили смерды и купцы. На приезжих греков оглядывались на улицах горожане, указывали пальцами, порою бранили вслух. Клирик, побывавший уже на двух проповедях митрополита и вызнавший мнение граждан, начинал задумываться. Дело, ради коего он прибыл на Русь, осложнялось с каждым днем. Он уже беседовал с тверским епископом Андреем — и не составил себе о нем ясного мнения. Он уже уведал, что великий князь устранился от прямого решения судьбы митрополита своею волей. Московский князь и многие прочие хлопотали перед ним об оставлении Петра на престоле. И, в довершение всего, из Цареграда дошла к нему злая весть. Скончался патриарх Афанасий.

Дело, затеянное там, приходилось теперь ему разрешать на свой страх и риск, и клирик, рассудив разумно, склонился к созыву собора иерархов всей земли, тем паче что, с умножением волнений и слухов, инако поступить становилось все невозможнее.

Собор, как думал он, соберут во Владимире, но у русичей были какие-то свои, неведомые ему, рассуждения и счеты. Князья и епископы согласно предложили Переяславль, вотчину почившего полвека назад великого князя Александра, град, как уверяли клирика, наипаче прочих пристойный для таковыя нужи.

К тому времени, когда все это, наконец, разрешилось, осень уже разукрасила пожарами листву дерев, сжали хлеб, уже пожухли и побурели листья, прошли дожди, отвердели дороги, и первые белые мухи невесомо закружились в воздухе над примолкшими пажитями и серыми сквозистыми чередами потухших и поределых лесов.

В Переяславле клирик со спутниками расположился в Горицком монастыре, откуда открывался далекий вид на озеро и город, вытянутый по низкому берегу рядами бревенчатых, под соломенными кровлями, клетей и хором. Нахохлившийся (он мерз и простыл от холодного осеннего ветра), растерявший прежнюю уверенность и представление о том, чем же это все кончится, клирик уже давно решил положиться на Господа и предоставить русичам самим решать судьбу своего митрополита, что и оказалось, впрочем, единственно разумным решением.

Съезд, по всему, обещал быть многолюдным. Прибывали князья и бояре с дружинами, целые сонмы русских иереев всех степеней, черное и белое духовенство и миряне, даже и из прочих городов, никем не званые, но слышавшие проповеди Петра и озабоченные его судьбой. Прибыли отроки — сыновья великого князя с его боярами. Прискакал самолично московский князь Юрий. Клирик начинал путаться в перечне князей и княжат, представлявшихся ему. Ни холод, ни снег не останавливали людей. Даже в полях горели костры, у коих грелись не вместившиеся в стены города и хоромы приезжие.

И вот настал день суда. Княжевецкие жители с утра чуть не все отправились в Переяславль, но в городской собор, набитый так, что с трудом можно было вздохнуть, попасть удалось одному Федору, да и то по

старой дружбе с боярином Терентием, который провел его вместе с собою. Они стояли, два старика, затиснутые в толпе нарочитых гражан, и Федор, волнуясь и переживая, ждал, когда кончится служба и начнут читать патриаршью грамоту, привезенную, как слышно было, из Грецкия земли. Из-за голов ему плохо было видать, что происходило в алтаре и на солее храма. Но впереди стояли князья, княжичи, великие бояра, и туда уже не было ходу совсем. И то он мог быть доволен,— тысячи мирян плотно теснились вокруг собора и по улицам, лишь из уст в уста передавая, что же происходит там, внутри. Клирик-грек, увидя это многолюдство, даже обеспокоился. Казалось, немного надобно здесь, чтобы из этой толчеи началась и возникла кровавая смута. Успокоился он несколько лишь в соборе, при виде литой толпы нарочитых мужей в дорогом платье, в сукнах, соболях и бархатах, ничуть не растерянных и не угнетенных сборищем черни, и понял, что тут это, видимо, так и надо, так и достоит стоять им всем вкупе и воедино, и еще раз подивился обычаям Русской земли.

— Гражане! Чада моя возлюбленная!

Ропот, шум, теснение, хотя теснее стать, кажется, уже нельзя, но всё еще подвигаются, уплотняясь. Шеи вытягивают. Петр выходит из алтаря, и новый ропот прибоем прокатывает по толпе:

— Как? Что? Грамоту! Грамоту!

Кое-как установлена тишина. От густоты дыхания вздрагивают и меркнут свечи. Приезжий грек,— для него не внове соборные чтения,— подымается на амвон. Читает по-гречески грамоту патриарха. Горицкий архимандрит повторяет ее по-русски. Новый ропот, шум, крики. В задних рядах громкие возгласы негодования. Грек, дождавшись новой тишины, читает донос. И тут подымается невообразимое. Церковь взрывается гневом. Машутся кулаки, вопль вытекает на площадь: «Неправда! Не верим! Долой! Кого ставили по мзде? Показать!» Чей-то режущий уши вопль: «Священницы все на мзде ставлены!» Трещат воротники. Кто-то кого-то, выпростав зажатые толпою руки, трясет за грудки. Визжат притиснутые к стенам женки. «Петр! Петр! Пущай Петр скажет! Реки им, Петр!» Бояре и князья в передних рядах громко ропщут, и все требуют доказательств. Земля не хочет так просто отдать своего митрополита, коего успела узнать и полюбить. «Кто?

Кто написал?! Да узрим!» — требует хором толпа. Побледневший тверской епископ Андрей выходит вперед, и тут начинается буря. Уже и в рядах иереев пря переходит в рукопашную. Ростовский епископ Симеон, побурев лицом и задыхаясь, подступает к епископу Андрею, сжимая кулаки. Он брызжет, вздергивая браду, крик его не слышен в общем реве. Толпа требует доказательств митрополичьей вины. Многие не шутя смущены доносом и хотят разобраться в деле. Брал ли Петр мзду со священников и какую? Шум то стихает, то вздымается вновь. Все позабыли о времени. Свидетелей, чьи слова являют неправду, провожают криками гнева. Внизу, в толпе, их пихают кулаками в бока. Когда уже половина обвинений отпадает, яко ложные,— в иных митрополит оказывается лично невиновен, другое имел право вершить, согласно соборным правилам,— вздохи облегчения все чаще и чаще начинают пробегать по рядам, и уже кричат радостно, и уже не хотят дослушивать до конца. «Невинен! Не винен ни в чем! Прекратить!» — кричит и требует площадь.

Петр подымает руки. Утишает шумящих. Теперь ему легко говорить, тверской епископ уже посрамлен, враги — а их у него, увы, немало! — в растерянности.

— Братие и чада! — говорит Петр.— Я не лучше пророка Ионы. Если ради меня великое смятение сие — изгоните меня, да утихнет молва!

И — больше уже ничего не слыхать. Согласный вопль захлестывает и вздымает Петра, чается, он сейчас, неслышный, будет вознесен на воздух.

— Не хотим! Не позволим! Тебя, тебя хотим, отче!

К нему лезут, целуют одежду, руки. Это победа, одоление на враги. Юные тверские княжичи, Дмитрий с Александром, во все глаза смотрят на Петра, запоминают, и в них, как и в прочих,— восторг. И Петр кажется им сейчас мудр и прекрасен. У князя Юрия глаза горят, как у кота, жарко свербят ладони. Посрамление тверского епископа для него то же, что посрамление князя Михайлы. Мельком он думает, что, доведись ему,— нипочем бы не допустил такого суда! Прост, ох,— на горе себе и на счастье ему, Юрию,— слишком уж прост великий князь!

И уже толпа требует суда над тверским епископом. Где-то в задних рядах старый Федор отирает увлажнившиеся глаза, шепчет: «Не попустил Господь!» Ему уже немного осталось веку на земле и радостно

оттого, что перед концом своим он видит торжество правды.

— Судить! Судить! Пущай ся покает! — кричит народ.

И снова Петр подымает руки и стихает шум, и Петр говорит, обратясь лицом к тверскому епископу:

— Мир тебе, чадо! Не ты сотворил это, а дьявол! — И — благословляет Андрея.

И толпа снова кричит, теперь уже ликуя, и люди в церкви целуют друг друга и плачут, и крестятся радостно, глядючи на своего оправданного митрополита.

ГЛАВА 37

Торжество Петра, как и предрекали Михаилу, было тотчас использовано Юрием. Почти отобрав Нижний у суздальских князей, он задержал княжеские дани и стал требовать мытные сборы с тверского торгового гостя. Михаил, связанный новою которой с Новгородом Великим (новгородцы никак не желали платить черного бора с Заволочья), сумел все же послать к Нижнему своих бояр с ратною силой и с княжичем Дмитрием во главе. Одиннадцатилетний княжич, конечно, не мог еще править полками, но для престижа власти требовалось, чтобы во главе войска был хотя бы и юный, но князь. Это, однако, и погубило поход. Рать дошла до Владимира и стала. И задержал ее не Юрий Московский и не воеводы с полками, а митрополит Петр.

Петр сам прибыл на подворье, где остановился княжич. Пока полки входили в городские ворота Владимира и располагались на постой, а воеводы хлопотали о кормах и сменных лошадях, Петр говорил с княжичем, при коем был один лишь боярин, Александр Маркович.

Дмитрий во все глаза разглядывал митрополита, к которому после переяславского собора чувствовал уважение и даже некоторый страх. И вот он сидит рядом и так близко! Можно потрогать рукой! Боярин резко отвечает митрополиту, а Петр спокойно качает головой: он не может благословить брань братьев-князей, не может благословить рать, идущую на Нижний. Он просит юного княжича подумать, прежде чем начи-

нать эту прю. Он ребенок еще, да, но и детскому уму откровенна бывает мудрость божья, а почасту дети яснее седых мужей чувствуют истины, коим учил нас Иисус Христос!

Княжич сидит побледневший, глаза у него горят, он гордо выпрямил плечи. К нему впервые обращаются, как ко князю. И кто! Сам митрополит Петр! Еще неделю назад, в Твери, так было ясно все: и то, что Юрий — ненавистник батюшки, и что надо его покарать... И вот — «восста брат на брата...». Брат на брата! А ведь Юрий, и верно, ему приходит троюродным братом! Как же быть?

Александр Маркович, начав спорить с митрополитом при княжиче, только испортил дело. Княжич неожиданно уперся и строго хмуря детские бровки, велел остановить рать, дондеже митрополит не благословит воинство! Бояре ахнули, сперва было посмеялись, но потом меж ними начался разброд, ходили к митрополиту поодинке и хором, но Петр был тверд, и княжич тоже уперся на своем. Послали было в Тверь, но тут (пора была покосная) Иван Акинфич, плюнув, увел свою дружину. Владимирские бояре еще раньше начали распускать покосников по домам, и, простояв несколько дней во Владимире, рать начала таять, и таяла до тех пор, пока и самые упрямые поняли уже, что поход сорван. К тому же и Юрий, упрежденный митрополитом, прислал часть задержанных даней, этим как бы заглаживая свою вину.

Михаил встретил воевод в гневе. Первый раз накричал на сына. Но Митя уперся, набычился, храбро, только бледнея от обиды, повторял, что прав:

— Бей меня! Сам же баял, по-божьи надо решать! Я не мог иначе!

— Иди! — сдался наконец Михаил.

Анна нашла мужа в дальнем особом покое вышних горниц, куда Михаил заходил крайне редко и только в такие вот, черные для себя, часы. Он лежал большой, бессильный, лицом вниз. И Анна, тихо прикрыв дверь, еще постояла, но все же подошла, опрятно, тихо присела на пол рядом с изложницей, начала, как ребенка, гладить по волосам. Михаил промычал что-то неразборчивое, помотал головой. Она все гладила.

— Все противу меня! — выдохнул князь, подняв смятенное, в красных пятнах, лицо. Его широко расставленные глаза глядели сейчас беспомощно, почти

разбежавшись врозь. Анна молчала, разглаживала рукою лоб и высокие крутые залысины.

— Сын, и тот!..

— Митя тебя любит.

— В боярах нестроение. Новгород ждет лишь часу. В торгу дороговь. Тохта в Синей Орде. Ему лишь серебро! Юрий уже со всеми перезнакомился в Сарае, точит и точит под меня, как ржа. Теперь еще и митрополит...

— Сам же ты не захотел его сместить!

— Ежели бы сместил, вся земля поднялась противу меня! Только и ждут... Будет когда-нибудь ряд на Руси?! Где они, возлюбленники мои? Почто молчат? С Литвою, все одно, нет доброго мира! Католики и там сумели... Волынь... И теперь опять Новгород! Почему Юрию всё простят и всё разрешают творить? Убийства, татьбу, нятье градов и весей — и все сходит с рук! И всем хорош! Немецкие купцы совсем обнаглели: от меня к нему, и мыта не платят за товар! Да, я великий князь! Но Юрий-то берет лодейное и повозное с моих караванов на Москве! Тамо, на Западе, ихним графам да герцогам на каждом мосту, с кажного воза дикую виру отдай и не греши!

Я почто не сместил Петра? Ведь грека пришлют! А тот того и гляди начнет хлопотать об унии с Римом. Далеко до того? Уже близко! Когда все поймут — поздно станет спорить, в те-то поры! Так что же он, Петр, не понимает и этого тож?! Русь ли он спасает от резни или Юрия от моего гнева? Я устал, Анна! Я не могу больше. Я не знаю, что делать уже!

— Все равно ты самый лучший! — отвечает Анна, продолжая мягкою рукою разглаживать упрямые морщины дорогого чела.— Ты самый лучший. Единственный. Для всей Русской земли. И для меня тоже. А Юрия не успокоить тебе одному! Пошли к Тохте!

— Анна! — слабо и тихо отвечает Михаил, забирая рукою ее ладонь и кладя себе на сердце.— Анна! Митя вот все спрашивал: «Батя, ты самый главный на Руси!» Что скажу я ему, ежели пошлю за помочью к хану?

— То и скажешь,— улыбаясь отвечает Анна,— что говорил всегда,— мол, самый главный — Тохта! Скажи, Тохта тебя любит?

— Не знаю. Не ведаю о том.

— Любит. Должен любить. Ты прямой и сильный.

Ты, наверно, как дедушка, Александр Невский. А его полюбил Батый.

— Я устал, Анна. Я не ведаю, как мне спасти Русь. Они все считают меня великим, пото и лукавят, и льстят, и лгут. Им я — словно стена из камени адаманта сложена. А я устал. И уже не знаю, как мне собрать землю свою воедино! Самому, без татар...

— Князь мой дорогой! Любимый, болезный! Не мучай себя! Напиши Тохте!

— Не знаю, Анна. Верю, что любишь меня. Верю, что солнце в небе, и что день сменяется ночью, и что пути господни неисповедимы и непостижны уму... И не ведаю, что мне делать теперь.

ГЛАВА 38

Баян так и не воротил отчины. Два тумена отборной конницы, данной ему Тохтою,— еще тогда, в самом начале,— ничего не смогли изменить. Куплюк оказался сильнее. Баян был бездарен и заносчив. Его не любили воины. Такому человеку всегда тяжело помогать.

Позапрошлой весной Тохта послал на Куплюка своего брата, Бурлюка, с войском. Тогда Баян, наконец, сел на своем столе. И тут же родной брат Баяна, Мангатай, без труда изгоняет его из удела, и Баян вновь молит о помощи, и снова отборная конница Тохты идет выручать Баяна. Что же делает Баян? Отбив улус под Улутау, оставляет лучшие кочевья в руках врага. И говорит теперь, что воины не хотели его власти!

Хайду из Монголии поддерживает врагов Золотой Орды. Слабые вновь подымают головы, а потомки великого Темучжина режут друг друга и не остановятся, пока не вырежут до конца. Люди длинной воли исчезают в степи. Города, что рушились под ударами моалов, теперь закрывают ворота перед степными батырами.

Генуэзцы в Крыму продавали татарских детей. Он хотел разрушить Кафу до основания — его упросили не делать этого... И кто? Свои же люди! У кого они будут покупать шелк и благовония, кому продавать рабов и коней,— и это говорят правнуки Темучжина! Знатные тонут в роскоши, принимают веру арабов, а

простые мрут от голода и продают детей иноземным купцам, и он, Тохта, не знает, как это изменить! Стоило племяннику Узбеку уверовать в Магомета, и к нему устремились все ордынские бесермены. Купцы дают ему серебро, и скоро Узбек станет самым сильным человеком в Сарае после хана. Он уже и теперь опасен. А ему ли, Тохте, не знать, что значит жаждущий власти! Такой легко перешагнет через кровь... Нет, не нравятся ему жадные и хитрые бесермены с их арабскою верой! Лучше последователи Будды, бахши, эти хоть не ищут золота и хранят там, у себя, в недоступных горах, высокую мудрость, записанную в древних книгах... Лучше волшебники — даосы, уверяющие, что знают тайны жизни и смерти; лучше даже русский Бог, запрещающий держать много жен...

Народу моалов нужна степь. Вот эта, что бежит сейчас под стальными ногами коня! В городах он изнежится и погибнет, позабудет заветы Темучжина и утеряет доблесть предков. Надо снова объединить всех моалов, как это сделал Чингиз! Объединить и вернуть в степь! К этому он, Тохта, и стремится уже давно. И вот такие, как Баян, губят великое дело! А торгаши-бесермены тем временем натравливают ханов друг на друга. Он, Тохта, построил свой новый Сарай на реке Яик. Но старый Сарай не пустеет, и купцы не спешат к нему в степь. Золотой Орде нужен союзник, который не станет хитрить! Мудрый Бату заключил союз с урусутским коназом Александром. Руссы — урусуты, как их обычно называют в Орде,— становятся грозной силой, когда ими правит один и достойный хан. И совсем ослабевают, когда начинают повиноваться ничтожным и злым правителям. Тогда они только режут и убивают друг друга, не находя сил против общего врага. Он дал им право самим собирать дань Орде и не вмешивается в споры Михаила с коназом Юрием. Но, ежели он хочет прогнать бесермен из Сарая, ему нужен сильный союзник на Севере. Не предаст ли его великий коназ Михаил, ежели он поможет ему смирить Юрия Московского? И все же теперь, когда надежды на Баяна совсем порушились, у него остается один путь: утвердить в русском улусе власть коназа Михаила с его богом Исой и тогда, подобно Менгу-Тимуру, уже с русскими полками брать города бесермен и утверждать на Востоке власть Золотой Орды. Лучше менять скот на русский хлеб, чем

продавать детей степных воинов за море, врагам Орды, в обмен на красивые ткани и украшения для иноземных наложниц! Коназ Михаил горд, но прям и, кажется, честен. Он, Тохта, явится к урусутам сам, увидит их город Владимир и будет говорить с коназом Михаилом в его волости, в вежах из дерева. Михаилу самому никогда не одолеть Юрия без воли Орды, без его, Токтогая, воли!

Мудрые говорят: не помогай слабому, он будет обузой для тебя, пока слаб, и предаст, когда ты сам ослабеешь. Помоги сильному, и в час беды он станет тебе опорой. Так говорят мудрые. И все же все боятся сильных, ибо сильный никогда не захочет быть рабом другого сильного, как не захотел он, Тохта, быть слугой Нохоя!

Но Михаилу нечего делать в степи, а ему, Тохте, как и всем моалам, не нужны пашни и города урусутов. Хану Золотой Орды нечего делить с русским коназом. И теперь, когда Михаил, кажется, понял, что без Орды не может собрать Русь (а ему, Тохте, без урусутов не одолеть бесермен), кто мешает им с Михаилом протянуть руки друг другу? А тогда, утвердясь на Западе и отбросив потомков Хулагу-хана с Кавказа, Тохта поведет своих всадников туда, за Алтай, и отвоюет далекую родину Темучжина. Увидит сам «голубой Керулен, золотой Онон», о которых поют песни у степных костров, почует запахи трав, что вдыхали прадеды и прадеды прадедов. И будет снова одна великая степь. И будет он там, в степи, принимать и чествовать послов из разных земель, и сами урусуты станут привозить ему туда, в Монголию, кольчатые брони и мед из своей земли, и престарелый коназ Михаил приедет к нему в гости, и они будут сидеть с ним в шатре и вспоминать то время, когда они, хан и урусутский коназ, заключили союз любви и обменялись оружием там, во Владимире или Твери, стольном городе Михаила. Будут пить мед и кумыс, слушать степные песни и беседовать о далеком, о прошлом, о том времени, которое еще не наступило и только мыслится ему под мерный и ровный бег степного коня.

Темнеет. Уже мгновенным пожаром вспыхнуло и погасло степное небо, и масть коня становится трудно различить на тусклом разливе гаснущей зари. Нукеры нетерпеливо посматривают на хана, но Тохта все так же легко и свободно, чуть ссутуля плечи, сидит в седле,

и длинный, неутомимый конь его все так же бежит и бежит крупной рысью туда, к закату, к уходящему окоему бескрайней великой степи.

По словам восточных хронистов, Тохта, незадолго до своей смерти, собирался посетить русский улус, и даже — согласно одному из сообщений — умер по дороге туда, когда плыл на корабле по Волге.

Тохта еще не был в ту пору ни стар, ни болен, и мы никогда не узнаем, отрава или случайная беда сломали эту жизнь, на которой, словно на едином волоске, висела судьба великой степи и с которой, по сути, окончилась история монгольской державы Бату.

ГЛАВА 39

Сарай в этот день просыпался как обычно, еще не чая нависшей над ним беды. Отпирались лавки бухарских и русских купцов, по широкой пыльной улице гнали скот, и тяжело ступающие быки, поматывая рогатыми головами, пятнали желтую пыль лепехами горячего навоза, стремительно подсыхающего на жаре. Лето начинало входить в силу, и уже плотные рои мух облепляли морды бредущей улицею скотины и сплошною черною кашей шевелились на ободранных и подвешенных за задние ноги тушах в лавках мясников. Покрытые зелено-голубой глазурью дворцы ордынских вельмож поседели от пыли, и белый цвет разведенных русскими полоняниками вишневых и яблоневых садов уже облетал, густо устилая землю.

Тверской гость Кузя Скворец, прозванный так за легкий норов, уже открыл лавку и теперь выглядывал — у кого бы прошать новостя? Давеча прошел слух о смерти Тохты, и любопытно было вызнать, кого ордынцы изберут новым ханом? Тут только он приметил, что кое-кто из бесерменских купцов так и не открыл лавок, и встревожился. Зайдя за прилавок, оглядел придирчиво свой шорный товар и, воровато озрясь, сунул подальше казовые обруди в серебре, что обычно вывешивал прямь лавки для заманки богатого покупателя, а, подумав, сволок подале с глаз и богатое седло, отделанное бирюзою, со связкою но-

вых крашеных русских кож, коими хотел было подразнить соседа Мустафу, тоже шорника, ордынского бесермена, с которым у Кузи Скворца шла ежедён «рать без перерыву», и каждый покупатель, отбитый у соседа в этой войне, прибавлял остервенения соседям-соперникам. Мустафа, однако, нынче вовсе не открыл лавки, и это больше всего насторожило Скворца. «Не иначе, чуют што псы-бесермена!» — решил Скворец и уже подумывал было сам закрыть лавку, но тут явился покупщик, да не простой, тороватый, за ним еще двое враз, и Кузя, хваля и показывая товар, почти было забыл о своих утренних страхах.

Жарынь меж тем усиливалась с каждым часом, и даже весеннее дыхание Волги, изредка долетавшее до торговых рядов, почти не приносило прохлады.

— Купляй, купляй, якши товар! — уже без интереса повторял Скворец и, отирая пот, начинал все беспокойнее поглядывать вдоль улицы. В рядах явно творилось неподобное. Татары собирались кучками, спорили, порою оттуда доносило злые выкрики, и Скворец уже только и ждал, когда наконец медлительный ордынец, все не выпускавший из рук нарядное оголовье, расплатится или отойдет. Покупщик вдруг резко крикнул что-то и прянул в сторону, и тотчас в пыльную деловитую суету торговых рядов ворвался неистовый бег коня. Всадник в богатом уборе мчался, петляя и пригибаясь к луке седла, а за ним гнались с арканами, и из-за ближних анбаров тоже кинулись впереймы какие-то с саблями наголо.

И в тот миг, когда Скворец, с округлившимися от ужаса глазами, признал во всаднике знакомого ордынского вельможу, Володю Семеновича — сына русского боярина Семена Тонильича и монголки, — на плечи Володи пал аркан, и боярин, на миг как бы застыв в воздухе на вздыбленном коне, весь вытянулся и начал упруго изгибаться, цепляя соскальзывающими пальцами ременную петлю на шее, меж тем как лицо его заливало темной кровью и глаза страшно выкатывали из орбит. Все это продолжалось не более мига, но для Скворца в этот миг уложилось столь многое, что потом, припоминая, ему мнилось, что боярин, выгнутый на натянутом аркане, невестимо долго висел перед ним, поворачиваясь в седле. Кузя успел припомнить, как Володя (он был христианин и привечал русских купцов) заглядывал к нему в лавку, как прошал, ка-

кие вести с Руси? Как был важен и ласков... Отца его, Семена, слышно, убил на Руси прежний великий князь, Митрий Саныч, и Володя, уже тогда служивший хану, не похотел ворочаться на Русь... И то, что столь важный вельможа Тохты теперь бежит, яко тать, было невыразимо страшно. В голове у Кузи промелькнуло: схватить нож и кинуться вперейми, отхватить аркан (он еще не подумал даже, что его тотчас убьют), но едва он успел потянуться рукой к ножу, что лежал под прилавком, как уже боярин, изверженный из седла, грянул в пыль, и к нему кинулись, слепя лезвиями сабель, и облепили бестолковой, орущей и машущей толпой. Кто-то имал коня, отпихивая руки соперников, кто-то рвал платье, а кто-то носком сапога катанул по пыли круглое, с разметанными волосами, в липкой крови и ошметьях сухого навоза, что было за миг до того головою большого боярина, и слепые, отверстые мухам глаза немо обернулись ввысь, в жарко струящееся марево, уже не выражая той мучительной и кричащей мольбы, с которою, как показалось Кузе, глянул на него Володя Семеныч в свой последний погляд.

Истошный вопль «Урус яман!» заставил Кузю прийти в себя. «Сейчас наших будут громить!» — понял он и, отступя в темноту лавки, лихорадочно схватил калиту с серебром и медью, мгновенно обмотал себя дорогою обрудью, изузоренной серебряными бляхами, потужась, взвалил на плечо седло с бирюзою и стремглав выскочил в межулок по-за лавкой. За ним кричали, бежали; кто-то, вынырнув сбоку, вцепился в седло, и Кузя, шатнувшись, оглянулся дико, увидел нагоняющих сзади татар и с закипевшими слезами шваркнул седло под ноги бегущих, прянул заячьим скоком через чью-то невысокую глиняную огорожу, пробежал, петляя, по грядам, чудом увернувшись от лохматого, с теленка величиною, пса, обрывая ногти, вскарабкался на другую ограду, спрыгнул в межулок и побежал, задыхаясь,— благо был поджар и легок на ногу,— уходя от погони, туда, туда, ниже, дальше, ладя попасть как ни то на русские пристаня. Но там уже шумела толпа, и Кузя залез куда-то за анбары, заполз под пол одного из них, поднятого на столбики, и притаился, стиснув зубы, страшась пошевелить рукой или ногой, и даже не сразу решился глянуть, кто же еще тут, в рваном полосатом тряпье, так же, как

и он, испуганно сжавшийся и замерший при виде Кузи? Скворец оправился первый и, протянув руку, ощупал лохмотья. Из-под них выглянуло морщинистое, в седых космах, безбородое коричневое лицо. Сразу было не понять: старик монгол или баба? Но черты лица показались русские, и по мелкой дрожи Скворец скорее догадал, чем понял, что то — женка, и, верно, беглая, из русских рабынь. Он шепотом спросил, старуха закивала, осветясь улыбкой. Скворец погладил ее по плечу, у самого спала тяжесть с сердца — хоть тут-то не схватят! Анбар полузанесло песком, и от воды их не должны были увидеть. Но приходилось беречься. До вечера оба лежали не шевелясь и почти не разговаривая. Скворец порою ощупывал калиту за пазухой и трогал обруди: сохранить хоть то, а там и новое дело зачинать мочно! Перед взором у него все стояли выпученные безумные глаза убиваемого боярина, и он все более утверждался в мысли, что это к нему, в поисках спасенья, скакал великий боярин, на него смотрел с мольбою, уже схваченный арканом, и он, Скворец, не успел, не сумел, струсил... и оттого вновь и вновь закипало в глазах. Скворец вздрагивал, стонал, скрипел зубами. Казалось, спаси он Володю, и все бы повернуло иначе. А теперь, казалось ему, уже русских всех вырежут в Орде бесермены, и даже лодьи, на которой можно бы было бежать, ему уже не найти.

В немногих словах, спрошенных Кузей и сказанных старухою, выяснилось, что и она тоже бежала от резни. Ее господина, монгольского нойона, несторианина по вере, убили утром, и она сбежала в поднявшейся кутерьме, чая, как и Кузя, пробиться домой, в Русь.

— Давно ли оттоле-то? — спросил Кузя. Старуха сказала, и Скворец аж присвистнул:

— С Дюденевой рати, мать, почитай, никак двадцеть летов минуло! У тебя хоть осталсе ли кто?

— А кто ни есть, хоша на могилку гляну...— отозвалась старуха с придыхом, и Скворец скорее отворотил лицо, боясь узреть, как заплачет старая. Но та справилась с собой, отдышалась и, повозясь, прибавила просительно: — Ты уж, батюшко, меня не бросай!

Скворец вновь вспомнил круглые глаза задыхавшегося Володи и молча покивал головой. Ему самому нежданная нужда заботиться о ком-то еще более сиром и убогом как-то прибавляла сил. Не так уже

думалось о том, что его самого вот-вот прирежут злодеи-бесермены.

Ночью они выбрались к вымолам, где был наведен кое-какой порядок. Стояла сторожа, невестимо чья, на отмелях догорала лодья, а у причалов мурашами суетились люди, собирая разгромленный и растасканный по песку товар. Хоронясь, они обошли сторожу и, по окрикам догадав, что на крайнем паузке русичи, посунулись к вымолу. От Скворца отмахнулись было — паузок и без того был перегружен,— но на его счастье хозяин-тверич признал Скворца и махнул рукой:

— С одной души авось не утонем! А ета што тута за старуха?

— Матки моей сеструха! — соврал Скворец и добавил для жалостности (уж врать дак врать!): — Мужика убили у ей, задавили, вишь, дак она в татарском платье убегла...

— Ну, вали! — разрешил, подумав, хозяин.— Народ тощой, двои за единого сойдете!

Только когда уж паузок отплыл и стало ясно, что их не схватят и не уведут, Скворец, малость придя в себя, начал припоминать, сколь товару пропало у него в брошенной лавке, и затосковал даже, вспомнив бирюзовое седло и красные кожи, коими, ежели их не сперли татары, воспользуется, конечно, пакостный сосед Мустафа. Впрочем, мысленно пересчитав серебро, что было за пазухою, Скворец малость повеселел и уже в голос окликнул спасенную им старуху:

— Слышь, мать, недосуг прошать было тебя, как зовут-то именем? Не ровен час спросят, а я свою родню-природу и назвать не умею!

Старуха пошевелилась, до того она молча сидела, вжавши сухое тело меж кулей, и недвижно глядела в воду, которую гребцы уже кончали разбивать широкими долгими веслами. Смоленый парус был поднят, и горячий ветер пустыни, надувая толстину, начинал кренить и колыхать бокастый паузок. «Суши весла!» — донесся голос старшого. Два-три запоздалых гребца еще ударили вразброд по воде, прочие уже вынимали весла из уключин и укладывали вдоль набоев. Старуха, вздрогнув, плотнее закуталась в засаленный и рваный ордынский халат. Глухо звякнули медные кольца в головном уборе.

— Из Углича я. Мужик тамо остался. Поди, уж и оженилси вновь! Попрошусь, на двор бы хошь пу-

стили... А сама-то переславська, из Княжева-села, Михалкиных... поди-ка, и не знашь, тамотка не бывал... Проськой зовут, Опросиньей. Мать тамо у меня... Тоже, поди-ка, померла! И братовья. Двои. Може, и они невестимо где! Двадцать летов прошло...

— Да,— помолчав, отозвался Скворец, невольно подивясь и пожаливши, даже с некоторым страхом, этой чужой судьбе,— двадцать летов!

Хозяин на корме сказывал меж тем:

— Сперва-то грабить почали, кого и порезали той поры. Ну, а тут новы татары подбежали, от князя Айдара, бают. Ну, не трожь, мол, не замай товар! Ругань у их пошла, сторожу наставили. А только я-то мыслю, ето не последня замятня! Пущай осильнеет, кто у их тута — Узбек ли, Ильбасмыш,— там и воротить мочно. Товар — дело наживное, а шкуру потеряшь — новой не наростишь ужо!

Уже в Нижнем нагнала их корабль весть, что ханом в Сарае стал мусульманин Узбек и что всех мунгалов, не принявших бесерменской веры, режут. Так, по крайности, уверяли слухачи.

Вестники преувеличивали, конечно, но были недалеки от истины. Накануне того дня, когда Кузя Скворец чудом ушел от резни на торгу, в Сарае едва не погиб стройный юноша с замечательно красивым лицом, пламенный поклонник пророка Мухаммеда, убежденный последователь «бесерменской веры», монгольский царевич, сын Тагрула, племянник Токтая (или Тохты), внук Менгу-Тимура, праправнук Бату, потомок, в шестом колене, великого Темучжина — Узбек.

Весть о смерти Тохты застала монгольских нойонов врасплох. Узбек, имевший все права на ханский престол, как старший племянник Тохты, раздражал многих, и, прежде всего, старую монгольскую знать. Настойчивое желание Узбека утвердить в Орде мусульманство как обязательную государственную религию делало его ненавистным для тех, кто помнил заветы Темучжина и с презрением победителей относился к верованиям покоренных ими племен. «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания, и каким образом мы покинем закон (тура) и устав (ясак) Чингизхана и перейдем в веру арабов?» — эти слова не измышлены писателем, а сохранены нам историком, современником событий, рассказывающим далее, что

«Узбек настаивал на своем» и что монгольские эмиры, «вследствие этого чувствуя к нему вражду и отвращение», устроили пирушку, «чтобы во время попойки покончить с ним». И как Култук-Тимур сообщил по секрету Узбеку о замысле эмиров и «сделал ему знак глазом», после чего Узбек «немедленно сел на коня, ускакал и, собрав войско, одержал верх». Сына Токтая, Ильбасмыша, со ста двадцатью царевичами из рода Чингизхана он убил, а тому эмиру, который предупредил его, «оказал полное внимание и заботливость». Это, кстати, было, кажется, первое открытое поощрение доносительства у монголов. Называют, впрочем, и более скромную цифру убитых потомков Чингиз-хана, в семьдесят человек, не указывая, разумеется, какое погибло при этом количество тысячников, сотников и рядовых монголов, не захотевших изменить древнему девятибунчужному знамени и своим вождям — чингизидам.

Гражданская война в Орде продолжалась три года и закончилась лишь в 1315 году, с полным истреблением всех тех, кто не сбежал на Русь или не переметнулся к победителю, отринув веру прадедов и отказавшись от древнего достоинства степных батыров. В междоусобных бранях народов часто гибнут лучшие, самые убежденные, те, для кого честь и заветы старины отнюдь не «звук пустой», а значат больше собственной жизни, и выживают предатели, перебежчики, ренегаты, способные стать под любое знамя, лишь бы сохранить себя да еще и нажиться на чужой беде. Не бросим же камня ни в кого из тех, кто погиб, даже став противу неодолимого хода времени, ради чести своей и высоких, пусть даже и устарелых, заветов прошлого, кто «прадедней славы не развеял».

Русская летопись сохранила нам об этом смутном и страшном перевороте в Сарае лишь одну фразу: «В Орде сел Озбяк на царство и обесерменился». На самом деле эта была подлинная гражданская война, переворот, унесший в небытие монгольскую державу на Волге и, вместе с нею, окончательно похоронивший идею союза Руси с Ордой. С тех пор слово «татарин», оттеснив забытое «моал» (монгол), стало обозначать на Руси смертельного врага-насильника, и, прежде всего, врага веры христианской — бесерменина, врага, спор с которым мог быть разрешен уже только силой оружия.

Скупые сообщения восточных хронистов рождают

десятки вопросов, на которые трудно ответить писателю наших дней. Неясно, сразу ли или спустя какое-то время возникла у монгольских эмиров эта мысль: заманить на пир и убить Узбека. Скорее всего, однако, сразу. Узбеку именно не должны были дать сесть на ханское место, ибо после того все становилось сложнее. Нелегко представить сейчас и эту степную пирушку: чаши с вином и кумысом, огненный плов, обугленную конину и куски горячей баранины, жирные пальцы и нехорошо светящиеся, готовые жестоко сузиться глаза, тяжелое дыхание сильных и уже полупьяных людей... Где и как шепнул Узбеку предатель, Култук-Тимур, злую весть? Тогда ли, когда Узбек спешивался, или, улучив минуту, уже в самом шатре, во время рокового пира? И почему Узбек приехал, хотя и званый? Мог он догадаться (а не он, так его друзья, бесермены, конечно, могли!) о готовящемся на него покушении? Или еще так прочны были навычаи степного братства, что изменить им, не приехать на пир к «своим» не мог даже и Узбек, даже и подозревающий о покушении? Как они сидели? Верно — развалясь на кошмах. Кто охранял шатер? Ведь была же охрана! И она, эта охрана, знала или не знала о том, что должно произойти? И как прибыл Узбек, один или со своими нукерами? И где были они во время пира? Почему не сразу ускакал предупрежденный Узбек, а ожидал условленного знака? И что он чувствовал, когда ел и пил, ожидая, что вот-вот холодное острое железо вонзится в его горло? А когда Узбек вышел и, вскочив на коня, ускакал, пытались ли его ловить, догнать, рубились ли насмерть его нукеры, спасая господина, или никто не гнался за ним, и пирующие эмиры надеялись, что Узбек уехал, не догадав об их намерениях?

Но он ускакал, и сразу собрал войско, и «одержал верх», то есть и эмиры, пытавшиеся его убить, были уже не одни, а с войсками, видимо, с ближними и телохранителями, с отборною монгольскою конницей, с батырами, привыкшими к победам... И почему они были разбиты? Их оказалось мало, конечно, мало! Ордынские мусульмане подготовились лучше! Не зря купцы давали серебро Узбеку. И узнали о смерти Тохты они как-то все враз. (Быть может, все-таки Тохта был отравлен?) И спор был именно о вере. Недаром Узбек, одолев врагов, тотчас истребил в Орде бохшей (лам)

и волшебников — всех врагов мусульманства, не посмев уничтожить только русскую церковь в Сарае...

Можно представить себе и это сражение: наспех собранной, немногочисленной, но бесстрашной и гордой монгольской конницы с мусульманской,— собранной из бывших булгар, нынешних татар ордынских, буртасов и половцев,— конницею Узбека. На что надеялись степные батыры, когда схватились с ними, один с десятью? На древнюю доблесть? Но уже не первое поколение иноземных жен рожало носатых мальчиков с раскосыми глазами, узколицых и высоких, белых и смуглых, уже не первое поколение детей забывало веру и заветы отцов, уже давно вчерашние рабы мунгальской орды сами обучились воинской науке Темучжина, так же стреляли из луков, на скаку попадая в летящую птицу, так же кидали аркан и владели саблей. Сила степей перешла к ним, к детям захваченных батырами рабынь, а чуждая арабская вера, просочившись снизу, в сутолоке завоеванных городов, овладела умами и сердцами их потомков, восставших в конце концов против своего великого прошлого. Батыры, бесстрашно ринувшие в сечу, встретили других таких же батыров, вставших под зеленое знамя ислама, и были разбиты. Так в Орде утвердился Узбек, и вести о том тревожными ручейками потекли по Руси.

ГЛАВА 40

Посередь было летика красного,
Во канун Вознесенья Христового,
Как вознесся Господь на небеси,
Тут расплачет нищая братья,
Растужит по Господе сиротина:
— Господи, Господи, царь наш небесный!
На кого ты нас покидаешь,
На кого ты нас оставляешь?
Отвечает Господь Вседержитель:
— Вы не плачьте, нищая братья!
Я даю вам гору золотую,
Я даю вам реку медовую,
Я даю вам сады-виноградья.
Уж вы будете сыты и одеты
И от темной ночи обогреты.
Как возговорит Иван-от Предтеча:
— Господи, Господи, царь наш небесный!
Не давай ты им горы золотыя,
Не давай ты им реки медовыя,

Не давай ты им садов-виноградий!
Как над тою горой будет убийство,
Как над тою рекой кроволитье,
Как наедут князи да бояра,
Как наедут купцы, гости торговы,
Отберут у них гору золотую,
Отберут у них реку медовую,
Отберут у них сады-виноградья.
Они будут голóдны и холóдны,
Не обуты будут, не одеты
И от темной ночи не обогреты.
Ты оставь им свое имя, Христово,
Чтоб ходили по градам и весям
И просили в твое имя, Христово.
Они будут сыты и одеты
И от темной ночи обогреты!

Стук, стук, стук — мерно ударяет в землю дорожный батожок. Стук, стук, стук! — в калитку.

— Подайте ради Христа!

Хозяйка выносит кусок вчерашнего пирога, ломоть хлеба, кринку молока, а то и за стол пригласят в челядню, в людскую избу — в богатом дворе. А богомольные хозяева и с собой за стол посадят странника, не гнушая дорожной нечистотой божьего человека. Ибо странник на Руси — человек божий. Почему и роптали по городам, когда татарские откупщики — еще тогда, при Батые и хане Беркае,— начали было хватать нищих и, яко рабов, отсылать в далекую степь. До нищих ли было тут, когда и самих-то домовитых русичей хватали почем попадя?! (Это потом уж, как не стало ясащиков, полегчало на Руси!) А в те поры — до нищих ли, до странников ли было? А было и до них. И едва ли не прежде всего до них. Ибо странник на Руси — человек божий. Пьяница, вор или нерадивый какой — странничать не пойдет. Тому одна дорога — в разбойники, на татьбу да ночное душегубство. Даже и не ведали на Руси в четырнадцатом веке от Рождества Христова, что можно, потеряв совесть и стыд, просить на водку или, обленясь, жить, кормиться подаянием здоровому человеку. Такого не знали и не догадывали, что оно может быть. Странничал, просил под окнами иной народ. Это были убогие, потерявшие кров и семью, увечные, на ратях или по старости, слабосильные, опять же по старости ли малолетству. Иной князь для таких строил, подобно тому, как было заведено в Византии, странноприимные избы, кормили тако-

вых и при монастырях. Но больше всего увечного народу все-таки ходило по дорогам. С иным странником, бывалым, поседелым на ратях воином без руки или ноги,— женки, детей не сподобил Господь, вот и ходит из веси в весь,— с иным и перемолвить любопытно хозяевам, порасспросить о днях былых, о ратях и городах, о татарах, как тамо живут, в Орде, ежели бывал! Такого и проводят в одночасье с поклоном, набив снедью странничью суму. Ну а бездомную убогую старуху пустят и на печь погреть старые кости и уж не зазрят, что вся в коросте да во вшах, выжарят посконное рухлядишко, выпарят в бане, и всё — ради Христа. Есть среди странных людей и здоровый народ. Те бредут целыми семьями,— это погорельцы, или от ратного разоренья, или от божьего огня, молоньи, лишившиеся крова над головой. И тем подают нескудно. Лихая година может постичь всякого, и не зарекайся, что днесь славен и богат, завтра и тебе придет идти с протянутой дланью, просить хлеба ради Христа! И есть еще божьи странники, монахи, а то и миряне, бредущие ко святым местам. И того напои, накорми, обогрей и упокой. И тебе зачтет Господь странничью милостыню: легка молитва странника пред престолом Всевышнего, и сторицею воздастся тебе тот хлеб и то даянье доброхотное на небеси!

И по всему по тому, потому что не было среди странных людей той поры ленивого нищеброда, пьяницы или злодея, любили и чтили на Руси божьего человека — странника. Неукоснительно подавали, никому не отказывая, мол — «Бог подаст!». Привечали, провожали с поклоном, прося помолить Господа о хозяевах, а для иных, гордых или, напротив, робких, делали в задней стене избы крохотное оконце и там ставили кринку молока и клали ломоть ржаного хлеба. И ежели утром хлеб исчезал и молоко было выпито, наливали снова и отрезали другой ломоть. Значит, был странный человек, да не похотел, постеснялся ли взойти в дом, но взял хлеб, и пусть же будет он благополучен в путях своих, и молитва его о хозяевах дома да будет легка пред Господом!

От села к селу, кормясь подаянием, шла по летней цветущей земле сухая коричневолицая старуха в рваном татарском халате. Шла лесными, духовитыми, прогретыми солнцем борами, звенящими на откры-

тых полянах изумрудными мухами, а в низинах, в частолесье, тонким пением комарья, шла полями густых, уже начинающих отливать золотом хлебов, слушая жаворонков в высоком, по-летнему струящемся горячим маревом небе, шла и оттаивала душой, рассказывая доброхотным хозяевам о своей судьбе, и тихо плакала порою, все еще не в силах понять, поверить, что воротилась на Русь.

В Угличе старуха разыскала терем, перед воротами которого долго стояла на улице, все не решаясь вступить во двор. И вошла наконец, как-то робко, сиротливо, с трепетом всего своего худого старого тела. Вышла встречу дородная, крепкая еще на вид баба, на неуверенный вопрос нищенки отмолвила строго:

— Хозеин мой третий год как померши! А ты,— помолчав и оглядев подозрительно странницу,— почто его прошаешь? — прибавила она уже совсем сурово.— Хто ты есь?!

Старуха понурилась и вздохнула:

— Помер. Ну, царство небесное! А я-то хто? А свойка ему буду, дак тово... извиняй, значит...

— Постой! — смягчась, сказала хозяйка, ушла в дом и тотчас появилась с большим пирогом: — Прими вот!

— Благодарствую,— тихонько ответила старуха и, приняв пирог, не глядя более в глаза хозяйке, выпятилась вон из двора...

Уж выйдя за город, она присела на обочину дороги, в тень под ракитовым кустом, у ключа холодной родниковой воды, вправленной в липовую колоду, напилась из берестяного, нарочито положенного рядом с родником ковшика, поела пирога и тихо поплакала, роняя в пыль скупые мелкие слезки. Потом поднялась, увязала торбу, перекрестилась и пошла далее, теперь — в Переяславль, где не чаяла уже застать кого-либо в живых, да и как еще встретят на родине? Не так же ли, как там, в Угличе? Но должен быть у человека на этой земле свой дом, свой угол, где и родня-природа рядом, и крыша над головой от дождей и зимних стуж, и свой, пусть скудный, ломоть хлеба, и родные могилы усопших близких, когда-то молодых и счастливых людей. Должен быть у человека свой дом, свое место среди обширной земли народа своего, свой корень и исток, ибо без этого и на своей земле — нет у человека родины. В чужом

доме и мир чужой. И человек на земле без дома предков лишь вечный отверженный небом странник, обреченный только смотреть, проходя мимо, на чуждую ему жизнь. И потому, из веси в весь, от села к селу, кормясь подаянием, шла теперь старуха туда, где был дом ее предков, дом ее детства, материна изба, оставленные родные — родина.

До Кухмеря старуха добралась к вечеру, и тут, на ночь глядя, выпросилась ночевать. Все было знакомо уже и все словно уже родное. Хозяева-меряне пустили ее не чинясь и не расспрашивая много и въедливо, как иные (Только и было спросу: «Куда бредешь-то?» «В Княжево!» — отмолвила она.), поставили латку с кашей, налили квасу и заговорили вновь о своем, что было у всех на устах, о том, что позавчера умер в Княжеве княжеский данщик и прежний градской воевода, бывший в большой чести при покойном князе Иване Митриче, знакомец старого московского князя Данилы, любимый и уважаемый всеми в округе человек — Федор Михалкич, и как жаль, что его сынок, сущий в Москве, не прискакал на последний погляд...

— Бают, и не звали! Не чаял смерти Федор-от!

— А плох-то уж был давно! Даве Тумка Глуздырь ехал, бает, Княжевым, а Федор-от сидит, сухой стал совсем,— все-то посиживал на бревнах, грелси! Тумка поздоровалси с им, а Федор покивал так-то головой, да уж, грит, здравствуй не здравствуй, а здоровья мне боле на сем свети не видать! Тумка тово в те поры в слух не взял, посмеялси — ты, мол, еще меня переживешь, а ин и недели не прошло...

— Дак ить плох не плох, а дней своих все одно не сочтешь! Иной плох, а которой год скрипит, как сухое древо, а другой силен-здоров, да придет косая — в одночасье свалит!

— Сынка-то не дождать!

— Зимнею-то порой и пождали бы, а тут, на жаре, нать хоронить! Дух ить пойдет нехороший!

— И братец у ево тамо, на Москве. Слышно, в ченцы пошел, во мнихи.

— Вот ведь, каково дело-то! Один и помер! При живой-то родне!

Старуха странница отставила латку с кашей и сидела не шевелясь. Звуки речи доходили до нее как сквозь воду. Надо же было столько долгих годов про-

вести в Орде и которую уже неделю брести к дому, чтобы тут, у самого отчего порога, услышать, что единственный в родимом Княжеве близкий человек — родной брат, Федор,— скончался, двух дней не дождав до встречи с сестрой!

Старуха клонилась все ниже и ниже, и была она сейчас не старухою в ордынском халате, а девочкой Проськой, которую брат Федя обидно тянул за нос и дергал когда-то за косы, и о чем сейчас вспоминалось, как о самом дорогом, самом счастливом в далекой детской поре, где были посидки и подруги, и «царская кукла», и долгие зимние вечера, когда братья, склоняясь к огарку свечи, зубрили мудрую грамоту, а она училась прясть, привязав кудель к ножке стола, и матка говорила добродушно-ворчливо: «Пряди, пряди, родимая, волку шелку на штаны!»

— Гостья-то сомлела у нас! — участливо произносит кто-то у нее над ухом.

— С дороги, вестимо! Жарынь! Уложить нать!

Просинья немо дала себя отвести в клеть и уложить на солому, прикрытую рядном, и когда хозяйка ушла, замерла, вздрагивая в беззвучных рыданиях. Ничего и никого не осталось у нее на земле! Завтра она придет в Княжево и тихо постоит у гроба, и отойдет, безвестная; на погосте поклонится материной могиле, и — что еще? Побредет в Москву, глянет на Грикшу в его монастыре, сходит в тот дом, где живет сейчас Федин сынок, и там постоит, посмотрит на молодого хозяина, быть может, попросит воды и пойдет странничать по широкой Руси, уже ничего не желая и никуда не стремясь. С этим она и уснула, и видела всё молодые, старопрежние и тревожные сны, а вставши еще до зари, прибрала постель, тихонько притворила клеть — лишь собака лениво брехнула раза два спросонья — и, перекрестив приютивший ее и еще спящий дом, пошла по прохладной, увлажненной росою дороге, по дороге, где каждый пригорок, каждая западинка уже были знакомы до слез и помнились с детских лет, прямо на восход солнца, на разгорающийся за лесом нежным золотым столбом утренний свет.

ГЛАВА 41

Человек создан для того, чтобы всю жизнь трудиться, преодолевать мертвую косноту неодушевленной персти, «в поте лица своего добывая хлеб свой». И не сожидай, смертный, ни воздаяния за труды свои, ни славы, ни даже справедливости (все это может и быть и не быть, и все это равно ничтожно), ибо и воздаяние и справедливость — в тебе самом. Они уже даны тебе свыше, но не к смертному телу твоему и не к бренным делам быстротечной жизни должно их прилагать. Воздаяние твое — в душе твоей, а не вне ее, в духовном и незримом, а не в зримом и вещественном. В том, что называют красотою души. Она же, красота эта, в рубище и в безвестии даже и паче сияет, нежели в драгих портах, середи расписных хором. Ибо гроб повапленный — все гроб, и смерть духа — все смерть, и во сто крат горше, ежели она застает середи роскошей и нег телесных.

Да, трудись всю жизнь, требовательно любя своего ближнего и «паче себя возлюбив Бога своего»,— то есть, как скажут потом, паче себя, паче своей жизни уважая те идеалы, коим служит человек (конечно — добра, конечно — «за други своя!»),— так свершив путь жизни своей, получишь ты высокое благо умереть, будучи нужным людям, умереть так, чтобы знающие тебя ощутили утрату невосполнимую, почуяли, что с тобою уходит из жизни что-то такое дорогое и нужное, чего нельзя уже ни повторить, ни заменить чем-то иным, и чтобы пожалились о тебе и был бы ты похоронен с честью или с честью помянут, ежели смерть твоя — вдали от дома и родины, в дикой степи, в земле чуждой или в пучине морской.

И то, что скажут потом о тебе — даже и не скажут, а подумают, когда тебя уже не будет на земле,— то и есть последняя и единая награда за весь труд земной жизни. И еще другая награда — это то, что оставлено тобою в мире. Не дела! Они тленны, как и люди, да и какое содеянное дело оставит после себя, к примеру, оратай, пахарь, самый важный и самый корневой человек на земле? Хлеб, выращенный им, съедят много через год, и не останет зримых следов его труда в жизни, кроме ее самой, кроме жизни народа, которая,— ежели он свершил труд свой хорошо,— будет идти так же, тем же побытом, что и

при нем. И в новых, не ведающих о нем поколениях, он будет незримо воскресать раз от разу, и так живет, так вечен пребывает народ, пока и весь народ не исполнит срока своего и не сойдет в небытие, не рассыплется по лицу земли, что произойдет, однако, не раньше той поры, когда люди народа перестанут совершать труд жизни и понимать жизнь как непрестанный труд, непрестанное усилие, а станут жить без труда, для удовольствия, для утехи, и изживут себя в жизни своей, ничего не оставя потомкам, ничего не передав вечности. И вот тогда наступит конец. Даже ежели они, эти последние, будут талантливы, даже ежели оставят зримые следы свои на земле: книги и картины, храмы и статуи. Все равно все пойдет прахом и рассыплет в прах, ежели люди престанут свершать в поте лица своего труд свой, не ревнуя о воздаянии и славе, но токмо о том, чтобы взростить и воспитать подобных себе.

Федор лежал на одре принаряженный и строгий, с уже неживым, восковым ликом и круто запавшим подбородком, ибо исчезла уже для него необходимость дышать. Лежал, окруженный гостями многими. Даже старый боярин Терентий, что и сам был уже ветх здоровьем, приехал, велел привести себя ко гробу подручника своего, дабы облобызать холодное, глинисто-податливое чело в серой мертвой бороде и серых, померкших волосах. Облобызать и, пожалившись, уронить слезу, помысля, что и самому недалеко уже, в свой черед, собираться в ту же дорогу. Отступя от гроба, он кивнул, на немые вопросы предстоящих о Мишуке, сыне покойного, и отмолвил негромко:

— С князевым гонцом наказал, сам и посылывал. Уж как на Москвы, должон прискакать вот-вот!

Федор (и об этом говорили в толпе вполголоса и в голос, прощаясь и скорбя) прошел путь жизни своей достойно и заслужил последнюю отраду достойной жизни — умереть, имея друзей и родню-природу при гробе своем.

— Уж плачеи, вестимо, так-то и не оплачут, как свои,— наемны, дак! И уж самому-то, поди, горестно оттоль зрети: женка преже ево померла, да; вишь, и

братца нету, старшого-то, Грикши, он, слыхать, в затвор затворился, нонечи в монастыри во своем, дак уж никак-никак не приехать ему!

— И сынок-то у ево на Москве!

— Дак один и сынок-то?

— Один.

— Хоша посылывали-то?

— Боярин грит, посылывали, дак не ближен свет!

— Поди, и не найдут его тамо...

Так шептали и переговаривали в толпе, покачивая головами, бабы, сожалительно глядючи на Федора, и так бы, глядишь, и лег он в землю, не оплакан никем из своих, ежели бы Господь, в великой милости сердца, не узрел сего и не сказал ангелу своему:

— Зри мужа достойна и честна, и нелепо умереть ему так, вдали от своих. Приведи же ему душу родную, дабы села, яко птичка на ветвях древа, при гробе сем, и оросила слезами прах, и согрела дух его, отходящий временного света земной жизни!

И тогда странница в засаленном и потемневшем от пота и пыли дорог татарском халате вошла, робко и слепо, в полный народу дом, и, пробравшись сквозь гостей, подступила ко гробу, и долго глядела, безотрывно, так что в толпе начали уже и роптать и судачить, спрашивая: что то за странница, и даже — кто и зачем ее пустил? Хоть к мертвому может подойти всякий, и всякому не возбраняется проститься с отходящим в жизнь вечную. И вдруг странница, отчаянно выкрикнув: «Федюша! Соколик ты мой светлый, жалимая кровиночка!» — пала на грудь мертвого и начала целовать, хватая за щеки и тормоша, точно надеялась разбудить на миг это холодное, мертвое, с уже нежилым сладковато-тошнотным духом тления тело.

Она рыдала и причитала в голос, прощаясь с братом, укоряя, что не дожил, не дождал ее на последний погляд, и всего-то двух дней! И тут же винилась, браня и себя саму, что задержалась в пути, не поспешила прямо сюда, не поспела, глупая, зараньше! И гости перешептывались, не понимая еще ничего толком, и первый, кто понял и ахнул, был старый как лунь раб Федоров — Яшка-Ойнас (теперь уже не холоп, ибо по душевной грамоте Федор давал Ойнасу волю и наделял добром). И Ойнас понял, и поняла, вслед за ним, почти столетняя слепая старуха — Олена, по-

друга еще покойной матери Федора. И Олена, по голосу признав, произнесла громко:

— Да, Господи, что ж ето?! Никак Проська? Просинья! — И двинулась старая неверными шагами, протянув руки вперед, и требовательно позвала:

— Опросинья!

— Теинка Олена! — ахнулá та в ответ, и две старые женки пали в объятия друг другу.

— Федя, Федюша, Федор-то...— бормотала, всхлипывая, Олена,— Федя-то где?

Ее подвели, и она, ощупав и поцеловав покойника, строго, в голос, вычитала ему:

— Вот, Федор! Не верил, а у матки-то твоей сердце — вещун! Вот она, гляди, воротилась домовы! Гляди уж! И не поглядишь-то, Федюша, как и я, старая, не погляжу на тебя...

Она стояла с поднятым горé слепым ликом и увлажненными щеками. Рядом плакала, трясясь, Просинья, безотрывно глядя на Федора, которого сейчас бабы бережно поправляли, складывая ему руки на груди, приглаживая волосы и полагая ровно молитву на лбу покойника. И в толпе гостей, своих, княжевецких, и криушкинских, и с Клещина, и с самого Переяславля, в густо набившейся в горницу многолюдной и разноликой толпе, где были и нарочитые и простые, ибо смерть съединяет людей паче жизни, в толпе этой настало смятение и молвь, поднялись голоса восторга и горького плача, ибо, узнав, поняв, представив, ужаснулась, пожалилась и изумилась вся толпа гостей и ближников, и уже не старуха нищенка в татарском нелепом халате, а почти святая, просветленная горем и участием многим, предстояла у гроба обретенная из небытия, из далекого и долгого ордынского плена младшая сестра покойного хозяина. И теснились взглянуть, рассмотреть получше, и прозревали в коричневом старом лице женки те же, что у Федора, родовые черты. И уже корили себя вполголоса: «Да как не поняли-то враз, как не признали-то!.. Да видать, видать, што сеструха егова!.. Да у ей и знатье есь, да и помнят которы-то древни старухи, по-о-мнят!»

А Олена, переждав и вздохнув, высоким, хоть и дрожащим от старости и слабого дыхания голосом завела плач, и Просинья подхватила, неуверенно сперва — отвыкла на чужбине-то,— но потом, вспоминая, все уверенней повела, повела рассказом-плачем и

о себе, и о Федоре, и о далекой Орде, и уже Олена, передыхая, начала подголашивать ей, пристраиваясь к голосу Просиньи. И так оплакан был Федор, что лежал сейчас с примиренным, смягченным ликом и словно бы даже немного улыбался, слушая голос давным-давно потерянной им и сейчас, при гробе, вновь обретенной сестры.

И Господь, поглядев с выси горней, тоже улыбнулся в свою облачную бороду и сказал ангелу своему:

— Не все еще свершил ты для мужа сего! Не должно и сыну быти вдали от отца в этот час!

И потому княжой гонец, передав на Москве кому надо переславские грамоты и уже было начавши рассёдлывать коня, вспомнил вдруг еще одно поручение, данное ему боярином Терентием, и, ругнувши сам себя крепко, затянул отпущенную было подпругу, взвалясь в седло, подъехал к терему Протасия, а оттуда, переговоря с челядью, порысил на посад, где и нашел наконец ражего молодца, коему передал весть нерадошну:

— Тятя твой помер, никак второй день уже, дак ты тово, коли заможешь, поспешай, парень!

И Мишук, спавши с лица, кинулся в город, пал в ноги Протасию и уже через час, оседлав дорогого коня, с заводным в поводу, выезжал из ворот кремника, и — полетела дорога! Только ветер, да пыль, да пропадающий вдали топот коня, только неистовый ор распуганного вороньял по дорогам, да запоздалый собачий брех за спиной всадника. Весь черный от пыли, с одними светяшимися белками глаз, он, по Протасьевой грамоте, потребовал в Радонеже свежих лошадей и снова скакал, пересаживаясь с коня на конь; и, почти не евши и не пивши дорогою, проскакав полтораста верст за четыре часа, сейчас,— когда женки уже отпричитали над гробом и мужики прошали боярина: годить еще али закрывать да нести на погост? — Мишук, почти не умеряя сумасшедшего скока коня, проминовал Переславль и уже выныривал из вторых градных ворот, поворачивая на дорогу к Никитскому монастырю.

Терентий подумал, понурясь, и кивнул головой:

— Бывает, и услали куда молодца!

Под новые рыдания женок Федора закрыли полотном, и священник хотел уже посыпать тело освященной землею крестообразно. Но тут княжевские заспорили:

— Нать ищо на погости отокрыть! У нас завсегда так! Дорогой скривит чего ни то, поправить тамо, да и тово...

Священник уступил недовольно. Знал, что на погосте будут волховные требы править, но помешать тому и доселе не умел. «Дедами заведено, не нам и бросать!» - отвечали обычно мужики. И так, только прикрыв крышкою, колоду с телом понесли на белых полотенцах на погост. Несли, часто переменяясь, и потому неспешно, и Мишук успел уже доскакать до Клещина, где, не слезая с седла, напился воды и узнал от брехливой женки-пустомолки, что батюшку его уже схоронили из утра! Чуть не пал Мишук с коня. Хотел даже заворотить с горя, но опомнился, справясь с собою, и тронул дальше, уже не в скок, а рысью, сжав зубы, перемогая тоску, и уже безо всякой надежды. И только у княжевецкой околицы ему сказал встречный древний старик, что отца его только-только понесли на погост. И тут Мишук выжал из загнанного коня последнее, на что тот был способен, и успел подскакать, когда уже священник начал было посыпать тело землей.

Мишук выхорем влетел в толпу, пал с седла (и тотчас кто-то из мужиков, подхватив под уздцы, принялся водить-отваживать запаленного боярского скакуна), пробился к домовине,— перед ним расступались, теснясь и падая,— и уже бабьи проворные руки отворачивали перед ним край полотна, и рука священника замерла и опустилась долу, и, рухнув на колени, впился Мишук в неживые, пугающе липкие уста, второй раз потревожив и растрепав покой уложенного в домовину тела...

Он все целовал и целовал отцовские губы, обминая пальцами холодную, немо поддающуюся его рукам дорогую голову, стараясь не замечать ужасного запаха тления, и рыдал в голос, по-мужски грубо и громко, размазывая слезы и грязь по широкому лицу.

Поднявшись наконец на ноги, Мишук постоял — ему подали плат обтереться — и вновь не выдержал, пал на колени, рыдая и целуя опять ледяные губы отца, и все не мог оторваться, боялся отпустить, потерять и уже навек, уже больше никогда, никогда не увидеть! (Мелькнуло сумасшедшее: хоть бы так-то лежал, хоть увидать-то, хоть бы увидать-то иногда, даже просто глянуть, и то сердцу легче. А так... батя, батя! Как же я-то без тебя, Господи?!)

— Прости меня, батюшка, глаз не закрыл я тебе, не знал, не ведал, не почуял, глупый, слова твово не принял, последнего наказу родительского не выслушал! Дак уж прости, прости ты меня, худоумного, в етой вины, воззри с выси, пожалей и наставь, хоша ночью приснись, подскажи чево, когда и от худого отведи! Батя, батя, батюшко мой, как же я-то без тебя теперича жить стану?!

И стояли, и ждали. Пережидали горе. Никто не торопил, не спешил. Умирают, как и рождаются, один раз. И теряют родителей лишь единожды. Навечно, навек.

Сам, дрожащей рукою, закрыл наконец Мишук покрывалом голову отца. Сам, приняв от священника, посыпал землею. Священник отступил, и тогда женки, навычные волховать, совершили то, что полагалось по древнему языческому обряду. И потом опустили домовину в землю. И засыпали землею. И утвердили крест. И ели, стоя вокруг могилы, кутью, рассыпая остатки птицам, ибо в птицах — души усопших людей, как говорят старики. И пошли назад к дому, чтобы там помянуть покойного. И только тут указали Мишуку на старую женку в татарском платье и узнал он, что то сестра отца, Просинья, вчера лишь воротившаяся из Орды его родная тетка, о которой он прежде только и слышал рассказы-легенды, не очень веря даже, что все то было на самом деле...

Назавтра собрались в доме своею семьей, с ближними. Мишук, теперь уже за старшего, рядом седой Ойнас-Яша, бабы, что услужали Федору, старуха Олена, на правах старинной подруги дома, несколько дальних свестей и теинок, двое сотоварищей Федора по службе. Приглашен был и священник, чтобы составить грамоты. Мишуку нельзя было долго задерживаться, и потому требовалось решить враз, что делать с домом и добром? С домом Мишук постановил просто: оставил пока Ойнаса, уже по-дружески попросив пожить в дому и вести хозяйство по-прежнему, теперь уже от его, Мишука, имени, и — за условленную плату. Яша покивал головой, согласился:

— Сколь смогу, хозяин. А уж из силов выду, не взыскай!

Мишук молча обнял Яшу, потискал за широкие

плечи. Когда-то, мальчишкою, невзлюбил было холопа, а ведь он, Яша, и жизнь — в пору Дюденевой рати — ему спас!

Опросинья, вымытая, переодетая в русское платье, тоже сидит за столом со всеми. Слушает: кому вольная, кому какое добро, что Мишук забирает нынче ж в Москву, что оставляет на Яшу. Отцов Серко и старинная дедовская бронь переходят теперь Мишуку, и Мишук радуется и гордится. Украдкою он уже натягивал кольчатую рубаху, пришла впору — дед был, верно, и высок и не мелок в плечах. Достают серебро из скрыни. Как великая драгоценность достаны и осмотрены всеми золотые серьги тверской княжны, когда-то перепавшие Федору.

— Женке подаришь! — с легкой завистью кивают бабы, бережно разглядывая и передавая серьги из рук в руки. Полный сундук рухляди, где и дорогой мех, и парча, и бабушкина серебряная с жемчугами головка, и ее же атласный саян полустолетней давности, порты и узорочье, чудом сохраненное ото всех разорений и пожаров и новое, прикупленное Федором. У Мишука разбегаются глаза. Отец как-то и не скуп был, а сколь добра оставил! И горячее чувство к покойному родителю вновь застилает ему туманом глаза.

На него смотрят, кивая в сторону Опросиньи, как мол, с нею?

— Уж угол-то ей тута должон быть! — решительно говорит слепая Олена.

— Почто тут? — слегка обижается Мишук.— Тетю Просю я с собою забираю, в Москву! Пущай дом ведет тамо!

Бабы кивают, а Просинья, горбясь, прячет лицо, роняет себе на колени новые, уже благодарные слезы и, оправясь, робко оглаживает племянника по плечу. Позапрошлою ночью мечтала: воды бы вынес напиться! Мишук склоняет голову, трется щекою о шершавую теткину руку, и Просинья чует, какой он добрый и как и взаправду хочет взять ее в дом хозяевать. Быть может, через то и ему будет легче и памятнее, поближе к покойному отцу. И, почувствовав все это, Просинья кивает и сморкается в фартук, и снова радостно плачет, успокоенная, согретая, нашедшая наконец свой дом, и свой очаг, и свое дело на родимой земле.

Позднейшая легенда все сильно изукрасила и поиначила. Сказывали, что вторая женка покойного мужа Опросиньи, в Угличе, с соромом прогнала ее с порога, что, не застав брата в живых, она лишь поглядела издали на покойного и, не быв никем привечена, побрела дальше, в Москву, где явилась в монастырь, но строгий, принявший обет молчания мних — ее старший брат — лишь благословил Просинью издали, не признав или не пожелав признать сестры, и только когда она, голодная и усталая, почти отчаявшись, прибрела к дому племянника, тот узнал тетку по особому знаку на щеке, о котором повестил ему покойный отец, и принял в дом, после чего вернувшаяся полонянка сразу слегла и вскоре, благословив племянника, отошла к Богу.

На самом деле посвежевшая и отдохнувшая Просинья до Москвы ехала на возу, оберегая племянниково добро, и уже, строго сдвигая брови и поджимая губы, точно так, что Мишук, радуясь, вспоминал по ней покойную бабку, неотступно и упрямо выговаривала племяннику:

— Шалыганом живешь! Девок-то, поди, не одну и перепортил! А ныне, как в Орде басурманы одолели, и ратная пора накатит, не успешь глянуть! Тогды-то поздно станет руками махать! Женку нать тебе найтить беспременно! Я хоть внучат вынянчу, пока в силах да жива! Ужо на Москву приеду, сама буду сыскивать! Батька-то не неволил, а зря! Род не продолжишь — отца с матерью осиротишь, а род наш, Михалкинский, честный, добрый род! На тебя одна и надея теперича! Зубы-то не скаль, тово!

А Мишук все одно лыбится во весь рот. Не может не улыбаться. Весело ему слышать теткину воркотню. Это ведь только в легендах человек живет прошлым. А чтобы жить на деле, нужно иное и забыть! Забыть и плен, и рабство свое, и вновь кем-то распоряжаться, кого-то журить-бранить, и зря она так сердито повышает голос! Мишук не словам ее усмехается вовсе, а тому, что, стал быть, отошла тетка, оттаяла, перестала уже чуять себя нищенкой и беглой ордынской рабыней, а стала вновь уважающей себя вдовою из рода Михалкиных. Ничего, тетя Прося, не журись! Заживем! Будет и у него теперь дом, как у людей, и ворчунья хозяйка в дому, да и пущай оженит его тетка Просинья — пора!

ГЛАВА 42

Юрий, узнав об ордынском перевороте, тихо возликовал. Вести пока что доходили смутные. По ним, в Орде творилась замятня, и неясно было, кто кого одолеет. Баскак загадочно молчал, а тем часом у Михайлы Тверского началось розмирье с Новгородом, и тут очень и очень надо было быть наготове. Впрочем, пока послы Юрия кружным путем пробирались на север, Новгород уже смирился, и Михаил уехал к Узбеку в Орду. Прослышав о том, Юрий, решивший во что бы то ни стало опередить Михаила, примчал в Москву, меняя лошадей. Серебра, соболей, сукон, коней, узорочья — и скорей, живо! Самому Узбеку, его нойонам, эмирам, женам, холопам — всех одарить, всех обадить, все обещать! И добывать, добывать в Орде правдами и неправдами, потворством и лестью, добывать, вымаливать у Узбека великокняжеский стол!

Словно и не было девяти лет непрерывной и напрасной борьбы с Михаилом, словно бы ни годы не тронули, ни сил не убыло, словно и не за тридцать уже московскому князю, а те же горячие двадцать с небольшим, и та же молодая кровь, и жестокость, и дерзость несказанная.

Скакал — как летел. Заранее радовался удаче. Не думал умедлить даже, а — собрать, отобрать и ободрать, ежели нужно, и добыть такую дань, чтобы у Михаила самого глаза на лоб вылезли. И уже мчались гонцы, и отдавались распоряжения, одно другого грозней и нетерпеливей... И вдруг на пути Юрия встал брат Иван. Встал — со своим ликом праведника, невеликий ростом, с расчесанною волосок к волоску бородкой, с прозрачно-голубым взором страстотерпца, в простом зипуне темного домашнего сукна, с единою украсой — отделанным серебром поясом,— встал и сказал: «Не дам!»

Юрий, как узнал, что трое его гонцов заворочены Иваном, аж обеспамятел от гнева. Как смеет, он-то, щенок! А тот посмел, и слуги (вот чудо-то!) явно слушались его, Юрия, а тайно и прикровенно — одного Ивана. Как-то не усмотрел, не заметил за годы прошедшие, а глядишь: там данщик новый явлен, Иваном ставленный, там тиуна он же переменил, там, глядишь, посельских своих посажал — и все по уму, и все к делу, все ради устроенья добротного. Был лихоимец — стал

честоимец, был пьяный — стал терезый, был глупец — стал знатец, да и знатец такой — иного не сыщешь! А подошло, и все они сожидают преже Иванова слова, а потом уж — князя своего.

— А подать же брата ко мне! — взъярился Юрий. А брат — вот он, сам себя явил, прискакал из Красного. И лоб в лоб (благо, достало у Юрия ума не прилично, не при слугах молвь вести) так и заявил сразу: «Не дам!»

В тесном покое отцовом стояли оба. Иван не сел, как вошел, а Юрий сидеть не возмог, вскочил, красными сапогами затопал, взъярился. Мокрые руки сжал в кулаки — да ведь не станешь бить-то родного брата и княжича по лицу! А ладони чесались, ох как чесались ладони!

— Серебра недостанет?! Стада коневые да скотинные есть, вона! За Москвой! Продай купцам, вот те и серебро!

Покой — полутемен. В полутьме (на улице, там слепящее горячее солнце; оттуда в отодвинутые окошки узкими лучами — на резную утварь, на бухарскую ковань, на ковер, на окованный медью сундук, на пестротканый полог над кроватью, на все это тесно составленное, не вдруг и не враз копившееся добро), в полутьме бледное, хоть и под летним загаром, обожженное красниной лицо Ивана. И уже не скажешь, мальчик — муж! Голодный беспощадный блеск в глазах, зраком не уступит Юрию. Сапоги темные, простые, будто и навозом припахивают — верно чудится. Это от батюшкиных сапог почасту пахло навозом. Сам по конюшням ходил завсегда... Матушка, невзирая на то, бывалоча сама сымала сапоги с батюшки. Матушка сейчас хворая, при конце уж, видно. В монастыре сейчас, во Владимире. Юрий в уме уж и похоронил ее, почасту в монастырь и глаз не кажет, а был-то любимец, баловень! И всегда-то под старость любимые да балованные первые от тебя отворотят! Жури да учи смолоду, под старость наживешь опору себе...

— Тебе стада перечесть? — сощуриваясь, негромко и с придыхом говорит Иван.— В Красном у нас стадо в тыщу голов конёвых. Продай! Дак на ем вся княжая конница держится! Под Коломной скотинны стада, на Пахре, за Клязьмой тоже стада, в Замоскворечье — глазом видать! Да без тех стад тебе и дружину распустить придет! На Воробьевых стада, там

и двор сырный, батюшкой заведен, и то нам порушить? Что оставил отец и что мы промотали-прожили, дак я тебе все исчислю! Осемь тыщ гривен новгородского серебра! На войну, на раззор, на подарки друзьям да ордынским б....., на терских соколов, да на ясских жеребцов... Осьм тыщ, ето четыре каменных Москвы выстроить мочно! Вота как! Того мало? Кубцов серебряных — сочти сам, коли запамятовал! Золото все пошло в Орду! Овначей, ковшей простых, золоченых, с каменьем, цепей, поясов, справы конской серебряной, блюд бухарских, ордынских, цареградских, чаша с цепями, большая, испозолочена, двоеручная,— кому отвез, запамятовал? А соболей, портов, сукон! А сукна лунского, а бархату веницейского! А жемчугов, лалов, иная многоценная многая! Ростовски князи вотчину свою разорили на ордынских дарах, а я не дам! Убей, не дам! И убьешь — не дам!

Иван тоже взмок, не столь от жары, сколь от исступленья. К потному лбу прилипли пряди светлых волос, и в лике вдруг прочиталась ярость — родовая, доселе небывалая в нем.

— Слушай, Юрко! Я не Александр, не Борис, не Афоня,— этот только молиться горазд... Я и молитвенник, да! Но я ради добра родового, ради батюшкиных трудов ежеденных, я, может, душу свою гублю! Может, погубил уже! И — не попущу! Разоренья — не попущу! На глазах моих — не попущу! Я, когда Саша с Борей в Тверь ускакали, я на Москве осталси, думашь, ради тебя одного? Думашь, коли я не князь великий, мне и заботы нет? Дак знай, и мое тута добро! Наше обчее! И не смей! Не смей! Ничего не возможешь! Дуром, прахом пойдет! Знаю! Чую! В навоз, мордой в навоз опеть! Пущай, коли сам Михайло преже себе шею свернет, а я — не дам!

— Добро, Иван! — с утробным рыком, набычась, проскрежетал Юрий.— Добро! Верно, молитвенник ты! Дак и молись, тово! В монастыри честном! А от забот градных я тя свобожу, вот те крест, свобожу! И перстом не щелканешь тогды! А труды твои — хрен на твои труды! Федор Бяконт блюл Москву доднесь, и вперед поблюдет, и без твоей докуки!

Иван усмехнулся зло и передернул плечами:

— Федор Бяконт тебе не то исделал. Главно ты запамятовал за им! Он тебя с новгородцами свел, он тебя и с Черниговым и с брянским князем сдружил. С Бя-

контом ты вона куда уже длани простер! А будешь так-то... И Бяконт от тя убежит, и все отступят! — Иван не повышал голоса, и это было, пожалуй, страшнее Юрьевых выкриков. Таким презрением и даже тихою угрозою прозвучали его слова: — А ты без меня, Юрко, тоже не велик глуздырь! Пока ты тамо-семо летал, рать да серебро тратил, тута бы у тя, коли не я, и всё бы, почитай, растащили!

— Не растащат! Подручных наставлю своих!

— Твои-то подручны токо и волокут! Етот, ково Протасий развалил наполы, за што ты сердце на тысяцкого кой год уже несешь, он-то и был главной вор! А тронуть ево в те поры и я не смел! И все из-за тя! Пили вместях, дак! Наставишь таких-то, году не минет — по миру пойдешь. Тогды не толь великого княженья, и на Переяславли не усидишь! — Иван передохнул, отступил на шаг. Выпрямился и, невступно глядючи в очи Юрию, докончил: — Словом, нет моей воли. И не дам. Силой бери, коли... А не скажу, где чево и где батюшковы клады зарыты, о коих и ты не знашь,— не скажу. Там-то добра поболе, чем в казне да в бертьяницах!

(У Юрия глаза завидущие вспыхнули, как у кота, и Иван понял: проняло. Хотел и еще добавить про вымышленные клады, да побоялся пересолить, не разгадал бы брат обману.)

И приодержал Юрий, смутился духом. Не уступить ли уж на первый након? А Иван, углядев, начал добивать, как гвозди загонять в стену:

— Што по обычаю, по пошлине следует,— когда поедешь на поставленье к Узбеку,— то и возьми. И подарки какие, и серебро. И боле — не дам. А коли ты о великом княженьи затеял — изворачивайся, как хошь, в Орде, только Москвы не грабь. Подарками не все сделашь. Ты так сумей, чтобы не из дому, а в дом! На серебре дурак проедет! Без серебра сумей! Тогда я тебе в ноги поклонюсь, тогда душой своею смрадной и грешной восплачу у престола божия, моля тебе и себе спасения на небеси! Тогда! Но не теперь! И помни: душу я свою гублю за отцово добро, но отцова добра погубить не дам!

Смутен был Юрий после толковни с братом. Разумеется, не покинул он ни намерения своего, ни решения не переменил, а только не стало воли решать все самому. Потребовалось собрать бояр, думу, потребовалось

прошать градских воевод, архимандрию... Потребовалось, пришлось выслушивать, что решит земля. А земля, еще не оправившаяся от голода, помнившая разоренье после Михайловой рати, земля поддавалась туго. Решали, в затылках чесали, считали да перекладывали добро в скрынях, и одно выходило у всех: нет, нет и нет! Не осилить. Золотом-серебром не осилить князя Михайлы. Так как-то, кабыть ни то самому князю уж... да, може, добром-то сговорить! Переслав, да Коломну, да Можай сохранить, а там — что Бог даст! И преже надоть с Великим Новгородом уведать, что они о себе мыслят? Даве ободрал их Михайло, поди, не по нраву пришлось!

И Юрий бесился, диким скакуном, как на привязи, вставал на дыбы, а поделать ничего не мог. Земля не хотела новой смуты и разоренья не желала. Прав оказался Иван. На думе, покряхтывая да лебезя, великие бояре провалили-таки запрос Юрия, не дали ни серебра, ни добра на дальнейшую колготу и прю с Михаилом в Орде. Все, кто и молчали, про себя думали одно: «Пущай сам Михайло шею себе свернет, пущай Новгород снова встанет, тогда поглядим... А до той поры нет, нет и нет!»

После думы братья опять встретились. Все четверо: Юрий, Иван, Борис и Афанасий, что теперь уже, подросши, на полных правах княжича участвовал в советах и думе боярской. Афанасий, хоть и подрос, и вытянулся изрядно, но был тонок, узок в плечах, большие глаза его смотрели жалобно, худые персты беспокойно шевелились — не чуял себя володетелем младший Данилыч! Борис, очень потишевший после Твери, только внимал, со скучною покорностью готовый исполнить любое братнино повеление. Один Иван — хоть нынче не ярился, глядел покорно и прозрачно-ясно по-старому, и вновь не чаялось во взоре его никакой возможной грозы — один Иван глядел загадочно-удоволенным, и Юрий, бросая на брата косые взгляды, так и вскипал каждый раз. Пили мед, закусывали. Слуги сновали с подносами.

Вот сидят четыре холостых мужика (из них один — вдовый), пьют и едят, и от их совокупной думы, так или другояк, изменится судьба Русской земли. Причем уже тогда изменится, когда и кости их сгниют в гробах. Дивно! Юрий уже пьян. Он расстегнул зипун, голубые глаза помутнели. Тяжкая мысль бродит в его хмельной

голове: «Новгород... Опеть Новгород! Прав Иван, как ни поверни, хоть и забедно признать! А ежели все-таки придет в Орду ехать?..» Внезапно глаза его светлеют, молодой блеск появляется в них. Руки — вечно зудящие от желаний ладони московского князя — крепко ухватывают кубок и край столешницы. Он краснеет и бледнеет разом, незряче глядя туда, сквозь и через стену покоя, в глухую ордынскую даль... «Алтын коназ!» Так говорила тогда... Ежели еще не замужем... Почто теперь не попытать судьбы? Шурином-то хáна он и Михайлу свалит! Юрий уже пренебрежительно и надменно озирает очами братьев, утверждает взор на Иване:

— Баешь, надоть без серебра досягнуть стола володимирского? Дак вот тебе, досягну и без гривен твоих вонючих, досягну, крестом клянусь! И Новгород подыму, и в Орде, у хана, свое возьму!

Он, и верно, достает серебряный крест из-за пазухи и держит его перед собою, пьяно покачиваясь. Иван быстро и остро взглядывает на брата и вновь опускает очи долу. Молчит. Юрий встает на ноги, утверждается на высоких каблуках:

— В ноги поклоните мне!

— В ноги и поклоним,— без выражения отвечает Иван. Борис взглядывает хмуро, не очень понимая, пожимает плечами. Афанасий смятенно оглядывает старших братьев: неужели опять будет ссора? Но ссоры нет. Юрий садится с маху и с маху бьет кулаком по столешнице, опрокидывая кубок. Слуга кидается подымать, ставит и наливает новый, исчезает, пятясь.

— Досягну! — тупо и упрямо повторяет Юрий и, резко охапив каповую, в серебре, чашу, пьет.

В тот день, когда в княжеской думе решилось, что Юрию ехать в Орду без великих даров и не противустать явно Михайле Тверскому, Федор Бяконт воротился домой поздно, усталый и довольный. Юрию всегда недоставало терпения, и ныне, окоротив своего князя, великие бояре могли тихо торжествовать. Как ся оно повернет в Орде — невестимо, а коли чья голова и падет под ханский топор, так преже набольшего! Пущай Михайло за все в ответе, пущай Тверь напереди. По нынешней поре эдак-то и вернее!

Омыв руки и лицо, переоболокшись в домашнее,

мягкое, испив от души кислого квасу, прошел Федор на домашнюю половину, огладил по головам сыновей-подростков. Славные растут отроки! И не заботят так, как старшой. Елевферия одного и не было. «Верно, у себя, как всегда, над книгой сидит! — подумалось с легким недовольством.— Мог бы, после думы-то такой, и встретить родителя! Седни и похвастать мочно!»

— Послать за Олферием? — вскинулась Марья.

— Сиди! — решил Федор, подумав.— Погодя сам схожу.

Он сел было за трапезу и не выдержал. Едва отведав, встал, вышел в галерейку, поднялся по узкой лесенке к вышним горницам. Постучал. У Елевферия горела свеча, но он не читал, сидел недвижно и даже не встал, только поглядел на отца глубоким и грустным взором. Сын как-то и вырос, и окреп за последние годы, хоть и невелик ростом. Бородка сошлась клином и потемнела, родниковые глаза углубились, потемнели тоже, наполнились мыслью. Федор, подавив обиду свою, не стал сетовать, что сын не вышел к ужину, присел, начал сказывать о думе, о том, как окоротили Юрия. Сын слушал, кивал, изредка взглядывая на отца. Выслушивал терпеливо, но без участия, словно побаску какую. Отец обиженно замолк, не договорив. Елевферий шевельнулся, вскинул головой, отбрасывая долгие волосы:

— Прости, батюшка! Прошать хочу у тебя. Орда теперь беспременно вся к бесерменам перейдет, в ихнюю веру?

— Бают, так! Новый хан ихний, Узбек, на то поворотил.

— А христианам теперь, тем, что в Сарае, как же?

— Дак что ж... епископ сарский сидит... Без нас-то тоже... Как оно дале пойдет, не ведаю, сын!

Елевферий помолчал и сказал просто, как о чем-то давно готовом, о чем сообщают походя:

— Я в монастырь ухожу, батюшка.

— Ты што... Пошто так-то? — потерялся Федор. Полураскрыв рот, он воззрился на сына. Конечно, ожидано было, давно ожидано, и все ж... Крестник Ивана! Первенец... Службой уж николи б не обошли! Было преже — мыслил на своем месте в думе Елевферия утвердить, с тем и помереть уж... А тут — в монастырь! Да круто как! А что решил твердо — по глазам было видать. Сына Федор с годами навык понимать, и — в большом — не перечил. Но тут, такое...

— Воеводы во бранях землю берегут! Думны бояре о делах мыслят! — с обидой, не сдержавши себя, вымолвил Бяконт.— Разве ж тебе чести и места недостало бы?

Сын медленно покачал головой:

— Сказано: «Яко держава моя и прибежище мое еси ты!..» Теперь, когда бесермены одолели Орду, а латины вот-вот покончат с Цареградом, когда и ляхи и литва уже покорились папе римскому и католической вере, что возмогут воеводы? Одолеть в двух-трех битвах? Ну, отбить ворога раз-другой... Ежели вся Орда не навалит, или весь Запад враз, или совокупною силою, и что тогда воеводы?! И думные бояре от великой беды не спасут. И при князе своем, и без ратного одоленья пропасти мочно! Сменить веру, а там и всё: храмы, навычаи, молвь книжная... Там, глядишь, и само имя «Русь» исчезнет, на что ся другое повернет. Забудут предков гробы, и святыни отринут. Знатные учнут величаться в иноземном платье и молвью чужою щеголять, учнут гнушатися смердов своих, дальше — пуще, и, поиначив всё, исчезнет Русь, всю себя истощит. И не будет уже ни языка, ни памяти, ни святынь отних, а всё инако... Вот что на ся грядет от иных земель! И како обороним, и чем, и кто возможет? Единым — верою! Верой стоят земли, и языцы верою укрепляются. Зри, батюшка, и помысли о сем! Не меч, но крест православия — наша крепость и спасение на земли! Я не от мира бегу, отец, и меч не отринул от себя, но пусть будет отныне меч мой — меч духовный, им же утвердимся ныне и присно. В вере — правда! А кто одолеет в споре за власть — князь Михайло или Юрий — разве это важно, отец?! Разве в этом спасение Руси?! Я даве молился, и Он,— тот, кто крестную муку приял за ны,— Он явился мне и утвердил, овеял... Не видом, нет, а так, как ветер или как лунный свет!

Федор понурил чело, долго молчал. Таких речей как-то и не ожидал он от сына.

— Ну, коли так, не держу...

Исподлобья взглянув, уверился, что нет, не напрасно молвит такое его первенец, княж-Иванов крестник, не от детской резвости ума, и про монастырь строго решил. И словеса высокие не впусте молвит. Быть может, и дано Елевферию нечто, чего он, Федор Бяконт, не в силах понять! Эвон: все одно — Михайло, Юрий ли... Ан, не все одно! Кабы все то одно, он, Бяконт, может, и за

Михайлу бы заложился. А, вишь, оно как... Всю жисть батька положил на то, а он — как локтем со стола смахнул, и вся недолга. Нет, милый, и в монастыре-то не мед! Да ведь что я, знает же! Монастырь-то выбрал ли? (И спросить боязно!) Хоть здесь-то бы подсказать... А матери, ей как повестить такое? Ох! Пока малы дети, все мнишь: скорей бы выросли, а вырастут — и не удоволить им! И добро еще, коли станет архимандритом (уж об епископском сане Бяконт боялся и мечтать), а ежели в простых мнихах пребудет? А ведь и станет с него!

А паче того, и горше, чуялось: в чем-то становится сын выше самого Бяконта, выше отца своего, и уже и боязно началовать, начал вести... «Высидела утка лебедя!» — с горьким удивлением подумал великий московский боярин Федор Бяконт.

ГЛАВА 43

Первые же слухи о событиях в Орде породили в Новгороде смуту. Михаилу заявили, что, по вечевому приговору всех вятших и меньших, отказывают давать великому князю черный бор и дань заволоцкую. В ответ Михаил вывел из Новгорода своих наместников и прекратил подвоз хлеба. Год был тяжек, новгородцы смирились. Князю было послано с дарами. Городу пришлось дать Михаилу по миру полторы тысячи гривен серебра отступного.

Урядив с Новгородом, Михаил собрался в Орду, к Узбеку. Уже ясно стало за протекшие месяцы, что Узбек утвердился прочно, и приходилось ехать на поклон, получать у нового хана ярлык на великое княжение. Оставя наместникам строгие наказы (пуще всего — беречься возможных Юрьевых пакостей), расцеловавшись с Анною, а пятнадцатилетнего Дмитрия, с приданными боярами, посадив вместо себя, Михаил отбыл во Владимир, чтобы оттуда уже плыть в Сарай.

К новому хану за ярлыком церковным собирался и митрополит Петр, и так уж совершилось волею судеб, что Михаилу с Петром пришлось плыть вместе, в едином корабле. Великий князь не мог не пригласить митрополита, а Петру неудобно было отказать князю и ехать в особину.

Караван судов,— и среди них самый большой, расписной и изукрашенный резью, с беседкою, устланной коврами, великокняжеский,— спустился по Клязьме, вышел в Волгу и, растянувшись долгою вереницею крутобоких, с вырезными носами учанов, лодей и паузков, под серо-белыми, желтыми и красными парусами, на поворотах и стремнинах обрастающий сверкающею щетиной долгих весел, враз и дружно пенивших синюю громаду волжской воды, поплыл в Сарай.

Поначалу великий князь с митрополитом сторонились друг друга. Михаил больше сидел наверху, в беседке, обдуваемый ветром, обозревая плывущий караван, извивы Волги, зеленые берега и осыпи крутояров, на которых все еще щетинился лес, не желающий уступать места ковыльному натиску степей. Думы его были невеселы. Тревожил Новгород, едва укрощенный, тревожил московский князь, тревожил юный Дмитрий — как-то он там? На пятнадцатом году можно и натворить беды, уже и ближний боярин за шиворот не возьмет. А сын рос нравным, крутым, уже и прозванье получил от холопов: Грозные Очи. Должен быть грозен князь! Но и мудр, но и добр порою. Хотя ему самому, Михаилу, доброта давалась все трудней и трудней, девять лет власти сделали свое дело... Второй сын, Саша, тоже тревожил. Этот, напротив, излишнею легкостью нрава. Или уж у него, у отца, столь требователен взгляд на детей? Этим детям править Русью. Тут подумаешь! Константин, тот еще был непонятен. Красивый, большеглазый, высокий, а — робковат. Хоть, конечно, третий сын, а все же его сын, Михаила! Он сам никогда не робел на ратях, ни на охоте, ни в иных путях княжеских. Чуял восторг, гнев, прилив удали, а страха — никогда. Разве за кметей своих, а за себя — нет. Быть может, потому, что о себе думать времени не хватало, может, и оттого, что не убывала сила в плечах, годы не чуялись еще телом, разве — душой иногда, как нынче, и то перед неизбежным, перед неподвластным ему, там, где и сила бессильна... Раздражало и то, что рядом этот чужой и, вместе, столь уважаемый многими муж — митрополит Петр. Не знал, как держать себя с ним, как и речь вести, после Переяславского-то собора!

Петр поначалу пребывал в глубине корабля, но вот как-то тоже вышел, сел в раскидное креслице, с любопытством оглядывая сине-зеленое приволье. Михаил покосился, Петр слегка поклонился и улыбнулся князю.

Так и сидели в молчании до часа полуденной трапезы. Тут уж нельзя было промолчать, следовало сказать нечто, пригласить к столу. Петр к столу княжескому сел, но лишь испил легкого квасу с медом, а от еды отказался вовсе, изъяснил навычаем своим. По Петру видно было, что и правда — не чревоугодник сей муж. Ни жира, ни лишнего мяса не чуялось в его просторно-сухощавой, как бы иконописной стати, в долговатом горбоносом лице, с крупными яблоками глаз в больших отененных глазницах, в чистых, с западинами худобы, линиях щек и вогнутых седоватых висков. И одет был просто митрополит: в светлых холщовых ризах, с единым золотым митрополичьим крестом на груди и тяжелым перстнем-печатью на пальце. Руки были у него чуткие, тонкие, с долгими перстами, и Михаил вспомнил, что Петр, кажется, сам иконописец.

Митрополит тоже любопытно всматривался в бугристое, тяжелое, с широко расставленными выпуклыми глазами лицо князя, в крутые взлысины и темные вьющиеся волосы хозяина Русской земли, в его большие мощные длани, в огромные мышцы предплечий. Зримая сила Михаила Ярославича, ясно ощутимая тяжесть властности настораживали Петра. Он знал, что с излишнею силой подчас соединяется заносчивость и необузданность норова. На Москве о великом князе говорили нехорошо, а во Владимире наразно. Петр должен был признать для себя, что не понимает князя, как и князь, видимо, не понимал, не чуял Петра. Посему Петр и медлил, не заговаривал. Наконец Михаил не выдержал, отверз уста для первых необыденных слов. Подняв на Петра свои тяжелые глаза, он сухо выразил сожаление в поступке тверского епископа:

— Впрочем, собор уже установил невиновность митрополита в хулах, на него возводимых!

Петр внимательно поглядел на князя, покивал. Помолчав, сказал мягко:

— Прискорбно не то, что охулили мя неправые и неправдою, прискорбно, что несть в русичах братней любви друг к другу, до раздрасия и доносов на брата своего! Сему, княже, достоит тебе, яко главе земли нашея, разумение многое приложити, речено бо есть: «аще царство на ся разделится...»

— Прилагаю силы, дабы одержати землю в единых руках! — сурово отмолвил Михаил, подумав про себя, что ни Петр, ни он сам сейчас ничего не скажут об Юрии,

разве о новгородских делах, и, значит, все, сказанное днесь, будет лжа.

— Ведаю, что Юрий Данилыч много препон творит сему, и молю Господа об утишении страстей и вражды вашея прекращении! — спокойно возразил Петр.

Михаил вздохнул глубоко и сильно. В самом деле, показалось, что стало легче дышать. Словно некий груз великий камнем отвалил с души. И уже теперь совсем легко показалось толковать с митрополитом.

Больше, впрочем, ни об Юрии, ни о тверском епископе они не заговаривали. Обсудили зато новгородские дела и дела ордынские, паки и паки. Петр рассказывал (а Михаил расспрашивал и слушал жадно) о Цареграде, о волынском дворе, о латынском богослужении и о том, како ся держат Палеологи и константинопольский патриарх. Уже скоро перерывы в беседах,— когда приставали к берегу, варили кашу дружине, дневали или ужинали,— стали отяготительны тому и другому, ибо хотелось говорить и слушать еще и еще. От дел господарских и церковных скоро перешли к живописному искусству иконного письма, в коем Петр был знатцом великим, а также к пению церковному, в коем Михаил мог и сам кое в чем поучить Петра. И уже настал день, когда князь открыто рассказывал митрополиту о домашних трудах и трудностях в воспитании княжичей своих и прошал совета, а Петр, хваля Дмитрия, обещал, воротясь во Владимир, позаниматься с прочими, ежели княжичи приедут к нему.

— Порою долит и власть, и труды княжеские. Хочешь простой жизни, с женой, с семьей! — признавался Михаил.

— Святительская участь такожде многотрудна, в ину пору восхощеши и покоя, и уединения, а паче всего тишины! Быв игуменом, почасту завидовал я участи простых мнихов, спасающихся в горе Афонской! — ответно поддакивал князю бывший ратский настоятель.

Петру начинал все более нравиться тверской князь, а Михаилу все проще и душеприятнее становилось разговаривать с митрополитом. И хоть так и не было сказано слова о том, но к концу этого пути решилась участь тверского епископа Андрея, коему пришлось вскоре покинуть епископию и уйти в монастырь. Решилось и другое: Петр в Орде не поддержал происков князя Юрия, что сильно облегчило Михаилу тяжкие для него переговоры с Узбеком.

В Сарае их встретила почетная стража, и внешне все было так, как и всегда. Казалось, ордынцы всячески стараются загладить прошлогодний погром русских купцов. (Михаил уже знал, что пограбленным был частью возвращен товар и сбежавшие было тверские и иноземные гости начали возвращаться в свои лавки.)

Еще шла война на восточной окраине великой степи, в Синей Орде, мусульманская конница Узбека теснила последних защитников древней монгольской веры, но тут, в Сарае, уже все было тихо. Узбек вовсю занимался реформами управления. Появился диван (совет при государе) и старший визирь, с почти неограниченными полномочиями. Дела страны решали теперь четыре главных эмира, одержавших четыре улуса Орды, из коих старший, беглербег, ведал войском и имел в подчинении темников, тысячников, сотников и десятников,— прежде подчинявшихся самому хану,— второй визирь распоряжался гражданскими делами государства, третий — денежными. На местах начинали плодиться муфтии — духовные наставники — и казы — судьи, секретари дивана, таможенники, сборщики налогов, начальники застав и прочие и прочие. Едва созданная администрация разрасталась, как половодье. Приемы стали пышнее. Русского великого князя встречали и чествовали, передавая из одних рук в другие, несколько эмиров разного ранга, среди коих Михаил, однако, почти не встречал знакомых лиц, а ежели и встречал, то видел в их глазах странное отчуждение, холодную почтительность, а два-три раза (и это было самое тревожное) — промелькнувший страх.

К Узбеку их допустили только на третий день. Но уже вечером, в день приезда, прибежал (именно прибежал,— у него был вид тайно притекшего беглеца) сарский епископ, от коего они и узнали, пуще чем от русского ключника княжеского подворья в Сарае, о всех происшедших здесь изменениях. Епископ был явно напуган и утверждал, что мусульмане грозятся вырезать всех христиан в Орде. И хоть русичи составляли едва ли не треть населения Сарая, по утверждению епископа, все они не чаяли добра и остерегались покидать свои улицы. Петр, как мог, успокоил епископа и отпустил. Про себя подумал, что этот перепуганный человек вряд ли возможет и на грядущую пору достойно нести бремя Сарской епископии.

Михаил помнил Узбека стройным красивым мальчиком и недоумевал, зачем этот мальчик сам, своими

руками, лишает себя власти, передавая ее в руки визиров, беглербега и прочих бесерменских вельмож — ведь он все же потомок Чингиз-хана! Михаил уже видел, как эта, только-только складывающаяся, администрация в один прекрасный день съест и саму ханскую власть, и пожалился в душе о времени Тохты, таком близком и уже таком далеком!

Слишком мягкое и слишком жаркое в этой жаре ложе — бумажный тюфяк, вместо привычного, скользко-прохладного соломенного, и бумажное (ватное) одеяло — не давали уснуть. Михаил скинул липкую, горячую, изузоренную бухарским хитрецом оболочину и лежал раскрывшись, в одной льняной, тонкого полотна, рубахе и нижних, тоже холстинных, портах,— думал. Пересушенное дерево потрескивало от жары. Зудели вездесущие мухи. Охватывало знакомое уже не впервые и всегда только в Орде подступавшее к нему чувство бессилия. Тут он ничего не мог сделать, ни приказать, ни заставить, и даже сила своих рук здесь была (или казалась) лишней. Что-то царапало ум, какое-то воспоминание дня, будто шепот, мельком коснувшийся уха, и потом опять, вновь... «Райя»... Вот оно, это слово: «райя»! Это они, про них! Напуганный епископ толковал, что так бесермены зовут иноверцев, врагов, захваченных или завоеванных ими. Райю облагают непосильными налогами, позоруют хуже скота. Райя. Это они, русичи, это он теперь райя! И к нему и к ним, значит, приложимо то, что бесермены испытывают к униженным врагам ихней веры. Райя. Как ему завтра говорить с Узбеком? И подарки... Подарки ордынцам приходилось давать всегда. Татары плохо понимали, что можно служить за плату от хана. Каждый важный путник рассматривался ими как источник дохода. Что ж! К этому можно было привыкнуть, притерпеться, приспособиться, наконец. В Орде порою, когда не хватало серебра для подношений, брали по заемной грамоте своих же, русских купцов. Отданное татарам тотчас, через торг, возвращалось в купеческую мошну. Брали подарки просто, открыто радовались красивым вещам, прищелкивали языком, улыбались, тут же примеряли на себя богатую сряду, любовались посудой и оружием. Было во всем этом что-то детское и по-детски не обидное. Нынче важные ордынцы так уже

даров не берут. Толкуют что-то о праве, о законе, поминают имя пророка. Приношений ждут, отводя глаза, и тотчас отсылают со слугами куда-то в задние покои. Злее и настойчивей требуют серебра — видно, купцы выучили — и берут подарки не просто так, а с делом каким, чтобы, например, ускорить встречу с Узбеком,— уже не подарки, взятки берут. И это тоже вызывало омерзение. Михаил про себя вспоминал, кому, что и сколько дано. Беглербегу явно даров показалось мало. Ну, придет домой, увидит иной принос княжеский, коней разглядит — омягчеет! У себя, в Твери, некогда вирников и мытников казнил за такое. А тут наново вводят, радуются! Бесермены теперь во все щели полезут, раз ихняя настала власть!

Он еще не мог обнять умом всего, что свершилось и совершалось в Сарае, но чувствовал, что свершившееся и огромно, и страшно, и — провидя не умом, но сердцем грядущую судьбу — понимал, что в своем падении (а падение мыслилось неизбежным) Орда может подмять под себя Русь и погубить ее вместе с собою.

Князь задремывал, и, засыпая, блазнил ему бледный мерцающий свет, как бы ореол, исходящий от собственных волос,— свет мученичества, предвестие грядущего горя...

Узбек сидел на золотом троне, в окружении главных жен и бесчисленных эмиров. Заметно было, несмотря на множество новых лиц в окружении хана, что старые монгольские обычаи торжественных приемов пока сохранялись еще полностью. Вскоре Михаилу пришлось уразуметь и еще одну истину: чиновники новой администрации ханского двора назначались в большинстве из прежней знати, эмиров и родичей хана, лишь сменивших веру отцов,— да и то полного замещения всех государственных постов мусульманами не произошло и не могло произойти еще долгие годы спустя, несмотря на всю ретивость духовных руководителей и вдохновителей Узбека. И все-таки хоть и те же самые люди, и почти на тех же местах, но вели себя нынешние ордынцы иначе. Ненавистное слово «райя» звучало там и тут. На Михаила взирали любопытно, как будто ожидая, когда же и в чем он сорвется и станет неугоден хану.

Петр был отпущен вборзе и отбыл на Русь с новым ярлыком. Русская церковь была еще слишком сильна даже здесь, в Сарае, и самые умные из мусульман предпочли пока не ссориться с нею.

После отъезда Петра Михаилу сделалось совсем сиротливо. Подступила зима. Завьюжило. Вести с родины приходили самые нехорошие. Весною Новгород поднялся вновь, и Юрий Московский, конечно, воспользовался отсутствием великого князя, послал в Новгород изменника, окраинного тверского князька Федора Ржевского, с которым стакнулся еще в прежние годы. Тот похватал в Новгороде наместников Михаила и осенью, с новгородскою ратью, двинулся на Тверь. Пятнадцатилетний Дмитрий с тверскими полками вышел ему встречу, но уже начинался ледостав, перевозу не стало, войска остановились по обеим сторонам Волги и стояли шесть недель, ожидая, когда укрепит лед. До бою не дошло, замирились, но тотчас вслед за тем Юрий с братом Афанасием отбыл в Новгород, позванный туда на княжение.

По первому чувству Михаил хотел было, бросив все, устремиться на Русь, чтобы разгромить коромольников, но, подумав, понял, что права уезжать не имеет. Надо было продолжать обивать пороги ордынских вельмож, дарить и дарить беглербега, добиваться новых и новых свиданий с Узбеком, который — он видел это — не понимает и едва ли даже не боится его, Михаила. Иногда охватывал настоящий страх: а ну как Узбек помыслит и вовсе оставить его при себе вековечным заложником?

Весною Орда кочевала по степи, и Михаил кочевал вместе с Ордой. Проходили месяцы. Вновь задували зимние ветра, и все продолжалось и продолжалось томительное сидение, раздача подарков, пустопорожние переговоры... В одном ошибся Юрий — слишком круто стал действовать и, кажется, насторожил Узбека. К тому же новгородцы задержали ордынскую дань, и Узбек наконец начал склонять слух к просьбам великого князя, решив довериться его авторитету на Руси. Неизвестно даже, сам ли Узбек или его советники, а скорее всего задаренный Михаилом беглербег надумали наконец, через полтора года хлопот и ожиданий, отпустить великого князя на Русь, снабдив его вспомогательным войском для усмирения непокорного Новгорода. Самого Юрия тогда же, зимою

1315 года, хан строгою грамотой потребовал к себе, в Сарай.

В конце концов это было то, чего хотел и что намеревался совершить Тохта, но, боже мой, чего это стоило и во что обошлось теперь Михаилу! Дотла истощившаяся великокняжеская казна уже взывала о милосердии. Да и железное здоровье самого великого князя было основательно подорвано в Орде. Пыль, жара, жгучие и ледяные ветра степей да еще непривычная еда в Сарае — сделали свое дело.

Много толковалось и тогда и впредь о частых будто бы отравлениях русских князей в Орде. Увы! И безо всякой отравы русичу из лесного мягкого климата Владимирской Руси попасть на жарынь, сушь и сырость нижней Волги, да еще пробыть там, ожидаючи ханской воли, в постоянном напряжении и тревоге духа много месяцев — редкое здоровье могло выдержать все это без труда и без вреда для себя!

ГЛАВА 44

Юрий не поехал тотчас вслед за Михаилом, ибо до него наконец дошли вести из Новгорода, и вести эти были такого свойства, что московский князь разом переменил все свои намерения и планы. Новгородские бояре тайно (пока тайно, ибо в Новгороде еще сидели наместники княж-Михайловы) звали его на стол. Звали «на всей воле новгородской», то есть: сёл по Новгородской волости не имети и не ставити, в суд владычень и суд тысяцкого не вступатися, а судить совместно с посадником, а печать была бы Господина Великого Новгорода... и прочая и прочая. Статей, утесняющих княжескую власть, было весьма много. Юрий, читая грамоту, веселился в душе и даже посочувствовал малость великому князю. Под такой договор не только Михайло, и любой бы взбесился! Ему-то было легко давать и отдавать — не свое дак!

Юрий вспоминал решительные лица братьев Климовичей, прусских посадников, Андрея и Семена, почти бессменных руководителей новгородской республики, и прищелкивал языком. Новгородцы вообще нравились ему. Нравились веселая дерзость, твердое созна-

ние своей выгоды, купеческая хватка и оборотистость. Нравился и сам Новгород, с детства, с тех еще лет, когда отец отсылал его туда учить грамоте. Быстрый и прыгучий на решения, Юрий даже нет-нет да и подумывал иногда: а не перебраться ли ему в Новгород навовсе, став великим князем? Тамо и сидеть! У их станешь сидеть — бунтовать уже не замогут, а и выгода городу немалая: великий стол! Поди, сами рады будут... Мысли эти были дальние, как придут, так и уйдут. До владимирского стола великокняжеского еще — ой-ей-ей-ей! А что стол он добудет и станет великим князем на Руси, в это Юрий верил твердо. Даже не верил — знал. И уверенность эта мало-помалу передавалась всем, кто окружал Юрия. Уже уверились и тоже ждали — когда?

Ничего не говоря братьям, Юрий начал тянуть-затягивать, пропадал в Нижнем (суздальские князья, запоздало сообразив, что московский князь попросту отобрал у них богатый торговый город, тщились теперь избавиться от Юрия) и так в конце концов протянул зиму, потом весеннюю распуту и дождал новгородской смуты. А тут и началось, и Федор Ржевский, Юрьевым наущением, поскакал в Новгород хватать Михаиловых бояр.

Едва дождавшись ледостава, Юрий, захватив младшего брата Афанасия, сам устремился в Новгород, поскольку к нему уже прибыло законное посольство и ждать долее не имело смысла. Иван лишь головой покачал:

— Погубишь Афоню, вот те крест!

Юрий с веселой небрежностью отмахнулся от брата:

— Сиди, Монах!

(Монах, впрочем, собирался, кажется, жениться, и Юрий не знал еще, разрешать ему этот брак или нет.)

В Новгороде Юрия и догнал ханский вызов в Орду. И тут же дошли известия, что Михаил возвращается с татарскою ратью. Неужто опять Иван оказался прав?

Юрий укрепился с новгородцами грамотою, оставил им Федора Ржевского и брата Афанасия с дружиной и по стылым в густом молодом снегу дорогам, по звонкому холоду ранней зимы поскакал в Москву.

Добравшись до Владимира, Михаил Ярославич тотчас разослал гонцов со строгими наказами подымать ратных и вести их к Твери. Владимирский полк был частью уже собран по прежнему, посланному еще из Орды, наказу. Анна, тоже извещенная с пути, сожидала его в Твери. Михаил не хотел торжественных встреч в стольном городе. Торжествовать будет он не раньше, чем сломит новгородцев. Он заставил себя выздороветь. Заставил сесть на коня. С митрополитом Петром встретился дружески (сердце немного оттаяло), но и тут не захотел медлить. На четвертый день князь с полками уже двинулся в Тверь. Татарская конница ушла вперед. Отовсюду стекались рати. Люди шли дружно, и это радовало. Его не забыли на Руси! Тайный гонец из Москвы доносил, что Юрий уже в городе, но никуда не едет — ждет. Михаил распорядился выставить заставы на дорогах и доглядывать: не собирают ли москвичи рати?

С сильно бьющимся сердцем подъезжал он к родному своему городу, обгоняя большие и малые отряды конных и пеших ратников, бредущих по его зову в сторону Твери. Узнавая князя, кмети кричали приветное. Сиренево-серое, мягкое небо ровно облегло белые озера полей и оснеженные темные боры. Деревни курились белыми дымами. Радостно, даже с болью, дышалось, и самому не понять было: от режущего ли ветра или от чего другого навертывает слезы на глаза?

Ближе, ближе, ближе... Давно оставлены назади товары, княжой возок и казна. Конь идет рысью, переходя в скок. В снежном серебряном вихре проносится долгая змея верхоконных в дорогом платье, в цветных шапках. Пышут паром, сверкают изузоренной сбруей кони... И вот уже показалась Тверь. Чернеют толпы народа, вытекшие из ворот города, издалека доносит тонкий, в морозном хрустале, голос большого городского колокола. У Михаила подрагивают губы, застит и застит глаза. Кто это там, на голубом тонконогом коне? Неужто Дмитрий? Как вырос! А этот, рядом, кажись, Сашок? Он круто осаживает, подъезжая. По сторонам кричат, но ему уже не до чина, не до торжества. Сумасшедшие, ждущие глаза сына близко, близко... Роняя поводья, он протягивается с седла, коленом ударяясь в бок голубого скакуна, крепко-крепко обнимает Дмитрия, целует, аж задохнув-

шись, и долго не может отпустить, не может надышаться запахом сына, таким знакомым ароматом кожи, волос, треплет и мнет любимые кудри, не замечая, что ненароком сронил с сына шапку. Наконец, вздохнув, отрывается. Кто-то, бережно отряхнув снег, подает Дмитрию его бобровый околыш, и княжич, улыбаясь, щегольски кидает его на кудри, легким толчком сзади передвинув на лоб. Михаил целует, в очередь, Сашка, видит Константина, и его целует тоже, и едет бок о бок со старшим сыном под крики народа, под благовест, почти не сдерживая радостных слез.

Дмитрий басовито — голос низкий, еще с переломами — сказывает, где и как размещены татары, кажется, винит себя в осеннем деле, за то, что уступили Новгороду по миру. Михаил кивает и не понимает ничего. Сейчас его встретит Анна, и после — всё после, всё потом! А сын — казнись, сын — казнись, ништо! В твои годы и я бывал бит на рати! Господи, да за что мне такая великая радость! Господи, Митя, милый, как же я вас всех люблю!

Полки подходили несколько дней. Михаил, почти не слезая с седла, встречал и размещал ратных. Анна захлопоталась совсем. Кому чего отпускать: кули с мукой, бочки с пивом, мешки сушеной рыбы, полти мороженой говядины — все шло через ее догляд. Вечером еще надо было встретить и накормить князя. Как увидела, в первый-то день, что и похудел, и пожелтел, и морщины, да и седина появилась — чуть не заплакала той поры. Теперь старалась кормить на убой. Сама лишь смотрела, как ест, как жадно ходят скулы, как вздрагивают плечи, как движутся руки, какой острый блеск в глазах от непрерывных господарских дум. Хотелось всего-всего огладить, всего исцеловать. Когда засыпал, не разжимая объятий, долго лежала так, с тихим обожанием слушая, как сильно бьется сердце в его груди, и ничего-ничего больше не было надо, только бы он так, с нею, от всего бы мира укрыть, ото всех бы бед защитить! Да нельзя, не в силах. Недели не пройдет — и снова ей ждать и мучаться, а ему — в новый поход!

Иван Акинфич, у коего рыло было в пуху за осеннее дело, нынче старался вовсю. Шутка, князь татар привел! Видать, по-евонному в Орде поворотило! Ну,

а раз так — услужай, не зевай! Нарочные боярина поскакали во все концы подымать людей, и веля не стряпать. Поэтому и Степан из своей деревни, похороненной в лесах и заметенной снегами, теперь уже впятером — с близняками, оставившими дома двух баб на сносях, и все тем же Птахой Дроздом, который нынче шел с сыном,— оборуженные рогатинами и топорами, на двух розвальнях, вышли в поход. Они добрались до Твери за день до выступления рати, были приняты боярином и даже мельком увидали самого великого князя Михаила. А затем, как и прочие, влились в бесконечную череду конных и пеших ратных, санных возов и возков, в толпу разномастно снаряженного и оборуженного войска, которое, полк за полком, во главе со своими боярами, потянулось вверх по Тверце к Торжку, где, по утверждениям бывалых ратников, их уже ждало новгородское ополчение.

Стояли рождественские морозы. Пронзительно скрипели и визжали на снегу полозья саней. От конского и человечьего дыхания подымался морозный пар. Шерсть на конях, усы и бороды мужиков куржавились инеем. Солнце, не видное в облачной пелене, казалось, не смело взглянуть на холодную землю.

— Масляну тута стречать, ето не дело! — ворчали мужики.

— Масляну не стретим, должны зараньше управить! — без особой уверенности в голосе отвечали ратные воеводы. Снова тележная рать, теснясь к обочинам и залезая в сугробы, пропускала верхоконных. Тревожа смердов незнакомым обличьем шапок, оружия и коней, а боле всего — складом плоских жидкобородых лиц, проходила татарская конница.

— Быват, и наших пограблют, ентим што! — переговаривались в полках.

Минуло Сретение. Солнце в оранжевом круге, промороженное, наконец вылезло из облачной пелены и зажгло снег мириадами сверкающих хрусталей. Торжок показался как-то нежданно, веселым нагромождением бревенчатой городьбы, костров и хором, нарядный и легкий, как невеста в снежном уборе. Было уже девятое февраля. Наутро обещали бой.

Новгородцы с князьями Афанасием Данилычем и Федором Ржевским подошли к Торжку о Рождестве

и простояли шесть недель, перенимаючи вести. Ожидали Михаила вскоре, с одною татарскою конницей и дружиною тверичей. То, что великий князь сумел вборзе собрать такую рать и идет к Торжку в силе тяжце, для многих оказалось нежданным. Посадники, возглавлявшие рать, однако порешили не отступать и дать Михаилу бой под городом. Люди были добротно оборужены, на сытых конях, большая часть дружинников навычны к бою, не раз имели дело со свеей и с орденскими рыцарями, после которых пешая рать Михаила их не пугала вовсе, да и татары казались нестрашны.

Андрей Климович, привставая в стременах и загораживаясь рукавицей,— сверкающая белизна снегов слепила глаза,— старался понять, что задумал Михаил, отводя конный полк? Жеребец под ним танцевал, попеременно подымая ноги и выгибая шею. Андрей охлопал коня, скакун, мотнув головой, отозвался на ласку хозяина, перебрал ногами, легко отвечая поводам, и плавной рысью понес седока вдоль рядов большого полка. Морозный ветер крепко и молодо обжигал лицо. В полку творилось веселое оживление. Боя, истомясь, ждали как праздника. Приметив кудрявого белорумяного, в льняной, посеребренной инеем бороде, знакомого купца со Славны, Андрей помахал рукавицей: «Творимиричу!» Придержав коня, с прищуром оглядел ладную фигуру купца в дорогой броне под распахнутой шубой и в начищенном кованом шеломе. Спросил, улыбаясь:

— Ну как, разобьем Михайлу?

— Свейских немцев били! — степенно отмолвил купец, ответно улыбаясь посаднику. Оба они не догадывали о своей сегодняшней судьбе. Андрей поскакал дальше, чуя радостный задор и нетерпение во всем теле. Эх! И мороз не в мороз!

Надо было урядить с Мишей Павшиничем и Юрьем Мишиничем, посадниками Плотницкого и Неревского концов, да и потолковать: чего там измыслил тверской князь? Юрий Мишинич с князем Федором уже скакали ему встречу и с тем же самым. Скоро подъехал и Павшинич. Тот так и рвался в бой:

— Прошибем пещцев — и всема силами на княж-Михайлов полк! Нипочем не устоят!

Широкое лицо Юрия Мишинича чуть прихмурилось:

— А коли не прошибем? Пущай-ко князь Федор молвит, евонные татар сдержат ле?

Вертлявый, петушистый ржевский князь надул щеки, захорохорился:

— Мы да московляне неуж не остановим?!

— А? Как Славна думат?! — лихо подмигнул он подъехавшим славлянам. Ржевский князь явно подражал новгородцам, называя бояр именами городских концов.

— Ставайте противу татарской рати тогда! — решил Мишинич, а Андрей подумал, что не опасу ради, а ревнуя о своем Неревском конце, говорит все это Юрий Мишинич. Сердится, что они, пруссы, завсегда у власти! И, поддерживая Павшинича, Андрей тоже уверенно примолвил:

— Беспременно прошибем! Рвутце в бой молодци!

Вскоре воеводы, затвердив еще раз, кому за кем выступать, поскакали к своим полкам. Вчера, когда к городу подошли княж-Михайловы силы, и минувшей ночью, на совете воевод, все главное промеж них уже было решено и уряжено.

И конь Андрея вновь летел вдоль рядов тронувшегося в ход полка, туда, где высоко веялось прусское кончанское знамя и посверкивали зеркальные шеломы и дорогие щиты вятших бояр.

Сколько лет ждал он, Андрей, этого боя! И вот — пришло! Пора Господину Нову Городу усмирить тверичей! Что ж, Михайло Ярославич, мало тебе власти на Руси, хочешь и в Нове Городи тож?! Да уж власть теперича наша, новгороцка! Наша власть! Не отдадим никому! И, любуясь, оглядывал он хмельные близящимся боем рожи: Енти да не выстоят! Любую рать побьем! И голодом нынче нас не задавить, хлеба у самих уродило богато! И еще об одном в душе, в самой глубине, мечтал Андрей: схватиться на рати с самим князем Михайлой! Давно, еще в ту пору, как принимали князя на стол, как за одной трапезою сидели, задумал о том Андрей. Чем-то занравился ему великий князь! Гордый, наступчивый, упорный! И с каким же восторгом сшибется он с ним в бою! Бают, Михаил на ратях за воев ся не прячет! Вота бы! Люба! Он сжимал рукоять дорогого харалужного меча свейской работы и, щурясь от слепящего снега, старался на скаку усмотреть там, далеко в полях, великокняжеский стяг.

Михаил (его с утра лихорадило, сказывались болезнь и напряжение предыдущих недель) шагом ехал по дороге, разъезженной и растоптанной в кашу тысячами копыт, и слушал, не прерывая, Ивана Акинфича с тверским городовым воеводой, которые в два голоса настаивали встретить новгородский полк конною лавою. Про себя он уже решил, что так не сделает. Конечно, с помочью татар нехитро было бы разбить новгородцев и в прямой сече, но тогда они попросту отступят и запрутся в Торжке. Следовало разгромить их так, чтобы прок оставших уже не смог противустать приступу. Он оглядывал шевелящееся, как разворошенный муравейник, поле и молчал. Почему эти вот воеводы,— что уговаривают его положиться на конный полк детей боярских и на татар,— почему они не верят смердам, коих сами же и привели? Да, в подвижном бою, безусловно, опытные кмети перешибут этих вот мужиков, но ежели в плотном строю... Видел же он тогда, под Москвой, как пешцы отбивали напуск конницы! Мановением длани Михаил остановил поток речи Ивана Акинфича и велел ставить пешцев в чело густыми рядами и еще перегородить поле телегами, и на телегах тоже поставить лучников. Выстоят тверичи!

— А конный полк, как я велел, отводи на левую руку и жди до часу. Да смотри, не умедли потом!

Иван, поглядев внимательно в желтое суровое лицо князя, понял, что спорить бесполезно, и поскакал исполнять приказ.

Отослав с таким же наказом воеводу правого крыла, Михаил продолжал шагом пробираться вперед. К нему подскакивали гонцы с донесениями, и от него, из кучки ближней дружины, поминутно выезжали и уносились вскачь гонцы с приказами. И огромное, кажущееся бестолково кишащей толпою людей войско послушно перемещалось, принимая тот вид и строй, о назначении коего ведал лишь сам Михаил. Даже и Дмитрий, на минуту подскакавший к отцу (он был оставлен Михаилом с татарскою конницей), подивился про себя небывалому строю ратей, но промолчал, увидел, что отец не в духах, так и не спросил ничего.

Степан и Птаха Дрозд с сыновьями опять оказались противу конного полка. Мало задумываясь, по-

чему так, они лишь радовались, что ратные стоят плотно, плечо в плечо, что сзади, справа, слева, напереди — тоже ратные, что еще дальше назади, прямо за полком, телеги и, по крайности, можно станет хоть туда заползти.

Полк обрастал сплошным частоколом копий и рогатин. Лаптями и валенками мужики уминали снег. Крестились, супились. На новгородцев они все были в злой обиде. В недавнем розмирье Степановой деревне опять досталось от охочей дружины новгородских шильников, и жителям пришлось, бросив скарб и коекакую скотину, спасаться в лесу. Теперь князь мстил Новгороду, полагали мужики, и за ихний раззор. Пото и стояли крепко. Кровное было дело, свое. Поэтому, когда понеслись на них, в вихре снега, с протяжным криком размахивая саблями, новгородские окольчуженные молодцы, тверские мужики только вспятились плотнее к телегам и, ощетинясь рогатинами, встретили новгородскую конную лаву в лоб. Под телеги никто не лез и в бег кинулись едва двое-трое, да и тех бояре заворотили в строй.

Первый натиск отбили. Кони, вздымая на дыбы, с храпом пятили, роняя седоков в снег, лучники били с обеих сторон, и сколь урону понесли пешцы, столь же потерпела и новгородская конница. Перестроившись, новгородский полк опять и опять ринул в сабли, и вновь и вновь откатывал назад, теряя людей. Тверичи уже радовались, кричали обидное, многих охватил задор, иные выбегали из рядов, совали копьями, добивая раненых. Но тут обозленные новгородцы зачали слезать с коней и, построясь пеши, выставя копья, пошли на новый приступ. И теперь-то началось нешуточное. Яростные глаза — лик в лик, хриплое горячее дыхание, кровь и матерная брань, добирались, ломая копья, рубились, резались засапожниками и уже достигали телег. Степан пятил, удерживая строй, пока рядом не повалили одного из близняков. Тут жалкий острый крик сквозь грохот и шум сечи достиг его ушей, и — как оборвалось внутри, понял: убили! Тогда и обеспамятел Степан, бросил расщепленную рогатину, сорвал топор, висевший до дела у него за спиною на долгом паворзне, и с рыком ринул в гущу тел и рук, гвоздя и круша шеломы, щиты и головы. Его трижды ранило, он не чуял, отпихиваемый, вновь лез и лез в сечу, туда, где над трупом сына громоз-

дилась уже куча кровавых тел. Какого-то кудрявого мужика, отрубившего, скользом, ухо Степану, свалил, проломив шелом, и тот лежал в снегу, подплывая кровью, раскинув бессильные руки, уронившие оружие, а Степан, стоя на его вдавленной в снег шубе, полуослепший от крови и ярости, с хриплым утробным дыхом махал и махал топором...

После уж, когда разгребали трупы, и Степан, прочухавшись, начал было снимать с новгородца бронь, тот открыл глаза, поглядел слабо, прошептал:

— Олфим я, Творимирич, со Славны, купечь...— и захрипел долгим затухающим хрипом. И Степан, приодержась, не зная, что содеять, так и держал кудрявую седоватую голову купца на коленях. Затем взгляд новгородца потуск, голубые глаза, уставившиеся в небо, охолодели, он еще вздрогнул раз-другой и умер. И Степан зачем-то снял железную изрубленную шапку с головы и перекрестился, хотя рядом был труп его собственного сына, зарубленного в сече, а другой сын, тяжко раненный, лежал на возу...

Михаил рассчитал сражение верно. Дождавшись, когда новгородцы, сойдя с коней, кинутся в рукопашную, он вывел сразу в охват и в тыл новгородского полка татарскую и тверскую конные рати. Вся вятшая новгородская господа оказалась в охвате. Спаслись, вовремя ударившие в бег, лишь Федор Ржевский с Афанасием да горсть ратных. Костью пали посадники Миша Павшинич, Юрий Мишинич и иные. Андрей Климович, бешено пробивавшийся к великокняжескому стягу, уже было увидал самого Михаила и, скрежеща зубами, рвался к нему. Он был весь залит кровью, своей и чужой, на его глазах пал стремянный и последние дружинники. Он давно понял, что никакой надежды одолеть тверичей не осталось, и одно билось в нем: досягнуть, досягнуть, хотя мертвым, а досягнуть великого князя! И почти доскакал. Умирая, на смертельно раненном коне, он, шатаясь, приближался к Михаилу, и князь, обнаживший оружие, вгляделся и узнал. Только и было одного взгляда меж ними. И, узнав, понял, чего хочет тот, и поднял было оружие, чтобы с честью проводить боярина на смертное ложе, но Андрей, у коего из-под изорванной в клочья кольчуги хлестала кровь, шатнулся, помутневшим взором следя расплывающийся в глазах очерк рослой фигуры князя на рослом караковом коне, обведенный по краю

не то кровью, не то алым цветом княжеского охабня, и, прошептав: «За три сажени всего...», грянул плашью с конем в красный от крови снег, в черную муть смерти, в небытие.

Еще рубились последние упорные кмети, еще резались пещцы у возов, и татарские всадники, с гортанными криками, догоняли и вязали бегущих... Победа была полная. И Михаил шагом ехал по истоптанному снежному полю с темными пятнами крови там и тут и кучами порубленных тел, около которых уже суетились ратные, одирая с мертвецов оружие и порты.

Распорядившись о раненых и убиенных, Михаил приказал, окружив город, приметывать примет. Впрочем, осажденным горожанам уже было не до битвы. Наутро в стан к Михаилу явились послы с просьбой о мире. Михаил принял бояр в шатре и, не входя в долгие разговоры, потребовал выдать изменника Федора Ржевского и княжича Афанасия. Посовещавшись, послы воротились с тем, что выдать могут одного Федора, яко изменника своему князю, а «за Афанасия готовы главы своя приложить и измерети честно за святую Софию». (Говорилось это, как понял Михаил, не столько для него, сколько для московского князя Юрия, перед которым новгородцы, выдав Афанасия, оказались бы в ответе.) С Новгорода Михаил потребовал окуп в пять тысяч гривенок серебра и согласился на мир после выдачи одного ржевского князя.

Михаил был мрачен и не заговаривал даже с ближними боярами. Когда, наконец, явились к нему, заключив мир, новгородские бояре с княжичем Афанасием, он, прямо глядя на приведенных, приказал всех заключить в железа и отослать в Тверь, и княжича Афанасия тоже. Даже свои бояре не ожидали такого от Михаила. Но великий князь (его одолевала болезнь, и он, как мог, боролся с собой), горячечно глядя мимо и сквозь своих думцев и воевод, велел приступать к стенам и, буде торжичане не откроют города, идти на приступ.

Город открыли ввечеру, и великокняжеские войска начали вливаться во все ворота, занимая дворы. На другой день князь велел отбирать по дворам доспехи и боевых коней у всех горожан, ратных и не ратных, у кого ни буди, а затем начал брать окупы со всех подряд, продавая добро захваченных тут же, в торгу.

Дождавшись в Торжке новгородского посольства

с повинной и обещанием серебра, он отослал в Новгород своего наместника и, ополонившись вдосталь, разорив новоторжцев и волость, разрушив напоследях городской детинец, поворотил в Тверь.

Тою порой разосланные в зажитье отряды продолжали пустошить Новгородчину, и многие села, забранные прежде новгородскими боярами или даже устроенные ими самими, спасаясь от грабежей, заложились за великого князя. Михаил принимал закладников, не моргнув глазом, нарушая тем самым все решения новгородского веча, принятые еще со времен Андрея Александровича. Но он знал, что делал, и не один гнев руководил великим князем в этой войне. Над ним висела Орда, и Михаил чуял, что вынужденная милость Узбека к нему может истаять прежде, чем истает весенний лед на Волге, а тогда единым спасением страны будет только твердая власть великого князя. Если еще не поздню. Если вообще не поздно что бы то ни было.

Юрий, получив в Москве весть о торжокском разгроме и поняв, что дома надеяться не на что, пятнадцатого марта, через Ростов, отбыл в Орду. Туда же устремились и новгородские послы с жалобою на великого князя, но Михаил, разоставив сторожи по дорогам, перенял их и посадил в железа.

Воротясь в Тверь, Михаил сместил епископа Андрея с кафедры (старый тверской епископ, видя остуду князя, сам попросился в монастырь) и настоял на избрании Варсонофия, вскоре рукоположенного Петром.

Новгородцы меж тем задерживали окуп, а Михаил задерживал хлеб, недостаток коего уже начинал ощущаться в Великом Новгороде. Новгородцы, наконец, прислали обещанное по миру серебро, но заключить ряд с князем на новых условиях отказались наотрез, ссылаясь на докончания с Андреем Александровичем и на измышленное ими «рукописание Всеволода». Назревала новая война. Михаил меж тем помог суздальским князьям воротить Нижний, и москвичи, поскольку Юрий Данилыч сидел в Орде, новой распри не затеяли.

Анна была на сносях, и в конце года родила сына, нареченного Василием. Знал ли Михаил, что это последний его малыш?

Год прошел, и новгородцы снова восстали, выслав наместника великого князя вон из города. Михаил собрал чуть не всю Низовскую землю, порешив идти

на Новгород весной, хотя многие и отговаривали его от похода в эту пору. Пути были непроходны, топи и болота скрозь по всей Новгородской волости, да и хлеб не созрел, ежели что... Но в Михайле проснулся древний нерассудливый гнев, и он не похотел ничего и никого слушать. Рати вышли в поход и двинулись к Новгороду.

Новгородцы в ответ совокупили всю свою землю, привели псковичей, ладожан и рушан, корелу, ижору, вожан, вооружили всех городских жителей поголовно и обнесли город острогом с обеих сторон, решившись биться до последнего. Великий князь остановился в Устьянах, за пятьдесят верст от города, и тут затеял переговоры, требуя уступок и не беря мира. Меж тем огромное войско становилось нечем кормить, и тут еще самого Михаила свалил приступ непонятной ордынской болезни. Князь лежал и бредил, не узнавая никого. Княжич Дмитрий оставался в Твери, и воеводы растерялись. Переговоры были прерваны, Михаила с бережением повезли назад, а голодная рать тронулась разными путями и начала пропадать в лесах. Тонули в болотах. Теряя последних коней, брели кое-как, опираясь на копья, распухшие, в тучах безжалостного комарья. Иные, падая, уже не подымались. Резали и ели лошадей, потом дошло до того, что одирали кожу со щитов, варили и ели, отрезали голенища от сапог, жевали ременную упряжь. Тяжелое оружие, осадные пороки, щиты, копья — все было пожжено или брошено. Пешие, шатаясь, словно тени, выбирались ратники из болот и дебрей, с трудом добредали до родимых хором, вваливались, распухшие, обезножевшие, под вой женок. Плакали и крестились, что остались в живых. Так бесславно окончился этот поход, не давший Михаилу взять власть над Новым Городом.

Больной Михаил, придя в себя — уже в Твери,— узнав, что случилось с его ратною силой, заплакал и приказал крепить город и пуще стеречь захваченных новгородских бояр. Юный Дмитрий отправился собирать новую рать.

Зимой начались переговоры. Новгородцы, понадеявшиеся, что после разгрома великий князь омягчеет, сильно ошиблись. Михаил, еще слабый после затяжной болезни, принял послов с твердостью и потребовал прежнего. В самом начале февраля в Тверь прибыл новгородский владыка Давыд с мольбою отпустить

за окуп захваченных князем новгородских бояр. Михаил отказал архиепископу, и Давыд отбыл восвояси.

— Одолеем, отец? — как-то спросил его Дмитрий, только-только прискакавший из Кашина. Михаил поглядел на сына долго и тяжело. Помедлив, отмолвил с просквозившей печалью:

— Не ведаю, Митя. Тоя весны я мыслил стоять в Новом Городе! — И добавил, твердо возвысив голос: — А драться надо. Мы с тобою должны крепить Русь.

— Против Новгорода? — переспросил Дмитрий.

— Против Орды. И против Литвы, ежели что, и против немцев, и свеи. Вместе с Новгородом! Я же не с лица земли стереть их хочу в конце концов!

— Боюсь, что тебя не понимают, отец! — робко отозвался Дмитрий. Таким мальчиком чувствовал он себя сейчас рядом с родителем!

— Поймут. После моей смерти, может! У нас любят прославлять после смерти. Но поймут! — возвысив голос, пообещал Михаил.— Что кашинцы?

— Собирают полк! — готовно отозвался Дмитрий.

— Много зла натворили татары в Ростове?

— Весь город, говорят, ободрали!

— А это послы! С самим князем Васильем из Орды пришли! Вот и помысли! При Тохте такого не творилось. Мы для них теперь «райя», рабы! Так-то, сын! Боюсь, что новой рати в помощь мне в Орде уже не дадут!

— А Гедимин нам не опасен, батюшка?

— Я посылал послов, договор о дружбе возобновили. Быть может... у него есть дочери... Подумай, сын! А правду баять — и того не ведаю. Только против Орды и Литвы вкупе нам не устоять. Надо, ежели что, татар бить с Литвою вместях.

— Кто нам сейчас страшнее всего, отец? Литва или Орда?

— Страшнее всего... Московский князь, Юрий Данилыч! — отозвался не вдруг Михаил.

— Он все еще в Орде? — начиная понимать, спросил Дмитрий.

— Да, в Орде! — мрачно ответил отец.

ГЛАВА 45

Юрий пробыл в Орде почти два года и теперь возвращался победителем. Все замыслы его исполнились. Он женился на сестре Узбека, Кончаке, перекрещенной в Агафью. И теперь красавица с узкими, приподнятыми к вискам глазами с ревнивым обожанием то и дело выглядывает из возка: где он, ее золотой князь? Почто не сойдет с седла, не сядет близ нее на шелковые подушки в обитый мехом и такой уютный внутри возок, не коснется ее рукою, от чего всё тело становится враз слабым и жарким... И она одна, одна у него! Урусутам Бог не позволяет иметь много жен!

Рабыни прикорнули в ногах, где тесно стоят сундуки и сундучки с драгоценностями, свернулись, как собачонки, в своих шубах из тонкого куньего меха. Кончака-Агафья выпрастывает руки в перстнях, с накрашенными длинными ногтями, из долгих рукавов собольего русского опашня. Поправляет украшения. Так непривычен еще золотой крестик на шее! Она капризно надувает губы: что же не идет к ней, не согреет, не приласкает, не развеселит ее ненаглядный алтын коназ?!

А Юрий скачет напереди, румяный от морозного ветра, забыв про жену. Что жена! Великое княжение — вот что подарил ему Узбек свадебным даром, приданым своей сестры! Ну, и самому прежде дарить пришлось! Каждому из князей ихних по золотой тетерке! Серебра ушло — прорва! Иван, получив заемные грамоты, за голову схватится. А — не беда! Теперь из казны великокняжеской расплачусь! Взовьется же Михайло теперича!

С Юрием идут два князя ордынских, Кавгадый и Астрабыл, два тумена татарской конницы ведут за собой, чтобы тверской князь не упрямился очень. С ним власть! Власть над страной, над Русью! С ним сладкая (и ладони аж зудят от нетерпения), прямо сладчайшая, слаще меда и сахара, предвкушением одним сводящая с ума похоть: разделаться с Михайлой и с его Тверью, увидать наконец въяве срам и унижение врага! Полузабытое, из дали дальней, из прошлых лет, приходит воспоминание о худом, дурно пахнущем старике, что, трясясь от бессилия и злобы, обличал его, Юрия, в тесном затворе в самом сердце Москвы и, обличая, знал, что сейчас умрет... И умер. И никто уже не вспомнит того! Нет, теперь бить, и бить, и бить, и до-

бить до конца! Это они сейчас про Михайлу: великий да мудрый, а умрет — забудут! И могила не просохнет еще! Я буду мудр, я велик! Теперь Иван перстом не щелканет противу — добытчик! Пущай сидит на Москве да считает кули с зерном! На то только и гож! Мелко плавашь, брат! Размаху у тя нет! Вот я зять царев и великий князь! Всё вместях! Разом! И Новгород Великий меня принял! Вся земля в кулаке! А Михайлу... в железа его! Пущай хоша в яме посидит... И уже пахнет весной! Или это от радости, что даже ледяной февральский ветер кажется сладок, будто цветущие яблоневые сады? А солнце! А снега — скрозь голубые! Любота!

Он смело прошел сквозь Рязанскую землю, и его не тронули, даже дары поднесли. Москва встречала его жидким звоном («Ужо тверской колокол сыму, не так будут звонить!» — пообещал себе Юрий.) и густыми толпами горожан. Ахали, разевали рты. Верили и не верили. Да и дивно было: как же так вдруг, сразу? Тохта приучил к порядку, к тому, что все по закону, по ряду, по обычаям, а тут — нате! И великое княжение, и жена — царева сестра, и рать татарская! Поневоле закружится голова! Вся Москва выбежала встречу: взглянуть, подивиться своему рыжему князю — досягнул-таки!

— Вон он, едет из заречья, верхом на чалом коне, вон, вон, рукою машет! А в том вон возке супружница еговая, царская сеструха! Красавица, бают!

— А ты видала ли?

— А и не видала, дак люди молвят, не врут!

— Ну, за красивой-то велико княженье в придано дадут вряд ли? Поди, кривая кака да перестарок!

— Што и мелешь, милая, да нашему князю уж некрасовитой-то и в Орде не дадут! Сам из писаных писаной!

— А татар-то, татар с им навалило, страсть! Едут и едут с самого заранья!

Мишук стоял в охране пути и аж охрип, усовещивая охальных. Бабы прямо на плечи лезли князя посмотреть, словно не видали допрежь! Он и сам, впрочем, сожидал Юрия как будто наново. Шутка, великое княженье получил! Что бы батько покойный-то нонече молвил? Не любил больно-то Юрия, а вишь, как оно поворотило!

Мечтая, как и все, увидеть Юрьеву молодую, Мишук тянул шею, ловил миг и прозевал-таки! Пока отпихивал

толстую старуху, что лезла непутем под самые копыта поезжан, княгиня выглянула из окошка возка, махнула рукой и скрылась. Так стало обидно, чуть не ударил поганую старуху в гузно древком копья!

Призадумался он только вечером, когда, голодный и усталый, дождавшись наконец смены, добрался до своей хоромины. Хлебая перестоявшие щи и вполуха слушая воркотню тетки, он понял вдруг, что ведь будет опять война! Не таков же Михайло Ярославич, чтобы так вот просто уступить стол Юрию?!

Узнав назавтра, что объявили сбор рати, он почти не удивился тому, так уже и знал, что созовут в поход. Вот те и женитьба, что почти уже сварганила тетя Опросинья, вот те и жена молодая! Когда начали оборужать полки, Мишук так и предрек сотоварищам, что поведут их прямехонько на Тверь.

Полки, однако, вместе с татарской конницей двинулись на Кострому, где их уже ждали дружины князя Михайлы. С ним были суздальские князья со своей ратью, и у Михаила оказалось угрожающе много войск. Юрий скликáл подручных князей, слал гонцов в Новгород, но шли к нему туго, предпочитали пережидать. Гадали, верно, чем еще кончится? Да и не верилось как-то никому, что это всерьез. Николи такого не бывало! При Андрей Саныче — так тогда в Орде был Ногай, пото и ратились, а теперь? Ни за что ни про што?! Мало ли кто женится в Орде, всем и велико княженье подавай? Словом, не шли. Юрий злился, войска проедались. Проходил март. Новгородцы были далеко, приходилось вести переговоры с Михаилом, что-то обещать, о чем-то уряживать... Добро, переговоры взял на себя Кавгадый! Юрий про себя чуял: он бы сорвался, натворил чего неподобного. Ратные, выступившие налегке, теперь приголадывали и зорили потихоньку округу, что тоже не прибавляло популярности Юрию. Татары, так те волокли добро и полон безо всякого. Весна шла ранняя, уже рушились пути, и новгородцы не могли выступить. Михаил сам соступился великокняжеского стола, требуя лишь обещаний, что Юрий больше его не тронет. И это приходилось обещать, хоть поначалу совсем не о том мечтал Юрий, вживе представлявший себе Михайлу с веревкой на шее у своих ног.

Мишук изводился стоючи, как и все в полку, и одно только было развлечение — выглядывать ордынских князей. Переняв несколько татарских слов от тетки,

он заговаривал с ордынскими ратными, те отвечали охотно, съезжаясь, хлопали по плечу, звали к себе на службу. Мишук улыбался, отшучивался. Сам, робея, поглядывал — близко ли свои? Енти и силом увести могут, им што!

Ему показали и Кавгадыя и Астрабыла. Кавгадый и к ним в стан приезжал не пораз. Он был, сказывали, старшой. В пушистой лисьей шапке, в дорогой русской шубе — верно, даренной Юрием,— весь увешанный драгоценным оружием, изузоренным так, что было уму непостижимо, на узорном, в голубых камнях и серебре, высоком седле. Конь под шелковой попоной, и конь-то не простой, идет, как плывет! Сам Кавгадый был не столь высок, но плотен и, видимо, силен, с широким, мясистым, немножко бабьим лицом. Припухлые мешки над раскосыми глазами придавали ему вид лукавой старухи сводни, усы были тонкие, длинные, а бородка жиденькая и лицо плоское, как у большинства татар. Ка́вгадый прошал что-то у воинов, улыбался, кивал — точно по-бабьи! Но как-то раз, осердя́сь, вдруг глянул зло, обнажив зубы, почти не разжимая их, резко выкрикнул, и тогда на щеках у него звериным оскалом сложились две тугие страшные складки, и сошедшие в щели глаза глянули столь пронзительно-беспощадно, что Мишук шатнулся от него, едва не кинувшись в бег, хотя не к нему и не о нем был окрик Кавгадыя, верно, даже не заметившего одинокого русского ратника среди своих воинов.

Этот Кавгадый и устроил все. Михаил без бою уступил Юрию по царевой грамоте Владимир и великое княжение. Суздальским князьям Юрий обещал оставить Нижний за ними (уже начал понимать, что без союзников Михайлу и нынче не одолеть). А потом соступившийся великокняжеского стола Михаил двинулся в Тверь. Астрабыл с половиною татар поворотил в степь, а Кавгадыя, после пиров и многой толковни с глазу на глаз, Юрий сумел оставить у себя, с одним туменом татар, которых на время весенней распуты частью расположили во Владимире, а частью в Переяславле — стеречь княж-Михайловых воевод, не сунулись бы невзначай! Сам же Юрий с Кавгадыем поскакал в Москву, где его ждала истосковавшаяся по нем татарская жена и где воеводы уже начинали, по его наказу, совокуплять ратную силу для войны с Михаилом.

От суздальских князей Юрий вскоре получил обеща-

ние выступить вместе с ним против Михаила, да и иные князья, помельче, поняв, что ярлык нешуточно перешел к московскому князю, присылали своих гонцов к Юрию, обещая помочь кормами и ратною силой тотчас, как свалят страду.

В Новгород на сей раз Юрий послал вместо себя Ивана — подымать новгородцев на войну. И Иван отправился без спора, готовно исполняя волю брата, теперь великого князя владимирского. Да, впрочем, Ивану спорить уже и не приходилось. Почти нарушив волю брата, он женился в его отсутствие на дочери московского великого боярина. И хоть Олена (так звали молодую) была и хороша собой, и кротка нравом, и хоть в приданое Иван получил несколько богатых сел под Москвой, много серебра, драгоценных портов, рухляди, коней,— брак этот возмутил Юрия и самоуправством Ивана, и тем, что Иван выбрал себе невесту не из княжон. Он даже хотел было развести брата с женой, но накатили дела ордынские, не до того стало. А в прошлом году у богомольного братца родился сын, Семен,— видать, не только молились они с женой по ночам! Так ли, иначе, брат вел хозяйство хорошо, и в Новгороде урядил толково. Борису Юрий жениться не дозволял, да он, кажись, и сам уже не хотел того. Пока у Юрия была одна дочь и не было супруги, приходилось думать о наследнике московскому дому хотя бы и от Ивана. Теперь же Агафья, гляди, нарожает ему сыновей, и братьям уже плодить своих потомков неча! А то наследники и все княжество по кускам разволокут!

Юрий хотел напасть на Михаила летом, но все союзные князья жались и тянули. А Иван, воротясь из Новгорода, доносил, что и новгородцы хотят сперва управить с жатвою. Поход откладывался на осень, и Юрий злился, но поделать ничего не мог.

На увещания митрополита Петра не затевать братней которы, Юрий, бегая глазами, врал, что ничего такого не мыслит и лишь держит татар опасу ради, от возможных Михайловых угроз. Да и верно: Афанасий еще сидел в плену, и с новгородцами по-годнему уряжено не было.

Петр, разговаривая с Юрием, чувствовал то же бессилие, что некогда покойный митрополит Максим, и то же горькое сомнение приходило ему на ум: да верует ли Богу этот московский князь, получивший ныне ярлык на великое княжение владимирское? Одно было

видно: упорства и жажды достичь своего ему не занимать стать. Этого упорства в хотеньях здесь, во Владимирской земле, хватало с избытком у многих. В земле этой, в этом славянском племени нарождалась великая сила, и сколь надобно было силу эту поворотить на добро! А — не получалось. Пока не получалось. Медленно прозябают семена добра и мудрости — годы и годы, целые жизни проходят, прежде чем они процветут и дадут плоды. И сколь быстр и гибелен путь гнева, вражды и корысти! Что же одолеет в этой тысячелетней борьбе здесь, на Русской земле?

Михаил Ярославич не обманывал себя ни дня, ни часу. Он знал, что Юрий не успокоится и что с Москвою будет война. Но теперь, когда великое княжение в руках Юрия, от него и от Твери отступятся все. Даже суздальские князья, как он уже узнал, перекинулись на сторону Юрия... Будь жив Тохта, он бы не разрешил усобицы в своем русском улусе: настоял бы на съезде, на бескровном разрешении всех споров... Как возмущало их всех некогда это спокойное давление, строгая мунгальская воля, не дозволявшая «вонзить меч в ны» — затеять братоубийственную резню! И как не хватало ее, этой благостной воли теперь, когда все вновь распадается и лишь иная, сторонняя сила могла бы уберечь страну от грабежа! Он знал, что будут сгоревшие деревни, трупы по дорогам, полон, бредущий в дикую степь, резня и осады городов, и сожженные хлеба, и голодные глаза детей... И он должен был противустать этому сраму, ибо Юрий не давал ему покончить миром, не зоря земли и не наводя татар на Русь... Не давал, или он сам не хотел уступить московскому мерзавцу? Было и это! Не хотел уступить. После всех трудов, после жизни, положенной им за эту землю, так просто уступить, уничтожиться, исчезнуть — он не мог. Мог бы, быть может, уступить дорогу достойному — тому, кто, пусть иначе, чем он, Михаил, но столь же глубоко и ответно понимает нужду земли, кто мыслит и прошлым и грядущим, а не только единым сегодняшним днем, как Юрий. Но этому татарскому прихвостню, что, не задумаясь, примет любую веру, пойдет на любую пакость, лишь бы досягнуть вышней власти,— зачем?! Потешить самолюбие, боле не за чем! Этому подлецу он даром уступить не может.

Не способен. Права не имеет. Пусть, до часу, сидит на владимирском столе, но уже Твери он ему не отдаст!

Сразу после сева Михаил приказал скликать мужиков на городовое дело в Тверь. Кремник раздвигали почти вдвое в сторону владимирской дороги. Вели новый ров двадцатисаженной глубины, по насыпу ставили новые городни, засыпанные утолоченной рыжей глиной, подымали валы по Тьмаке и волжскую стену рубили и возвышали наново. Тысячи мужиков рыли землю, тысячи муравьиными бесконечными вереницами вывозили на телегах нарытое наверх, тысячи рубили городовые прясла и ставили костры. Работа не прекращалась даже на ночь. Михаил, не доверяя городовым боярам, сам объезжал жуткие развалы и осыпи липкой, глинистой, вставшей дыбом, изъезженной колесами, на себя не похожей, вывороченной до самого нутра почвы, потерявшей вид и форму тверди земной. Люди, выпачканные в земле, при всем своем муравьином множестве, казались малы перед страшною крутизною гигантских валов, которые уже никакие примёты не смогли бы засыпать, никакие вороги взобраться до верхних стрельниц и никакая татарская конница не сумела бы одолеть. Конь, напруживая жилы, неуверенно пробовал угрязающими копытами дорогу, вздрагивал и прядал ушами от гулких ударов дубовых баб по сваям, косился на тьмочисленное мелькание заступов. Рослый старик в посконине разогнул спину, обрасывая пот со лба, оперся на заступ, передыхая. Михаил подъехал к нему, поздоровался, спросил об имени. Старика звали Степаном. Скоро вызнал Михаил, что он из дальней заволжской деревни, что один сын у него убит в сече под Торжком — осталась баба с внуком,— а другой сейчас с ним, возит глину на лошади.

— Близняки были робяты, дак вот и жалкует теперя!

Михаил смотрел на крепкого старика с распахнутым воротом, на его потную, с кожаным гайтаном креста, измазанную землею грудь, на твердые ключицы и могутные предплечья коричневых рук, на длани в мозолях, трещинах и грязи, плотно охватившие верхушку рукояти заступа, на твердые — даже на взгляд — руки пахаря, приучённые к обжам сохи, топору, заступу и рогатине, а не к сабле и не к перу, коим пишется на дорогом пергамене или лощеной привозной бумаге история войн и бед народных.

— Задыхаюсь маненько-то, годы! — пожаловался старик.— Сам я из Переславля, вишь. От Дюденевой рати батько бежал да помер дорогою, а я уж и не похотел ворочаться. Да и некуда, поди... Окинф-то Великий в те поры, как Андрей Саныч помер, хотел было Переслав отбить, да сам голову тамо сложил. Мы уж за Окинфова сына, Ивана, и заложились. Я и под Москвой на рати был, княже! Тебя видел еще, на вороном коне.

— Помер тот конь!

— Вот, вишь... Годы-то идут. Как оно в Орде-то положили, непутем!

— Я, Степан, тогда, под Торжком, вас, мужиков, нарочито сам во чело поставил, противу большого полка. Где сын-то у тя погиб. Не зазришь? — неожиданно сам для себя выговорил Михаил. Старик вздохнул, поглядел серьезно, устало.

— Рати без мертвых не быват! — сказал он, подумав.— Иного бы убили, тамотка тоже и отец, и детки, и женка, поди... Ты, князь, не казнись о том, можем и еще за тебя стати! Нашу деревню, вон, новгородчи не пораз жгли, могли и в родимом дому ево убить! А токо без княжой обороны и вдосталь разорили бы нас альбо в полон увели... Конешно, сердце иногды и повернет: думашь, лучше б меня, старого лешака, повалили, чем ево, парня-то! Уж и на возрасте, а по мне-то все отрок малый... У тя самого сыны, понимашь, дак! — прибавил он чуть дрогнувшим голосом. Чуялось, что смерть сына в чем-то уравняла его с князем.

Старик крепко отер лицо, постоял и, кивнув каким-то своим несказанным мыслям, взялся за заступ.

— Вона, едет сын-от! — кивнул он на подъезжавшую телегу, которой правил, стоя, молодой мужик, во все глаза уставившийся на князя.

— Ну, прощай, Степан, не кори! — сказал, отъезжая, Михаил.

— Прощай, княже! Ты свое доглядай, а мы не подгадим! — отмолвил старик, сильно и яро вгоняя заступ в землю.

Михаил ехал шагом, объезжая с каким-то новым, неведомым ему самому доселе береженьем крестьянские, груженные рыжей глинистою землей возы, и, присматриваясь, подмечал у большинства яростное, как у того старика, Степана, упорство и наступчивость в работе: в том, как копали, как швыряли тяжелую землю, как круто заворачивали полные возы, как и там, на-

верху, дружно волокли бревна и крепко, без устали, махались блестящие секиры древоделей, как мельком, разгибаясь, обрасывая пот со лба и щек, взглядывали на него — кто с промельком улыбки, а кто, подобно старику Степану, просто и строго,— и, глянув, тотчас вновь принимались яростно швырять землю,— по всему по этому видел Михаил, что эти люди верят ему по-прежнему и по-прежнему готовы за него драться.

Юрий двинулся в поход, едва собрали урожай. В конце сентября московские рати вкупе с татарами уже пустошили Тверскую область.

Горели деревни. Который уже раз горели деревни! Ветер нес горький дым и чад, жалко блеяли овцы, надрывно мычали коровы, плакали дети, угоняемые в полон. Жаркими кострами, выметывая в небо снопы огня, горели скирды сжатого и необмолоченного хлеба. И потому, что татары, зорившие все подряд, шли вместе с москвичами, на москвичей смотрели тоже как на нехристей. Избегшие погрома мужики, устроив в лесах женку с детьми, кинув семью на стариков, шли, пробирались в Тверь. Шли с топорами и рогатинами, хоронясь дорог и пажитей, шли, с черными лицами, со сведенными ненавистью скулами, шли, остро и слепо глядя прямо перед собой. Добираясь до Твери, не передохнув даже, приходили на княжой двор и тут получали мису щей и каши, шелом и щит и становились в ряды очередного городского полка.

Проходил октябрь. В мелких моросящих дождях, в наступившем холоде шли и шли из лесов тверские мужики с туго сведенными скулами, оборванные, голодные, злые. Молча жрали черную кашу, давились, отвыкнув от еды. Молча разбирали оружие, рогатины, сабли, копья, сапоги и порты.

Михаил ждал. С Юрием поднялась вся земля, князья суздальские, ростовские и ярославские, стародубский, муромский, дмитровский, ополчения из волжских городов — Костромы, Городца, Нижнего, владимирцы, еще недавно ходившие под его рукою... Запоздав с урожаем, двигались к Твери новгородские рати. Земля в каком-то исступлении спешила разделаться с тем, кто вот уже полтора десятка лет был честью, славой и спасением Владимирской Руси! (Далекие потомки должны прибавить: и Руси Великой,— ибо в

эти грозные годы только он, Михаил Ярославич Тверской, спасал и хранил страну от распада и исчезновения в волнах иных племен.)

Михаил ждал. Запаздывали, боясь или не желая выступать, полки из низовых тверских городов. Кашинцы, как ни торопил их Дмитрий, продолжали медлить.

Епископ и ближние бояре, купеческая старшина не пораз являлись на княжой двор, с поклонами, но настойчиво звали князя на бой. Михаил медлил. Он сидел, большой, тяжелый, мрачно уставя выпуклые, широко расставленные глаза, уложив перед собою твердые могучие руки воина, и ждал. Анна, робея, приступала к нему, тормошили сыновья, приходилось отвечать епископу и избранным горожанам...

— Думаешь, Узбек разъярится, коли побьешь татар еговых? — спрашивала Анна. Михаил взглядывал на нее, молчал.

— Или сил мало у нас?

— И это. Кашинцы медлят,— коротко отвечал князь.

Епископу в очередной раз Михаил отмолвил:

— Достоит ли мне, владыко, битися с русичами, коих я, как великий князь, боронил от ворогов?

И Варсонофий не смог враз возразить князю...

— Отец, что же деется, московляне всю землю пусту сотворят! — восклицал Дмитрий, только-только прискакавший из-под Углича. Михаил подымал тяжелые глаза, долго глядел на сына и не отвечал ничего.

Вооруженные заставы, по слову Михаила, на всех путях перехватывали новгородских гонцов к Юрию. Пленных приводили в Тверь. Михаил выслушивал донесения, кивал, твердо наказывал и впредь стеречь пути. Было непохоже, чтобы он упал духом или потерял себя.

Уже на размешанную коваными копытами грязь полетели белые мухи и ледяные ветра рвали последние листья с дерев. Роптали кмети. Московляне, продолжая пустошить волость, двигались к Волге. Бояре с епископом паки и паки уговаривали князя дать бой ворогам, уверяя, что готовы главы своя положить за князя. Михаил глядел, выслушивал, думал. Боярам не отвечал ни да ни нет.

В ноябре, заслышав приближение Юрьевых разъездов, поднялись наконец кашинцы. Михаил тотчас стремглав поднял конные полки и повел к Торжку. Нов-

городцы, коих князь обошел, отрезав пути, пополошились и, не имея вестей от Юрия, поспешили заключить с князем мир, «яко никому не вступатися» в дела противной стороны. Это была первая и очень важная победа тверского князя.

Уже замерзала грязь на дорогах, и первый снег, укрыв колеистые разъезженные пути, сделал вновь прохожей и проезжей многострадальную русскую землю. И уже по снегу брели и брели в Тверь ратные мужики, беженцы, бабы с коровами, старики, собаки и дети. И даже привычным ко всему воеводам тяжко было зреть перепуганных сирых и голодных, помороженных дорогою селян, синих детей, точно хохлатые воробьи выглядывающих из телег и саней, в робкой надежде хоть здесь, в городе, обрести приют и защиту от зимы, глада и ворога.

Снег валил все гуще, заметая трупы на дорогах. Стоял декабрь. Уже почти три месяца продолжался грабеж Тверской волости.

Юрий ждал морозов, чтобы по окрепшему льду перейти на левый, пока еще не разоренный, берег Волги. Он уже почти не страшился Михайловых ратей и говорил о противнике своем с откровенным презрением.

Полагаясь на татарскую помочь и на обилие собранных воев, Юрий выступил в поход, словно на пышную прогулку. Возы и возки с припасами, толпы слуг и походная кухня сопровождали московского князя от стана к стану. Кончака-Агафья ехала вместе с ним. Юрий устраивал медвежьи охоты, дарил жене соболей и тверских рабынь, ежедневно пировал у себя в шатре, одаривая и привечая татарских воевод. Поверив в собственные таланы, он сам разоставлял рати, сам водил полки, захватывая и зоря безоружные деревни, сам рубил с коня бегущих селян и, окровавив саблю, гордясь, возвращался к расписному шатру, где ждала его раскосая жаркая и неистовая татарка, с накрашенными ногтями и покрытыми хною ладонями рук, где ждали его роскошные блюда, дичина, рыба и хмельные пития, привезенные из греческой земли. С холодами Юрий начал останавливаться в боярских усадьбах, но все продолжались пиры и пышные приемы гостей, все продолжались охоты, облавы на людей и зверя, медвежьи потехи и соколиная охота, все продолжалось, не кончаясь, празднество, растянувшееся на три месяца, пир

победителя, чаявшего уже так вот, пируя, войти и в саму Тверь.

Бой с войсками Михаила произошел в сорока верстах от Твери, под Бортеневом, 22 декабря 1317 года.

Заслышав о подходе тверских ратей, Юрий стянул полки московлян и союзных князей, сам, не слушая воевод, разоставил воев, повелев Кавгадыю выдвинуть татарскую конницу на левое крыло, в охват тверичам, дабы догонять бегущих, отрезая их от Твери. Полагаясь на превосходство в силах, Юрий надеялся истребить и забрать в полон всю Михайлову рать вместе с самим князем. От новгородцев все еще не было никаких вестей, и Юрий не знал о невольном мире, заключенном ими с Михайлой.

Гордясь собою, конем и оружием, ехал он утром этого дня по снежному полю и, любуясь, глядел, как движутся бесчисленные конные дружины его войска и как вдали медленно, словно бы увязая в снегу, ползут по скату холмов пешие ряды тверичей. Вспоминая, как рубил бегущих, он с удовольствием предвкушал побоище и зудящими ладонями уже как бы чуял крепкий замах сабли, падающей с высоты в удар, и, подобное снопам, мягкое падение в снег мертвых тел разбегающихся от него тверских пешцев. К нему подъезжали князья, он улыбался, радостно встряхивал рыжими кудрями, выпущенными из-под шелома на плечи, соколиным взором своих голубых глаз окидывал поле и холмы и бесчисленную, шевелящуюся повсюду рать, шагом и рысью проходящие дружины, гонцов, что в снежных вихрях проносились по полю к нему — всё к нему! — с донесениями от воевод, оборачивался назад, туда, где, едва видные отсюда, были раскинуты походные шатры и ждала Агафья, пожелавшая видеть бой и истребление Михайловых воев,— и серый зимний день казался ему солнечным, и уже достигнутою — победа над Михаилом. И проходили полки, и проплывали знамена, и приветно кричали при виде Юрия ратники, подымая над головами копья, горяча коней,— за три месяца безнаказанного грабежа все они, как и Юрий, уверовали в легкую победу и шли сейчас на рысях, убыстряя и убыстряя скок, почти не сомневаясь, что тверичи при их приближении ударят в бег и им придет только колоть и рубить бегущих.

Кавгадый столь же не сомневался в успехе, как и Юрий. У Кавгадыя, впрочем, на то были достаточные

основания. Еще никто из побежденных Темучжином племен не разбивал в бою монгольскую конницу. Оставленные Юрием для конечного погрома тверичей татары медленно двигались по снежному полю к намеченным рубежам, берегли коней к последнему напуску. Справа, не видные отсюда, обходили тверскую рать, проламывая редкую поросль кустов и мелкого березняка, суздальские и владимирские полки.

Юрий остановился на высоком месте, оглядел дружину и стяг, реющий над ним в вышине, и — вспоминая далекий детский бой под Рязанью — картинно взмахнул воеводским изузоренным шестопером. Задудели и запищали дудки, ударили цимбалы, поскакали гонцы, и передние полки, с дружным кликом, переходя с рыси на скок, устремились туда, где виднелись плотные ряды тверской рати. Все, что произошло потом, было совсем непонятно Юрию. Конный полк, натолкнувшись на строй тверичей, начал, рассыпаясь, откатывать назад. Юрий бросил на приступ запасную рать, и она тоже, ткнувшись в ощетиненный остриями строй пешцев, откатилась, теряя людей. Крики, ржание коней, треск и лязг железа перекатывались по полю. Мчались и падали в снежных вихрях кмети. Юрий, задумав повторить поступок отца, сам повел было в напуск конный полк и оказался в каше бегущих, в круговерти падающих и взмывающих на дыбы коней, распяленных ртов, отверстых конских пастей с клочьями пены на удилах, в громе и реве, где уже никакие приказы были не слышны, и — самое страшное — он узрел близко-близко тяжело ступающую, мнущую снег лаптями и валенками, надвигающуюся на него, уставя рогатины, тверскую пешую рать. Все же было в Юрии что-то человеческое, потому как вспомнил он в этот миг свои забавы с безоружными, белые лица и вздетые руки тех, кого рубил, потехи ради, на скаку,— вспомнил и увидел в этих бородатых, страшных, оскаленных, с острыми ножевыми глазами ликах, в этих уставленных в душу остриях, в этом тяжко колышущемся, все подминающем под себя движении — словно гигантская борона волочилась по земле, вспахивая и уминая снег и трупы павших,— увидел, понял и почуял надвинувшуюся на него беспощадную месть. Месть за все его шкоды, за всё, что натворили его войска в эти три месяца безудержного грабежа, и, поняв, почуяв это, уронил Юрий в снег вздетую было саблю, и, подняв на дыбы скакуна,

поворотил его, и ринул в безоглядный бег туда, к шатрам, к спасению,— но спасения уже и там не было: по полю, наперерез, шла тверская конная лава, и Юрий зайцем устремился прочь от нее. Петляя, путая следы, растеряв чуть не всех своих дружинников, с горстью ратных, собирая по перелескам бегущих кметей, устремился Юрий сперва сам не ведая куда, а затем, озрясь и сообразив, где он и что с ним, поскакал, уходя от преследования, в Новгород. Только там надеялся он найти защиту и новую рать для войны.

Михаил в этом сражении опять и вновь положился на пешцев, и вновь мужики добыли ему победу. Отбив приступ конницы, они пошли встречь московлян, прикалывая спешенных кметей. Полон не брали, у каждого за спиною была своя сожженная деревня, кололи яро и молча, молча, сцепив зубы, умирали, падая в снег. Потому и конные лавы одна за другой разбивались о них и откатывали, редея.

Полк, в котором были Степан и Птаха Дрозд с сыновьями, простоял полдня за холмом и в дневном сражении не участвовал. Издали к ним доносились звуки боя. Мужики ждали, дрогли, переминаясь, опершись о рогатины. Жевали хлеб.

— Татар у ево нагнано, беда! — говорил кто-то в толпе.— Татары-ти свирепы кмети, их ить и не передолить!

— С Михайлой передолим! — отвечали ему, но в бодрой веселости голоса не хватало твердости. Татары страшили всех. От татар — уже так было заведено — бежали без боя.

А там накатывало и удалялось, орали, не поймешь: наши ли, московляне — все одно русичи! Кто-то, протаптывая снег, полез было на холм, глянуть. Его враз шуганули:

— Не велено и носа высовывать!

— Що тако?

— А будто и нет нас тута!

— Чудеса!

— Михайло-князь тако постановил. Должно, нас к самой важной сече берегут! — высказал один, высокий и до того все молчавший, мужик в железном шеломе. На него поглядели с уважением: верно уж не к шапошному разбору такую громаду людей за холмом держать!

Иные сидели на щитах, кто тягался за пальцы — погреться малость. И опять жевали хлеб, и ежились, охлопывая себя рукавицами. Серело, день понемногу мерк. Там, за холмом, то замирая, то усиливаясь, все длился и грохотал бой.

— А ну как наших побили? — высказал один тонкий и неуверенный голос.— А мы стоим тута и не знаем ничего?

— Сопли утри!

— В портах поглянь, не накладено ль! — дружно, с гоготом, отозвались сразу многие голоса. Но уж и слишком дружно, и слишком натужно весело. Тихая неуверенность ползла где-то сквозь продрогшие, уставшие от немого ожидания ряды. И тут, уже в сильных сумерках, на холме перед ними показался сам князь Михайло на вороном коне. Князь сжимал в опущенной руке темную саблю, с которой капала в снег свежая человечья кровь. Он был один и, увеличенный тенью, казался очень большим и даже зловещим. Завидя князя, мужики завставали, спеша, пристегивая завязки шеломов, отряхивая щиты, прочнее ухватывая рогатины: «Князь, князь! Он!» Степан обернул мохнатое лицо к сябрам и сыну, бросил: «Михайла, сам!» И рядом тоже услышали, и волнами пошло по рядам, а князь, подскакав к полку, обвел ряды сумасшедшим сверкающим взором и крикнул страшно, так, как только на ратях кричал: «Татары!» И — поднял саблю. И замер на миг, на то краткое мгновение, в которое творится поражение или победа и пропустить которое полководцу значит — потерять бой. И — не упустил, и, еще подняв свой железный ратный зык, грянул:

— В полон — не брать! Резать всех! И не спеши, кучей! — И указал саблей. И еще выкрикнул: — С Богом!

И уже бы ничего не сказать было, ибо, как шум прорвавшейся воды, поднялся рев полка, но ничего и не надо было больше. Мужики, издрогшие на морозе, что несколько часов только слышали рев и гомон сражения, двинули, пошли, опустив и уставя рогатины, и шли плотно, пихая плечами друг друга, древками рогатин задевая по головам передних, шли сплошным железным ежом, с хрустом и чавканьем уминая снег, шли для того, чтобы не брать пленных, и так, всё наддавая и наддавая, ходче и ходче, на самом изломе

холма, лоб в лоб, столкнулись с катящимся на них валом татарской конницы.

Михаил знал, что делал, пряча полк за холмом. Татары не поспели взяться за луки, а сабли — плохое оружие против рогатин, и случилось чудо: непобедимая татарская конница начала густо валиться под ноги тверских мужиков. Храпели и хрипели кони, визжали татарские богатуры, взмахами сабель перерубавшие древко копья, и падали, пронзенные рогатинами, а мужики шли, добивая павших, и конница покатила назад, отстреливаясь из луков, всё убыстряя и убыстряя скок, сама не понимая еще, что же такое произошло с нею? Ибо не бежали, никогда не бежали доднесь на ратях воины великого Темучжина! Разве в степных битвах против своих...

Михаил с дружиною трижды врубался в строй врагов, и трижды кровавый след его кованой рати, словно нос лодьи пенистые волны, разрезал полки московлян. Дмитрий рубился рядом с отцом и не посрамил воинской чести, многажды заслужив свое прозвище: Грозные Очи. Суздальцы и владимирцы, нерасчетливо посланные Юрием в охват, сами оказались в окружении и начали сдаваться и ударять в бег, как только увидели скачущих на них с тылу тверских дружинников. Мелкие князья бежали, почти не оказывая сопротивления. Огромное войско Юрия распадалось, как ком пересушенной глины, ибо все они пришли с победителем и к победителю и совсем не гадали и не хотели разделить участь побежденных.

Мишук в сече уцелел чудом и ускакал, потеряв поводного коня, тороченного нахватанным добром. Коня было жаль, добра — не очень. Продираясь сквозь густой ельник, поминутно оглядываясь — не гонят ли за ним? — Мишук запоздало вспоминал отцовы слова и каялся, что грабил, стойно прочим, тверских смердов. «Своих зорить — ето не дело!» Не дело и вышло. Теперь, едучи голодный и усталый, страшился он заезжать в испакощенные тверские деревни — убьют! И за дело убьют-то! Он был один из немногих, добравшихся до Москвы и принесших злую весть о полном разгроме Юрия.

Короткий зимний день мерк, и уже в сереющих сумерках добравшиеся до Юрьевых товаров тверичи

зорили и пустошили московский стан. Толпы тверских полоняников с воем и плачем встречали своих. Кидались на шею ратным, там и тут женки узнавали то своего мужика, то знакомца из соседней деревни, смеялись от радости и тут же рыдали над павшими. Казну, рухлядь, припас и шатер Юрия, вместе с его женой Кончакой-Агафьей — все забрали в полон. Уже в темноте к Михаилу подскакал ратник, повестивший, что среди пленных оказался и княжич Борис Данилыч, брат Юрия.

Кавгадый, увидев полный разгром рати, приказал бросить стяги и отступить в свой стан. Татары ждали приступа и резни, но Михаил, отобрав у них весь тверской полон, распорядился самих татар не трогать, а Кавгадыя, через вестоношу, пригласил к себе в Тверь. Теперь, после сражения, надо было подумать о дальнейшем. Узбеку нельзя было показывать вражды. Даже победоносная Тверь в одиночку не сумела бы справиться с Ордой. Потому он и жену Юрия, Кончаку, приказал держать честно и отвезти в Тверь с бережением, не лишая ни служанок, ни рухляди, ни драгоценностей.

Усталый и опустошенный, уже в полной темноте, ехал Михаил к себе в стан. Во тьме шевелились войска, вели пленных, гнали захваченных лошадей. Проходили нестройные толпы освобожденных полоняников, слышался говор и женский смех, молодой, грудной, счастливый. Проходили пешие полки и тоже переговаривали и смеялись. Путаным частоколом качались над головами положенные на плеча рогатины и копья. В телегах везли стонущих раненых. Темные фигуры бродили по полю, переворачивая мертвецов. Искали своих, подбирали раненых, одирали оружие и одежду с трупов. И таким малым было все это, и даже сегодняшняя победа, перед тем, страшным и неодолимым, чем была Орда! И он, победитель, должен сейчас будет унижаться и заискивать перед разгромленным им же татарским князем, в призрачной надежде, что тот заступит за него, Михаила, перед ханом Узбеком и не прольется на Русь, не затопит землю безжалостная и неодолимая (пока еще неодолимая!) татарская конница.

Горько унижать себя перед врагом. Того горше, когда это приходится делать после победы. Гнуть шею там, где гордость велит встать прямо... Но за ним стояла

земля; и он знал, что не сможет, никогда не сможет, ежели бы и захотел, поступать стойно Юрию, не думая ни о чем, кроме себя самого. Как никогда раньше чувствовал Михаил в эту ночь — ночь после самой блестящей своей победы — бессилие перед грядущим и грозную поступь приближающейся к нему беды.

ГЛАВА 46

Людей в дружбе ли, ненависти связывает (или разъединяет) не расчет, не выгода, не любовь даже, и уж конечно не признание заслуг другого человека, а некое темное чувство, непонятное и древнее, схожее с запахом, по коему звери находят себе подобных,— чувство, что этот вот «свой», «своего» племени, клана, вида или типа людей. Или «не свой», и тогда никакие стремления превозмочь это чувство, помириться или сдружиться не достигают цели и заранее обречены. Причем этот «свой» может и предать и выдать (а тот, «не свой»,— спасти и помочь), все равно тянет к «своим» по духу, по нюху, по темному и древнему чутью животного стада. Так слагаются сообщества по вере и по ремеслу, так съединяются разбойничьи ватаги, так находит, по одному невзначай уроненному слову, «своего» странник-книгочий в чужой стране, среди чужого себе народа. Так, видимо, складываются и племена, уже потом вырабатывающие себе общий язык и навычаи, обряды, сказания, образы чести и славы. Обрастают затем дворцами и храмами, творят искусства, строят города... Но когда уходит, ветшает, меняется оно, это древнее, похожее на запах, чувство-осязание «своих» и «не своих»,— когда уходит оно, ничто не держит уже: ни храмы, ни вера, ни власть, ни рати, ни города, и падает, рассыпает по лику земли, неразличимо растворяясь в иных племенах, некогда сильный и могучий народ, и мертвые памятники его славы, словно скорлупу пустых раковин, заносит песок времен.

Кавгадый сдружился с Юрием не потому, что Юрий осыпáл его золотом, льстил и дарил каждодневно. Нет! Хотя подарки и тешили жадного на добро татарина. Кавгадый признал, почуял, унюхал в Юрии своего. Понял в нем то же отсутствие твердого нутра, заместо коего колотилось одно лишь распаленное честолюбие,

какое было и в самом Кавгадые. Ибо Кавгадый был отступник. И отступник тройной. Булгарин по матери, он отрекся от языка и памяти своего материнского племени, надругался над ним, числя себя чистым потомком Чингиз-хана. Как монгол он отрекся от веры предков, легко приняв «веру арабов», ибо иначе ему грозила смерть или лишение богатств и бегство вон из Орды. Не веруя Магомету, он принял его учение, как надевают чужое платье, и стал рьяно преследовать тех, кому совесть и честь не позволяли так легко переметнуться к иным богам. И так он стал отступником вторично. Сторонник и друг Тохты, Кавгадый в грозном розмирье после смерти своего хана переметнулся к Узбеку, предав и выдав соратников, что ждали его помощи и верили, что он приведет им тумен отборной конницы, предал сына своего господина, и Ильбасмышу пришлось заплатить головой за доверие к бывшему другу отца. И так, предательством купив почет и влияние в стане Узбека, стал Кавгадый отступником в третий након.

И потому он обожал дары: шелка, серебро, рабынь и редкостных пардусов; и всего этого, хоть и хватало до пресыщения, все было мало и мало ему, ибо за утехи мира сего отдал он главное, за тленное добро подарил бессмертную душу. И ненасытимая жажда точила и мучила его из нутра, рождая зависть и гнев в его душе, зависть к тем, кто не предал святая святых сердца своего. Впрочем, он и не чуял своей зависти, мысля, что презирает их, неумелых, негибких, теряющих головы там, где, уступив, можно было получить и жизнь, и жирный кус со стола удачи...

Юрий прислал Кавгадыю весть, что скачет в Новгород собирать ратных, и Кавгадый, до того целый день и ночь бывший в безвестии и страхе,— все мнилось, что русичи, эти вот мужики с рогатинами, возьмут и вырежут весь татарский тумен и его голова будет болтаться, черная от крови, на каком-нибудь самодельном копье,— Кавгадый, получив известие от московского князя и одновременно зов Михайлы Тверского, тотчас взыграл сердцем. Конечно, тверской князь не знает, как капризна милость Узбека, что хану то и дело наушничают кому не лень и подозрительный Узбек может любого вдруг и враз лишить своего благорасположения... Всего этого тверской князь, видимо, не ведал, и Кавгадый нахрабрился. Вздел дорогое платье, дареную

Юрием шубу, велел оседлать лучшего коня. Со свитой из вооруженных нукеров, с четырьмя сотниками своей потрепанной тьмы отправился он на зов Михаила в Тверь.

Города Михайлова до того он не видел и, цокая, прищелкивая языком, жмурясь и покачивая головою, оглядывал мощные валы, взметенные на недоступную высоту бревенчатые городни из светлого, видно только-только срубленного, леса, высокие, с мохнатою опушкою кровель, костры с навесным боем, выдвинутые вперед за линию стен. Его встречали сыновья тверского князя, высокие красивые мальчики на породистых тонконогих, с лебедиными шеями, конях, и коням этим тотчас позавидовал Кавгадый. (А когда ему позже подарили такого коня, позавидовал еще больше, ибо дар сильного не столь сладок — слаще отобрать самому, надругавшись прежде над дарителем. Разбив Михайлу и захватив Тверь, он бы мог сам выбирать себе княжеских коней!) Оглядел Кавгадый и белокаменный, в резном кружеве каменного узорочья, собор, поднял глаза на сияющий золотом купол; он уже знал, что золота этого нельзя одрать, что кровля купола обита медью, только позолоченной снаружи, и все-таки позавидовал золотому куполу собора. Он въезжал во двор княжеских хором, спешивался и озирал эту твердыню в твердыне, двор-крепость, и высокие, тоже изузоренные терема, и вышки, и стрельницы, и смотрильную башенку, поднявшуюся вровень с крестами соборной главы, и думал, сколько тут добра, рухляди, серебра и сукон и как сладко было бы ворваться сюда с окровавленной саблей в руке и глядеть, как рубят, зорят и волокут добро, как тащат за косы упирающихся женщин, срывая с них дорогие одежды, как пламя начинает лизать эти узорные столбы и расписную украсу хором...

Его провели по сукнам, и он оробел несколько, не смог не оробеть, при виде князя, высокого, с грозным и величавым лицом. Подумалось вдруг: а что, как Михайло сейчас взмахнет рукой, и его, Кавгадыя, за шиворот сволокут по ступеням и там, под крыльцом, прирежут, словно барана или свинью, простым кухонным ножом? Таких смертей он уже навидался вдосталь у себя, в Сарае, и знал, как легко нынче теряют головы князья-чингизиды. Кто может запретить тверскому князю поступить точно так же и с ним? (Тем паче что

оставался с Юрием и отправился в этот злосчастный поход Кавгадый без приказания Узбека.) Но его не зарезали, не скинули под лестницу — хотя, быть может, это и было бы самым разумным деянием Михаила! Его провели в столовую палату, чествовали, кормили на серебре и поили винами и медом. И Кавгадый брал руками жареное мясо, ел и рыгал, узкими глазами разглядывая тверского князя, который был заботлив и ласков к нему, сам наливал ему чары, передавая их кравчему, и чествовал и его и сотников татарских, пировавших вместе с ним. А внизу чествовали, кормили и поили нукеров Кавгадыя и в те же часы кормы — мясо, пиво и хлеб — были посланы князем в татарский стан, на прокорм всей Кавгадыевой рати... Нет, ни в чем не мог упрекнуть или укорить тверского князя Кавгадый! И баранина, и мясо молодого жеребенка, изготовленное нарочито ради татарских гостей, и дичь, и рыба были отменно хороши. Хороши и обильны были хмельные пития, обильны и подарки, полученные затем Кавгадыем. И, прикладывая руки к сердцу, Кавгадый наклонял голову, улыбался, совсем в щелки сощуривая свои узкие глаза под припухшими нависшими надглазьями, и уверял князя, что в поход они вышли без слова царева, и он, Кавгадый, виноват, но загладит свою вину, похлопочет за него, Михаила, перед ханом, чтобы Узбек не рассердился на тверского князя за разгром татар и не прислал сюда своих грозных туменов, своих непобедимых степных батыров, которые покорили три четверти мира и могли бы покорить всю землю до последнего моря. И Кавгадый, качая головой, повторял по-мунгальски слова старинных песен, петых еще при Чингиз-хане, изредка остро и кратко взглядывая и проверяя — так ли его слушает тверской князь? Понял ли он? Устрашился ли? Совсем не хотел Кавгадый, чтобы его вытащили нежданно из-за стола и, проволокши по сеням, бросили с перерезанным горлом под крыльцо, на снедь псам.

И хвастая, льстя и пьянея, Кавгадый все больше и больше начинал ненавидеть тверского великого князя, ибо понял по духу, по запаху понял, почуял, что этот князь чужой ему, что в нем присутствует то твердое, несгибаемое, чего нет в нем, Кавгадые, и нет в Юрии, что у этого высокого и сильного, с тяжким взором, урусутского коназа есть, верно, такие мысли и такие убеждения, за которые он будет драться и, если нужно,

положит голову, но не отступит от них. А это было как ржа, как болезнь, ибо в душе Кавгадыя на месте этом зияла пустота. И Кавгадый возненавидел Михаила, возненавидел пуще Юрия, ибо, в отличие от Юрия, почуял величие в супротивнике, величие и гордость врага своего, почуял то, чего Юрий Московский в Михаиле не понимал и не чуял совсем.

Упившегося Кавгадыя под руки вели в изложницу, а он все продолжал, качаясь и прикладывая руки к сердцу, попеременно то стращать, то молить Михаила о защите перед Узбеком, ибо он-де боится теперь опалы за самовольный поход на Тверь... И моля, и льстя, и пугая князя, Кавгадый цеплялся за руки Михаила, тяжело обвисая на плечах служителей, тянул к нему жирные пальцы в кольцах золота, и все заглядывал не то кошачьим, не то лукаво-старушечьим взглядом снизу вверх в лицо тверского князя, и, льстя и ненавидя, все думал: а не зарежут ли его теперь в спальне вот эти дюжие служители? Ибо самому Кавгадыю неистово хотелось сейчас погубить Михаила, только о том уже и мыслил он, засыпая на роскошном княжеском ложе, и утром, пробудясь, уже почти знал, удумав во сне, что он для этого совершит.

Михаил, проводив наконец Кавгадыя, поднялся к себе и прежде всего вымыл руки и лицо. Казалось, что-то нечистое пристало к нему во время пира. Только потом он позволил себе тронуть за плечо Анну и огладить по голове малыша Василия. Князь не был брезглив, почасту ел и пил в дымных избах смердов, куда более грязных, чем этот разряженный татарский князь, и все же у него осталось до тошноты доходящее ощущение нечистоты. Он тоже по духу почуял в Кавгадые нечто до того чуждое и неслиянное с ним самим, нечто до того пакостное, что спешил омыться, будто это мерзкое и страшное, проглянувшее в соратнике Юрия, можно было смыть простою водой.

У Михаила от меду и вина тоже слегка кружилась голова и была, сверх того, общая, почти безнадежная усталость. Он усадил Дмитрия, Сашка и Константина с собою за стол, выслал слуг. Анну попросил присесть рядом. Младший сын и дочь уже спали.

— Василия посадим в Кашине! — сказал Михаил усталым и тихим голосом.— А ты, Костянтин, возьмешь

пока Дорогобуж. Тверь пусть будет вам всем нераздельно. Ты, Дмитрий, никогда не спеши...— Он хотел еще что-то сказать, но замолк и прикрыл глаза. Заметны стали морщины на висках, набрякшие вены тяжелых рук и темные мешки подглазий. Анна вдруг ткнулась лбом ему в плечо и беззвучно заплакала, вздрагивая всем телом. Дмитрий с Александром переглянулись.

— Тятя, мы от тебя не отступим! — сказал Дмитрий сурово. Михаил кивнул, отмолвил шепотом:

— Знаю. Не погибнуть бы только и вам, дети, вместе со мной!

— Неправда! — вдруг высоким голосом выкрикнула Анна, подняв горячечный взор, и сжатыми кулаками ударила себя по коленям.— Неправда! Все тверичи за тебя встанут! Неправда! Неправда!

— Успокойся, жена! — сказал, усмехнувшись через силу, Михаил и привлек Анну к себе. Сыновья враз опустили очи. Сидели строгие, высокие, готовые по его зову взяться за мечи, такие еще щенячьи юные и простодушные!

— Не верю я Кавгадыю! — выговорил Михаил, подымаясь с лавки. Помедлил, добавил: — И он не верит мне...— И, шатнувшись, тотчас готовно поддержанный с двух сторон сыновьями, пошел вон из покоя.

Начались томительные пересылки и переговоры, затянувшиеся на весь январь и февраль. Новгородцы собирали рать, но медлили. Низовские князья, после разгрома под Бортеневом, готовы были перекинуться на сторону Михаила, но все и всё ждало ханского решения. Была и такая мечта у многих, что Узбек, убедясь в силе и значении Михаила на Руси, вернет ему великое княжение. И тогда Кавгадый с Юрием, деятельно и бесстыдно хлопоча, добивались своего.

Кавгадый потребовал допустить его к Кончаке, и Михаил не посмел отказать ему. Изнывавшая от безделья, скуки и одиночества, пленная княгиня надменно и капризно принимала Кавгадыя, который садился на подушки, весь расплываясь в улыбках, гнулся и лопотал по-своему, а ханская сестра бросала ему слово-два, узила глаза, а то кричала, называя предателем и трусом, требуя, чтобы Кавгадый тотчас повестил хану, освободил ее или привез к ней ее ненаглядного алтын коназа,— чтобы хоть так развеять тоску. Кавгадый ухо-

дил, и Агафья-Кончака била по щекам девок, а затем, упорно и зло глядя на образ, молилась новому своему богу, не понимая, почему он не может тотчас и сразу помочь ей покинуть Тверь.

Братьев Юрия, Бориса с Афанасием, Михаил принял у себя, был гостеприимен, но холоден. Борису слегка попенял, и московский княжич померк и потупил взор — давно был в могиле Александр, с которым... Ах, да и что вспоминать! Афанасий глядел испуганно и страдальчески, он не ведал, зачем и к чему это все: война и трупы, и плен, и равно боялся Михайлы Тверского и своего старшего брата...

А из Орды все не приходило ясных вестей. И тяжелее всего было понимать Михаилу, что Узбек сейчас сам не знает, что сделать, что предпочесть. Со всех сторон ему наушничают те и другие, а он, этот красивый юноша, влюбленный в Аллаха и не понимающий людей, только слушает и попеременно склоняется то к одному, то к другому мнению, и от его безвольно колеблющихся решений гибнут жизни, падают головы людей,— как всегда в таких случаях лучших, а не худших,— и страшно качается на весах судьбы участь Великой Руси.

Весенняя распута прервала боевые действия. Рати застряли, пережидая бездорожье, и синяя Волга, с шорохом и хрустом ломая лед, на время проложила непроходный рубеж между Новгородом и Тверью. Однако вырабатывались условия мира и стало известно, что князь Михайло на сей раз намерен уступить. Приходилось торопить события. Тем паче что Кавгадый уже заручился согласием Юрия на все, что произойдет и что может произойти в Твери. Московский князь заранее прощал Кавгадыю любое преступление, лишь бы оно оборотилось во вред Михаилу. К марту Кавгадый с Юрием узнали, что переменчивый Узбек, устрашась возможной резни, почти порешил простить Михаила. А значит, стало возможно опасаться возвращения тверскому князю великокняжеского ярлыка.

...Это было теплым весенним днем, когда так чист воздух над Тверью, когда пахнет свежестью волжской воды, птицы реют, ширяясь, в воздушных струях вокруг глав собора и дотаивают в глубине дворов остатки зимнего льда. Агафья-Кончака уснула после прогулки

по княжескому саду, а Кавгадый, пришедший ее навестить, не ушел сразу, а вызвал из покоя на сени одну из двух ближних служанок Агафьи — Фатиму, сказав, что хочет ей передать весть для ее госпожи от князя Юрия.

Кавгадый недаром долго присматривался к двум приближенным рабыням Кончаки и недаром выбрал из двух эту, Фатиму, не такую робкую и преданную, как вторая, Зухра (та была совсем под башмаком Агафьи-Кончаки и не дерзнула бы даже помыслить чего-нибудь худого противу великой княгини). Фатима была посмелее, да и бойчей. Она уже немного понимала русскую речь, когда и обижалась на побои нравной Кончаки, любила драгоценности. Водились за ней и другие грешки, о коих Кавгадый заботливо вызнал. И Кавгадый понял: если сделает, то только она!

Сейчас Кавгадый стоял перед нею, большой, толстый, усмехаясь по-бабьи, лукаво и сладострастно оглядывая девушку. Вдруг он грубо и со страшною силой ухватил Фатиму за предплечья, придвинул к себе и, оскалив пасть, проговорил:

— Знаю про тебя все! Зарежу! Хан повелел!

— За что?! — обвисая в его руках и бледнея, проговорила Фатима. Шепотом, медленно и раздельно, Кавгадый перечислил: и про украденный браслет, и про сахар, и про встречи с урусутским воином.

— Любовь? Наушничаешь урусутскому князю! За это...— он показал ребром ладони по горлу. Девушка, не отрывая от Кавгадыя испуганного взора, только трясла головой:

— Нет, нет, нет!

— Да! — жестко сказал Кавгадый.— Тебе или мне, князю, поверит Узбек? Твоя госпожа первая повелит тебя удавить, когда вернемся туда, вот увидишь!

Девушка дрожала вся с головы до ног и уже не понимала ничего. Звериный оскал Кавгадыя, эти страшные тугие складки щек и его тяжкое дыхание сводили Фатиму с ума. В первый миг, когда Кавгадый схватил ее за плечи, она думала, он хочет ее саму, и приготовилась к отпору. Теперь она готова была бы поступиться всем — телом, честью — лишь бы сохранить жизнь.

— Ладно, я не злой! — сказал Кавгадый, помедлив, и вдруг, сняв с пальца золотой перстень с большим изумрудом, вдавил его в потную ладонь девушки: —

На, возьми! И этот вот порошок! Будешь давать госпоже в меду. Понемногу. Не сейчас, потом. Тогда она начнет забывать. Не бойся, не умрет, только забудет. Ей многое надо забыть. Так хочет коназ Юрий. И тебе будет хорошо. Но смотри! Ослушаешься, скажешь — умрешь. Трудно умрешь, долго. Может, кожу с тебя снимут, с живой, так и знай!

Фатима сжимала черную коробочку с порошком в трясущейся руке и ослепленно глядела на страшного князя, друга коназа Юрия, не понимая, не веря и уже не имея сил ни швырнуть порошок в лицо ему, ни побежать к госпоже — да и поверят ли ей?

Вечером она, замирая и холодея от страха, лизнула крохотную щепотку горького красновато-бурого порошка и, закрыв глаза, стала ждать смерти. Ничего, однако, не произошло. «Быть может, и верно? Только забудет... Зачем ему... И коназу Юрию тоже!» На беду свою, она не знала, что страшный тибетский яд, врученный ей, действует медленно и убивает не с первого разу, а только после нескольких приемов и к тому же, разбавленный, действует сильнее, чем в сухом виде.

Волга входила в свои берега. Новгородские полки подошли к бродам и остановились. Михайлова рать уже ждала их на правом берегу. Нападать не думали ни те, ни другие, это был, скорее, показ сил. Новгород давал понять князю, что уже оправился от предыдущих погромов и готов сразиться с тверскою ратью, а Михаил являл Новгороду твердость и намерение вести переговоры, не очень унижая себя. Однако на деле силы были очень и очень неравны. Из Орды вести вновь доходили недобрые, Михаилу грозил вызов на суд к Узбеку, сверх того, Агафья-Кончака заболела, маялась животом, верно, как полагал лекарь, объелась солеными грибами. И не дай Бог, ежели ей станет хуже в Твери!

Он уступал новгородцам все, завоеванное годами трудов и крови. Рвал грамоты, подписанные Новгородом после поражений, признавал старые рубежи, давал путь чист торговому гостю и послам новгородской республики. Пропускал хлебные обозы из Ополья в Новгород, признавал ряд, заключенный новгородцами с покойным князем Андреем, а с тем и суд, и печать Великого Новгорода, отпускал всех задержанных на рати

новгородских бояр, давал путь Юрию и выпускал без выкупа его жену и братьев...

Агафье меж тем становилось хуже и хуже. Она умерла, не дождав двух дней до приезда Юрьевых послов. А в день приезда москвичей произошло еще одно, почти не замеченное в общей суматохе, несчастье. Удавилась на шелковом шнурке, привязанном к оконнице, одна из двух ближних рабынь Агафьи — Фатима.

Усопшую княгиню повезли хоронить в Ростов. И тотчас поползли зловещие слухи, что Агафью-Кончаку отравили по княж-Михайлову наущению. Слухи эти как-то очень скоро, подозрительно скоро, достигли Орды.

ГЛАВА 47

И это было крушение. Михаил почти угадал, что Кончаку отравили, но кто? И как? Он мог и на Юрия подумать (Юрий все мог и на все был способен), но где был Юрий и где была Кончака? С пристрастием допрашивали поваров, слуг, холопов и холопок. Никто ничего не знал не ведал. А Кончака, сестра хана Узбека, меж тем умерла, и умерла у него, Михаила, в плену, в Твери.

— Ведь умирают и не от яда! — кричала Анна.— Мало ли болестей таких: схватит — и нет человека! Пуще того, когда кто животом ся мает!

Михаил, подрагивая лицом, дожидал, когда княгиня стихнет, спрашивал негромко:

— Ты-то хоть веришь, что не я ее отравил?

Анна валилась ничью на постель, зачинала плакать.

Михаил думал, прикидывал так и эдак. Вызова в Орду и суда перед Узбеком теперь было не миновать, и чем кончится этот суд — об этом даже и думать не хотелось. Пока он послал в Орду младшего из взрослых сыновей, Константина, по молчаливому и строгому решению всей семьи. Дмитрия с Александром сама Анна не хотела отпускать, да и бояре настаивали, чтобы старшие сыновья Михаила остались дома. От Узбека ждали всего, и послать младшего казалось пока даже и безопаснее.

Юрий тем часом хлопотал вовсю, по совету Кавга-

дыя собирая жалобщиков и лжесвидетелей противу Михаила где только можно. Он уговорил новгородцев,— которые, получив все, за что бились, уперлись было,— стращая их тем, что отречение Михаила притворно и надобно добивать его до конца, и заставил их послать целое большое посольство с исчислением Михаиловых грехов, собирал всех низовских князей, обиженных Михаилом бояр, утесненных купцов, не брезгуя ничем и никем. Подымались обвинения в союзе с литовским князем Гедимином, якобы противу Орды направленном, в утайке ордынской дани, в розмирьях и непокорствах. Всюду, где жадные послы из «новых людей», окруживших Узбека, слишком насильничали и обирали города, вызывая возмущения горожан, всюду теперь виновен в смутах оказывался Михаил Ярославич. Из-за него (и только из-за него!) и сам Юрий задерживал выплату ордынской дани. И среди всех этих обвинений стояло главное — убийство сестры Узбека, Агафьи. Самое нелепое, ибо кто дерзнул бы назвать тайным отравителем женщин тверского князя? И самое основательное, ибо Агафья-Кончака умерла-таки в тверском плену.

Стояло лето. Косили, поглядывая на небо, и косьба не лежала к рукам. Поставив стог, тут же представляли себе, как по зиме, с приходом татарвы, займется он ярким полымем, обращая на ничто труды селянина. И потому и работалось нынче с каким-то озлоблением, без радости, без того светлого, вековечного и высокого чувства, с коим выходит на покос русский человек. И бабы ворошили сено нонече в ежеденном, не в праздничном, как всегда, и мужики, вздымая виловатою рассохой беремя сена на стог, не переговаривали весело, а мертво молчали или, напротив, взрывались неподобною бранью, почасту приправляя работу соленым словом — в Бога и в мать. И бабы, слыша охальное, только тверже поджимали губы да супились, не унимая яро и молча ворочавших работу мужиков. Вдосталь разоренная Юрием тверская земля готовилась к новому раззору, и уже мыслили: где и как зарывать хлеб, где отрыть загодя землянки в лесу, куда угонять скот — ежели что. Старики вспоминали Дюденеву рать, терпеливо и долго молились — пронес бы Господь беду! И Михаил, проезжая деревнями, ловил молчаливые ждущие взгляды, чуял кожей мольбу земли содеять что-нибудь, не попустить, оберечь от гибели и погрома.

Как-то после очередной думы он удержал старого своего боярина, Александра Марковича. Давеча толковали о новгородцах, и Михаилу захотелось вдосталь дотолковать о делах днешних и давешних со своим бессменным послом. Вспомнил Михаил и решился спросить вновь о том, о чем когда-то повестил ему Александр Маркович, воротясь из Новгорода вместе с покойным Бороздиным. (Старый воевода умер два года тому назад, и место его в думе заступил сын, Тимофей Бороздин.)

Александр Маркович с горечью оглядывал своего князя, непривычно тихого и смиренного в этот вечерний час, когда летние сумерки уже наполнили княжую горницу, но еще не зажигали огня, и потому лицо Михаила, одетое тенью, казалось голубовато-бледным, словно бы даже прозрачным в затухающих струях заката.

— Я хочу понять! — сказал, пошевелясь, Михаил.— Закамское серебро? Корысть? Торговые пошлины? Земли? Соль? Но ведь жизнь — дороже соли и серебра, а отдают жизни, и — за разом раз, вновь и вновь! Ты был там! Толковал с ними! Объясни! Или они не знают, что пропадет Русь и им пропасти тою ж порой? Что, распадись земля на уделы, и вороги тотчас одолеют нас поодинке, а там сотрут даже и имя наше со скрижалей сущих языков земли? Что их серебром хранима Русь до часу и сами они хранимы? Не им ли, что ни год, приходит отбивать то свею, то ордынских рыцарей, то датских немцев? И хватит ли им сил без великого князя владимирского?

— Я баял со смердами и с изографом одним на Славне. Дак вот, княже, прошаешь — отвечу! — произнес, подумав, Александр Маркович и сам поежился: не хотелось гневить, печалить ли князя своего, и любил он Михайлу Ярославича... А сказать, верно, нать было правду.— Понимают они,— осторожно начал боярин,— и про власть, и про угрозу немецкую, и про Великую Русь... Только иное у их... Как бы сказать-то! Ревнуют они о свободе, и не просто свободе от власти княжеской,— о духовной свободе своей! И страшит их — под властию кесаря альбо князя — человека умаление. При всякой власти вышней, толкуют, всема надо в едину стать, в един норов и навычай, ну, а там — не гневи, княже,— ты умрешь, кто-ста будет после тебя? Там

сын ли, внук, а придет самоуправец какой, и всех пригнет, и уничижение настанет людям, духу — растление от тяготы властителя недостойного...

— И потому берут себе Юрия?! — гневно прервал Михаил.

— Дак Юрий что ж, он не опасен им пока што...— Александр Маркович умолк, потерявшись, и Михаил, заметя это и устыдясь невольной вспышки своей, подторопил его баять далее.

— Умаление души, говоришь? Андрей Климович перед смертью об одном думал — сразиться со мной!

— И это тоже, княже, от гордости души! — возразил боярин.

— Мыслишь? — с сомнением отозвался князь.— Как же нужно тогда, что же надобно? Как и чем совокупить инако русский язык?!

— По завету Христа...— осторожно отозвался Александр Маркович.

— Любовью! — сказал Михаил и усмехнулся горестно: — А с князем Юрием как? С ним тоже любовью?

— Мыслю, иного пути нет,— раздумчиво вымолвил Александр Маркович,— хоша с Юрием... И с Юрием тоже! Ведь и не пытали мы, о сю пору все силой вершили!

— Что ж мне до хана Узбека поехать к Юрию на поклон? — мрачно спросил Михаил.

— Как мочно! — возразил испуганно боярин.— Да и не выпустит он тебя! Меня хоть пошли...

Сумерки совсем сгустились, и лицо князя смутно белело в темноте. Михаил долго-долго молчал, потом тяжко поежился. Скрипнуло резное креслице:

— Поедешь?

— Поеду, князь! — твердо отмолвил боярин.— Иного пути нет. Авось да уговорю! Вам бы в любовь сойтись, дак и Русь была бы в спокое!

— Ну что ж, Александр! Пошлю тебя с посольством любви,— медленно выговорил Михаил.— И крестом клянусь перед тобою, не буду и лукавить перед Юрием! Уймется он — и я уступлю ему в свой черед. Видно, пора пришла мне оберечь землю свою не силою ратной, а смирением.

ГЛАВА 48

Александр Маркович с «посольством любви» отбыл в Москву на той же неделе. Уже шла из Сарая грозная весть, вызов на суд ханский, и медлить дольше нельзя было. Кавгадый давно сидел в Орде, и Юрий с часу на час собирался туда же.

Александр Маркович, отправив вперед себя гонца, подъезжал к Москве волнуясь, но веря, что сумеет уговорить Юрия. Он был принят, но как-то странно. Его разлучили со свитой и почитай посадили под замок. Впрочем, через день он был допущен к Юрию и приободрился.

Александр Маркович был хожалым послом, ездил и в западные земли и умел достойно держать себя перед всякою властью. Но здесь, сейчас, творилось что-то небывалое и тревожное. Во-первых, Юрий был один, в хоромине находилась лишь молодшая дружина, но ни братьев великого князя, ни великих бояр московских не было ни одного. Александр Маркович, однако, начал править посольство поряду, уставно и громко приветствовал великого князя Юрия, после чего приступил к главному. (Грамота уже была вручена Юрию, и Александр Маркович должен был подкрепить ее приличным случаю и украшенным словом.) Он строго начал от Писания, напомнив заповедь Христа о любви к ближнему своему, напомнил затем о бедах Русской земли, от княжьих котор происшедших, о погромах городов, о Дюденевой рати и о прочем горьком и жалостном, что совершалось в прежде бывшие годы по причине несогласия братьев-князей. Сказал и о том, что Михаил уступает Юрию стол и клянется Господом, что не подымет меча на Юрия:

— Токмо не будет гнева меж ним и тобою, и да не приведет никоторый из вас злонеистовых измаильтян — рекомых татар — на землю Русскую, ею же просвети светом веры истинной пращур твой, великий святой князь киевский Владимир Святославич, иже сперва пребывах во тьме неверия, после же постигше вся заповеди веры Христовой, и заповедал, умирая, детям своим не вздевати меча ни в спорах, ни в которах братних. И егда же смертен венец приимь, то диавол, враг рода человеческого, вложи тотчас котору в сердце детям его и окаянного Святополка подучи на братью свою подъяти гибельное железо! Но не попусти Господь погинуть заветам своим! Вспомни, господине, святых великих князей

Бориса и Глеба, иже не восхоте подъяти меч на брата старейшего, и до того, что предпочли нужную и горькую смерть от руки убийц, да не попустили которы!

И паки, и паки вспомни, княже, о снемах братних, вспомни речи Владимира Мономаха, как молил он: будьте едины, и не поженуть вас измаильтяне лукавии! Снидьте в любовь, и несть вам вреда с поля половецкого от языка незнаема! Снидьте в любовь, да не страждут паки и паки смерды земли вашея! Снидьте в любовь, помыслите о Родине, о земле своей! Снидьте в совет не по закону только, но — паче того и прежде того — по любви!

Вы братья, вы одержатели Руси Великой! Взгляните с любовию в очеса братнии и упокойте землю, упокойте в совете и согласии отчину свою! Помыслите, яко ни у каких иных народов, ни языков иных не весть таковых князей-страстотерпцев, яко Борис с Глебом, и нам, паче прочих, паче всех языков земли, достоит утвердить единство по любви!

Помысли, княже, и о том еще, какова еси Русь середи народов окрест сущих, от лопи дикой до ясских Железных ворот и от югры до литвы и до немец! Мы есьмы великий народ среди тьмочисленных и разноликих племен нашея земли! На нас взирают, нас славят, и паки жаждают уничтожить нас сугубо. Мы великий народ, и се понуждает паки к единению нашему в братней любви! В таковыя нужи, в таковой грозе и в таком почете от прочих народов — ежели мы истощим силы во взаимной ненависти — погибнем сугубо, и страшно погибнем тогда! Ни прока нас, ни остатка на лице земли не оставят завистники и враги наши ради прошлого величества нашея земли!

И об ином такожде помысли, княже, вспомня горестную котору братню, ю же ныне восхоте прекратити брат твой, Михаил Ярославич! Помысли о том, что ежели добиватися единой сильной власти жезлом железным, склоняя выи братьи своея под ярмо сильнейшего середи вас, то и тогда такоже растлимся духом мы, русичи, превратим себя в стадо, несмысленно бредущее под кнутом пастыря, и погибнет то, что есть лучшее в нас, то, что еще князь Владимир и святые князи Борис и Глеб заповедали и утвердили в корени русском, то, что нас возвышает как народ над иными языками,— погибнет единение, не на законе, а на любви утвержденное, и с ним наше дружество, заповеданное нам горним учителем

и святыми пращурами, наша правда, наша слава, наше величие и красота!

Александр Маркович говорить умел и говорил вдохновенно. Многие и из детей боярских понурили головы, слушая его украшенную и страстную речь. И почти забыл даже боярин о пустой думе княжеской, о том, что Юрий слушает его один-одинешенек, ибо молодшие в думе княжой не в счет. И полно — да слышит ли он? Почему он глядит так прямо, даже будто и не мигая, почто встает, медленно встает на напряженно расставленных ногах...

— Богом и крестом клянусь тебе, великий князь володимерский и князь московский, Юрий Данилыч, да не погубим с тобою Русскую землю всеконечно! Да будем отныне едиными усты и сердцем единым предстательствовать пред царем ордынским! И в том тебе брат твой молодший, Михайло, кланяю и умоляю ради земли, тишины, языка нашего и ради горнего нашего учителя Иисуса Христа, иже заповеда нам любовь братню!

Княжеский посол говорит от лица князя, как бы сливаясь с ним в одно. И Александр Маркович сейчас говорил как бы будучи самим Михайлой Ярославичем, он так и руку поднял приветным княжеским жестом, и поодержался, намерясь и еще сказать от Писания... Но Юрий уже стоял, выпрямясь на напряженных, сведенных судорогою ногах. Он весь как бы замер, и только руки делали что-то, и когда тверской боярин опустил глаза, то увидел, что пальцы Юрия медленно двигались, как будто сами по себе, и с хрустом мяли и уродовали свиток, в коем Александр Маркович признал не сразу полюбовную грамоту Михаила. Потом эти пальцы стали драть с усилием на куски тонкий пергамен, кожа лопалась с треском и падала ошметьями под ноги князю. И тогда Юрий, прямо и бешено глядя в лицо Александру Марковичу своими разбойными голубыми глазами, сделал несколько падающих шагов и, размахнувшись, изо всей силы ударил боярина по лицу. Александр Маркович шатнулся. От удара закружило голову, и он почуял текущую по лицу кровь. Он еще ничего не понял, не сообразил, а к нему уже кинулись с двух сторон дети боярские с саблями наголо и схватили его за руки и за плечи. И было мгновение тишины: те тоже растерялись, не ведая, что вершить. И в тишине раздался дробный пакостный смешок Юрия, и сквозь смех выговорил он:

— Любовь? В любовь баешь? По слову Христа? А как под Москву приходил с ратною силой, он ищо Христу тогды не веровал? А жену отравил почто? А?! — крикнул вдруг Юрий и, вырвав саблю у одного из боярчат, слепо и страшно ткнул ею в живот боярина.

— Зарезать! Тотчас! — возопил он.— Не то всех! Медведями затравлю!

И дети боярские, бледнея, поволокли харкающего кровью и теряющего сознание боярина вон из палаты и по сеням, оставляя брызгучий кровавый след, по переходам, по ступеням заднего крыльца на черный двор, где и прирезали наконец, бестолково и рьяно изрубив тверского боярина едва не в куски саблями.

Весть о том принесли в Тверь отпущенные Юрием спутники боярина Александра. Так закончилось «посольство любви», последняя тщетная попытка помирить двух людей, которым вместе не суждено было жить долее на Русской земле.

ГЛАВА 49

Медленно движется время в монастыре. За рублеными стенами Богоявленской обители — тишина. Размеренно бьют в било часы, размеренно правят службы в деревянном храме. Москва едва слышна отселе и не видна совсем, ежели не выйти вон из ограды монастыря. Вести и слухи доходят сюда с отстоянием и почти не мешают сосредоточенной работе иноков, переписывающих книги в свободные от служб и земных трудов монастырских часы. Приезд в монастырь великого боярина или княжича — событие. Суетится эконом, готовят особую трапезу. Но можно и тогда не покидать кельи, продолжая размеренные на годы и века вперед келейные труды.

Среди крови и срама монастырь — остров. Давеча келарь повестил, что великий князь Юрий Данилыч в гневе убил тверского посла. И об убиенном боярине служили панихиду. Будто и не Юрий московский князь, будто не в его воле монастырская братия. Страсти, гнев, корысть, зависть, гордость и вожделение остались там, за стенами обители. И те, кого влекут они по-прежнему, не выдерживают, прекращают послушничество и уходят назад, в мир. Твердые духом остаются здесь навсегда, навовсе. Постригаются, принимают сан, навеки уходят

от мира. У каждого из братии свой обет. У иных — несколько сразу. Молодой монах Алексий (в миру прозывавщийся Симеоном-Елевферием), старший сын великого боярина московского Федора Бяконта, принял на себя обет тяжкий — молоть зерно. И каждодневно он мелет рожь тяжелыми ручными жерновами, мелет, теряя силы (руки отваливаются и делаются совсем чужими уже через полчаса этой работы), мелет, доходя почти до обмороков, ибо к тому же строго блюдет принятое на себя воздержание в пище и питии, и никогда не нарушает данных обетов. После работы хочется спать. Просто лечь и вытянуть члены и забыться. Но он выстаивает службы и читает. Читает вдумчиво, перечитывает раз за разом знакомые страницы древних книг и сейчас, в монастыре, в монашеском одеянии, понимает их, мнится ему, иначе и глубже, чем это было дома. И ему раскрывается вновь старая как мир истина, что слово, запечатленное в книгах, доходит токмо до избранных сердец, что истина написанного раскрывается не всякому чтущему, но токмо тому, чья душа уже заранее приуготовила себя к приятию истины изреченной. А без этого хотенья сердца, без душевного ожиданья хладным и пустым покажет себя любое высокое слово чтущему его, и не зажжет оно в сердце книгочия огнь ответный. Да, хладно и пусто слово для неподготовленного чтеца! И потому приуготовление к приятию слова божия важнее даже самой книжной мудрости. Благорасположение чтущего, и токмо оно, делает живым слово, запечатленное в Писании. И вот почему еще сын великого боярина Федора Бяконта, надрываясь, мелет зерно ручными грохочущими жерновами, кидая и кидая горстки немолотой ржи в жерло верхнего жернова, и, лишь иногда отирая пот с чела, проверяет глазом: много ли осталось от меры, отмеренной им себе на каждодневный урок?

Ибо должен он познать меру трудов народа своего. Меру трудов каждой простой бабы, что мелет рожь, отнюдь не считая это подвигом или великим трудом. Ибо, не познав этой меры, не вправе он учить людей и призывать их жить в Господе. Да и себе самому должен он дать урок, ибо должен приучить себя к тому, чтобы дух вседневно одолевал плоть. Ибо иначе не вправе он следовать стезею жизни духовной ни ныне, ни впредь. Ибо духом должен он приуготовить себя к служению и, значит, отринуть гордыню плоти своея, унизить высокоумие боярского рождения своего, стать таким, как все,

и меньше всех, дабы иметь право сказать потом: смирение мое не ложно, и несть более искушений тленного мира для духа моего!

Не так же ли и не с тою же целью истязали плоть свою подвижники древних времен? Приуготовляли и они дух свой к высокой цели, подавая примеры мужества в отречении. Разогни книги, и чти, и ужаснись, и вострепещи в сердце своем, и возропщи об этой судьбе: жить в пустыне, самого себя скрыв в пещере малой, и там же умереть, молча, ибо обет молчания на устах твоих, никому не сказав ни слова о знаменитом роде твоем, ни о палатах позлащенных, отринутых тобою ради молчания на берегу Мертвого моря... Или всю жизнь нести на себе язву поношения, как та дева, что скрыла себя под монашеской рясой, и лишь смертью открыть свою горнюю белизну, свою незапятнанность пред клеветою поносной, от коей могла бы она свободить себя словом единым еще и при жизни своей... Или с пением гимнов, с радостною улыбкой взойти на костер, на казнь, колесование и дыбу, и, умирая, возлюбить мучителей своих, призывая глаголы Христа в темные души язычников-палачей... Многоразличны подвижничества иноков, но лишь тому пристала ряса и лишь тот оправдал высокое звание старца, кто добровольно поднял на себя тяготу бóльшую, чем та, что лежит на мирском человеке, селянине или ремественнике. Тем же, кто скрывает под рясою желание жить не тружаясь, сладко пия и ядя, тем достоит прияти от инших не поношение и не укор даже, а одно лишь забвение. Да не будет памяти о них ни в ком, никогда!

Да и то не забудем, сказанное в древнейшей книге земли: «В поте лица своего добывай хлеб свой». И зри: племена и народы, исхитрившиеся в том, чтобы облегчить себе бремя труда, очень быстро затем выродились и исчезли с лица земли. Ибо нужно, чтобы «в поте лица». Нужно всегда и во всем предельное усилие. И только в предельном усилии труда велик человек, только в трудовой, «трудной» (а отнюдь не в легкой, лишенной тягот!) жизни — истина.

Алексий мелет зерно. Сыплет и сыплет из-под жерновов тонкая серая пыль с сытным ржаным запахом. Худеет мешочек с зерном, растет горка муки. Можно ли оправдать князя Юрия? Можно ли уверовать, что в Твери, после Михайлы Ярославича, не появится в черед свой Юрий? Что нужно сделать, чтобы земная власть

не порывала с путем добра, доброты и справедливости? Владимир Святой не хотел казнить разбойников, бо они те же христиане. И епископ уговорил князя применить в этом случае строгость власти. Но где предел? И кто тать, а кого лишь назовут татем за несогласие в мыслях? Для Юрия тать — Михайло (не мог же он, и правда, отравить княгиню Агафью!), для Михайлы — Юрий. Но Юрий — сын Данилы Александровича, а лучше его, говорят, не было никого. И еще есть его крестный, Иван. Мели, мели, мельница! Уже и руки стали привыкать, и уже что-то красивое кажет в скользящем кружении камня и в тонкой пыли сыплющейся муки. И жизнь пройдет по кругам своим, и все умрут, и народятся новые люди... И что съединит их, и что останет в памяти людской? Нет, не безмысленна, не подобна злакам растущим жизнь людская! Раз возможно нам творить добро или зло, стало, возможен и выбор пути доброго или злого. И не камням, людям проповедал Иисус истины братней любви! Мели, мели, мельница. Мысль должна созреть и стать твердой, должна перейти в убеждение, больше того, стать мерилом всей жизни и поступков твоих. Голая мысль, без действования, мертва. И надо до изнеможения молоть зерно в ручных жерновах, чтобы понять этот, такой простой и такой непреложный, закон жизни. Почто проклял Иисус сухую смоковницу? Пото, что даже и дереву непристойно не приносить плодов своих! Мели, мели, мельница, крутитесь, тяжелые жернова. И ты, человек, что понял,— сделай. Иначе проклят ты, как сухое дерево в далекой Иудейской земле, ибо плодов — дел твоих,— а не одних речей, хотя бы и высокомудрых, жадают от тебя присные твои. И ежели ты не возможешь более ничего иного,— паши, сей и мели зерно, это святая работа, и в ней одной уже — оправдание жизни твоей. А ежели ты возможешь иное, делай тоже, но не гордись, не возвышай себя над пахарем. Засевай ниву душ человеческих, созидай и твори, и знай, что ты — мелешь зерно. Соразмеряй труд рук своих с усилием разума, и ежели слишком легок твой труд, усилься и делай больше, ибо несть веры тому, кто лукавит в работе своей, и несть блага в труде том, который содеян с бо́льшею легкостью, чем этот. Мели, мели, мельница! Впереди еще много труда и много лет подвига. И много бо́льшую тяготу подымет на плечи свои инок сей, нареченный в монашестве Алек-

сием, сын великого московского боярина Федора Бяконта и крестник княжича Ивана, отныне и навсегда посвятивший себя Богу.

ГЛАВА 50

Он знал, что, возможно, едет на смерть. Благословился у епископа Варсонофия и у духовного своего отца, игумена Иоанна. Анна с Василием провожали его до Нерли. Здесь он еще раз исповедался и принял причастие. Анна стояла с малышом на руках, уродуя губы и глядя на него теми страшными, отчаянными глазами, которыми смотрят русские женки на своих мужиков во все века русской истории, провожая их на войну, на каторгу и на смерть. И Василий, еще ничего-ничего не понимавший, вцепившись ручками в шею матери и охватив мать ножками, как толстенький медвежонок, тоже смотрел на отца любопытным вопрошающим взглядом, недоуменно переводя глаза с него на мать. Так и запомнилось: зеленый склон берега, церковь на горе, плывущая среди белых облаков, и женка с дитем на руках, в узорном долгом наряде, по бровям замотанная во владимирский синий с золотым шитьем плат, высокая, стройная, с кричащими, полными мольбы глазами и губами, искусанными в кровь,— только бы не возопить, не пасть ничью на землю, царапая травы и цветы, что как пестрый ковер разлеглись под ее ногами... И слезы, вечные слезы жены, и ничего больше,— родина, Русь.

Дальше, к Владимиру, князя провожали старшие сыновья, Дмитрий с Александром, и бояре с дружиною. Его встречали. Юрий уже отбыл в Орду, а для большинства бояр и смердов тут, в стольном граде земли, он, Михаил, все еще оставался великим князем владимирским. Встречали и даже чествовали. Михаил не торопился, ожидаючи вестей из Орды от бояр, посланных туда с Константином. Теперь, когда пришел час тяжкий, у многих и многих раскрылись глаза на то, чем был Михаил для них и для всей Русской земли, и его не хотели отпускать.

— Не езди, княже, лучше умрем за тя! — восклицали, и не ложно, бояре, кмети и простецы, прибежавшие на княжеский двор проститься с Михаилом.

Жали хлеб. По небу, над главами соборов и кост-

рами городовой стены, текли белые ватные облака. Задувал мягкий, полный медовыми ароматами лугов ветер, и так не хотелось уезжать отсюда в далекую чужую степь, к чужим и жестоким людям, добивающимся сейчас у хана Узбека его, княж-Михайловой, головы!

Во Владимир прибыл царский посол Ахмыл, знакомец Михаила. Нынче все чаще и чаще послы с неограниченными полномочиями заменяли баскаков и, дорвавшись до русских городов и сел, грабили «райю» как только могли, воскрешая худшие времена хана Беркая. Послы уже не пораз разоряли Ростов и иные волжские грады, и Михаилу все труднее и труднее было оберегать хотя бы свою Тверскую волость от жадной бесцеремонности «новых людей» Сарая.

Ахмыла он знал. Тот был жесток, но прям и уважал Михаила, как сильный уважает сильного. Князю при встрече, оставшись с глазу на глаз, он без обиняков сказал, чтобы тот ехал в Орду не стряпая.

— Беда, князь! — говорил Ахмыл, сводя к переносью гнутые брови кочевника и цепко сжимая коричневою рукой серебряный ковш с медом.— На твою галаву беда! Кавгадый тебя обадил перед царем. Уже и рать на твой улус готова! За месяц не придеши, худа будет! Все твои городы возьмут! Кавгадый рек: да ты к царю совсем не придеши, хочеши побежать в немцы! — Ахмыл выпил, обтер ладонью усы, прямо поглядел на Михаила: — Я табе правда гаварю, на свой галава гаварю! Узбек уже повелел твоя Костянтина галоднай смертью морить, да все ему гавари: тогда-де Михаил вовсе не придет в Сарай! За месяц приди, не придешь — рать выйдет. Я сказал, ты слышал.

Михаил, супясь, достал кошель, высыпал в пустой ковш горсть жемчугу, придвинул Ахмылу. Тот взял ковш, потряс головой:

— Падаркам спасибо, князь, а что сказал — сказал. Ничего для тебя сделать не могу. Больши не могу. Теперь Орда закон: серебра давай! Кто больше дал, тот и прав. Плохой времен! Старый люди, честный люди плахой пора, умирай пора! Еще скажу: я не гавари, ты не слыхай. Пойдешь Орда, берегись! Кавгадый берегись. В дарога очень берегись — убьют, не допустят к царю. Слово мой помни и поспешай, князь!

Вечером Михаил собрал думу. Тверские бояре многие отговаривали:

— Пожди, княже! Второго сына пошли! Царь гневен, тебя не помилует!

Дмитрий с Сашком, с загоревшимися лицами, наперебой предлагали поехать вместо отца:

— Если надо, то и смерть примем тамо, в Орде!

Михаил слушал их всех, и в сердце были нежность и боль. Он уже решил после разговора с Ахмылом, понял, что надо спешить. Пригорбясь, смотрел на все это смятенное, гневное, протестующее гнездо свое, на бояр, которых, и досадуя порою, любил, на детей, что не посрамили отца в этот решительный час. Взгляд широко расставленных глаз князя был властно-спокоен, но что-то остраненное, мудрое и уже далекое-далекое порою мерцало в глубине его зрачков. Он слегка приподнял тяжелую руку, водворил тишину. Заметил, запомнил, что и сидели нынче не по чину, не с отстоянием, а близко, сдвинувши плечи, одною тесною ватагой, словно соратники в последнем тяжком бою, сошедшие на час малый, с мыслию о смертной чаше — ю же испить кому из них предстоит? А за узкими окнами покоя лежала родимая земля. Над землею текли облака, волоча по зелени трав, по золоту спелых хлебов тени и свет. Солнце низилось, и приканчивались дневные труды. Сейчас последние запоздалые возы с тяжелыми душистыми снопами едут с полей, и цепинья перестали плясать, умолкли на токах. Сейчас доят коров, и, воротясь с полей, обожженные солнцем мужики подрагивающими от усталости руками подносят ко рту кринку с пенистым парным молоком. И в очередь белоголовые, звонкие, как галчата, дети тоже торопятся, лезут, сопя, напиться после отца белопенной сытной вологи. Мычат телята, блеют овцы, свиньи ворочаются и хрюкают в хлевах, ожидая корыта с пойлом. И уже готовится рать, чтобы все это обратить дымом, чтобы запрудить беженцами дороги и трупами обесславить поля, и уже готов огонь для сжатых хлебов и готовы веревки для женок и малых детей... И за всё и вся в ответе по-прежнему он. Он один, а не Юрий, с его смешным ярлыком на великое княжение, полученным в постели покойной царевой сестры!

Он мягко глядит на сыновей, на их решительные — у каждого на свой лад — лица. Запоминает. Отвечает им задумчиво и спокойно, как о давно-давно решенном:

— Дети мои милые! Спасибо вам за все, и вам, бояре мои, спасибо! А только Узбек зовет меня одного,

и никто не заменит меня там, где хотят моей головы! Бежать — куда? Разорят всю нашу отчину, тысячи христиан будут убиты, тысячи уведены в степь... А в конце концов Узбек доберется и до меня! Лучше уж мне теперь одному погинуть, да не губить невинных! [1]

Осталось сделать немногое. Написать ряд — разделить отчину детям. Он написал, поделил между ними земли и добро, Тверь оставив в нераздельном владении и заповедав жить в мире и не дробить княжества. Оставшись вечером наедине с сыновьями, дал им прочесть завещание. Выждал. Не позволяя юношам расплакаться, строго напомнил:

— И помните, дети, важнейшее в жизни — всегда жить по совести. Чаще чтите Евангелие и повторяйте заветы Христа. Смердов берегите, яко детей своих. Любите бояр и чин церковный. Чтите, яко святыню, матерь свою. Храните чистоту телесную и каждодневно, отходя ко сну, помыслите: что доброе каждый из вас совершил в день минувший? Подобают князю храбрость на ратях и ловах, щедрость и милость к меньшим, справедливость в делах градных. Помните, что гость торговый — ваш ходатай в языках и землях. Како примете его, тако и слава пойдет о вас по странам и городам. И еще помните, чада моя милая! Отец ваш мыслил о всей Руси Великой и за весь русский народ ныне главу свою вержет. Не посрамите чести рода своего!

После долго сидели молча. Тишина еще звенела, и едва доносился шум градной.

— Тятя, помнишь? — сказал Дмитрий, словно просыпаясь от сна.— Мне, еще юну сущу, вепрь ногу порвал! Руда шла, а ты посадил меня на коня, дал рогатину и сказал: «Догони и повержь!» У меня в ту пору черные круги шли пред очами, а я таки догнал и прикончил ево! Помнишь, Сашко? Матка еще меня лечила травами после... Тятя, ничего нельзя сделать?

— Нельзя, сынок. Надо ехать в Орду!

Очень хотелось на прощанье поговорить с митропо-

---

[1] Вот подлинная его речь, которую мне не удается переложить достойно, как ее излагает древняя наша летопись:

«Видите ли, чада моя, яко не требует вас цесарь, ни иного кого, разве мене, моея бо главы хощет, и аще аз, где уклонюся, то вотчина моя вся в полон будет и множество христиан избиени будут, а после того умрети же ми будет от него, то лучше ми есть ныне положити главу свою, да неповинннии не погибнут».

Перед величием этих слов можно только молча склонить голову

литом Петром. Но тот был далеко, в Галиче, и свидеться не пришлось.

Сыновей и ближних бояр,— тех, кто не отправлялся вместе с ним к хану,— из Владимира Михаил отсылал обратно, домой. Когда расставались, мальчики плакали. Сашко откровенно рыдал. Дмитрий крепился изо всех сил, смаргивая с длинных ресниц редкие слезы. Михаил хотел проводить их строго, как подобает воину, но и сам не выдержал. Крепко обняв Дмитрия, расплакался, и Митя, словно того и ждал, как прорвалось, затрясся, вцепившись в отца, мотая головой, захлебываясь слезами, долго-долго не хотел отпускать. Михаил освободил левую руку, привлек Сашка, так они и стояли втроем и плакали. И бояре, что отошли посторонь, дабы не смутить князя, тоже украдкою вытирали влажные глаза.

Дожинали хлеб. Так захотелось вдруг вкусить напоследях горячего ржаного хлеба из новины! Лодьи проходили мимо останних градов и весей Русской земли, и мечта князя исполнилась. Уже почти на выходе в Волгу, когда пристали к берегу ради какой-то нужды, кучка селян подошла к лодье, и большелобый старик с добрым морщинистым лицом угодника Николы поднес князю ковригу горячего хлеба. И Михаил отрезал и ел, ел горячий ржаной хлеб, улыбаясь и роняя слезы, а селяне смотрели на него и потом поклонились земно, провожая.

И пошли, разбегаясь по сторонам, луга и осыпи Волги, чужие станы и города, чужие смерды, пасшие стада на далеких берегах. Едучи — береглись. Два или три раза на настойчивые зовы пристать князь притворно соглашался, а потом проходил мимо. Встречные тверские купцы сказывали, где видели вооруженных татар, те места проплывали по самому стрежню реки. Единожды по каравану принялись стрелять из дальнобойных татарских луков. Были ли то посланные Кавгадыем убийцы, просто ли кто озоровал в степи — приставать, вызнавать не стали, прошли мимо.

В Сарае князя встретил ханский посол и сообщил, что Узбек кочует с Ордой в низовьях и велит Михаилу ехать туда. Вооруженные ханские слуги должны были сопровождать князя в пути от стана к стану, оберегая от лихих нападений. Хоть этого-то можно стало не опасаться теперь!

Почти не побывав в желто-голубом пыльном горо-

де, они двинулись дальше, теперь уже на конях, увязав в торока казну и многочисленные подарки царю и вельможам ордынским. Степь, уже сухая в эту пору, пахла томительной горечью полыни и серебрилась ковылем. Воду и ту везли с собою в бурдюках.

Хана нашли шестого сентября на устье Дона. Орда уже издали встречала шумом движущихся конских табунов, ревом и ржанием, столбами пыли с майданов, многоголосым шумом необъятного человечьего стойбища.

По берегу Дона, среди кустов и тощих тополевых рощиц, вдосталь пропыленных и вдосталь объеденных и обломанных скотом, раскинулись пестрые палатки и лотки походного торга. Вездесущие армянские купцы, аланы, русичи, персы, бухарские евреи, татары, арабы, греки, фряги, генуэзцы, касоги — кого тут только не было! Среди шатров бродили непривязанные лошади, верблюды и горбоносые овцы. Черные загорелые татары толпились вокруг лотков, меняли скот, серебро и драгоценности на ткани, вино и оружие.

Скоро небольшой караван русичей, уже остолпленный любопытными татарами,— многие были в оружии и явно высматривали, нельзя ли поживиться чем? — встретил прискакавший из главной ставки ханский пристав. Кое-как плетью разогнав толпу, он передал охранную грамоту и велел трем десяткам воинов, приведенных с собою, оберегать князя. С приставом вместе встречать отца прискакал Константин. Сын был, слава Богу, и живой и здоровый. Он первым кинулся в объятия Михаила, спрятав лицо у него на груди. Натерпевшись страху в Орде, надрожавшись вдосталь, он теперь, встретив родителя, чаял уже, что все беды позади. В час страха зачала его Анна, и красивый высокий мальчик получился робким, чем не пораз печалил отца. Сейчас, по четырнадцатому году, он и возмужал, и вытянулся, и еще похорошел, только вот эта непроходящая печаль в больших глазах, столь схожих с глазами Анны... И этот детский трепет всего тела. Да, могли убить, могли заморить голодом! Сказать ли тебе, сын, что отец твой приехал на смерть?

Михаил ласково отстранил Константина, шепнул, что неудобно — татары кругом. Сын понял, понурил голову, поехал рядом с отцом, словно побитый.

По степи там и тут разъезжали отряды разнообразно одетых и вооруженных всадников, горяча коней,

круто поворачивая, то рассыпаясь, то собираясь опять в плотные ряды. Скоро вдали показались белые и узорные шатры самого Узбека. Начали попадаться всадники в дорогом оружии. Иногда, судя по шелковому или бархатному платью, это был кто-нибудь из вельмож — ближних князей, нойонов или темников татарского войска. Хан, как уже сообщили Михаилу, затеял войну против Абу-Саида Иранского и медленно двигался с войсками к Железным воротам. У Орды продолжался старый спор с хулагуидами, спор, в котором персидские монголы постепенно одолевали, вытесняя ордынцев из Азербайджана и Грузии. И Узбек надумал теперь вернуть утерянное Закавказье.

Когда-то русские полки помогали Менгу-Тимуру брать Дедяков, нынче хан накануне войны затевает суд над самым сильным из русских князей... И еще раз с горечью подумал Михаил, что, будь жив Тохта, ему, Михаилу, пришлось бы сейчас, вместо затеянного позорища, руководить вместе с ханом этою разноплеменною ратью. (И тогда бы он еще месяц назад послал к Железным воротам изгонную рать, а пешие полки двинул сразу же за Дедяков... Смешно сейчас и думать об этом! Узбек сам заслужил бездарность своих воевод.)

Вечером разбивали шатры, ставили княжескую вежу близ торга, вдали от ханской ставки. Так повелел им посланец Узбека. К самому царю Михаила не допустили ни в этот первый, ни в ближайшие дни.

Вежу Михаилу собрали из легких ивовых плетенок, обтянув их войлоком и посконью, устлали коврами, поставили походный налой и иконостас. Отходя ко сну, Михаил долго молился. Было тяжело на сердце.

С утра начались утомительные объезды ордынских вельмож. Каждый чванился, принимая бывшего великого коназа урусутского. Получали дары, словно делая одолжение Михаилу. Потом ели и пили. Долго текли увертливые, по-восточному цветистые, состоящие из сотен недомолвок беседы. Один за другим прошли перед ним визири Узбека — новые хозяева Золотой Орды. Жирный, большелобый, с бараньими глазами навыкате, наверняка бездарный как полководец — беглербег. Усталый, с пергаменным лицом и безжизненным взглядом равнодушного ко всему человека — казначей дивана. Сухой длиннобородый старик — хранитель печати. (С этим было особенно трудно: фана-

тичный мусульманин, он даже и не скрывал острой неприязни к урусутскому князю.) Чем им всем так угодил московский князь? А что Юрий успел побывать всюду и у каждого и всем сумел угодить — ясно было до всяких объяснений...

С самим Юрием Михаил виделся раза два, да и то издали. Съезжаться, беседовать не было ни желания, ни даже сил. Зато Кавгадый сам пожаловал в гости. Держался нагло и льстиво. Михаил сдерживал себя, как мог, понимая, что здесь, в Орде, он уже не волен ни в чем...

Вечером, исповедуясь своему духовнику, Михаил признавался:

— Гневен я, гневен! И поделать с собою ничего не могу, отец мой!

— По-людски понять мочно,— ответил старик, вздохнув и осеняя князя крестом.— А только, батюшка, покрепись! Твой жеребей ныне — аки у Христа перед Пилатом, что ж делать-то! Измаильтяне ся радуют, а ты, княже, не кажи нехристям духа гневна, паки будь радошен, им же на кручину!

Потупясь, иерей выговорил сокрушенно:

— Я бы, старый, и то за тя с радостию жизнь свою отдал, кабы кому нужна была... Что же делать-то, княже! Токмо терпети...

Михаил побывал у всех ханских жен. Дарил мехами, сукнами и паволоками, узорной кованью, сканью тверских и владимирских мастеров, розовым новгородским жемчугом... Жены радовались подаркам, на тверского князя смотрели с пугливым любопытством — и здесь Юрий сумел понравиться больше, чем он. Было только одно отрадное посещение. Царица Бялынь, византийская княжна из рода кесарей Палеологов, приняла Михаила с глубоким сочувствием. Икону тверского письма, поднесенную князем, поцеловала и спрятала на груди. К прочим подаркам отнеслась равнодушно, видно было, что ее, византийскую христианку, судьба князя-христианина тут, в недавно завоеванной исламом стране, заботила кровно, помимо всяких даров.

— Постараюсь помочь! — шепнула она Михаилу на прощанье по-гречески, и этот робкий шепот (не услышали бы рабыни) больше всего открыл Михаилу, как плохи его дела.

Наконец князя Михаила принял сам Узбек. Принял в своем огромном шатре, сидя на троне среди

жен и массы придворных. На дары Узбек едва глянул. Сидел прямой, еще более, чем раньше, красивый. Протекшие годы прибавили обличью хана, его точеному лицу мужественности. На Михаила он поглядел только раз,— когда князь, вошедши в шатер, поклонился ему,— после смотрел мимо него и едва шевелил губами. Толмач переводил уставные приветствия Узбека и ответы Михаила. Так и окончился прием. Только через два дня Михаилу передали, что хан сильно гневается, считая его убийцей своей сестры.

Михаил не спал целую ночь, постепенно, шаг за шагом, припоминая всю болезнь Кончаки — действительно, подозрительную болезнь! Следовало допросить с пристрастием лекаря, чего он не сделал. Следовало допросить, прежде чем отпускать в Орду, всех пленных рабынь и слуг Кончаки... Одна, говорят, повесилась от любви к какому-то из его молодших дружинников... От любви?! Не здесь ли разгадка! Но с мертвой уже не спросить... Зато жив Кавгадый. Но его, увы, не допросишь! «Ищи, князь, ищи»,— понукал он себя, вспоминая все новые и новые подозрительные подробности. Следовало найти иголку в стоге сена — бывших слуг и служанок Кончаки здесь, в Орде (или в Сарае, или даже на Москве!). Наутро он вызвал вернейших слуг. Рассказал дворскому. Вечером ему привели несколько купцов-христиан: аланов, армян и русских, и все, многие даже отказавшись от платы, уверили князя, что будут искать и приложат к тому все силы. Никто из них раньше не видал Михаила, но, бывая в Твери, знали порядки тамошнего мытного двора, а такие вещи купцы умеют ценить особенно, и Михаил, проводив торговцев, даже омягчел душою. Правителю страны, издающему справедливые законы, редко удается так вот прямо встречаться и толковать с теми, ради кого эти законы бывают изданы, и сейчас, когда приходилось думать о возможном конце жизни, Михаил немножко даже погордился торговыми порядками, устроенными им во своем княжестве.

Купцы начали негласные поиски, обнаруживали то одного, то другого из бывших слуг, но столь желанной ниточки пока не находилось. Выяснили, впрочем, что у Кончаки была не одна особо приближенная девушка, а две — Фатима и Зухра,— и удавилась из них первая, а вторую пока еще не нашли, и что с ней

случилось — не знают... А время шло. Через полтора месяца был назначен суд князю.

Орда между тем медленно двигалась на восток, к Железным воротам, минуя ясские, касожские и греческие селения, и все время на краю степи подымались, словно сгустившиеся облака, сизые и голубые твердыни Кавказа, причудливо изломанные, с полосами и пятнами снега на гранях гор. И такой был покой в этих облачных нагромождениях, такая лазурная, почти божественная чистота и остраненность от всего, что творилось и мельтешило тут, у их подножия, что Михаилу порою страстно хотелось уйти туда, раствориться, исчезнуть в их голубом сиянии, слиться телом с прозрачным холодом далеких снежных вершин.

Бялынь очень долго не удавалось поговорить с Узбеком. Будто предчувствуя неприятный разговор, хан долго не посещал свою греческую жену. И когда Бялынь, за фруктами и пурпурным вином, лишь только намекнула, что хочет вопросить о Михаиле, Узбек гневно свел свои писаные брови, пролил кубок и выкрикнул:

— Довольно! Я не хочу больше слышать о Михаиле! Со всех сторон только: «Михаил! Михаил!» Ежели князья порешат, что его надо убить, пусть убьют!

Бялынь промолчала, пережидая гнев хана, оправила шелковое покрывало низкого ложа. Подумала: вот сейчас встанет и уйдет, и тогда — конец! Тогда и для нее беда. Начнут говорить об охлаждении Узбека к своей византийской жене, завистники начнут глумиться над нею...

Узбек фыркал неизрасходованным гневом, расшвыривал подушки. Ежели бы жена возразила, быть может, и ушел бы. Но молчание гречанки обезоруживало его. Хотелось спора, чтобы в споре убедить до конца и самого себя. Бялынь, почуяв это, решилась:

— Мой повелитель! Не за Михаила, но за тебя боюсь я! Твою справедливость славят во всех странах, но до конца ли ты убедился, что тверской князь заслуживает казни?

— Твой тверской князь отравил мою сестру! — жестко отмолвил Узбек.— Этого одного достаточно для приговора о смерти!

— Михаил — воин! — возразила, пожав плечами, Бялынь.— Зачем воину убивать женщину? Он пощадил Кавгадыя и даже с честью принял у себя...

— Кавгадый мой посол! — перебил, вновь распаляясь, Узбек.

— А жена Юрия — твоя сестра! — возразила гречанка.— Неужели твой Михаил (она сделала чуть заметное ударение на слове «твой») столь глуп, что не знал об этом или не ведал, какое горе причинит кесарю Узбеку смерть его сестры в тверском плену?

Узбек несколько мгновений молча глядел на Бялынь, осмысливая сказанное. В чем-то, возможно, она была и права, но уже столько и без конца было говорено об этом тверском князе, этом русском гордеце, не ведающем, видно, что Русь состоит в подчинении у Орды... И к тому же, как настойчиво повторяет главный кадий, урусутам, с их распятым богом Исой (который и не Бог вовсе, а только один из пророков Бога истинного!), урусутам давно надо показать твердость ханской воли! И этот Михаил, которого вся Суздальская земля упорно продолжает считать великим князем, невзирая на ярлык, данный им, Узбеком, московскому коназу Юрию... Тут стройные доселе рассуждения Узбека запутались, и он выкрикнул опять, прикрывая гневом бессилие мысли:

— Ты брала от него подарки!

— Все жены брали! — тотчас возразила Бялынь.— И ты сам тоже брал подарки Михаила!

Решительно эта гречанка стала считать себя слишком умной! Узбеку уже расхотелось оставаться у нее на ночь, и, пренебрегая молвою, которая, конечно, уже завтра утром разнесет слух о его размолвке с дочерью Палеологов, он поднялся и начал застегивать пояс.

— Ты уходишь, повелитель? — спросила Бялынь, понурясь. Служанки уже кинулись подавать хану мягкие сапоги и расшитый золотом халат.

— Прости, но заботы государства не оставляют меня и по ночам! — напыщенно, скорее для служанок, чем для Бялынь, выговорил Узбек.

— Тогда, повелитель, выпей на прощанье!

Узбек принял кубок из рук гречанки, осушил и, несколько смягчась, на минуту привлек ее к себе. Греческая жена так готовно, с такою женской беззащитностью и тоской приникла к нему, что Узбек чуть

было не порешил остаться на ночь, но теперь удержало то, что слуги уже видели его сборы и могли истолковать колебания повелителя как слабость или переменчивость нрава, а этого Узбек боялся больше всего.

Все же разговор с Бялынь заронил в его душу сомнения относительно судьбы Михаила, которых у него уже почти не оставалось, и, как это было ему свойственно, Узбек тотчас обозлился на обоих соперников: и на Михаила, и на бывшего шурина, Юрия (хорош супруг: сам бежал с поля боя, а жену оставил врагу!) и приказал творить суд обоим, и того, кто окажется виновен — будь то Михаил или Юрий,— казнить, а правого воротить на Русь, сделав великим князем владимирским.

Юрий в эту ночь пил у Кавгадыя и только в полдни узнал, как опасно поворотилась его судьба. Вечером впервые они поругались с Кавгадыем:

— Что сделал ты для меня до сих пор? Лишил жены, завел в степь и заставил кажен день глядеть на этого старого тверского волка! Где твоя помочь?! Где твои обещания?! А ежели меня, а не его обвинят на суде? Тогда, крестом клянусь, свалю всю затею с Кончакой на одного тебя! Сам издохну, но и ты пойдешь вслед за мной!

Кавгадый крутил головой, прицокивал языком, утешая князя, как умел:

— Ай, ай, нехорошо, Юрко, нехорошо ты говоришь. Зачем издыхать? Тебе не нада, мне тоже не нада! Объедем всех, всех дарим! Беглербег давай, хранитель печати давай, многа давай! Узбек сегодня одна, завтра другое, как ему скажут, так и думай! Я тебе друг, ты мне друг! Не веришь? Веришь? Зачем тагда кричи? Тиха нада! Серебро доставай, купцов бери, многа бери — твоя и моя голова серебром выкупай!

И все-таки никогда в жизни — ни до, ни после, ни даже тогда, когда он стремглав бежал с поля боя под Бортеневом,— не испытывал Юрий такого ужаса, как в ночь накануне суда. Он не спал. Словно загнанный зверь, озирал тесный шатер, выходил под ночь, под высокие южные звезды, слушал глухой топот бесчисленных табунов, следил огнистые вспыхивающие бледные сполохи, и волосы шевелились у него на голове, ибо он понимал: не удрать! Некуда удрать! В горы — догонят! Да и...— тут уж признаться можно было

самому себе — ясы, аланы енти, все соболезнуют Михайле, не ему. Он-то с бесерменами больше, со знатью ихней, а они... Мученика себе нашли, Христа новоявленна! Покажет им этот Христос, мать их, дай ему волю только! Как под Бортеневом... А признается завтра Кавгадый — и всё, и смерть. А вдруг струсит и скажет? С перепугу-то и на копья кидаются! Вроде не трус он, а? А я-то! И почто ево давеча костерил? Не нать было, ох, не нать! А коли слыхал кто? Из холопов? И донесли? Хамову-то отродью каку гривну получить — человека зарежут! Господи! Пресвятая Богородица! Спаси и помоги!

Юрий повалился на колени, рвал траву, мычал и стонал. Едва опомнясь, встал, прислушался: «Тихо. Вроде не скачут? Слуги спят, дружина спит по шатрам. Не видела ли сторожа? Да нет, чего тут... Подумают, за нуждой... Всем ведь дано, и ябедников с Руси нагнали — стадо целое! А ну как перекуплены? А ну как переметнулись? А ну как дознался Михайло и явит... кого? А кого ни то да явит, и тот: знаю, мол, видел или слышал там, от Кавгадыя хоть... И Узбек тут же велит, и — острым — по затылку! Или скрутят и — давить! Не хочу! Его, его давите! Ворога моего! Все отдам, все, крест сыму, в веру вашу пойду, в бесерменскую, землю есть буду, в яме сидеть... Хоша, нет, что я, не хочу в яму, не хочу! На Русь уйду, буду сидеть в Москве, тихо буду сидеть, Переслав отдам, Коломну отдам, с утра до вечера молиться буду... Господи, помоги рабу твоему верному! У меня брат Иван — молитвенник, он заслужит, умолит за меня! Господи! Я не хуже других! За власть и не так ищо бьютце! Родителей травят, братьев, сестер... Вона, бают, Чингиз ихний родного брата убил... Я не хуже других! Я такой же, как все! Грешен я, каюсь! Но не паче прочих! Спаси и пощади меня, Господи!»

Едва не поседел Юрий за эту ночь.

Вежа, в которой назначили быть судилищу, находилась за царевым двором. Внутри обширного войлочного шатра по кругу устроили возвышенные сиденья, застланные кошмами, а середину оставили для тяжущихся. Узбеку его приближенные отсоветовали самому являться на суд, дабы таким образом — поскольку

убийство Кончаки затрагивало честь хана — соблюсти беспристрастие.

Собираться начали к полудню. Князья приезжали с нукерами, степенно слезали с коней, отдав повод, оглаживали бороды, оправляли оружие и платье. В вежу заходили, снимая у порога грубую обувь. Проходили по коврам, рассаживались на подушки, блюдя чин и звание. Робко, оглядываясь на строгих ордынских вельмож, вступали в вежу русские жалобщики, набранные Кавгадыем и Юрием.

Юрий приехал пышно, от ночных страхов остались только бледность в лице да неистовый блеск в голубых глазах. Он был в лучшем своем наряде, с золотою, сканой работы, цепью на плечах и в золотом, с красными каменьями, поясе. Михаил оделся просто и много беднее Юрия, но столь прям был стан тверского великого князя, столь мужественно и строго благородное лицо, столь властен взгляд тяжелых, широко расставленных глаз, что по рядам собравшихся прошел шепот, словно прошелестела осиновая роща под набежавшим ветром. И не в одной душе, не в одном уме пронеслось: что они делают? И над кем?! Но — молчали. Недавно закончившаяся победой бесермен резня в Орде отняла силы и мужество у тех, кто остался жить. Ждали, что скажет главный кадий, глава духовенства, что решат казы — мусульманские судьи, хотя суд творился по русскому праву: тяжущиеся были поставлены друг против друга, и каждому дана была возможность состязаться — отстаивать свою правоту перед противником.

Михаил впервые за много лет увидел Юрия близко и про себя поразился переменам в облике московского князя. Юрий заметно потолстел и станом и ликом, причем лицом потолстел как-то с носа, словно бы надутого в переносье, отчего все обличье Юрия приобрело характер надменной заносчивости. Глаза его несколько выцвели, а волосы, отпущенные до плеч, уже не пылали солнечным облаком вокруг головы, а висели тяжелыми и словно бы сальными прядями тускло-рыжего цвета. На Михаила он глядел снизу вверх — тверской князь был выше, и в свирепой наглости его взора Михаил прочитал спрятанный в самую глубину зрачков страх.

Судил Кавгадый, и это уже было очень плохо. Он тотчас начал вызывать жалобщиков — князей, знако-

мых Михаилу; и тверской князь, ощущая тоску и гадливость, взирал, как они, стараясь не глядеть ему в очи и жалко путаясь, кладут грамоты и бормочут что-то об утайке им, Михаилом, ордынских даней...

Михаилу ничего не стоило разбить все их лживые и плохо составленные обвинения. Четверо его ближних бояр, печатник и дьякон-писец хорошо поработали в эти последние дни, когда уже выяснилось более или менее, в чем будут обвинять Михаила. Сейчас он мысленно вспоминал строгое, с прямою складкою между бровей, сдержанно красивое лицо боярина Викулы Гюрятича, который еще утром повторял, натверживая князю, кто и сколь гривен внес, кому и когда были переданы те серебро, меха и сукна, сколь и чего ушло сверх того на кормы и издержано на подарки послам. Грамота, составленная старым боярином Онтипою Лукиничем, казалась таковой, что и придраться не к чему было. Михаил громко и ясно прочел ее, и вновь шепот-шелест прошел по рядам ордынских вельмож. И вновь его обвиняли, что он «многы дани поимал еси на городах наших, царю же не дал ничтоже», и вновь Михаил, обличая ложь правдою, являл грамоты, приводил свидетельства, называл имена. Он был как лев в своре гиен,— но гиен было много, а он был один. Появлялись все новые свидетели, вылезали личности, о коих он и сам уже не помнил. В косматой медвежеподобной фигуре какого-то великана он не сразу признал даже своего тверского мытника Романца, некогда сбежавшего от справедливой расплаты. Теперь Романец, зло и подло глядя на князя, врал, что Михаил якобы заставлял его утаивать доходы мытного двора, дабы меньше платить хану, и с того-де он, Романец, и убежал от князя в Орду, ища справедливости. И таких, как Романец, Кавгадый с Юрием собрали очень много. Была беззастенчивая ложь, уже и ни на чем не основанная, и ее опровергать было труднее всего. Нет, он, Михаил, не грабил Ярославля, не обирал Костромы, не затем затеял войну с Новгородом Великим, чтобы не дать новгородцам заплатить выход царев, а как раз затем, что они этого выхода не давали... И шло, и шло, и шло. За отвергнутой ябедою тотчас являлась другая, и нет того, чтобы повиниться, признать неправым хоть одно обвинение, нет! Выслушав ответ Михаила, те, будто бы и не слыхав ничего, продолжали со спокойною наглостью:

«И паки, окроме прежереченного, брал князь Михайло Ярославич поборы с Галича Мерского, и с тех поборов, пятидесяти гривен серебра, тебе, царю, не дал ничего же...» — и приходилось вновь казать грамоту с исчислением дани, полученной с Галича и Дмитрова, собственноручно подписанную дмитровским князем, и другую, где сообщалось о присыле дани в Орду.

«И паки еще,— едва выслушав, начинала противная сторона,— несытый тот князь Михайло Ярославич утаи дань со своего града Кашина, а с Переяславля — уже в руце московского князя Юрия Даниலыча — требуя излиха противу обычая, как дани давали искони...» — и вновь начиналось долгое выяснение: давал или не давал город Кашин ордынскую дань.

Так тянулось до вечера. Уже все устали, с лиц катился пот, у Юрия с Михаилом взмокли платье и волосы. Поглядывая на своего печатника Онисима, что подавал князю грамоты и быстрым шепотом подсказывал ответы, ежели Михаил запамятовал что-нибудь, на его совсем белое, в росинках пота, лицо, князь думал уже, что Онисим скоро упадет в обморок, но тот на немой вопрос господина лишь мотнул головой, проговорив едва слышною скороговоркою: «Выдержу, княже! Тут не тебя, Русь судят!» И верно, судили Русь. Судили, хотя по справедливости давно должны были прекратить позорище, оправдать Михаила и выгнать, обличив, всех жалобщиков с Юрием вкупе. Но судьи-бесермены продолжали судить. Ибо решились судить и осудить заранее. Ибо вся мусульманская верхушка Орды требовала суда над Михаилом и осуждения Михаила, видя в нем — вполне справедливо, впрочем,— опору враждебного религиозного учения. Сколько бы подарков ни раздали Юрий с Михаилом, кто бы подарки эти ни получил, не в них было дело и не от них зависел исход затеянного судилища. В конце концов ни Михаил, ни даже Юрий не предлагали увеличить ордынской дани. Михаил не хотел, а Юрий ежели и захотел, то не смог бы добиться от страны добровольного отягчения хомута, и так уже вдосталь натиравшего шею. И не затем столь долго и въедливо выслушивали тут лжесвидетелей, и не потому столь громогласен и весел был Кавгадый, оглашавший ложь за ложью, что кто-то всерьез верил предъявленным обвинениям. Верили, уверялись — количеству хулящих на князя, не видя или не желая видеть во

всем этом ловкой подтасовки, игры, затеянной Кавгадыем, дабы убедить их в том, в чем они и сами очень хотели убедиться, надеясь, что ежели на Руси столь много недовольных Михаилом, то и убрать его можно будет без особых хлопот. А там Русский улус останется без хозяина,— ибо такие, как Юрий, никогда и никого в истории не страшили, хоть порою и власти добивались, и зло творили немалое, а обманывали и предавали своих соратников чуть ли не всегда. Но и опять, и вновь встречая среди рядов «своих» таких вот деятелей, без совести и убеждений, никто не числил их опасными себе, никто не задумывался: а как они поведут себя, добившись власти? И... история повторялась с точностью крутящегося колеса.

Юрий был подл. И это видели все. И потому никто не ставил его всерьез и никто не опасался его власти на Руси. Юрий для них — этих важных и властных (а втайне опасающихся за свою власть и даже за жизнь), чванных с покоренными, жадных к добру и почестям, частью фанатичных ревнителей новой веры, частью раздавленных ею или беспечных ловцов переменчивой ханской милости — Юрий для всех них был понятен, удобен и удобно ничтожен. А тверской князь олицетворял то, что едва не победило, вместе с учением Христа, у них, в Орде, что требовало союза и дружбы, а не окрика и глума, что требовало мысли и благородства, а то и другое сильно поменело в Орде.

Так сошлось, что в лице Михаила ислам судил учение Христа, и все, что потом справедливо начали связывать с Ордой и с татарами: жадность, предательство, насилия и грабежи, ругательства над верою — все, что потомки, по обычаю людского ума распространять последующее на предыдущее, стали приписывать монголам и их нашествию на Русь, все это началось совсем не с похода Бату и даже не с мусульманского переворота в Орде, совершенного Узбеком пять лет назад, а с этого именно дня, с вечера этого, 20 октября 1318 года, со дня суда над русским князем Михаилом Ярославичем Тверским.

Уже поздно вечером, так ничего внятно и не решив, разошлись вельможи, разъехались судьи и свидетели, и князья-соперники были отпущены по своим вежам.

Михаил ужинал с боярами. Сын, только тут, кажется, начавший понимать полную меру происходяще-

го, глядел на отца расширенными от ужаса глазами. Старый Онтипа Лукинич, поглаживая бороду и без обычной улыбки своей взглядывая на князя, говорил:

— Противни со всех грамот я изготовил, и пуще тово — иные в Тверь перешлю тож, пущай и тамо знают, как оно тута створилось! Правда, она завсегда нужна...

— И после смерти?! — не выдержав, взорвался Викула.

— После смерти тово пуще! — спокойно возразил старик.— Да и грех пока про смерть-то говорить. Узбек, поди, думает ищо. Може, и постыдятся нехристи... Есть ведь и у их суд-то божий!

Прямоплечий русый богатырь Кирилла Силыч, ясноглазый, кудрявобородый, веселый и прямой в речах, бесстрашный в бою и знатный песельник в дружеском застолье, откачнулся, положил кулаки на стол:

— Княже! Бежать надоть тебе! Не жди более! Повели только: часом соберу дружину, коней отобьем ханских,— вызнал уже, где стоят! На них — черт не догонит! Хошь — всем, хошь — тебе одному. Мы-то изомрем за тя честно, а Твери без твоей головы худо стоять!

Михаил медленно покачал головой:

— Потерпи, Силыч! Мне бежать ныне — и без вины виновату стать перед ханом! — Подумав, он прибавил негромко: — Может, и вонмет Узбек гласу истины!

В голосе Михаила при этом прозвучала такая безнадежная горечь, что все вздрогнули и замерли на мгновение...

Онисим молчал. Побывав с князем на суде, он и сам уже ничему не верил. В глазах все еще маячили бесстрастные восточные лица вельмож, что несколько часов подряд выслушивали напраслину и ложь на его князя и только покачивали головами...

Вновь надо было хлопотать, брать серебро у купцов по заемным грамотам и дарить, дарить, дарить... Он снова ездил к Бялынь, но царица не приняла Михаила, передав, что ничего не может сделать. В конце концов она была женщина, и жертвовать своим женским счастьем, и даже судьбой, ради чужого русского князя она не могла. Михаил понял и не винил ее.

Неделя прошла в хлопотах и в непрерывном ожи-

дании ханской воли. В субботу вечером князя неожиданно схватили — к веже явилась целая толпа вооруженных до зубов татар с двумя князьями и Кавгадыем во главе (Кирилла Силыч взялся было за меч, но Михаил сам вырвал оружие у него из рук). Схватили и, связав, поволокли на новый суд, где уже многих и многих не было,— явно, не всех и известили даже,— и тут, в присутствии беглербега, хранителя печати, кадия и еще нескольких князей (Юрия в этот раз не было), ему прочли приговор: «Цесаревы дани не дал еси, противу посла бился еси, княгиню великого князя Юрья уморил еси».

Михаил вновь и гневно отверг обвинения, заявив: «Колико сокровищ своих издаял есмь цареви и князем, все бо исписано имяше, а посла пакы избавих на брани и со многою честью отпустих его». (Так, со слов Онисима, записывал позже тверской летописец.) И все была правда: и грамота, исчислявшая дани, составленная Онтипою, была явлена им на суде, и Кавгадыя он после боя под Бортеневом, боя, к которому его принудил Юрий, с честью принял у себя и, наградив, отпустил,— все было так! Единственное, в чем не мог оправдаться Михаил, была смерть Кончаки. Тут он, призвав в свидетели Господа Бога, поклялся, что и в уме не имел такое сотворить.

Судьи только переглянулись и, опять покивав головами, больше не позволили князю отвечивать. Тотчас явились семь стражей от семи князей, Михаила, пеша и связана, повели к его веже, причем толпа палачей все увеличивалась. Тут, в веже, его долго и бестолково, причиняя князю боль, заковывали в цепи, в то же время били и волочили бояр. Михаил еще видел, как Кирилла Силыч, с лицом в крови, рыча и отбиваясь, уводил за собою княжича Константина, и, сквозь боль, обрадовался сметке боярина. Видел отца Александра, у которого рвали из рук княжеский золотой крест и заушали старца, пихая его в шею вон из шатра. Видел, как, согнувшись, держа под полою ларец с грамотами, убегал Онисим, а Викула Гюрятич, закрывая его телом, свирепо и страшно отбивался от наседавших татар. Видел, как старый Онтипа Лукинич волочился по земи, уцепившись за полу какого-то дюжего ордынца, и тот, пиная сапогами, все не мог скинуть с себя старика. Бояре и слуги все вели себя так, как умели и как могли. Не в состоянии спасти господина, они

спасали то из добра, что считали ценнейшим и важнейшим.

Не в силах смотреть на позор и поношение своих бояр, прикрывая глаза от стыда и боли, Михаил все же в душе гордился и сейчас своими соратниками, не посрамившими чести ни своей, ни княжеской.

И после того, как последние слуги Михаила были изгнаны из вежи, началась безобразная свалка: делили, вырывая друг у друга из рук, порты, рухлядь, оружие и одежды Михаила.

— Удалиша от мене дружину мою и знаемых моих от страсти! — прошептал Михаил, старинным стихом благодаря небо за то, что никто, хотя бы здесь, при его глазах, не был убит или всерьез изувечен.

Потом явился кто-то из князей, ругаясь по-татарски, заставил навести некоторый порядок в веже. Многочисленные цепи с ног Михаила тоже сняли, но оставили его связанным и под охраною на всю ночь. Михаил дремал, лежа на боку, прислушивался к шорохам за стеною вежи. Хотелось пить, но он не мог заставить себя попросить воды у своих мучителей... Перед утром он, однако, забылся, и тут же его грубо растолкали. Явился палач, два дюжих татарина принесли тяжелую разъемную колоду, которую тут же и надели на шею Михаила. Толстое дерево поддернуло подбородок, тяжесть легла на плечи, сдавив уши, и сперва показалось Михаилу, что выдержать это не можно и часу. «Слава тебе, Господи,— проговорил он хриплым шепотом, мысленно уже распростившись с жизнью,— сподобил мя еси, владыко, человеколюбче, начаток прияти мучения моего! Сподоби мя и скончати подвиг сей!» Однако шли часы, а он не умирал. Понял, что не надо напрягать шею,— стало немного легче. Ему поднесли воды. Испив и открыв глаза, князь увидел одного из своих слуг. У него невольно навернулись слезы: не чаял уже и видеть никого из тверичей! Оглянувшись, князь узнал и ближних бояр, и прислужников княжьих. Все они теперь были снова допущены к нему. Увидел и сына и поспешил отвести взор — так непереносно жалок был взгляд Константина.

Было трудно есть. Князя кормили слуги, как маленького. Сам он не мог дотянуться руками до рта. Мучительно было не спать. На ночь ему забивали в ту же колоду и руки, и князь мог лишь сидеть, но ни

лечь путем, ни положить голову было невозможно. Михаил дремал, привалясь к стене. Отроки, сменяясь, держали под его головой кожаную подушку. Помогало это мало, и недостаток сна поначалу доводил его до исступления, хотелось, чтобы это скорее кончилось, как — все равно. Хотелось хоть перед смертью снять колоду с шеи — пусть казнят, пусть отрубят голову. Но в последний час, хоть на плахе, почувствовать свободной выю свою!

Помогала молитва. Строгий в исполнении обрядов, князь ныне ужесточил для себя служебный устав. Еженощно пел псалмы Давидовы, и — поскольку руки его были забиты в колоду — один из отроков, сидя перед князем, переворачивал страницы псалтыри; почасту причащался и исповедовался, дабы умереть с чистою душою, как подобает христианину. Сейчас, напрягая все силы души, Михаил заставлял себя быть не только спокойным, но и радостным с виду. Ни один из отроков, обслуживавших князя в его жалком образе, ни разу не видел Михаила унылым или гневным. И это тоже помогало ему выдерживать муку. Духовно ободряя бояр и слуг своих, князь черпал в сем силы для одоления непослушливой плоти.

— Помните наши пиры, и песни, и утехи? — говорил он боярам, собиравшимся вокруг своего опозоренного господина.— А ныне (он слегка поводил онемелою шеей) видите вы это древо и скорбите душою! В жизни столько было хорошего, столько благ послал мне Господь, так сей ли не претерпети беды! Что мне эта мука противу дел моих! И больше достоит прияти, да бых за гробом прощение получил... Не плачьте, не надо! Яко угодно Господу, тако пусть будет! Буди имя Господне благословенно отныне и до века, и не печалуйте о муке моей!

Все это длилось уже более трех недель. Орда медленно передвигалась, и князя везли в арбе вслед за ханом. Узбек, по-видимому, еще не решил, казнить ли ему Михаила или наказать инако. Возможно, просто медлил вперекор дружному напору вельмож. Возможно, болезненно самолюбивый и постоянно неуверенный в себе, он — когда решение о казни уже получило силу приговора — вновь заколебался, отлагая исполнение ее на неопределенный срок. Во всяком случае Узбек не захотел оставить Михаила в стане (видимо, чуя, что в его отсутствие князя могут прикончить уже

и без ханского разрешения) и, отправляясь на ловы в предгорья Кавказа, повелел везти Михаила за собой.

Лучшей поры для побега было трудно придумать. Ясы, соболезнующие русскому князю, сами вызвались помочь, достали коней и проводников: в горах они были хозяевами, и никакая татарская погоня не настигла бы князя за Тереком, особенно теперь, в начале зимы. Через Кафу и западные земли князя брались доставить на Русь армянские и греческие купцы. Царица Бялынь, рискуя головою, передала наказ своим единоверцам в Крыму. Кирилла Силыч, уже заранее торжествуя, явился к Михаилу вместе с Викулой Гюрятичем поздно ночью, в отсутствие татарской сторожи, и передал, что все готово для бегства:

— Кони и проводники ждут! Из утра, как повезут, арба князя уклонится в горы...

Михаил, вздрогнув, строго оглядел своих бояр. (На миг, только на миг один, так захотелось ему даже и не бежать, нет, но снять поганую колоду с плеч, освободить голову, сесть на коня, вдохнуть свободным горлом ветра и солнца! Сам испугался своего желания.)

— Не дай же мне Бог сего сотворити! — сурово отмолвил он.— Ежели я один уклонюсь, а людей своих оставлю в этой беде, то какую похвалу приобрету себе? И о княжестве нашем, о земле, подумали вы? Голова эта теперь — жертва за други своя и за всех людей русских. Идите! И не смейте содеять ничего такового. А погибну я или нет — на то вся воля Господня да будет!

Орда выходила уже к многолюдным селениям нижнего Терека. Вновь разбивали стан, развертывались палатки торга, ставили походную вежу. Пытка колодою продолжалась уже двадцать четыре дня. Михаил заметно ослабел, у него почасту кружилась голова, на шее сделались кровавые язвы. Нежданно в княжескую вежу явился Кавгадый со свитою, размахивая грамотою, повелел взять князя и вести в торг. Здесь, на пыльном и промороженном майдане (снегу еще не было, и в глаза несло мерзлую острую пыль), Михаила поставили на колени, и Кавгадый, кривляясь, начал строго вычитывать князю его вины. Михаил не слушал. Чуть шевеля губами, он молился, стараясь победить вновь поднявшееся головокружение. Вокруг, в небольшом отдалении,

собиралась толпа гостей торговых, воинов, просто глядельщиков: оборванных слуг, холопов, местных жителей.

Кавгадый вгляделся в осунувшееся лицо князя, увидел, как вздрагивает от усилий держать тяжелую колоду его голова, и заговорил по-иному, с масляным наигранным добродушием, «имея яд аспиден во устнех своих», как замечает древний летописец:

— Не горюй, княже! У нашего цесаря таков обычай: на кого прогневает, хотя и свой будет, такую же колоду налагают ему, маленько мучают, а когда царский гнев минет, опять в прежнюю честь введут! — Кавгадый, не скрывая насмешки, подмигнул катам: — Из утра али на тот день тягота сия отыдет от тебя, Михаиле, и в большой чести будеши! Вы почто не облегчите ему древа сего? — вопросил Кавгадый стражей по-русски, и те, расхмылясь, начали тоже подмигивать и кивать в ответ.

— Заутра, князь! Али в другой день, како скажешь, тако и сотворим! — ответил тоже по-русски один из палачей,— явно для Михаила.

Кавгадый покачал головой, поцокал, будто от жалости к тверскому князю, вздохнул всею жирною грудью. Будто теперь только увидав дрожь княжеской головы, приказал сторожам:

— Ну-ка, поддержите ему древо, а то давит на плеча! Ему тяжело! Князю тяжело! Ай, ай!

Дюжий татарин, передав другому копье, ухватил колоду за два конца и приподнял так, что подбородок Михаила задрался и он неволею принужден был смотреть в довольное лицо своего мучителя. Кавгадый начал выводить из толпы заранее собранных заимодавцев Михаила и принуждал их задавать вопросы князю, а Михаила — отвечать. Так прошло около часу. Князь, выведенный без верхнего платья, замерз и дрожал. Наконец Кавгадый утомился и приказал отвести князя назад. Михаил уже едва стоял на ногах. Черные круги поплыли у него перед глазами, когда он, ведомый своими отроками, сделал несколько шагов.

— Дайте стулец! — попросил он отроков.— Ноги мои отягчали от многих грехов, не держат...

Подали раскладной стулец. Почти теряя сознание, Михаил опустился на сиденье. Стало легче. Он плохо видел колышущуюся толпу по сторонам, только рокот накатывал, подобный рокоту волн бурного моря. Не видел генуэзцев и фрягов, немецких и греческих торговых гостей, остолпивших майдан. Толпа все густела и

густела. Бежали и спешили любопытные поглядеть на великого русского князя в позорище. Кавгадый явно перестарался. Викула Гюрятич, строго сводя прямые брови, коснулся плеча Михаила:

— Княже господине, встань, коли можеши! Погляди кругом: видишь, количое множество народа зрит на тебя в такой укоризне? А преже слышали тебя царствующа во своей земле! Пойди, господине, в вежу свою, не срамись тута!

— И ангелы глядят с небеси, и люди позоруют мя! — отвечал Михаил, словно в бреду, с увлажненными глазами.— Уповаю на Господа, да избавит мя и спасет, яко же хощет!

С усилием он встал и, шатаясь, двинулся к веже, повторяя слова псалма Давидова...

И был еще день, и настал следующий. Стояли уже за Тереком, на реке Севенце, под городом Дедяковом, миновав ясские и черкасские горы, близ Железных ворот.

— Какой сегодня день? — спросил князь, очнувшись от сна.

— Середа! — ответили ему бояре. Михаил подумал. Голова была ясной, но что-то происходило или уже произошло над ним. Он приказал игумену и двум священникам, бывшим при нем, отпеть заутреню и часы. Сам слушал и молча плакал. Велел затем причастить себя. После, взяв книгу, начал вполгласа, с умиленною тихою радостью повторять псалмы. Потом подозвал сына Константина и бояр с игуменом и еще раз, устно, повторил завещание, распорядясь про отчину, про княгиню, что кому оставляет из сыновей, чем дарит бояр, слуг, даже холопов, бывших при нем в Орде. Немного отдохнув, уже близко к часу, попросил снова псалтырь, вымолвив:

— Вельми скорбна душа моя!

Разогнув наудачу, он начал честь псалом:

«Внуши, Боже, молитву мою и вспомни моление мое. Воскорбех печалию моею и смутих от гласа вражия, яко во гневе враждоваху мне...»

В тот самый час Кавгадый, придя к Узбеку, получал у него наконец согласье на убиение тверского князя, и уже выходил с разрешающей грамотой.

«...Сердце мое смутися во мне, и страх смерти нападе на мя...» — читал между тем Михаил. Приодержась, он поднял глаза на священников и, содрогнувшись от

страшной догадки (Как все-таки слаб человек! Как все-таки надеется он, даже и приговоренный, избежать гибели!), спросил, с дрожью в голосе:

— Скажите мне, что означает псалом сей?

Александр с другим иереем оба согласно отвели глаза.

— Сам же ты знаешь, господине,— ответил Александр, стараясь не смотреть на князя, дабы не смутить его, ибо и над ним словно повеяло незримыми крылами нечто страшное, не имущее образа и вида.— В последней главизне псалма сего глаголет Давид: «Возверзи на Господа печаль свою, и той тя пропитает: не даст в векы смятения праведнику!»

Михаил вздохнул, перемогая слабость и, еще раз вздохнув, прикрывши веки, молвил словами того же псалма: «Кто даст ми крыле, да полечу и почию.— Он замолк, подумал и договорил скорбно: — Се удалихся, водворихся в пустыни, чая Бога, спасающего мя»...

И в этот миг в вежу ворвался, задыхаясь, обморочно бледный княжой отрок и сиплым, задавленным голосом выговорил:

— Господине княже! Едут уже! Кавгадый с Юрьем! И толпа с има, прямо к веже твоей!

Михаил быстро встал на ноги.

— Идут меня убивать! — вымолвил он твердо и, нежданно властным голосом, приказал:

— Силыч и ты, Лукинич, с Гюрятичем! Берите Константина и — скорей, к царице Бялынь! Она укроет! Грамоты — с собой! Бегите!

Онисим, выскочив из вежи, увидел вскоре, как со всех сторон приближаются толпы вооруженного народа. Вытягивая шею, он следил: успели или нет прорваться бояре с Константином? Кажется, успели! Тогда он, с внезапно закипевшими слезами, стиснул зубы и поворотил назад, в вежу, чтобы умереть вместе с князем своим.

Слуги и бояре метались, не зная, что делать. Князь стоял в этом сраме, неистовыми глазами глядя куда-то вверх, и побелевшими пальцами дергал колоду у себя на шее. И Онисим понял невысказанный крик князя: хоть умереть без этого ярма! Он схватил меч и мечом начал разнимать склепанное железными прутами дерево. Князь помогал как мог. Меч гнулся и вдруг с треском лопнул у самой рукояти. Онисим, озверев и обрезав руки, схватил клинок, завернул в шапку и начал было клинком расщеплять колоду. Но он уже не успел. Двери

как вылетели. В вежу ворвалась толпа дикой сволочи — именно так подумал Онисим, увидя эти взъяренные, нечеловеческие, сладострастно-жестокие лица, нет, личины, хари, морды зверей — его отбросило в сторону, и, падая под ударами, он успел увидеть, как огромный косматый медвежеподобный мужик схватил Михаила за колоду, рванул, и голова князя страшно мотнулась, словно уже полуоторванная от тела, рванул и колодою ринул в стену вежи, проломив ее насквозь. Онисим пополз, царапаясь и плюя кровью, волоча на себе каких-то вцепившихся в него двух убийц. Там, за вежею, была свалка. Князь сумел вскочить и, невзирая на тяжелую колоду, повалить двух-трех из наседавшей своры. Но тут его опять схватили за колоду и начали валить. И, хрипя и храпя, страшно задирая голову, Михаил упал в месиво тел, и тотчас сверху на него свалился тот огромный мужик — это был беглый тверской мытник Романец — и, пока другие сапогами и пятками топтали князя, извлек огромный ясский кинжал и всадил его справа в грудь Михаилу. Онисим, доползший как раз до пролома в стене, увидел, как из кучи тел брызнула фонтаном вверх горячая алая струя. Послышался сквозь вой, визг и рев убийц глухой стон, и вслед за тем Романец, обагривший руки до плеч, повращав ножом в груди князя, извлек красное, еще трепещущее сердце Михаила и с торжеством поднял его в протянутой руке. Тут Онисим потерял сознание и уже не видел, не чуял, как продолжался грабеж вежи, как стаскивали, обнажая донага, порты с убитого, как ковали в железа и уводили схваченных тверских бояр и слуг Михаила...

Юрий с Кавгадыем остановились близ торга, за один перелет камня, и ждали, отослав убийц. Юрий был бледен и тяжко дышал, словно сам гнался, и имал, и убивал своего врага. Они слышали крики и рев толпы и ждали, сойдя с коней. Оба стояли, не подумав или не догадав присесть. Так прошло около часу. Наконец показался бегущий к ним по снегу пеший татарин. Он косолапо раскачивался на ходу и махал шапкой:

— Господина! Уже Михайлу кончай, вежу грабят, сама ступай! — кричал он по-русски из уважения к Юрию.

Юрий первый взвился в седло и поскакал, даже не оглянувшись, едет ли за ним Кавгадый. Минуя вежу, от которой оставались уже лишь прутяной остов да клочья

войлока, он в опор подскакал к тому месту, где лежал измаранный кровью нагой труп с так и не снятою колодой на шее, и, сползши с коня, остановился над ним. Тотчас подскакал и спешился Кавгадый.

Обнаженное тело Михаила, сухо-поджарое, бугристое, с мощными ключицами, твердыми на взгляд и сейчас мышцами ног, с запавшим чуть не до хребта животом, со страшно запрокинутою головою — борода торчала в небо, открывая обострившийся, недвижный кадык,— расхристанное, бесстыдно брошенное в луже темнеющей крови,— было страшно. Юрий тупо смотрел на него недвижным, белесым каким-то взглядом, и только пальцы рук у него шевелились, как медленные толстые черви. Юрий был тоже страшен, еще страшнее Михаила. Он напоминал сейчас не человека даже, а разъевшегося, налитого кровью скотинного клеща, выпавшего на дорогу и медленно шевелящего маленькими на безобразно раздутом теле крючками усиков-лап. И Кавгадый вдруг первый не выдержал, дрогнул, шатнулся назад и крикнул хрипло, почти ненавистно, в лицо Юрию:

— Что же ты глядишь?! То — князь твой великий! Прикрой его! Он — брат старейший тебе, в отца место!

Юрий очнулся несколько, обвел глазами круг остолпивших их людей и, завидя одного из своих, кивнул ему. Тот неохотно, с сожалением снял с себя катыгу и прикрыл нагое поверженное тело князя. Потом подошли татарские каты и начали деловито расклепывать колоду на шее мертвеца.

Откуда-то приволокли широкую старую доску, всю в желобках от тесла, подняли на нее тело князя и, обмотав веревками, положили вместе с доскою в телегу. Лошадь, шарахающаяся от запаха крови, дергала постромки. И, неровно расшвыривая снег, скрипя и тарахтя на выбоинах, покатила телега с телом тверского князя за торг, к мосту и через мост, мимо слепленных из глины мазанок, за реку Адеж, что, ежели перевести по-русски, означает «горесть».

Бояр Константина, тех, кто не успел убежать или не был принят за мертвого, как Онисим (он очнулся в сумерках от холода и ползком выбрался с торга), обнажив и ругаясь над ними, волочили по стану, избивали, хулили, всячески глумились, после чего посадили всех в железа.

И вечером, когда успокоился стан и утихли наконец

шум и крики, начался пир победителей. Собрались в шатре Юрия. Пили, неистово паясничали, орали песни. Подымая чары, громко хвалились, кто какую хулу изрек на покойного князя, кто и в чем овиноватил его на суде. И пил Кавгадый, весь добродушно-масляный, словно сытый барс, и Юрий пил, беднея и молодея лицом, пил с безумным торжеством в очах, пил, распахнувши платье, плескал густой мед и вишнево-пурпурное фряжское вино, поил гостей, икал и хохотал, сверкая зубами, закидывая хмельную голову, взмахивая рыжею гривой, пускался в дикий непристойный пляс и вдруг застывал изумленно, еще и еще раз понимая, что его враг, ненавистью к которому он только и жил все эти долгие четырнадцать лет, наконец-то убит!

И второе было сходбище: без шума, вина и песен, в глубокой тишине и тайне — сходбище верных, тех, кто остался жив и на воле и не потерял друг друга. Тут были битые, кое-как перевязанные бояре и слуги Михайловы, был Викула Гюрятич, отец Александр с Кириллой Силычем, старый Онтипа Лукинич и Онисим, которого уже за торгом подобрал знакомый купец и, перевязав и накормив, привел сюда. Были тут несколько ясов, два-три касога, какие-то армяне и один грек-лекарь. Сидели все в полутьме, при единой свече, так что иных и лиц нельзя было рассмотреть, да и по именам Онисим знал лишь немногих. Говорили об одном: как спасти тело князя, доставив его на Русь невережено.

— Выкрасть, дак искать станут, колгота начнется опять! — мрачно подвел итог сказанным речам Кирилл.

— Пущай Юрий везет! — отозвался Онтипа Лукинич. Сильно помятый, он теперь сидел, тихо охая и изредка отплевывая кровь в большой пестрый плат.— Пущай, а только тело поберечь надобно: бросили ить за рекою — звери тамо!

— Стэрэжом! — коротко и гортанно откликнулся один из ясов, блеснув жемчужною полоской зубов под черными усами.— Звэр не тронэт!

Лекарь-грек предложил было опустить тело князя в мед, но ясы дружно заспорили с ним. Оказывается, они знали некое тайное средство, какие-то соскобы с пчелиного меда, которые было очень трудно доставать, но зато сохранявшие любое мясо без гниения в самую сильную жару. У Онисима сильно болела разбитая го-

лова, и, когда он услышал слово «мясо» и вспомнил опять голый труп князя на мерзлой земле, его едва не стошнило.

Ясы брались достать свое средство этой же ночью. Надобно было удалить от трупа татар-сторожей. Викула с Кириллом уже стояли, затягивая пояса, прямые, готовые на дело, сильные, несмотря ни на что, и Онисим, плохо стоявший на ногах, невольно позавидовал их могутной твердости.

— Кто зрел, како князя нашего убивали? — подал голос Онтипа Лукинич. Онисим вздрогнул, оглянулся вокруг, потом вымолвил:

— Я!

— Отпиши путем, надобно нам грамоту составить об убиении блаженного... для детей, для внуков,— сказал старик. Он, сам едва живой, не унывал и всем, кажется, находил дело по талану и по плечу.

— Со сторожею как? — спросили в темноте.

Кто-то из местных поднес ладони ко рту, и жуткий звук волчьего воя послышался середи вежи.

— Отгоним! — сказал он, обрывая вой.

Гуськом, потушив свечу, стали выходить на зеленый от лунного света двор. Легкие перистые облака то затеняли, то вновь открывали холодный лик ночного светила, и, казалось, не облака, а сама луна плывет, ныряя, словно на волнах, по холодному темному небу, неуверенная над неуверенной землей.

Утром тело князя было найдено на земле, рядом с телегою. Князь лежал лицом вниз, одетый в порты. Последняя сошедшая кровь из груди омочила под ним стылую землю. Правая рука Михаила была у него перед лицом, левая подкорчена и прижата к язве. Казалось, князь сам, с вырезанным сердцем, развязался и полз по земле.

Сторожи, ночью сбежавшие в стан, бормотали что-то невразумительное: не то испугались волчьего воя, не то некий темный ужас напал на них еще с вечера...

Тело мертвого Михаила поскорее отправили в Можджечарык, поскольку уже начались толки и пересуды. Кто-то видел свет над телом. Убитого всерьез начинали объявлять святым. В Можджечарыке торговые гости хотели накрыть покойника плащаницами и поставить в церкви. Приставленные сторожи не дали сделать того, заперев тело в хлев, и всю ночь, говорили жители, на небе стоял столп огнен, изгибающеюся дугою упирав-

шийся в крышу хлевины с телом Михаила... Словом, начались чудеса и видения.

Когда мертвеца везли к Бездежу, многие из города видели около саней с телом множество народа со свечами и призрачных всадников, что с фонарями разъезжали по воздуху, сопровождая и охраняя князя. Уже в Бездеже, ночью, когда один из сторожей лег сверху гроба, неведомая сила сбросила его прочь, едва не убив до смерти.

Так, сопровождаемое молвою, обрастающее легендами, тело Михаила ехало на Русь. Его везли и везли, пока наконец не привезли в Москву и не положили в монастыре у святого Спаса...

Юрий мог торжествовать. Он вновь получил ярлык на великое княжение, теперь уже никем не оспариваемый. Был принят Узбеком, обласкан и отпущен на Русь. Он забрал сына Михаилова, Константина, и теперь вез его, успокаивая и утешая, любуясь своим пленником, притворяясь ласковым и радошным дядюшкой,— перенял эту повадку у Кавгадыя,— а сам, сыто и успокоенно оглядывая рослого испуганного мальчика, прикидывал уже: подойдет ли тот в женихи его дочери — голенастой носатой девочке, оставленной ему покойной первою женой,— девочке, с которой он до сих пор не знал, что ему делать, и почти не думал о ней...

Сказать ли тут еще, что Узбек, напоровшись под Железными воротами на двухтысячный конный отряд Абу-Саида, ничтожно малый по сравнению с его бесчисленною ратью, в панике бежал от него вместе со всем войском, позорно и нелепо окончив поход, обесславленный им еще вначале казнью Михаила Тверского.

Тверь узнала о гибели своего князя только в марте, то есть уже в начале следующего, 1319 года, сперва по слухам, а потом и от воротившихся кружным путем останних бояр, тех, что уцелели от погрома, да и те не все добрались до Твери: дорогою умер Онтипа Лукинич, завещав товарищам пуще жизни беречь спасенные грамоты своего князя; умерли и еще двое, не перенеся полученных ран и тягот пути...

Годы прошли, и минули века, и те, кто, убив Михаила, надеялись на скорое забвение его памяти, прос-

читались жестоко. О нем и сейчас еще спорят историки, а житие тверского князя, посмертно канонизированного, составленное по воспоминаниям тех, кто уцелел, и по грамотам, сохраненным заботами старого Онтипы Лукинича, умершего на пути из Орды, вошло во все русские летописи, заботливо переписывалось и сохранялось потомками и в Твери, и на самой Москве, и по другим градам русским... И там, у Кавказских гор, не забылась память его! Спустя недолгое время ясы поставили каменный крест на том месте, невдали от Дедякова, где был убит «русский коназ» Михаил. От города Дедякова с тех пор не осталось и следа, но крест и теперь еще стоит, немой и величаво-одинокий — ежели, конечно, это тот крест и то место. Уверенно мы не знаем. Надписи на кресте не осталось.

ГЛАВА 51

Известие о гибели Михаила достигло Твери уже весной. Подтаивали на солнечных склонах сугробы, и тяжело оседал плотный, напоенный влагою снег, и сани виляли на раскатах, осклизаясь, словно по маслу, и птицы кричали дружно и оголтело, и синие тени ложились на снег от лапчатых елей и жемчужно-розовых тел молодых берез, когда торопливые вершники, раскидывая копытами тяжелое крошево ледяного наста, домчали сквозь бешеный ветер весны невозможную весть.

В княжом тереме — смятение. Бегают слуги, спешат куда-то, слепо тыкаясь по углам, сенные боярыни и холопки. Требуют сыновей (а Дмитрия нет, как на грех, уехал в Кашин!), и никто не знает, как сказать княгине Анне, как даже подступиться к ней. Девка-швея забегает в горницу, видит госпожу за пялами, маленький княжич Василий играет у ног матери, возится на ковре, расставляя глиняных расписных коней. Девка всплескивает руками, убегает. Анна смотрит строго — порядок научилась блюсти не хуже покойной свекрови — и вдруг, осторожно воткнув иглу в шитье, белеет и, откидываясь к стене, почти теряет сознание. Когда наконец заходит старая боярыня и говорит, набрабрясь, о смерти князя, Анна уже оправилась и встречает злую весть с мужеством, удивляющим окру-

жающих. Никто не ведает, что она хоронила его уже давно, с того часа прощания на Нерли, когда — чуяло сердце — отправляла князя на смерть, и теперь по лицу давешней девки сразу догадала, зачем и почему суета в доме, и сбивчивый рассказ боярыни лишь повторяет ей то, о чем поведало едва не остановившееся сердце.

Дмитрий прискакал к вечеру третьего дня. Глянул бешено. Узнав, что тело отца схоронено на Москве, заскрипел зубами, хотел собирать полки. Анна остановила сына, долго успокаивала, увещала. Ни полков, ни сил собрать было немочно теперь. Взамен того приходилось кланяться московскому князю.

По совету епископа Варсонофия в Москву, вместе с ним, отправилась сама великая княгиня Анна. Но на Москве великого князя Юрия не оказалось. А ни Иван Данилыч и никто из бояр не взял на себя смелости выдать без Юрия тело Михаила его жене. Правда, приезд княгини Анны с тверским епископом породил на Москве смятение. Началась беготня, пересылки из дома в дом, из терема в терем, торопливые съезды бояр, глухая молвь на торгу. Пока Анну принимала у себя Елена, супруга Ивана Данилыча, и во все глаза смотрела, робея, на скорбный иконописный лик высокой, сухощаво-стройной тверской княгини, разглядывала, дивясь, ее руки с долгими перстами, будто изографом неким выписанные на иконе, потчевала, едва не роняя слез оттого, что тверская княгиня почти не прикасалась к еде, шпыняла девок и сама проверяла, как постелили постелю для высокой гостьи, пока посадский народ толпился и заглядывал — увидеть бы женку Михайлы: «Красавица, бают!» — «А уж ликом такова скорбна!» — «И-и! Батюшки! И не толкуй! На саму-то прикинь: хошь и свово-то мужика потерять, не приведи Господь, а уж...» — и тут, поджимая губы, кивали значительно, округляя глаза; как-то все вдруг почуяли почтение и даже любовь к убитому тверскому князю... — пока все это творилось и княжеские вершники летели во Владимир, весть растекалась по градам и весям земли, порождая смуту и толки. Земля, ждавшая татарского погрома, теперь, гибелью князя избавленная от ужасов войны, оробела вдруг, и в глухом ропоте ее все явственнее начинало сквозить запоздалое: лучше бы мы, лучше бы уж нас...

Инок Богоявленского (что под Москвою) монастыря Алексий, оставя обитель, еще до зари вышел в путь. По отвердевшей с ночного заморозка дороге он достиг города и, миновав Подол (позднейшее Зарядье), твердо и наступчиво ударяя посохом, шел, с неосознанным удовольствием вдыхая утренний морозный воздух, по старой Коломенской дороге на Крутицы, где сейчас, по слухам, пребывал проездом из Смоленска митрополит Петр.

Алексий столь был уверен, что Петр тотчас примет его, что уверенностью этой обезоружил привратников и митрополичьих служек в Крутицах. Его допустили, даже не спросив, кто он, в ограду подворья, а когда хлопотливый служка сбегал в покои и назвал Алексия, то и к самому митрополиту Петру.

Петр внимательно разглядывал стройного бледного инока с клиновидною бородкой, узнавая и не узнавая в нем черты того боярского отрока, что некогда приходил к нему беседовать вместе с княжичем Иваном. Спросил, где иночествует Алексий, осведомился о здравии родителей его — Федора и Марии Бяконтовых, о братьях и сестрах Алексия.

Дождав, когда вышел служка, Алексий прямо приступил к тому, ради чего покинул обитель свою и пришел сюда, в Крутицы. Твердо глядя в очи митрополиту, как бы вбирая глазами его большое горбоносое лицо и просторные худощавые плечи, с ниспадающим с них льняным подрясником, и эти руки художника, и седину, и уже легкую согбенность стана, и всю окружающую митрополита подчеркнутую простоту покоя, ничем не украшенного,— вбирая все это единым лучом своих прозрачно-глубоких, юношески неотступных и требовательных глаз, Алексий вопросил:

— Можно ли благословить преступление?

Епископ Варсонофий и сама княгиня Анна уже встречались с Петром, но Алексий не знал этого, и Петр, коему не стоило бы труда просто отослать от себя отрока, даже и не стал о том говорить. В вопрошании молодого инока чуялись боль и смятение высокого духа, и оставить их безответными стало бы грешно пред Господом. Петр помолчал, давая Бяконтову сыну успокоиться, подумать и прийти в себя. Вздохнул и, по юношескому трепету Алексия поняв, что до того начинает доходить невысказанное Петром, но молчаливо переданное участие, выговорил:

— Не благословлять и не проклинать дела света сего пришли мы в мир, а учить добру и приуготовлять к жизни вечной. Власть церкви — горняя, и царство Христово — не от мира сего! Сказано бо есть: кесарю — кесарево и Богу — богово. Воспитывай в духе божьем, а о делах земных оставь заботу князьям! — Помолчав и пригорбясь, он добавил с легким вздохом: — Зло как волны на море, что идут чередою: за подъемом — провал. Да не устанем в бореньи! Да не смешаем вечное с временным и скоропреходящим в сердце своем. Что наши земные жизни и века лет для Господа!

Слова, сами по себе, занесенные в хартьи, мало о чем говорят. Больше глаголет сердцу звучание слов, дух и печаль и сердечное тепло глаголящего. Алексий понурил голову. Было тихо. Так тихо! Молчал бор за узким окошком покоя. Шум Москвы совсем-совсем не доносился сюда. И дыхание иного, веяние вечности легко коснулось разгоряченного чела.

— Помолим вместе Господа, сыне мой! — тихо попросил Петр, и Алексий, очнувшись, встал на колени рядом с митрополитом. Слова молитвы, древние и бессчетно повторяемые слова, как тихий весенний дождь спадали на его израненную смятенную душу и приносили тишину и покой — то необходимое, что нужно для неустанных трудов духовных.

По весенней подступившей распуте стало не добраться ни от Москвы до Владимира, ни от Владимира на Москву. Великая княгиня Анна с трудом воротилась домой, в Тверь. Пережидали паводок, потом снаряжали посольство. Ехать во Владимир к Юрию должен был Александр. Самого Дмитрия, заступившего ныне место отца, Анна не отпустила, справедливо опасаясь, что Юрий может забрать его в полон и не выпустить, как сделал он это когда-то с рязанским князем.

В пересылках и переговорах прошли май, июнь и июль. Юрий то принимал, то не принимал Александра, чванился, суетился, выставлял всякие неисполнимые требования, сетовал, что боится нарушить покой праха, уже захороненного в Спасском монастыре. Между тем держал у себя и Константина и бояр Михайловых, привезенных им из Орды, то требуя выкупа за них, то не соглашаясь и на выкуп...

Константина он сводил со своей дочерью, Софьей,

что была старше тверского княжича, держалась независимо; и Константин, с тайным страхом глядя в завораживающие голубые глаза московского родича, начинал чуять, что ему не уйти и что здесь означено разрешение его судьбы. Твердый носик московской княжны, вся ее гордая, чуть заносчивая стать, упрямый — в отца — норов начинали действовать на его смятенную, потерявшую основу и жизненную опору душу. И уже тайная жажда спасения и покоя сама начинала толкать его в объятия дочери Юрия Данилыча. «Своего зятя уже не тронет!» — так можно было изъяснить (хоть сам Константин и не понимал так, и не признавался себе в том) его робкое чувство и робкое тяготение к московской княжне.

Все, что говорил Юрий тверским послам, все его увертки и недомолвки прикрывали сложное и ему самому не совсем понятное даже ощущение. Убив Михаила, добившись вышней власти, став наконец великим князем владимирским, Юрий, вместо ослепительной радости, почувствовал вдруг странное умаление себя самого. Все эти годы отчаянной борьбы, ненависти, призрачных побед и тяжких поражений Михаил, словно исполинская тень, застил для него все. Заслонял, как может заслонять солнце величавая колокольня или собор. Но вот собор рухнул, и вдруг оказалось, что не только застил он свет, а и сотворял высоту. Свету не стало больше, но слабее тени и ниже, более плоской оказалась земля. Так и после убийства Михайлы Юрий на первых порах не совсем понимал, что ему нужно делать, и потому еще держал тело Михаила (странно нетленное!) у себя на Москве как некий талисман, придающий ему силы. И не одни только дела и события увлекли его потом в Новгород. Отдав наконец прах Михайлы, Юрий как-то сразу потерял интерес к Москве. И еще одно заставляло его юлить и отказывать тверичам: он попросту боялся расстаться с трупом. Казалось, что даже и мертвому Михайле стоит только уйти от него, и опять и вновь подымет великий тверской князь победоносную рать на него, Юрия...

Уговорил московского князя отдать тверичам тело Михаила митрополит Петр.

— И ты смертен, и тебе предстоит могила,— твердо сказал он старшему Даниловичу.— Не оскорбляй праха!

Оставь ненависть и вражду здесь, по сю сторону жизни. Там ее нет все равно. Там покой, и радость, и свет...

И Юрий, сломленный мнением всей земли и суровою наступчивостью митрополита, сдался. Согласился выдать тело, и вот, уже в августе, посольство тверичей с попами и игуменами прибыло в Москву. Юрий наконец отпускал захваченных тверских бояр, отпускал Константина, предварительно обручив его со своею дочерью, и возвращал гроб с телом Михайлы Ярославича.

С пением молитв гроб был поднят, освящен, и, сменяясь, на плечах понесли его к лодьям тверские бояре и именитые торговые гости. Чтобы не растрясти и не обеспокоить инако княжеского праха, его везли по рекам, медленно, и к Твери подвозили тоже на лодьях, по воде.

Крутые волжские берега чернели и пестрели народом. В траурных, белых и темных, одеждах вышли встречать своего князя тверичи. Княжеская семья — Дмитрий, Александр и Анна с Василием — встречали тело в насадах, на Волге; епископ Варсонофий с причтом, крестами и хоругвями и весь народ из града, ближних и дальних сел и весей — на бреге.

Было уже шестое сентября, и первое золото осени проглядывало в листве дерев над кровлями посада и окологородья. Так же, как и всегда, привычно, реяли, ширяясь в струях свежего волжского ветра, птицы над крестами и маковицами собора, и князь отдыхал, смеживши очи, и уже не было колоды на вые его. Пролежавшее чуть не целый год тело было цело и не обезображено тлением, только почернела и ссохлась кожа лица и рук, заметно опали, прилипли к костям усохшие мускулы, и весь он стал успокоеннее, костистей и тоньше.

Синяя вода дробилась мелкой волной. Насады стукнулись, смыкаясь боками. Княгиня Анна, подобрав долгий подол саяна, первая ступила в погребальную лодью, подошла к открытому гробу и долго-долго, не чуя подступивших одесную и ошую старших сыновей, глядела на родимое, чудесно не поддавшееся тлению лицо. Потом тихо поцеловала мужа в лоб, и горячие крупные слезы упали ему на лицо. И она стала причитать шепотом, почти беззвучно выговаривая древние слова, от века известные на Руси каждой женке, теряющей своего ладу.

Когда лодьи приблизились к причалу, от вопля и плача народного не слышно стало церковного пения на берегу. Вопили и причитали все женки и у воды, и выше, на

круче, и там, у самых заборол городовой стены. Плакали, роняя тяжелые слезы, мужики, и теснилась толпа, мешая сдвинуться гробу. И долго-долго, едва пробиваясь сквозь плачущих, падающих на колени горожан, несли раку с телом Михаила до церкви, и тут, у церковных врат, на многие часы гроб был остановлен ради тьмы жаждущих проститься с прахом князя своего. И шли, и падали, и касались гроба, и плач и стенания не смолкали много часов. Князь лежал, смежив очи, совсем тихий, скорбный и прямой, с потемневшим и высохшим ликом, и принимал посмертную дань памяти и любви сограждан своих.

Уже поздно вечером тело было занесено в Спасский собор, некогда строенный самим Михаилом, и здесь отпето и положено одесную (на правой стороне), посторонь гробницы преподобного епископа Симеона. Так достиг он наконец родины и успокоился в родимой земле [1].

ГЛАВА 52

Борьба за власть почти всегда кровава и преступна. Важно не то, как взята власть, а — кем взята. И — для какой цели. Как поведут себя захватившие власть победители? Станут ли они рачительными хозяевами завоеванной ими страны или, словно незваные ночные гости, будут торопливо и жадно обирать и разорять землю, не мысля о грядущем, не заботясь даже о завтрашнем дне? И воздаяние приходит по делам и заслугам властителя, а не по тому, что было совершено им в споре за власть. Хозяину — простится. Незваному гостю — никогда.

Юрий, добившись великокняжеской власти, не знал, что ему делать с ней. Весь его талан был в том, как подрывать эту власть, как разваливать страну, стравливая князей друг с другом, как ссорить владетелей суздальских, ярославских, ростовских с великим князем владимирским, как строить козни в Орде, как обещать Новгороду блага и вольности в ущерб единству Руси Великой, как напускать пронских князей на рязанского, а на всех них после — ордынского хана... И помощники у него за эти годы собрались соответственные, с тала-

---

[1] Спасский собор, хотя и сильно перестроенный в XVI—XVII столетиях, достоял, однако, в бурях и катастрофах веков до наших дней и был срыт вместе с могилою князя Михаила в 1937 году.

нами только лгать, наветничать, убивать или грабить.

Добившись власти милостью Узбека, он не мог, даже ежели бы захотел, ни в чем ему перечить. На Русь являлись жадные «послы», пользующиеся кратким благоволением хана, дабы урвать как можно более, и Юрий не окорачивал никого из них. Татары притеснениями возмутили весь Ростов, и население вечем изгоняло насильников; во Владимире в тот же год свирепствовал посол Байдера, и Юрий не защитил стольного града своей земли. В Кашин приходил татарин Таянчар, «с жидовином должником», разорил поборами весь город, а Юрий только радовался унижению Твери. Понять, что его бывший враг теперь стал его вассалом, или подручником, как говорили на Руси, и проявить милость и рачительную заботливость — на это не хватало у Юрия ни прозорливости, ни ума, ни сердца. Более того: и в вере начались шатания. Из Орды шли и шли на Русь проповедники, пытавшиеся свести в одно учения Христа и Магомета, и Юрий не давал им отвады, оставляя все на добрую волю иереев да на совесть верующих. Даже взять и жениться вновь Юрий не смел, боялся этим оттолкнуть от себя Узбека. А что такое престол без наследников? И стоило ли проливать кровь за такой престол?

Брата Афанасия Юрий в первый же год посадил князем в Новгороде Великом. Кроткий хворый мальчик, младший Данилович, только и годился на то, чтобы предстательствовать взамен своего старшего брата. Через год после того, как Юрий утвердился на великокняжеском столе, умер Борис Данилович и был положен в церкви Богородицы во Владимире. Умер молодым и еще вроде бы полным сил, непонятно от какой причины. Через два года, и тоже по неизвестным обстоятельствам, умер в Новгороде Афанасий Данилыч, перед смертью постригшийся в монахи, и был положен У Спаса в Нередичах — в родовом княжеском городке. Верно, были какие-то поводы умереть тому и другому, были, быть может, некие болезни — в ту пору часто умирали молодыми. Простая, суровая, даже в высшем сословии забиравшая много телесных и духовных сил жизнь не баловала своих питомцев и уводила их в небытие с тою же стремительной легкостью, с которой порождала на свет. Но и то еще нужно сказать в надгробное слово этим двум Даниловичам, что умерли они не только и не столько от хвори, сколько оттого, что уже ничего не оставалось для них в

жизни сей, за что бы стоило держаться и ради чего нужно бы было продолжать жить. Борис, когда-то бежавший в Тверь от насилий Юрия, теперь должен был убедиться, что насилия эти увенчались успехом и он на всю остатнюю жизнь обречен выполнять веления преступника, коим теперь, с убийством Михаила, является его старший брат. Афанасий, с его детскою верою в Господа, сугубо должен был казниться и скорбеть делами Юрия. Оба они скончали живот свой холостыми, так что и эта, простая и древняя, связь — забота о семье и потомках своих — больше не держала их на земле. В те же годы, как-то незаметно сойдя на нет, умерла и матерь Даниловичей, старая княгиня Овдотья.

Ближайший ко времени возвращения Юрия из Орды 1320 год прошел относительно мирно. Юрий ходил походом к Рязани, на князя Ивана Ярославича Рязанского, приводил к покорству — и это все было завершением старой московской, еще Данилою означенной борьбы за коломенские пределы.

В том же году как раз и умер Борис Данилыч, и тогда у Ивана с Юрием произошел важный разговор с глазу на глаз, после которого Иван Данилыч впервые отправился в Орду на поклон к Узбеку, дабы заодно подкрепить свои княжеские права на Москву. И в этом был первый знак не то что усталости Юрия, а скорее — пресыщения властью и все более растущего у него в душе равнодушия к родному городу. Чтобы жить с прежнею силой, кипеть, и сверкать, и стремиться к чему-то, Юрию нужен был по-прежнему сильный враг, и он безотчетно начинал искать его в возрождавшейся мощи Твери.

1320 год прошел тихо еще и потому, что это был год свадеб. В Твери их совершилось целых три. Женился Сашко (княжич Александр Михайлович) на Анастасии; женился сам Дмитрий Михайлович на литовской княжне Марии, дочери Гедимина, и женился в Костроме Константин Михайлович на Софье Юрьевне, дочери великого князя владимирского (и убийцы своего отца) Юрия Данилыча Московского. Этою свадьбою, казалось, достигалось некоторое примирение Твери с Москвой.

И, однако, гроза, ощутимо повисшая в воздухе, уже собиралась. Тверь, сохраненная своим покойным князем от ордынского погрома, не потеряла ни людей, ни торговой мощи, ни ратей, ни налаженной Михаилом толковой администрации. Каждый по-прежнему сидел на своем месте и выполнял свое дело, и всем им нужен был лишь

знак, глава, знамя, имя и слово княжеское, дабы съединиться вновь в прежний кулак. И Дмитрий, подталкиваемый матерью и игуменом Иоанном, вновь начал совокуплять Тверскую землю и приводить к послушанию своих великих бояр.

Трудно быть сыном великого отца. Еще труднее быть сыном великого отца при живой матери. Он обязан был возродить величие тверского княжеского дома. Он обязан был найти то, чего не нашел, не успел найти в свои предсмертные часы Михаил,— улики против истинных убийц Кончаки. Он взял на себя обе эти задачи и поклялся, что выполнит их или умрет. Расспросив всех воротившихся отцовых бояр и слуг, Дмитрий связался вновь с купцами, что помогали Михаилу, продолжил и расширил поиски Зухры. «Несть тайного, еже не явится, и скрытого, еже не откроется». Девушку отыскали в конце концов, и она показала, что и должна была показать: Фатима повесилась совсем не от любви, а потому, что Кавгадый велел ей поднести госпоже порошок, от которого и умерла Агафья-Кончака.

Произошло ли это сразу после возвращения из плена тверских бояр или через два года, когда Дмитрий поехал в Орду, мы не знаем. В житии Михаила глухо упомянуто, что Кавгадый «окончил живот свой зле», не пребыв единого лета после убиения князя. Можно только вообразить ярость Узбека, узнавшего, что Кавгадый подло обманул его. Даже не гибель сестры, а подозрение, что он, казнив Михаила по ложному навету, стал смешон в глазах окружающих вельмож, должно было подвигнуть Узбека на самые жестокие меры противу обманщика и убийцы. Быть может, поэтому Кавгадыя и не допросили хорошенько. Извиваясь и визжа в пытках, вываливая язык, с налитыми кровью глазами, в собственном кале, моче и крови, теряя сознание, ползая, с уже перебитыми конечностями, в ногах палачей, он мог тысячу раз выдать Юрия еще до того, как, завершая истязания, ему пригнули затылок к спине, переламывая позвоночник, и черная кровь хлынула из горла и из ушей этого тройного предателя и убийцы, а жирное, почти потерявшее вид и облик тело было кинуто в яму на снедь бродячим псам и отвратительным навозным мухам, что тотчас целыми роями облепили, густо и раздраженно гудя, лужу темнеющей, свертывающейся на жаре крови.

Так ли, иначе, но причастность Юрия к убийству своей жены доказана не была, и приходилось вновь разыски-

вать и связывать рвущиеся ниточки чьих-то воспоминаний, ибо не Кавгадый, а Юрий был и оставался главным врагом Твери.

Быть может, и не через «единое лето», а позже была установлена вина Кавгадыя и совершилась казнь его, быть может, именно тогда-то и встретились Дмитрий с Юрием в Орде... Не знаем. Черная кровь на майдане густеет быстро, и в конце концов не так важно, годом раньше или позже «испроверже живот свой зле» Кавгадый, раз казнь совершилась и возмездие настигло его.

Трудно было на первых порах справляться со своими боярами, заставлять их дружно являться по зову, приводить исправно оборуженных кметей и вовремя платить княжую и ордынскую дани. Порою, в юношеской запальчивости, Дмитрий Грозные Очи (прозвище все более укреплялось за ним), что называется, пересаливал, но неуклонно шел к своей цели, и уже начинала Тверь чуять, что есть у нее новый князь и новый глава, достаточно твердый, чтобы, при нужде, не дать погибнуть родному княжеству.

Сперва мелкие, а потом и самые крупные вотчинники, разбредшиеся было переждать — как оно ся повернет теперь? — начинали склонять выи под твердую руку Дмитрия.

С Иваном Акинфичем, главою принятых некогда Михаилом Андреевых бояр, у него единожды произошел знаменательный разговор. В ответ на увертливую речь великого боярина, Дмитрий, сводя брови, тихо и грозно вопросил:

— Быть может, мужиков спросим, кому они похотят служить? Тому и дадим села ти!

— Мужиков прошать — на веку того не бывало! — осторожно, опасливо приглядываясь к Дмитрию, ответил Иван Акинфич.

— Боярину отступати своего князя — такожде не бывало на веку! — сурово возразил Дмитрий.— А коли бывало, так и разговор был иной. Те волости тебе батюшкой дадены, их и отобрать мочно! В середу, и не позже, явишь дружину на смотр, конно и оружно чтоб! И сколь дани не додано — доставишь! С переславских вотчин своих ты не Юрию, а мне ордынский выход должон давать!

И Иван подчинился. Понял, что с сыном Михаила

лучше не спорить. Ворчали иные, а кому и нравилось. К власти княжеской покойный Михайло приучил добре, и лиха никоторого при нем не видали.

Вновь укреплялась Тверь. Но уже и Юрий затеивал новый поход на непокорный город. В исходе зимы, в начале нового, 1321 года, начали собирать полки.

Теперь Юрий мог бы и развернуться. Владимирская городовая рать выступала на его стороне, присылали помочь мелкие князья, пришли ростовцы, ярославцы, суздальцы. Юный Дмитрий еще не имел сильных союзников, да и кто дерзнул бы противустать Юрию после ужасной участи Михайлы Тверского!

Великокняжеские полки собирались к Переяславлю, чтобы отсюда ударить на Кашин. Вести рати прямо на Тверь Юрий все же опасался. Давешний разгром под Бортеневом слишком крепко запомнился ему.

Дмитрий тоже собирал рати. Тверская земля подымалась дружно, но сил было все равно меньше, чем у Юрия, и на семейном совете с государыней матерью и игуменом Иоанном, а после в думе, где решали вместе с большими боярами, а после на совете вятших людей Твери, с купеческою старшиной, избранными от ремесленных братств, и духовенством,— порешили просить мира. В Переяславль отправился епископ Варсонофий (по другим известиям, посредничать вызвался прежний епископ Андрей, удалившийся в монастырь). Так или иначе мир был заключен. Дмитрий обязывался не искать стола под Юрием, давал путь чист московским гостям в Новгородскую землю и, главное, передавал Юрию, как великому князю, ордынский выход со всей Тверской волости — две тысячи гривен серебра. Юрий поломался, конечно, потребовал еще подарков, кормов и даней, но в конце концов согласился на мир. Да и пора уже наступала, неспособная для ратных действий.

Ордынский выход Юрий потребовал выдать ему сразу и целиком. Тверичи и это исполнили. Серебро в кожаных кошелях было привезено, сосчитано и в присутствии епископа передано великому князю. Можно было отправлять полки по домам и праздновать еще одну победу над Тверью.

Получив с тверян две тысячи ордынского выхода, Юрий ожидовел. Умом он понимал, что должен, хоть в распуту, во что бы то ни стало достичь Сарая и вручить, яко слуга верный, тверское серебро хану, и вручить как можно скорее, но серебро, казалось, само

прилипло к рукам. Он не мог так скоро отдать его и рискуя всем — добытым ярлыком, своим московским княжеством, даже головою,— поворотил с тверскими тысячами в Новгород, где надеялся через купцов-вощинников, пустив серебро в оборот, нажить на гривну — гривну и уже потом, удвоив нежданное богатство, расплатиться и с ханом Золотой Орды.

Это был конец Юрия и как великого князя владимирского, и просто как политика, «мужа смысленна»,— по выражению наших далеких предков. Получалось, что и гибель Кончаки, подозрительно устроенная Кавгадыем в пользу Юрия, и утайка ордынского выхода, и даже бегство — ежели не в немцы, то в Новгород,— то есть все, в чем три года назад ложно обвинялся Михайло Тверской, совершено теперь, или почти совершено, Юрием. Было еще и мнение Владимирской земли, которая не могла забыть Михаила. Было и в среде ордынских вельмож глухое брожение: далеко не всем нравилось торжество бесермен в Орде, и уже поэтому не радовала многих расправа с урусутским коназом — Михайлой.

Узбек, упрямо непостоянный и мнительный, готовый теперь даже и бегство своей армии от Железных ворот приписать коварству Кавгадыя, назло ему, Узбеку, погубившего не вовремя великого коназа урусутского (признаться в собственной трусости Узбек, разумеется, не мог), узнав о поступке Юрия и его непокорстве, был взбешен.

Как только прошел лед и немного сошла талая вода, Дмитрий тотчас поплыл в Сарай, к хану. Он не очень понимал, как делаются дела в Орде (правда, бояре при нем были опытные), и потому даже удивился той легкости, с которой Узбек воротил ему (а в его лице Тверскому княжеству) ярлык на великое княжение владимирское, заочно отобранный им у Юрия, а Юрия, через послов, велел вызвать к себе в Орду.

Иван Данилыч, в ту пору сидевший в Орде, вызнавая, как тут и что (он основательно знакомился со всем и со всеми, от чего и от кого зависела ханская политика), не мог помешать Дмитрию Тверскому, а может, даже и не рискнул вмешиваться, заранее дальновидно отделяя себя от поступков и дел Юрия.

Так, всего через три с половиною года после вокняжения, Юрий потерял ярлык и власть, за которую дрался до того непрерывно почти пятнадцать лет под-

ряд, к которой шел и дошел по трупам и крови и которую потерял самым нелепым образом, прельстившись тусклым рыбьим блеском дорогого металла.

ГЛАВА 53

Мишук попал в Переяславль с полками великого князя владимирского. Москвичей вел на сей раз Василий Протасьич, сын старого тысяцкого, все чаще и чаще заменявший в делах отца. Вторым воеводою был рязанский боярин, когда-то, вместе с Хвостом Босоволком, перебежавший к покойному Даниле. Воеводы, как судачили в полку, должны были бы ссориться ежедён, но они, однако, быстро сошлись, не попомня розни Босоволковых с Протасием-Вельямином, и действовали дружно и заодно.

Стояли по теремам и в пригородах. Силы было нагнано — что черна ворона. Ездили друг ко другу, перекликались с владимирцами, знакомились. Когда начались переговоры с тверичами, приехал ихний епископ и стало ясно, что до боев вряд ли дойдет, стало мочно не так блюсти службу, отлучиться из полку, и даже ночевать на стороне, чем очень и очень спешили воспользоваться молодые холостые кмети.

Мишук свое время использовал на дело. Он недавно женился (Просинья добилась-таки своего) на дочери московского городового послужильца, и теперь Катя была на сносях, ждали первенца и, надеялись, сына — по бабьим приметам выходило вроде так. Мишук с новым, еще странным для себя самого чувством ответственности спешил устроить дела с отцовым теремом и землею. Переяславскую вотчину можно было сейчас сбыть не без выгоды, а под Москвою как раз продавалась однодворная деревня, а с нею и удобный дом в Занеглименье. (Дядину хоромину на Подоле прошал купить великий боярин Окатий, давал хорошую цену, да и так... отказывать большому боярину не стоило без крайней-то нужды.) Словом, уже не бабы и не девки, а грамоты, заемные и прочие письма, духовные, гривны и куны — вот что занимало его сейчас. Да воспоминания о невысокой, круглолицей, смешливой и немного взбалмошной девчушке, с долгою косою и длинными ресницами, что сейчас стала уже толста, как кубышка, и так беззащитно-доверчиво прижималась

к нему своим округлившимся животом, где уже шевелился будущий малыш — его сын! Верно, что сын, а не дочерь, уж и все, и тетка Просинья так говорит!

Ойнаса и одну из девок-холопок Мишук забирал в Москву. Ойнас, получивший вольную, мог и остаться, даже поупирался малость, да подумал — и согласился. Тут была могила господина, там — его сын, и Яшка-Ойнас решил, ради покойного Федора, не оставлять Мишука без мужицкого догляду.

Купчая грамота составлена, получено серебро. Уже развороshенное, трижды перевернутое барахло разобрано: что с собою, что остается за ненадобностью, тут, вместе с домом. А все что-нибудь да кинется в очи: материна треснувшая и склепанная деревянными гвоздиками прялка — намерился кинуть, да вот... А этот сточенный ножик — не дедов ли еще? Тогда и его нельзя кидать! И вновь, и вновь оглядывает Мишук тесаные стены, и закопченный потолок, и узорные лавки и с грустью думает, что Катя уже никогда не увидит этого всего, а ежели бы и увидела — ничего не скажет это все ее сердцу. Не бегала она к проклято́му вра́гу слушать чертей, не глядела на Клещино с обрыва, не каталась на салазках с горы, и Клещин-городок, и монастырь Никитский, куда бегал Мишук учить грамоту вослед своему отцу,— уже ничто для нее... И для сына... Нет, шалишь! Сына, едва подрастет, он свозит в Переяславль обязательно, сводит к Синему камню, расскажет про все ихнее житье, про отца и про мать, про деда — то, что запомнилось из отцовых рассказов,— того самого Михалку, что погиб под Раковором в далекой Новгородской земле... Сына он привезет! Посидит вместе с ним на высоких валах Клещина, откуда все озеро словно на ладони, и синяя вода, и челны, и далекий Переяславль с белеющей бусинкою своего собора, и совсем далекие, аж на той стороне, за Горицами, Вески, откуда уходит дорога на Москву.

И еще остаются могилы. Могилы отца и матери на княжевецком погосте. Туда он идет один, в последний раз. Снег тает, капает с темных крестов, и синицы уже верещат и прыгают по темным ветвям берез вниз и вверх, вниз и вверх. В птицах — души прадедов, и, возможно, где-то тут, среди них, души его родителей, матери — Фени и отца — Федора... Как узнаешь?! Даже и сердце не скажет. Он сыплет зерно, крошит вяленое мясо для синиц, и они жадно набрасываются на корм.

Потом низко кланяется родимым могилам. Когда еще придет побывать тута! И уже не дома, в гостях! А солнце греет, и кусты, словно напоенные солнцем, только и ждут, чтобы лопнуть почками, одеться в зеленый клейкий весенний наряд... «Прощай, тата! Пригляни и наставь, коли што... Когда-то гладил ты меня по волосам грубой и доброй ладонью, говорил: «Мягкие волосья-то, добрый ты у меня...» Добрый ли я? Не знаю! Воину не приходит слишком добрым быти... Только наставь меня, татушка, не дай очерстветь моему сердцу, не дай совершить такого, от чего потом совестно станет жить на земле!»

Уходит Мишук, и оборачивается, и видит уже далекие, затерянные среди прочих, два креста — память сердца, его корень на этой земле, то, что оборвано уже и будет кровоточить долго-долго, быть может — до конца дней!

Ибо родина — это земля отцов, и труд, привычный с детства, и привычные радости, и родные могилы, и та же деревянная, глиняная ли миска щей, и та же гречневая каша с молоком, и так же — воротясь из похода, путей ли торговых, из-за тридевять земель и морей, из далеких сказочных царств — скинуть тяжелые порты дорогого сукна, сермягу дорожную ли или суконный вотол и, в холщовой долгой рубахе и холщовых исподниках, росным утром выйти косить с наточенною до хрустального звона косой и пойти махать, оставляя позадь себя холмистую череду перепутанных, срезанных трав, которые потом, к пабедью, женки учнут ворошить, а там уже и сгребать голубое подсохшее сено, в котором с девчушечьей радостью все еще светят сухие глаза цветов. Потому и больно так покидать насовсем родные места! Ибо в боях, путях и походах защищал ты не что-то лучшее или иное, а родное и привычное, отстаивал право быть и жить так, как довелось искони.

А уже когда похотят перемен и бросают родные поля и погосты и идут за иною мечтой и в иную, несхожую жизнь,— ну, тогда и родину ищут себе, создают ли вновь, иную, и сами тогда становятся скоро другим народом, с иною любовью, с иною памятью предков, да даже и с иным языком! Всё уходит из памяти: и любовь, и предания, и речь, сохранявшая когда-то прежде голоса и заветы пращуров. Но и вновь и опять возникают родимые погосты, и привычный

уклад, и навычай, по коему сразу узнаются свой и чужой. И вновь в путях и походах начинают мечтать об одном: воротиться домой, к привычному очагу и труду, и продолжать делать то же, что делали предки, когда-то сотворившие для себя и внуков своих навычаи своего бытия.

Так — с народами. Ну, то, быть может, в тысячу лет раз! А и каждому, кто даже и в своей земле, в народе своем меняет отчий дом на иной,— в иной волости, княжестве ли соседнем,— каждому, уходя, приходит отрывать от себя что-то вросшее в саму землю, в саму почву родного селища, словно те тонкие корешки, что, как ни старайся, с каким береженьем ни вынимай растение из земли, все одно оторвутся и останутся здесь, навсегда, насовсем. Память сердца... Эх! Да ну ее! Забыться, затормошиться поскорей!

Дел хватало у Мишука. Впервые поставили старшим над десятком ратников, и надо было не ударить лицом в грязь: у всех проверяй седло, сбрую, сапоги, рукавицы, оружие да не сбиты ли спины у лошадей. Да хорошо ли кованы кони? Огрешишь в чем, боле старшим не поставят, и сиди весь век в молодших тогда!

Оно бы и в бою показать себя не грех с десятком-то ратных, да ноне чегой-то не хотелось Мишуку боя! Хотелось тишины, а не сражений. Уже не было того, болезненного,— от сочувствия Михайле,— когда не знай, за кого и биться на рати, но и злобы на тверичей не было. Уж кончили бы все миром! Гляди, в Орде стало больно нехорошо, не привелось бы ратиться с ханом! Тут уж со своими-то нать по-мирному как ни то. И не один Мишук, многие думали так. Потому и обрадовались миру. И воеводы тоже, видать, не рвались особо-то в бой. Все думали: лучше миром. И всем было боязно того, что творилось нынче в Орде. Ханские послы многих и многому выучили. Еще и пото не полез Юрий под Кашин. Почуял нежелание воевод.

Из Переяславля по раскисшим дорогам потянулись в Москву. Только на Москве узнали, что князь Юрий ускакал в Новгород и созывает туда, к себе, дружину. Впервые по-настоящему обрадовался Мишук, что служит не у князя, а у Протасия, в городовой рати. Кате было вот-вот родить. И дом устраивать надо было. И пахать. А после — косить. И тут-то у Мишука родился сын, и в то ж узналось, что Дмитрий Михалыч, старший сын покойного тверского князя, взял великое

княжение под Юрием. Юрий Данилыч из Новгорода уже слал за помочью на Москву. Дометывая копны вместе со стариком Ойнасом, Мишук все гадал-прикидывал: когда ся начнет новая война? И успеют ли они с Ойнасом скопнить сено?

ГЛАВА 54

Есть история народа, его подъема, развития и упадка в череде сменяющих друг друга веков. Есть история власти и властителей, бесконечно важная, ибо от власти зависят жизнь и труд смердов, зажиток или раззор страны и земли. Эта история больше всего и отражена в хрониках и летописях народов. И есть история духа, создаваемая и запечатлеваемая избранными, зачастую посвятившими себя только ей одной и отринувшими все земные утехи и искушения плоти. Интеллигент позднейших веков, обремененный семьею, мятущийся в ворохе мелких дел и страстей, с трудом выкраивая малый час для работы, в которой — в одной — его бессмертие, этот интеллигент жалок и даже смешон по сравнению со своим предком, ученым иноком, что раз и навсегда отринул временное для вечного и плотское для единой работы духа.

«Могущий вместить да вместит!» — сказано в древней, изначальной книге. Не в покор прочим и не в гордыню избранным. От гордости тоже должно отречься, вступая на путь монашеского труда. Давно уже упокоился в гробнице митрополит Кирилл, а «правила», им утвержденные, спасают и держат русскую церковь. Неустанно объезжает бывший ратский игумен, ныне преосвященный Петр свою обширную митрополию: из Луцка в Галич, из Галича в Киев, из Киева снова в Суздальскую землю. На санях и в возке, на лодьях и насадах, и всюду проповедует слово божие, и учит, и наставляет, и пасет паству свою. Петр уже стар и ветх плотью, и скоро наступит конец его земного жития. Но заботы растут, и грозные тучи склубились над его вертоградом. Ныне предстоит положить препону бесерменской проповеди на Руси. Пусть князья спорят о власти. Власть стоит духом живым, а дух народа укрепляется верою.

Как укрепляется вера? Проповедью, книжным на-

учением. И потому иноки тратят годы, переписывая ветхие пергамены минувших веков.

Возведением храмов. И потому, несмотря на военное розмирье и убийство Михаила в Орде, тверской игумен Иоанн Цесарегородский возводит каменную церковь святого Феодора.

Подвижничеством. Церковь, не имеющая мирян и иереев, готовых на муки и скорби ради веры,— мертва. Почему на Руси и канонизировали тотчас христианина Федора, замученного в Болгарах за веру 21 апреля 1323 года.

Обличением отступников и паки привлечением заблудших душ. Ходя и проповедуя, Петр, при всей его доброте, тут был тверд и противустал неверным, яко первый воин Христа.

Почему мусульманство, одолевшее многие страны Востока, наткнулось на Руси, словно как на железную сеть, на некую незримую преграду? Казалось бы, при господстве Орды над Русью и власти хана-фанатика должны были появиться целые ряды отступников, целые области принявших учение Магомета. Тем паче что философия Джалаледдина Руми, поэта, глаголившего, яко несть большой разницы между Христом и Магометом, уже прельстила многочисленное население Византийской империи — а там были вековые традиции христианства, процветала высокая жизнь духа и древняя культура церкви! На Руси же ни тысячелетней традиции, ни великой церковной организации отнюдь еще не сложилось. Да, был дух народа, не сломленного игом, но дух народа — его бессознательное душевное устремление — в таком сложном и трудном явлении, как церковное учение (скажем шире — всякая идеология вообще), сам по себе мог и должен был оказаться бессилен. Знаем же мы целые культуры и цивилизации, исчезнувшие потому только, что народ принял гибельное для него учение, принял сам, с восторгом и подъемом, а там и исчез в волнах времени,— как кочевые уйгуры, усвоившие философию пророка Мани и через три поколения выродившиеся и сошедшие с лица земли. Чтобы сохранить непорушенной православную веру, требовались и знания, и ум, и неукоснительное проповедание, и борьба, паче жизни самой. Недаром четырнадцатый век породил мощное монастырское строительство на Руси. Появляются все новые и новые обители, на пустых местах, в дебрях и лесах;

и те, первые, зачинавшие русское пустынножительство, были чем угодно, только не разъевшимися и отупевшими от безделья паразитами, как принято думать про монашескую братию (и примеры чего, увы, в последующие века также являла-таки наша история). Достаточно напомнить только, что четырнадцатый век создал Сергия Радонежского, и нам уместно сказать здесь об этом потому еще, что родился он в те самые времена, о коих идет речь, а точнее сказать, в 1319 году, через год после гибели Михаила Тверского. Но и для этого мощного, идущего снизу движения пустынножителей, проповедников и учителей народных, для множества, отдавших себя вере и родине, требовалась твердая направляющая воля, и тут мы должны поклониться и воздать должное неутомимой деятельности митрополита Петра. Это он стал вперекор проповеди мусульманства на Руси, как и проповеданию латинства. Это он сохранил в чистоте идею освященного православия, а значит, духовную независимость Руси от восточных и западных захватчиков. Летопись донесла до нас лишь один эпизод этой многолетней борьбы нашего митрополита, и то в смутном и неясном указании, что Петр проклял и отлучил от церкви некоего Сеита... Кого? И за что? Имя Сеит ведет нас на Восток. (Сеит — духовное лицо в мусульманских странах.) Почему он мог проповедовать на Руси? Входил ли он в храмы наши и молился в них, осеняя себя православным крестом? И как и где произнес Петр проклятие ему? В каком соборе, при стечении каких и скольких людей, и как происходило само проклятие? Восклицал ли «анафема» митрополит Петр или как-то иначе отринул Сеита от веры и права посещать храмы русские? Мы не знаем. Но о чем можно догадаться,— только догадаться, конечно! — это о том, каким мог быть, ежели он был, разговор Петра с этим Сеитом с глазу на глаз или в присутствии немногих иерархов, ибо Петр, конечно, прежде, чем произнести проклятие, должен был убедить себя и присных и даже и противника в своей правоте.

Что должен был и мог сказать этот Сеит, отстаивая свои взгляды? То же, что говорилось всегда, всюду, и во все века сторонниками слияния вер, государств и народов. И, конечно, он знал хорошо русский язык, и был научен и книжен, и «хитр разумом», и видом, возможно, мало уступал Петру: был скорее сух и прям,

чем жирен и толст, и был дерзостен и огнеглаз, в седой или черной бороде, с лицом решительным и резким, красивым лицом таджика, согдийца или араба, горбоносым смуглым лицом, странно похожим по очерку на лицо митрополита Петра. И, конечно, он ссылался на учение Джалаледдина Руми, и, конечно, напомнил слова Евангелия: «...несть предо мною еллин, или иудей, или грек»... И, конечно, развернул слепительную картину: одна вера, один народ, одно царство на всей земле, в коем только справедливость, благие законы и равенство, но ни войн, ни насилий, ни розни или вражды.

Что мог ответить ему Петр? Оспорить слова Христа, сохраненные Евангелием? Отринуть светлую мечту мирной и дружной жизни народов? Нет, ни отвергнуть Христа, ни оспорить красоты всеобщего мира не мог, да и не хотел преосвященный Петр. Но он сказал другое. Он напомнил иное многое, что есть в благовествованиях евангелистов. О несовершенстве людей. О грехе. Наконец о том, что народы всегда различны и живут своим побытом и навычаем, несходным с иными. Одни пашут и сеют зерно, другие пасут скот, третьи мореходствуют и ловят рыбу. И учение любви могут они все принять только через любовь, а не через принуждение. И все равно — останутся сами собою. Ибо море и суша, горы и пустыни, лес и степи не переменят места свои и не съединятся в одно. И что есть научение всех единой вере и единому способу жизни, как не суета и не обман, ибо одним то будет легко, и они взвеселятся и возликуют, и умножатся и распространятся по земле, яко песок морской, а другим станет неудобно и утеснительно, и эти почнут умирать, и терпеть муки, и служить тем, удачливым и веселым. Не худшее ли рабство воцарит в этом едином собрании разных народов и племен? И кто может поклясться и сказать: «Клянусь Богом, что законы, утвержденные смертными людьми, что власть, установленная немногими для многих, будут справедливы и мудры для всех и на все века?» Да ежели бы возможна была на земле такая гармония, сходная с гармонией ангелов, так давно уже божьим соизволением и возникла бы она! Однако зрим мы иное. В борениях и скорби, в долгом непрестанном мужествовании творится справедливость и сама жизнь на земле. И не может быть правды там, где не разрешено или невозможно станет биться за правду! И не может быть равенства там,

где не будет воли, и не царство божие на земле,— царство антихриста проповедуют такие, как сей муж, по тщанию коего должна православная вера уступить место «вере арабов». Пусть каждый народ идет к Богу своим путем, и тогда это будет путь сердца, а не принуждения, путь радости и любви, а не насилия и скорби. И сколько бы ни пролилось крови и слез на этом пути,— в борьбе ли народов, в бореньях ли властителей,— все же это будет лишь малая капля по сравнению с тем угнетением духа, теми муками и теми смертями инакомысленных, что льстиво предлагает сей проповедник и присные его!

Вот что мог и должен был ответить Петр, ибо сказать прямо, что проповедь Сеита направлена к тому, чтобы духовно подчинить Русь хану Золотой Орды и растворить русичей среди прочих народов Дикого поля,— сказать так прямо он не мог, хоть и без того понимали все, что речь идет именно об этом — о том, будет или не будет существовать в веках Русь? И это решалось прежде всего верою, а не борьбою князей за власть над владимирским столом.

И еще был в споре сем один собеседник, соболезнующий Петру, что тоже подал голос свой за разность вер и неслиянность племен и религий, хоть он и не произнес ни слова, и даже видом своим не смутил тяжущихся, но самою участью своею свидетельствовал зато в пользу митрополита. Собеседником этим был замученный в Орде и причтенный русскою церковью к лику святых Михаил Ярославич Тверской.

ГЛАВА 55

— Князю Юрию Даниловичу!

— Здрав буди! Здрав буди!

Гремят и плещут чары и чаши. Звонкой медью, серебром и рыбьим зубом, резным капом, в серебро оправленным, златом в каменьях и жемчугах и даже бесценным стеклом веницейским сверкает и искрится праздничный стол. Под кабаньими тушами, навалами жареной дичи, под чудовищными, в сажень длиной, копчеными осетрами, алыми горами резаной семги, пирогами, серебряными бочками стерляжьей ухи, щей, густого мясного хлебова, под точеными аршинными

мисами с белою, сорочинского пшена, кашею, вдосталь начиненною винными ягодами и изюмом, стонут и ломятся дубовые столы. По просторной тесовой палате на два света, под неохватными брусьями высокого гладкотесаного потолка волнами прокатывают веселье и клики. Встают, подымая заздравные чары, приветствуют князя бояре, купцы, житьи и старосты ремесленных братств Господина Великого Новгорода. Откидывая долгие рукава опашней, выпрастывают руки в белом тонком полотне, в шелку, в парчовых наручах и перстнях, тянут чарами ввысь. И лица в улыбках, и грозно-задорные хмельные взоры — и всё к нему, для него! А Юрий — распахнутый, сияющий, солнечный, лучится весь, весь из счастья и светлоты — кого-то обнимает, с кем-то целуется и пьет. Тут не надо думать, гадая: как теперя быть и что делать? Тут сами не дураки, подскажут!

Жизнь положив в споре за высшую власть, Юрий был по поваде своей скорее исполнитель замыслов, чем творец. Ему, чтобы действовать, нужно было не задумывать о самом главном. Высшие причины действования были для Юрия звук пустой. Было родовое: не упустить великий стол из семьи потомков Невского,— и дрался. Можайск, Коломна, Переяславль — все то было исполнением или продолжением замыслов Данилы. Даже то, как справиться с Михайлой Тверским, свалив на него гибель Кончаки, подсказал Юрию Кавгадый. И теперь, в Новгороде, его ласкают, и дарят, и чествуют как великого князя владимирского и новгородского тож (еще Дмитрий не добрался до хана, и еще ярлык не передан тверским князьям!), и среди пиров и утех шепчут ему в уши, и он, милостиво соглашаясь, кивает головой: «Свея так Свея! И под Выборг пойдем, свею выбивать!» И переглядываются, подмигивая, новгородские вятшие мужи — по-ихнему вышло! На лето назначен поход, и полки великого князя уже вызваны в Новгород.

И уже когда, отпировав и отгуляв вдосталь, вошли в скалистую и песчаную, сплошь в красных сосновых борах, землю Суоми, настигло Юрия известие о решении хана. Но и здесь, посвистывая и зло узя глаза, не упал он духом. Про себя крепко-таки ругнул Узбека: «За две тысячи тверского серебра ярлык отобрать! Хорош родственничек!» Поморщился, вспомнив,

что Кончаки-то нет. «Ну и жадна была на ласки татарка! Не умори ее Кавгадый, замучила бы вконец!»

Под Выборгом стояли чуть не весь август. Били стены пороками, ходили на приступы. Взяли окологородье, испустошили всю волость вконец. Крепости, однако, взять не смогли. Свеи защищались отчаянно. Девятого сентября сняли осаду и, волоча обозы с добром, потянулись назад.

В Новгороде ожидал Юрия строгий вызов хана Узбека. Большой охоты идти в Орду сейчас, под первый гнев хана, не было, но ханский посол Ахмыл натворил, передавали, много пакости по Низовской земле, взял и пограбил Ярославль, иссек много народу... Идти надо было.

Отправился уже под осенние дожди и слякоть, провожаемый боярами, с обозом, казной и добром. На подарки псам-бесерменам опять невестимо сколь серебра утечет! Не дают обрасти добром, стригут и стригут, стервы!

И уже в Ярославской волости, на Урдоме, пристигли поезд Юрия тверичи...

Как оно там створилось, Юрий сам потом не понимал толком. Помнил скачущий вроссыпь, облавою, строй вражеской конницы, сумасшедшую рубку, чьи-то яростные глаза и яростный блеск танцующих в воздухе сабель, помнил стрелы низко над головой, когда он, пригнувшись, рвал сквозь кусты, холодный веер водяных брызг, и как плыл, фыркая, конь, и как он, мокрый до плеч, скакал потом под холодным ветром и только молил Господа об одном: «Уйти, уйти, уйти!» И ушел, запалив и бросив коня, потеряв весь обоз, казну и половину дружины. Ушел-таки и, петляя, как заяц, добирался потом во Псков, куда затем долго еще добирались и добредали его разбежавшиеся дружинники...

Трудно быть сыном великого отца. Еще труднее, когда рядом, как постоянный молчаливый укор, находится мать со скорбным иконописным ликом русской Богоматери.

Дмитрий Михайлович Грозные Очи был красив, но уже и какой-то особой трагической и обреченной красою. Тонкий в поясу, широкий — «просторный» — в плечах, высокий, с прямым долгим носом и легкою кудрявою русой бородкой, с черно-синими, бездонными,

страшными иногда глазами, в которых, даже когда он смеялся, все стояла спрятанная глубоко-глубоко немая печаль, с бровями вразлет, с грозным гласом отца, с породистыми узкими ладонями и долгими материнскими перстами рук (руками этими, почти женскими по рисунку, он как-то на охоте без труда, сдавив за горло, задушил рысь, прыгнувшую с дерева к нему на седло). Любил ли он дочерь Гедимина? Мария изнывала от счастья, даже и глядя на него; и когда он погиб, уже не могла жить, умерла вскоре. Но и ее временем охватывало отчаяние. Дмитрий был весь в одной неизбывной мечте. Душа его горела и сгорала одним единым огнем: отмстить за отца! И даже мать, сама помогавшая разгореться этому пламени, пугалась, чуя обреченность сына, ибо жить только гневом нельзя, не дано живому человеку. Он должен тогда уж погибнуть или погубить. Или и погубить и погибнуть. Но не жить. Ибо для жизни нужны прощение, забвение и любовь. (Хоть не хотим мы прощать, и забывать не хотим, и трудно нам заставить себя полюбить обидящих нас!)

Ярлык на великое княжение нужен был Дмитрию лишь за одним: справиться с Юрием. И пока тот беспечно пировал в Новгороде и готовился к войне со свеей, тверские князья обкладывали его, как волка, загнанного в осок.

Дмитрий ждал Юрия на главных новгородских путях, брата Александра, Сашка́, послал за Кострому. Александр был тоже красив, и высок, и строен, и соколиной статью и породистым славянским лицом, главное в котором были гордая прямота и удаль, вряд ли уступал брату. Только он был проще и живее, и не было обреченной страстности в его ясном, голубом и веселом взоре. Они все были красавцы, тверские князья, и даже много после, и через полтора-два столетия не исчезли в тверском княжеском роду эта величавая стать и открытые породистые лица, прямоносые, крупноглазые, не исчезли ни смелость, ни удаль, и даже ратный талан нередко являлся в их потомках — только судьбою обделил их Господь...

Александру и довелось имать Юрия. Сделал он это смело, ярко, излишне красиво, пожалуй. Преизлиха много было бурной скачки и сабельного блеска. Во всяком случае, захватив казну и обоз, Юрия он упустил.

Дмитрий, узнав о том, рвал и метал. Едва не схватил

брата за грудки. Перешерстил всю дружину — победители прятались от него по углам.

— Юрий, Юрий нужен! А не обоз, не казна! Прельстились грабежом рухляди, воины! Дети Михаила такого не допускают! Позор! Понимаешь ли ты? Ах, Сашко, Сашко... И все сначала, все заново теперь...

Вечером он заперся ото всех. Даже от матери. Сидел, уставя черные страшные глаза в одну точку. Юрий — это было теперь уже не из мира людей, это было зло, которое требовалось уничтожить, чтобы освободить, нет,— очистить мир. И в том, что Юрий ушел из засады, тоже было нечто зловещее, какой-то недобрый и грозный знак, быть может, знак того, что зло неизбывно в мире... Но человек же он! Дмитрий, издрогнув, крепко повел руками по вискам и щекам. В полутьме покоя, и верно, что-то начинало вроде бы трупно посвечивать и шевелиться.

— Чур, чур! — произнес Дмитрий, опоминаясь. Поход на Москву? Сейчас не соберешь сил, да и хан не позволит, да и что ему Москва без Юрия! Москва, где сидит Иван Данилыч, коего он видел только малым дитем, сидит и тихо показывает зубы, почти уже как владетельный князь, давая понять, что он не поступится ничем из приобретений Юрия и покойного Данилы: ни Коломной, ни Можайском, ни тем паче Переяславлем...

Наступила зима. Юрий сидел во Пскове как мышь и даже не помог псковичам отбить немецкий набег. Впрочем, те справились сами, с помочью кормленого литовского князя Давида. Летом новгородцы опять перезвали Юрия к себе. Вместе с ними он ставил город на устье Невы, на Ореховом острову, и там, приняв свейских послов, заключил наконец столь нужный Новгороду мир. По нраву пришелся Юрий новгородцам! Шел уже второй год его сидения на севере, и, с легкой руки Юрия и его стараниями, Владимирская Русь окончательно распалась на два независимых государства, ибо Великий Новгород, захватив огромные области Заволочья и простирая руки за Югорский камень, становился уже не городом и не волостью, а почти империей с вечевым управлением и советом вятших во главе.

А Узбек между тем ждал, не гневаясь и не посылая на Юрия карательных отрядов. Капризно-непостоянный

и нерешительный, он как-то терялся от наглости своего бывшего шурина и уже начинал злобиться на тверских князей, явно облагодетельствованных им и не желающих без него, Узбека, разрешить все эти урусутские ссоры и свары. А между тем доброхоты Юрия не дремали тоже, и «новые люди» Орды, последовательно стремясь к ослаблению христианской Руси, настраивали хана противу тверских князей.

Да, они были обречены, дети Михаила Святого! Таким — выходить на Куликово поле, а не льстить и не прятаться по углам... Но до поля Куликова было еще с лихвой пятьдесят лет.

На тот год новгородские бояре, стремясь до конца использовать Юрия с его дружиной, повели его в Заволочье, на Устюг, отчаянно мешавший новгородским молодцам проходить в Пермскую землю и за Камень, где они добывали то самое «закамское серебро», из-за которого велась у Господина Великого Новгорода бесконечная пря с владимирскими, позже с московскими князьями, растянувшаяся на целых два столетия.

И только после того, как Устюг был взят на щит, а князья устюжские поклонились Юрию и заключили ряд с Новгородом, уже по весне, по воде — по Каме,— минуя неподвластное ему Понизовье, где его бдительно стерегли тверичи, Юрий отправился в Орду.

И произошло то, чего так боялся Дмитрий и что, собственно, и должно было произойти, учитывая нрав Узбека и устремления ордынских вельмож. Юрия не схватили, не заключили в колодки, не пытали и не мучали... К осени ясно стало, что Дмитрию необходимо, чтобы чего-то добиться, ехать в Орду самому. Если еще не поздно! Ежели Юрий не вошел опять в милость и доверие к хану!

Было уже начало зимы. Дмитрий простился с женой и с матерью. Черно-синими обреченными глазами оглядел прощально тверские верха и кровли в радостном молодом снегу, обнял брата, тряхнул головою и поворотил коня. Тронулся поезд, заскрипели возы, колыхаясь на еще не отвердевшей после осенних дождей и распутиц дороге; с дробным звончатым перебором стремян, оружия и наборной сбруи тронулась дружина, вытягиваясь вослед своему князю, вытягиваясь, уменьшаясь в запорошенных белым полях, в темных островах леса, где еще горели последние, не облетевшие под осенними

ветрами, пронзительно яркие на белом снегу желтые свечи берез.

Зима шла за ним, а вести шли к нему встречу, от бояр, посланных заранее в Орду. И вести не радовали. Дмитрий кутался в соболий опашень, молчал. Бояре робели заговаривать со своим князем. Он казался сейчас старше, много старше своих неполных двадцати шести лет. Он знал одно: должно добиться, чтобы Юрий разделил участь Кавгадыя. Должно уничтожить зло. Он не чаял встретиться с Юрием в Орде и тем паче не предполагал, что встреча эта произойдет очень скоро.

По причине зимней поры хан был в Сарае, и Дмитрий поспешил сразу представиться Узбеку. Ничего, однако, нельзя было ни узнать, ни понять, глядючи на это золототронное изваяние, на недвижных жен и вельмож, произнося при этом уставные славословия хану (на Руси, да и в прочих странах, его давно уже называли цесарем или царем) и выслушивая в ответ уставные, ни о чем не говорящие приветствия.

Мрачен воротился Дмитрий к себе на подворье. Теперь нужно было объезжать и обходить вельмож, выслушивать соглядатаев, вызнавать, кто и что думает, раздавать бесчисленные подарки... Да хотя бы гибель Кончаки интересует их хоть сколько-нибудь? Ведь из-за этой именно смерти они погубили его отца! И что с Юрием? Где он?!

А Юрий как раз и был здесь. Приехал из степи (исполнял поручение хана) и столкнулся с Дмитрием нос к носу прямо у зимнего ханского дворца.

Дмитрий, спешившись, как раз отдал коня стремянному (верхами тут ездить полагалось одним татарским вельможам) и шагал по широкой оснеженной и утоптанной конскими копытами площади, обметая снег долгими полами распахнутого вотола. Он не понял сперва, кто перед ним, а поняв — круто остоялся, даже слегка подавшись назад. Рыжекудрый Юрий шел ему встречь, улыбающийся, довольный. Явно, он вновь был наверху, и в силе, и в чести у хана. «Неужели уйдет! Уйдет от расплаты еще раз?!» — захолонуло у Дмитрия в сердце. И наглая, снисходительная улыбка Юрия сказала ему еще издали: да, уйдет! Уже ушел! Ушел, заплатив головой Кавгадыя...

И уже на подходе, издали, кивал Юрий с приятельскою издевкой тверскому сородичу своему, кивал, как

заговорщик, объегоривший приятеля и приглашающий теперь выпить на мировую. У Дмитрия потемнело в глазах, и он вырвал клинок...

Со всех сторон бежали к нему татары. Дмитрий еще глядел на распластанное тело Юрия, на расплывающийся, съедающий снег, темный, с красною серединой сырой круг, ширившийся перед ним. Приметил дрогнувшую длань врага и испугался — неужели не до смерти? Но Юрий был уже мертв. Только последняя дрожь, затихая, прошла по телу и подкорчила пальцы выброшенной вперед правой руки.

Юрий был мертв. Дмитрий огляделся по сторонам, сжал рукоять. Так не хотелось бросать клинок, даваться в руки татар! Врубиться, пасть с оружием! Но за ним была Тверь, и была страна, которую он теперь мог оберечь только послушной гибелью на суде ордынского хана. Он едва разжал сведенные судорогой пальцы. Сабля упала на снег. Татары уже подбегали к нему.

ГЛАВА 56

Весть о смерти брата Иван получил в декабре. Тело еще везли где-то по зимним степным дорогам, сквозь бураны и вьюги, но уже смятенная и оробелая Москва, как-то враз узнавшая об убийстве Юрия, прихлынула в кремник. Когда Иван шел через площадь от княжеских хором к своему терему (подумалось еще: «На днях надо перебираться в батюшковы покои!»), по сторонам уже стояли, заглядывали ему в лицо. Подбегавшие, тяжело дыша, мяли шапки в руках — один остался Данилович на Москве, Иван, тут и спору нету! А как с тверичами теперича?! Они ить и ратью пойдут, замогут! За Михайлу в обиде, почитай, вся земля, не стало бы худа нам-то! Заглядывали в глаза, по-новому озирая тихого своего княжича. Прошать — боялись. Уже господин полный, хоть и не ставлен еще. Да и Иван не давал повады. Шел неспешно, не глядя на густеющий народ, что торопливо расступался перед ним, давая дорогу.

Полчаса назад Иван вызывал московского тысяцкого, Протасия, и сказал ему, строго глядя в костистое лицо старика:

— Протасий Федорыч! Служба твоя верная батюшке и брату моему покойному мне ведома. Надеюсь на таковое же твое и ко мне прилежание!

Иван помедлил и, дождавшись, когда маститый воевода Москвы неспешно склонил сивую голову, договорил:

— Аще ли о сыне своем сгадаешь, то знай: ни Петру Босоволку, ни кому иному после тебя тысяцкое не отдам, токмо сыну твоему Василью!

На каменном лице Протасия медленно-медленно проступил румянец. Потом дрогнули и раздвинулись щеки.

— Спасибо, княже! — только и отмолвил он.

— Пошли дружину Переяславля постеречь! — попросил Иван.

— Не умедлю, княже! — ответил Протасий и начал было: — При батюшке, как при батюшке твоем...— не договорил, вышел, махнув рукой.

И теперь Иван шел неспешно через площадь к своему скромному и тесному терему (строил когда — не хотел явно величаться перед братом) и прикидывал, кого из братних бояр надо и можно привлечь к себе, кого из переяславских перезвать на Москву (Терентия Мишинича с сынами беспременно!), а кого из Юрьевых возлюбленников и пристрожить, дабы не величались очень.

За думами легко было не замечать сбегающейся толпы. (И отколь узнают?! Часу ить не прошло!) С новым чувством вступал он сейчас в свой дом. Доселе все был тихий приют, от тревог и забот прибежище. Жена, дети... Старшему, Сёме, девять (нравный, крутой), потом Тина (Феотинья, так-то назвать!), Маша и Дуня. Всё девочки. И еще был паренек, Данилушка, тот помер, как родился, четыре года тому назад. В честь отца назвали... И у Протасья сын Данило, и тоже погиб, хоть уже и в немалых годах... Не нать было по батюшке называть! Святой он, к себе и прибрал внучонка-то! А хочется еще паренька, хоть одного, да и двух не мешало бы. Недаром и пословица молвит: один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — полный сын! И Олена — как она теперь? Доселе была в пару ему: тиха, заботна, домостроительна, а вот княгинею — award заможет ли? С има ведь и норов нужен! Вздохнул, скинул опашень в руки слуге, поднялся по ступеням.

Жена ждала, выбежав из покоя. По лицу догадал: и дома знают уже! Ткнулась, всхлипнула.

— Чего ты, ясынька?

— Жалко Юрия Данилыча!

Огладил, вздохнул. Брата не было жалко ему. Получил чего хотел! Всенародно, конечно, этого не скажешь. Да что — всенародно! Жене не сказать! Молвил:

— Все под Богом. Все в руце его!

Подняла лицо, робко и пытливо вгляделась, спросила с некоторым страхом:

— Ты теперича заместо Юрия будешь?

Кивнул. Серьезно, без улыбки, вымолвил:

— А ты — княгинею.

И она вздрогнула и зарозовела. Только теперь и поняла. Очи потемнели и углубились. «Заможет!» — подумал Иван.

— Сыновей нать! — сказал твердо. И она вздернула подбородок, раздула ноздри, серебряным звоном отозвались узорчатые подвески высокого повойника. Пошла перед ним, все так же вскинув голову, гоголем поплыла, сама, вместо придверника, отворяя мужу двери. «Заможет!» — еще раз, уже успокоенно, подумал Иван.

Сёма, Семен, первенец, первым и встретил в палате. Вспыхивая, сдерживая радостную улыбку, спросил:

— Батюшка, ты теперича будешь князем великим?

— Великим еще не буду. Московским князем, Семен!

— А великим когда? — обиженно протянул тот.

Иван чуть заметно улыбнулся, но сдержал себя. При смерти брата и смеяться грех! А самому невольно подумалось тут же: «Ну, а ежели... И этому вот сыну моему, в его черед, володеть... Заможет ли?» И, мгновение поколебавшись, ответил: «Заможет!» Только бы ему подрасти успеть при отце!

Как хорошо, что преосвященный Петр после Рождества ладил прибыть на Москву!

Иван присел, закрыл глаза. Так лучше думалось. Чего-то он еще самонужнейшего не содеял? Протасий... дружина... Коломну тоже нать послать постеречь! Еленина родня восхощет мест великих. Не дам. Но и обижать не след... Да, нужен Петр! И паки, и паки — он же! И вот что: в Тверь, Ивану Акинфичу и Андрею Кобыле, обоим послания. Как тогда, под Москвой... И, конечно, тотчас — послов и дары к хану. Кого по-

слать? Тут очень и очень надо не ошибиться! Дмитрий, бают, схвачен... Кому же отдаст Узбек ярлык на великое княжение владимирское? Неужто мне? Быть может, надо просить? Нет, как раз и не надо просить! Не добиваться и не искать стола под Дмитрием! Это вернее. Просить, искать, требовать надобно только одного: справедливости и справедливого суда, наказания за самовольное убийство Юрия, за неуважение, выказанное этим тверичами хану Узбеку. Только это одно. И дары. И — ждать. Ждать он как раз умеет, выучился. Спасибо Юрию!

А сейчас встать и быть пристойно печальным. Неужели он так очерствел, что и смерть брата его совсем не долит?

Иван поднялся с лавки и, оправив платье, строго оглядел детей. Каждый сидел за делом. Старшие девки за рукоделием, младшая — за куклами. Сын, поняв, что с вопросами к отцу лучше не лезть, разогнул книгу «Лавсаик» и сейчас читал про себя, шевеля губами и шепотом выговаривая отдельные трудные слова. Елена, украдкой поглядывая на супруга, вдвоем с сенной боярышней накрывала на стол.

Он вышел в иконный покой. Встал на молитву. Всегда подолгу молился перед завтраком. На тощой живот и молитва ложилась способнее, и думать помогало — умом собираться ко дню.

— «Довлеет дневи злоба его...» Подобает каждому дню его забота!

— «Дух тверд созижди во мне и очисти мя от всякия скверны...» Надобно тотчас вызвать ключника, дворского и посельских всех. Осмотреть села, те, что были Юрьевы (свои в порядке!). Кому он там что раздарил? Есть ли на те дары грамоты? Без грамот и отобрать мочно. И даже надобно отобрать! И, тотчас, сегодня до полудня, проверить бертьяницу княжую, и у казны поставить своих людей, не то растащат!

— «Несть блага в сокровищах, кои червь подтачивает и тать крадет. Токмо о едином скорбит душа моя: яко внити нагому и сирому в лоно твое, Господеви!..» Ковшей было серебряных тридцать семь, и кубков больших девять, и блюда два... нет, три! Большого, того, с крылатыми дивами, Юрий не увозил... Или увез без меня?

И бортников всех, и бобровников, что верх Клязьмы и на Пахре сидят, и сокольников княжеских осмотреть,

и тех, кто службы не правит... А кого и на землю посадить, кого на извоз. Увечных в сторожу поставить при анбарах,— всё не даром будут хлеб-от ясть! «Сирому помоги, убогого накорми!» — Всё так! Да ведь и работника не обидь! Сирых-то набежит, едоков-то!

В голод как-то раздавал милостыню, дак один трижды подошел! Обежит по-за народом и опять... А сказал ему,— терпение лопнуло,— дак не то что сомутитися али устыдитися, нет, еще и возроптал: «Ты, княжич, во драгих портах ходиши, сыт и пиан, аз же в рубище и бос пред тобою!» А прочие не в рубище? А прочие не холодны и не голодны? Подают на хлеб! А на вино, пиво ли пить — преже заработай ищо!

— «В скорби своей воззвах к тебе, Господи, и в горести моея к тебе прибегаю...» Нужен Петр. Ох, как нужен! Единая заступа и оборона при нынешних смутных временах — в нем, в духовном отце, в митрополите русском!.. А блюд серебряных оставалось три. Двоеручно́е, то увез в Сарай. Давно еще. А второго, персицкого, не трогал. Седни ж и погляжу! Серебряных гривен новгородских было... Ну, то на грамоту списано все! И жемчуг свешан, и соболя, и куницы, и рыси, и бобры — сочтены. Соколов надо прошать с Нова Города. Терских, красных. Хану в подарок отвезти! И розового жемчугу — женам. И великий золотой пояс Юрия подарить. Нет, великий пущай полежит в казне... Великого жаль. Малый? Да хватает у хана поясов! Вконец изнищали, а всё дарим и дарим. Хоть женок вези! И то впору! Попробовать разве белого медведя али белых волков из земли полуночной для хана добыть? И янтарю! Янтарю не забыть! И «зуб рыбий» — тот, что с подземного зверя берут, желтый, веско́й... Редкое надо, такое, чем удивить мочно. Тогда крепчае запомнит!

— Господи, сила твоя и слава твоя! Воззри на мя, грешного, яко на прах у ног твоих, и призри мя, человеколюбче, в велицей милости своея!

Юрьевой дружине тяжкую, хоть и мягкую, словно тигровая лапа, руку Ивана пришлось испытать на себе незамедлительно. Монах — так, с легкой руки Юрия, многие за глаза называли Ивана да еще и фыркали в кулак при этом, ибо у Монаха чуть не каждогодно появлялось по новому дитю,— начал вызывать к себе поодиночке возлюбленников Юрия и посуживать несу-

димые грамоты на землю. Путь был верный. Некогда и Данила на Москве с этого начинал. Как-то незаметно и быстро у всех пропала охота называть князя Монахом, и вместо того, даже и в сторонних разговорах, появились уважительные: «наш-то», «сам», Данилыч и наконец Калита. Последнее прозвище кто-то пустил, когда увидели, как несуетливо и прочно бывший Монах собирает землю и добро.

Скоро подоспели и похороны. К концу февраля тело Юрия доставили на Москву, а после похорон должно было совершиться и торжественное вокняжение Ивана Данилыча на столе московском. Двадцать третьего февраля Москва встречала гроб с телом покойного князя. Иван сделал все, что мог, и больше, чем мог. Так, как хоронили Юрия, не всегда хоронили даже и великих князей. Сам митрополит Петр, а с ним новопоставленный новгородский архиепископ Моисей, ростовский владыка Прохор и рязанский епископ Григорий, и даже епископ тверской, Варсонофий, отпевали покойного. Погребли Юрия в церкви архангела Михаила, и там с той поры стали хоронить всех последующих московских князей. Такой пышной заупокойной службы еще не видала Москва. Не видала ни многолюдства такого, ни поминок таких, какие устроил Иван по брате. Кормили в княжьих теремах, в палатах, и прямо по улицам кремника были поставлены столы с пивом, вином и закусками, и толпы пригородных мужиков вместе с москвичами теснились вокруг разноличной рыбы на столах (уже начался пост и мясного не подавали) и открытых бочек темно-янтарного пенистого пива. Поминая Юрия, дивились Ивану: «Вот князь так князь! Эк размахнул, и долонь не дрогнула! Тороват!» А еще раздавали портна, отрезы сукон, зендяни, еще развозили телегами убогим и больным,— кто лежал по избам и не мог выползти на свет божий. Кормили и поили даже колодников в порубе. (Иван среди прочих дел приказал жестоко хватать разбойников по дорогам — «кто ни буди»,— сажать в яму и ковать в железа. Добивался, и добился в конце концов, что по дорогам Московской волости гости ездили без опасу даже и в ночную пору. Несколько Юрьевых боярчат, что сами, наместо татей, разбивали отай караваны купцов, в тех облавах поплатились головами.)

Уже рождественский корм Иван собрал без недоимок, никого, однако, не зоря. Тайности тут особой не

было. Посылал верных холопов, а раза два проверил и сам: откуль и чего вывезено? Обошел дворы, велел казать скот в загонах и хлевах, зерно и прочую снедь в анбарах. От грамот отмахивался: «Потом!» Писаная на грамоту овца — одонояко, живая, с которой и мясо и шерсть,— другояко совсем! За протори и грабеж мужиков,— что обнаруживал,— покарал жестоко. Посельского одного, из княж-Юрьевых, повесил перед кремником, на Неглинной, прежде исписав и явив народу вины его. Мог того и не делать, господин волен во холопах, но — легко казнить, вразумить трудно! Пото и наказал прилюдно и с рассмотрением, дабы иных вешать не пришлось.

Перебравшись в княжеские хоромы, молиться ходил по-прежнему через площадь и по пути раздавал милостыню, почасту и с рассмотрением, вызнавая: кто, откуда, от каковыя нужи оскудел? И уже знали и стояли по сторонам, ожидаючи.

В чем-то Иван был и вправду монах. Чин дневной и вечерний блюл со строгостию не княжеской. В постные дни не прикасался ни к скоромному, ни к жене. Службы выстаивал полностью. Вставал каждодневно до зари, дела вершил прилежно и кропотливо. Старики, помнившие Данилу, качали головами: «Пожалуй, вострее батюшки будет сынок!»

Как-то, пока был княжичем да правил Москвою изтиха, не видать было, каков хозяин. Хоть и успел за прежние годы воспитать слуг и помощников себе под стать, но и они при Юрии казать себя не старались. И говорил Иван всегда тихо. Не гневался. Лишь иногда поглядит прозрачными глазами пристально, еще бледнеть начинал, и чело тогда, как в росинках мелких, в поту делалось. Поглядит так — и страшно становилось. Знали, что от этого взгляда не жди добра. И бояр привечал по-своему. Ценил за службу. Иногда и близко не подойдет, а вдруг и наградит, и обласкает, дарами одарит и местом удостоит. На Москве судачили: не сделает ли Узбек Ивана великим князем? Не сделал. А может, и сам не захотел? Решил паки уступить тверичам? Не ведали. Дмитрий Грозные Очи, убивший Юрия, все еще сидел в заточении у хана...

А Иван сидел на Москве, слал дары в Орду и подсчитывал братние убытки и протори. А были протори те зело не малы! Великое княжение, за которое столько лет бились с Михайлой, Юрий, почитай, сам отдал Дмитрию.

Новгороду Великому подарил независимость от власти великих князей владимирских. Ему же, брату и наследнику своему, Юрий оставил в наследство расстроенную казну и неизбывную, неизбежную ныне войну против Твери!

ГЛАВА 57

Сосны все те же, но они несколько отодвинулись посторонь, уступив место яблоневым садам. И теперь в узенькие оконца митрополичьего покоя в Крутицах видна бело-розовая кипень цветущих дерев. Как-то за делами, за трудами святительскими, не замечаешь течения времен. И вдруг где-то на путях и в кружении суедневных забот пристигает ясное осознание, что конец, означенный каждому из живущих, уже близок. И становится разом прозрачно-покойно на душе. И все уже глядится остраненным, малым и незначащим. Как велик порог жизни вечной, ежели одно лишь приближение к нему так умаляет все земное!

Петр вновь и опять прибыл в Москву, и теперь некое веяние крыл незримых указало ему, что это, возможно, его последний приезд. Петр уже вельми стар. Он сухопрозрачен. Благостен. Глаза его лучатся светом, и кажется сейчас, в полутьме покоя, середи янтарных тесаных стен, в столбах горячего света, протянувшихся до самой божницы, что вокруг бело-голубых поредевших волос митрополита и его облачной круглой бороды струится легкое, едва заметное сияние. Жизнь, которую он прожил в трудах и борениях, была зело не радостна, а сущая окрест него так и просто страшна. На его глазах умалялось православие в землях западных и гибла, как перезрелый плод, Волынская Русь. Не сегодня завтра Гедимин подчинит себе наследие великого Даниила Романыча, и никто не возможет противустати ему. На его глазах приблизилась гибель Византии. Сколько еще десятилетий или просто лет просуществует она? На его глазах победило в Орде учение Магомета, и на его глазах и не с его ли молчаливого согласия был убиен святой князь, Михаил Ярославич Тверской? Где был Петр, когда тот направился в Орду? Почто не проводил, не укрепил словом напутным, почто сидит тут, на Москве, и почто пышно отпевал и хоронил убийцу Михаила Святого? За все то

даст он ответ Господу. Но почему-то сейчас радостно вспоминать протекшую жизнь, и чует сердце, что поступал он так, как надлежало ему в его сане. В дела мирские не должно вступати святителю. И осуждать впереди Господа такожде не достоит иерею.

Петра хулили и пытались лишить престола и сана. Господь защитил его на суде и, значит, почел достойным служения себе. Не уставая, учил он и сеял истины Христа в души паствы, и не был тяжек ему крест сей. Не с насилием над собою и не в унынии и скорби — в надежде и радостной вере прошел он свой земной, означенный ему вышнею волей путь. И ему было хорошо. В редкие часы отдыха творил он зримые образы святых отцов, многажды повторяя на досках лик особенно близкой его душе Богоматери. И теперь милый образ Ее, писанный им в далекие уже годы ратского игуменства, хранится в митрополичьей божнице, а после его успения будет передан... Москве нужен каменный храм! Не лепо граду быти без храма, коего ни огонь, ни тлен не возмогут разрушить. Церковь, строенная князем Данилою, обрушилась после пожара, да и была она малою, княжеской, и нету ныне на Москве ни единой каменной городовой церкви, пристойной граду сему. Об этом уже говорено с Иваном Данилычем, и надобно паки понудить князя к сооружению святыни. Князь вот-вот придет, и Петр пока, до встречи, позволяет себе слегка подремать, смежив вежды. Пылинки в солнечных столбах света сливаются перед ним в одно золотистое кружение, и блазнит, словно не дремлет он, а тихо плывет по воздуху в ароматах ладана, хвои и цветущих яблонь...

Дьякон тихонько касается его плеча:

— Князь Иван Данилыч прибыл!

Да, под окном топочут и ржут кони. Слышны негромкая молвь и звяк. Сейчас войдет Иван и сядет в свое обычное креслице. Как незаметно за протекшие годы все здесь стало привычным и родным! С вокняжения Ивана прошло уже больше года, и уже казнен в Сарае прошедшею осенью Дмитрий Михалыч Грозные Очи, и уже великое княжение передано его брату Александру, третьему тверскому князю, одержащему ныне великий владимирский стол. Не хочется думать, что Иван приложил руку к убиению Дмитрия. Но строго, не закрывая глаза на дела мирские, должно быть, так! И хорошо, что великое княжение опять в руках тверичей, это немного укротит Ивана, не даст ему стать слишком похожим на

Юрия... Они все хотят побеждать ратною силой. Побеждать надо верою! Тот из них, кто скорее это поймет, тот и одолеет в споре.

Двери покоя отворяются с легким скрипом в подпятниках. Входит Иван. Петр долго глядит на него, вспоминая и запоминая. Иван густоволос, но уже как-то слегка раздался вширь и что-то неприятное появляется у него в этих вот морщинках вокруг глаз. Как приземляет человека власть! Как умаляет в нем дух и доброту — главные украсы души!

Петр легко вздыхает, приуготовляясь внимать князю, но и Иван хочет не говорить, а слушать митрополита. Петр задумывается на несколько минут, и оба вбирают в себя солнечную тишину. Иван отдыхает сейчас, хоть весь и насторожен: здесь, перед митрополитом Петром, трудно, да и невозможно лукавить, да и ни к чему. Где-то, когда-то надо говорить только правду. На то и есть тайна исповеди. Для облегчения сердца. Для осознания истины. В себе самом, в тайная тайных души.

— На церкву камянну много нать! Юрий поисхитил казны преизлиха! — говорит Иван, хмурясь и отводя взгляд.— Прежде бы ся поправить, а потом уж созидать храм!

— Сыне мой! — отвечает митрополит негромко.— Аз уже ветх деньми и скоро почию. Мыслю, сие может произойти во граде твоем. Заложи храм Успения Богоматери, преславной Марии девы, породившей Господа нашего Иисуса Христа, и аз, недостойный, осную в нем гробницу свою и икону сию, писанную мною, оставлю во храме том!

Иван, вздрогнув, внимательнее вглядывается в лицо Петра и чует вдруг, как по коже пробегают мурашки. Столь просто! И — конец. Конец суете, обещаниям, подсчетам добра. Будет кто-то новый, другой — на этой земле... И он уже беспокойно, со страхом, начинает внимать спокойному, как весенний вечер, течению речи старого митрополита.

— Воззри окрест, на земли и страны! — говорит Петр.— И подивись, и восскорби в сердце своем! Како стеснена, в каковыя сирости и умалении пребывает наша святая православная церковь! Заложи храм, сыне, и как из малого отростка дряхлого пня лесного вновь вырастает древие ветвистое и плодоносное, тако и из малого града твоего, Москвы, разрастется вновь преславная Русская земля. Предрекаю величие в грядущих столетьях граду

твоему, сыне, паки и паки при том умоляя: созижди храм! Не скорби о тяжких трудах зодчих и богатств умалении. Временному и злободневному не дай затмить в себе вечное и несуедневное, то, что простерто в столетья. Да, храмы не приносят доходов строителю своему, яко мельницы, кузнечные, шорные, сыроваренные и прочие многие заводы, яко стада скотинные, хлебородные поля и вертограды плодоносные, но дух народа твоего они укрепляют в веках! Почасту говорил я тебе, сыне, и повторю теперь. Рачителен ты и прилежен к отцову наследью и волости своей. И это хорошо. Не должно зарывать в землю талан, данный тебе Господом твоим. Но и другого не упусти, сыне! Помысли о вечном, о грядущем вослед тебя! О том, что будет при внуках и правнуках твоих, когда и кости наши истлеют в гробах! Ты — князь, тебе должно думать о грядущих судьбах земли! Не прельщай себя единым злободневным, ибо — что при жизни возможно совершить, с жизнью ся и окончит. Только то древие крепко, плоды от коего вызревают чрез долгий срок по возрастии. Дед посадит, отец возростит, сын или внук токмо получает плоды сладкие! Зато такое древо плодоносит потом десятки лет...

Иван, что слушал, опустив голову, тут, когда Петр замолк, поднял к нему бледное чело:

— Грешен я, отец мой! И мне ли по силам сей подвиг? Грешен я и злобою, и корыстью, и убиением ворогов моих, а паче того — сухотою души!

Жестокие складки окружили пронзительные в этот миг глаза Ивана. Искательно вперяясь взором в лицо митрополита Петра, понизив голос до шепота, спросил он то, чего не спрашивал во все протекшие годы, не спрашивал, даже боялся спросить, ибо многие силы ума и души положил на то, чтобы привадить ко граду Москве митрополита русского. А тут, побелевшими пальцами вцепляясь в подлокотники креслица, наклонясь вперед, строгим и горячим шепотом, с болью и почти с ненавистью вопросил он Петра:

— Отче! Поведай, почто предпочел ты нас, почто не отверг и в сквернах многих, и в насильствах, нами свершенных? Почто не проклял, не изверг из уст своих, яко плевел и аконит? Худшие мы, и ты... Не погнушал нами еси, не зазрил почто?!

И вот сейчас, в этот миг, увидел Иван легкое солнечное сияние вокруг головы старого митрополита. И, увидав, устрашился и вострепетал. И с трепетом ждал, что

скажет сидящий перед ним в резном кресле святой старец.

Петр задумчиво и долго глядел на Ивана.

— В откровении святого Иоанна сказано,— отмолвил он наконец: — «О, если бы ты был холоден или горяч! Ты мнишь, что ты могущ, и богат, и знатен, а меж тем ты беден, и жалок, и слеп, и наг. О, если бы ты был холоден или горяч! Но ты тепл еси, и потому извергну тебя из уст своих...» Тако надлежит затвердить слова сии, сыне! Многие и мыслят, и знают, и ведают грядущее, и како надлежит поступить, дабы отвратить зло, понимают, а поступить тако не могут, ибо не имеют силы самих себя подвигнути на подвиг малый. И зная, и понимая собственную гибель, гибнут, ибо обречены. Не для таких был призыв Иисуса, и не таким суждено узреть землю обетованную! Такова ныне Византия, гибель коей грядет, и отвратить ее немочно, ибо нету уже сил и желания у греков противустать времени. Увы! В роде князей Даниила и Василька вижу я то же бессилие противу грядущей судьбы! Посему я здесь, в этой лесной земле. Тут, за Окою, узрел и обрел я то многоценное, что дороже богатств и ценнее книжного многомыслия философов. Вы добиваетесь того, чего хотите и во что поверили, даже и до живота своего, и главами вержа ради мечтаний своих. У вас есть мужество действования и воля к тому, чтобы доводить затеянное до конца. Сим спасетесь сами и спасете Русь! Почто, сыне, вас, а не тверичей предпочел я? Так сложилась судьба! А быть может, мыслю я теперь, и в этом себя явил перст божий! В вас больше земного, больше греха и несовершенств. Вы ближе к малым сим, заботнее о добре и зажитке. Они повели бы Русскую землю на подвиг и, быть может, на смерть. А время подвигов еще не настало. Еще не вызрела воля к борьбе. Помни, сыне мой, что вся твоя жизнь — для грядущего. И тебе, по грехам твоим, быть может, даже и не взглянуть на землю обетованную. Но не забывай Господа! В нем едином — спасение твое.

Наступила тишина. И далекий, из мира иного, звук — горластый зов петуха на заднем дворе — долетел до пронизанного солнцем и тишиною покоя. Оба улыбнулись невольно. Петр спокойно поднял глаза, Иван — опустил смущенно и прикусил губу.

— Сынишка здоров? — спросил Петр.

У Елены тридцатого марта родился младенец, нареченный, по отцу, Иваном. Князь вздрогнул, отер чело

тыльной стороною руки, поглядел изумленно, чисто разгладив морщины лица, и прежняя прозрачная яснота открылась во взгляде Ивана.

— Здоров! — поспешно и как-то беззащитно ответил он и улыбнулся медленной детской улыбкой.

— А что Алексий? — помолчав, вопросил Петр и примолвил строго: — Не забудь крестника! Великий муж может произрасти из него. Дерзок он и прям, а от прямоты порою и горек, но горький корень исцеляет болезни! — Он смолкнул, прикрыл глаза, утомясь, и после долгой-долгой тишины, почти уже шепотом, досказал: — А храм созижди. Дай покой в нем праху моему, а земле своей — зримую святыню православной веры, и почтен будеши в потомках своих!

— Исполню, отче! — тоже тихо и хрипло ответил Иван.— Ныне же наряжу в Мячково ломать камень.

ГЛАВА 58

Ломали белый камень. Тянули бечевой, на плотах и паузках, вверх по Москве-реке. Под холмом стаскивали с судов и вздымали телегами и волокушами на гору. Вся площадь и улицы кремника уже были запружены камнем. Вызванные на городовое дело мужики и княжеские холопы споро копали рвы, заполняли битняком и грубыми глыбами дикаря. В ямах творили известь. Мастера меж тем тесали белый известняк, выбивая грубые узоры для будущей церкви (добрых мастеров каменного дела мало осталось на Руси).

Пыль, гром и звон стояли над кремником беспрестани. У боярынь закладывало уши, дети — как взбесились, из утра пропадали на площади. Сам наследник Симеон Иваныч, десятилетний вихрастый сорванец, не пораз уже получал подзатыльники от дюжих мастеров, что разгоняли озорников, не очень разбираючи, чей там Сенька, Ванька али Васька лезет под ноги, мешая работникам, тем паче что и боярчата и княжата бегали по кремнику в простом, ежеденном, мало отличаясь от посадских мальчишек, и домой возвращались измазанные до ушей каменной пылью, глиной и известью.

Уже четвертого августа состоялась торжественная закладка храма. Означили углы, алтарь и основание жертвенника. Князь Иван и виднейшие бояре в этот день

трудились с заступами и кирками в руках. Митрополит Петр после освящения будущего храма сам заложил себе гробницу близ жертвенника. Он работал, совлекши ризы, в подряснике сурового холста, обнаружив недюжинную силу старческих рук. И не ушел, хоть и весь был уже изможден и в поту, пока, с помочью своих клирошан, не уложил тесаные плиты на основание, не вывел стенки и не покрыл каменною кровлею пустую еще будущую домовину свою. Разогнувшись, уже почти теряя сознание, он обозрел кипевшую вокруг него суету стройки и еще раз благословил тружающихся, прежде чем неверными шагами, поддерживаемый служками, удалился наконец в свои хоромы близ княжеских теремов.

После закладки храма Петр пролежал два дня не вставая, перетрудил старое сердце свое. Но на третий поднялся, одолевая слабость, правил службу в Михайловском храме, и москвичи, что уже судачили по дворам о тяжкой болезни митрополита, убедились в этот день в ошибке своей...

Сам-то он знал, что его конец близок. Измеряя глазом медленно поднимающиеся стены храма (а осень, грозя дождями, скоро должна была прекратить работу мастеров), чуял, что свершения здания ему уже не увидать. Когда дожди остановили работы, а затем снег прикрыл своим мягким саваном и начатые стены, и площадь, и холмы белого камня на ней, Петр понял, что уже не должно ему медлить, ни дожидать окончания работ,— надлежит обозреть еще раз, сколь мочно, обширное хозяйство митрополичьего дома и приуготовить себя к отшествию в мир иной. На место свое, место митрополита русского, он сам назначил архимандрита Феодора, мужа достойного и известного ему издавна, мало надеясь, однако, что Константинопольская патриархия утвердит избранника. Все же, и в том случае, ежели пришлют другого, не должно дому церковному оставаться без главы и на мал срок междувременья, дондеже пришлют иного избранника. Феодора Петр теперь так и держал при себе, не отпуская. С холодами он почувствовал себя несколько бодрее. Князю Ивану, что намерился было сидеть при нем, воспретил сие, тем паче что дела господарские были тревожны. Петр уже мало вникал в новые ордынские пакости на Руси, ссоры и споры в Ростове, Суздале, Смоленске и на далекой Волыни, в начавшуюся вновь котору москвичей с Тверью... Перед ликом вечности все это теперь каза-

лось слишком ничтожно и не заслуживало усилий ума.

Умер он в декабре, двадцатого, в полном сознании и знании того, что умирает. При нем в этот час был епископ луцкий Феодосий, он и совершил все потребное. Перед смертью,— в этот, последний, день — он еще нашел в себе силы как обычно справить службу. Окончив богослужение и не разоблачаясь, Петр тут же созвал многих нищих, увечных и больных, созвал иереев и черноризцев-монахов и монахинь и начал раздавать всем щедрую милостыню. Уже возвратясь из церкви, собрал домочадцев, клириков и слуг. Всех наградил и наделил добром. Князя Ивана не было на Москве в ту пору. Вместо него Петр вызвал к себе старого тысяцкого Протасия, старейшину московских бояр, и семидесятилетний старец, не стряпая, явился к митрополиту.

Петр полулежал в своем покое, более пышном и менее любимом им, чем крутицкие терема, обложенный пестрыми подушками ордынской работы, и был так слаб и изможден видом, что Протасий, для коего смерть уже не являла особого ужаса, подивился все же: как смог этот ветхий муж еще несколько часов назад выстоять службу, в тяжелом облачении читать и подымать руки, а потом, стоя, раздавать милостыню сотням людей и теперь еще говорить и что-то делать? Но Петр взглянул на него ясно, движением бровей попросил себя приподнять и произнес нежданно твердым, хоть и негромким голосом:

— Мир тебе, чадо! Ивана, Данилыча, нету,— продолжил он с отдышкою,— достоит тебе прияти последнюю волю мою!

Он приодержался и поднял узкую прозрачную, почти из одних костей и связок ладонь. Иереи, что наполняли покой, теснясь, вышли один за одним в низкие двери, однообразно пригибаясь под притолокой. Остались только трое: архимандрит Феодор, служка и писец.

— Подай мир князю Ивану Данилычу и всему дому его! — сказал Петр и, подняв руку, благословил Протасия. Помолчав, добавил: — И тебе мир, чадо!

Протасий, что вряд ли был моложе Петра, в этот миг почувствовал себя и верно чадом, дитем пред отходящим мира сего митрополитом. О столь мужественной смерти он, воин, и сам бы молил Господа! Но было и еще нечто во взоре Петра, некая скорбь невысказанная, обращенная именно к нему. Протасий вздрогнул, почуяв и почти угадав, о чем была та немая скорбь Петра.

«Неужели грех мой, тот грех давний, еще не искуплен смертями многими, гибелью первого сына, не прикрыт смертью Юрия и все еще тяготеет над родом моим?» Смутно, из дали дальней, прихлынули и отступили воспоминания, но Петр не сказал более ничего ни словом, ни взглядом. Видимо, знание, пришедшее к нему с того берега, из мира иной жизни, не смел он передать земному собрату своему.

Глазами приказав служке достать тяжелый, окованный узорным железом ларец, Петр сухими руками коснулся крышки, надавил с усилием, и она медленно открылась, показав Протасию тесно уложенные рядами иноземные золотые, которых было много, очень много!

— На устрой церкви Успения Богоматери и на... помин души преосвященного отца нашего,— с запинкою, взглянув на Петра, пояснил архимандрит Феодор. Протасий принял ларец и почуял нешуточную тяжесть золота — едва удержал. Подумал, что надо вызвать слугу, но его уже упредили. В покой вступили, вызванные архимандритом, стремянный и оружничий Протасия и бережно переняли ларец и грамоту с исчислением содержимого и перечнем: на что и сколько жертвует митрополит из богатств своих, которые теперь, при конце земного пути, все раздавал и дарил тем, кто еще нуждался в зримых сокровищах.

С тяжелым сердцем покидал Протасий святительские покои. Как-то незаметно и он, помнивший еще Кирилла, привык к Петру и не мыслил уже без него града Москвы. На улице, садясь на коня, он еще оглянулся на терема, церкви, на остолпивший крыльцо народ и свою дружину, на белый снег, опушивший кровли и серое зимнее небо, в котором чуть-чуть только проглядывала сквозь ровную пелену облаков задумчивая легкая голубень, увидел все это и подивился обычности увиденного, тому, как упорно непрерывна жизнь, не желающая замечать отдельной человеческой смерти...

К вечеру Петр, оставшись наедине с архимандритом Феодором, поднялся с его помощью с ложа и стал на вечернюю молитву. Уже кончая молебен, оборотился к Феодору и попросил:

— Мир тебе, чадо, аз опочити хочу!

Феодор помог ему подняться с колен, дойти до ложа и лечь. Петр глубоко вздохнул, чуть-чуть улыбнулся и смежил глаза. Лицо его оставалось покойно, не дрогнуло, ни судороги не прошло по телу,— поэтому Феодор

сперва даже и не понял, в какой миг остановились в нем навсегда дыхание и жизнь.

А гонцы летели по зимним дорогам страны, разнося весть о смерти еще одного заступника и печальника Золотой Руси. Князь Иван, вызванный загодя Протасием, получил скорбную весть в дороге, так и не поспев проститься со своим митрополитом, и о последних часах его потом вызнавал из рассказов тысяцкого, архимандрита Феодора и своего крестника Алексия, который также присутствовал при последних часах Петра.

ГЛАВА 59

Великое княжение было для тверского князя Александра Михайловича звук пустой. Из Орды он воротился в долгах, приведя с собою татарских должников, и те, взимая серебро по заемным грамотам князя, разорили весь город. Хан Узбек меж тем гневался и говорил, что тверские князья ему надоели, что они крамольники, вороги хана и «ратные ему»,— хотя о какой уж тут рати на Орду можно было сейчас говорить! Ни Новгород, ни Москва не подчинялись тверскому великому князю. Ордынский выход собирался со скорбью и трудом. Суд над Дмитрием, тянувшийся целый год, высосал всю тверскую казну — на подарки вельможам и хану ушли даже родовые реликвии. Анна ничего не жалела для спасения старшего сына. И все равно кончилось казнью. Вдосталь поживясь за счет несчастной Твери, ордынцы так-таки и не выпустили из своих рук Дмитрия. Анна сильно постарела за этот год. Еще высохла. Перестала совсем улыбаться. Ежели бы не младший сын, Василий, нуждавшийся в материнской ласке, может, и не перенесла бы этого горя.

И все же ярлык на великое княжение достался опять тверичам. Узбек, вспомнив о своей знаменитой справедливости, не решился явно и сразу передать власть брату Юрия, тем паче что тот его об этом и не просил. Слишком велико было еще у всех уважение к покойному Михаилу, слишком значительным городом была на Руси Тверь, стоявшая на скрещении всех торговых путей страны — с Запада на Восток и с Юга на Север. Что с Волыни, с Литвы, Смоленска ли, с Новгорода ли Великого, Москвы или Поволжья поезжай —

Твери никак не минуешь. В рядках и починках, на всех рынках больших городов аж до Сарая каждый второй русский гость торговый — тверич. И книжным научением, письмом иконным, многоразличными ремеслами знатна Тверь. Куда Москве! Ни Ростову, ни старому Суздалю, ни Угличу, ни Костроме, ни Ярославлю не помыслить тягаться с Тверью. Уже и стольный Владимир уступил Твери. Один Господин Великий Новгород дерзал тягаться с городом Михаила Ярославича! И еще не умирала надежда в сердце Анны, что хоть и через кровь и смерти любимых подымется Тверь и станет на место свое, предназначенное ей по всему,— место матери городов русских,— станет сердцем Владимирской земли. Что поборы наезжих ростовщиков для торгового города! Через год Тверь уже и не поминала об них. Анна с надеждою, но и с тревогой глядела на сына: легок! Горяч, щедр, тороват и хлебосолен — князь прямой, но не хозяин страны! Нет, не воскресить Михаила, не воскресить и Дмитрия... Митя, Митя, зачем ты это содеял! Верно, не мог поступить иначе... И город! Ведь по живому рубят! Растет, ширится, люднеет, несмотря ни на что! Она обходила клети и повалуши, шорные, седельные, ткацкие, щитные, скорняжные, златокузнечные, прядильные и прочие мастерские княжого двора, проверяла дворского, ключников и посельских, чла грамоты, отпускала полти мяса и связки рыбы, меряла зерно и муку. И везли, и везли, двор полнился добром. Через купцов, покупками и менoю, притекали новые сокровища взамен потраченных, новое серебро, ткани, сукна, узорная ковань и оружие. И хлеб был свой, не купленный. И раз великое княжение — то и владимирское хлебородное ополье в руках. И значит, можно станет когда-то вновь приказать Новгороду и вновь собирать страну в единые руки, ибо без этого не стоять земле. Москвичи того не возмогут! Юрий уже показал, на что они способны. Распустил всю землю поврозь — властелин! Ордынцы не с его ли стараний теперь на русичей как на собак смотрят?

И подымалась Тверь. И поднялась бы!

Но слишком насмотрелись в Сарае на тверских князей. Михаила и мертвого боялись и считали святым. Дмитрий сумел так умереть, что не посрамил чести своего отца и рода своего. И его, мертвого, тоже страшился Узбек. Не были они рабами, на горе себе, и прикинуться рабами не могли. И Александра невзлюбил Узбек преж-

де всего за породу, за стать княжескую, за гордость и мужество, которых у самого Узбека не хватало всю жизнь. И потому — мстил. А уж там — фанатики-мусульмане, что хотели уничтожить учение Христа вместе с Русью, уж там Юрий не Юрий, так Иван — тихий, невидный и нестрашный совсем, игра страстей, борьба партий, торговые интересы, высокая и низкая политика...

А так-то, по-людски сказать,— не должно бы было Орде давить Русь, и даже стоило ли принимать Магометову веру? Не лучше было бы устроить союз Руси со степью и основать великую, на тыщи верст, страну,— то, что с боями и болью все равно произошло в грядущих веках! И торговля та, будь она неладна, не с Персией и не с далеким Египтом, а с Русью и паки с Русью связывала — и связала — Поволжье! Значит, и не в торговле дело-то было, а в нем, в Узбеке, в человеке, слепо поверившем книгам арабов, непостоянном, капризном и мнительном, словно гаремная избалованная женщина, завистливом к мужеству других и не прощающем ни в ком величия и прямоты. В нем — в полководце, что с трехсоттысячной армией мог бежать от двухтысячного конного отряда Абу-Саида; в нем — в государе, что четыре года подряд не мог выдать сестру за Эль Малика Эннасира, султана египетского, ибо всем родичам, эмирам и вельможам его требовались дары и дары... Да прикрикни на них, дело-то семейное! Где же тогда твоя абсолютная власть над четвертью мира?! В нем было дело. В человеке. Да и всегда сперва — люди, потом — события.

А потом Шевкал. Сын Тудана, внук Менгу-Тимура, двоюродный брат Узбека, отступник, убийца и трус, жадный к добру и беззастенчивый в средствах, человек, перед которым Кавгадый — венец благочестия. Знал Узбек, кого и зачем посылал на Тверь?! Знал, чем может кончиться Шевкалово посольство? Знал, что Шевкал затем и едет, чтобы неслыханно нажиться за счет разорения стольного и самого богатого города Руси? Чего он хотел в конце концов? Уничтожения Русского улуса? Но тогда зачем Москва, зачем вновь и опять великое княжение, дани и поборы, торговля и послы? Отобрать ярлык у тверичей? На это не нужно было быть и Шевкалу. Разгромить Тверь? Почто ж тогда посылать сперва на смерть своих богатуров с царевичем во главе?

И он же был хозяин улуса Урусутского! Но хозяева,

даже жестокие (и тем паче жестокие!), не зорят своего добра, никогда не зорят! Зорят — значит, не хозяева, а ночные тати, хоть и добившиеся власти. И значит, или им уйти, или погибнуть земле, вместе с ними погибнуть. Только так! И — в веках — только так и происходило всегда и всюду, как бы поначалу ни вольготно чувствовали себя тати, добившиеся власти над землей.

А мы скажем: пото и был Шевкал, чтобы вышла Русь на Куликово поле. Пусть не сейчас, не теперь, еще через пятьдесят лет, но Куликово поле будет! За Тверь, за разорение земли, за гордых, что даром легли в землю, за попранные честь и славу великой страны.

Шевкал, явившись в Тверь[1] и пристойно встреченный Александром Михайловичем с матерью, вдовствующей великой княгиней Анной, вел себя так, словно въезжал в завоеванный город. На встрече он даже не слез с коня. Не успели отпировать на сенях, как Александр Михайлович заслышал шум и крики во дворе. Он вышел на галерею: татары били и гнали княжеских слуг и холопов со двора. Хлопали двери, кого-то волочили, благим матом орала какая-то женка, которую заваливали тут же, у забора, трое дюжих татарских ратников. Александр, бледнея, оборотился к цареву послу. Шевкал стоял тут же, выйдя на галерею вслед за князем, большой, широкий, уперев руки в бока, и хохотал.

— Поди, поди, князь! Тута буду жить! А ты поди! — вымолвил он, отсмеявшись. Напрасно Александр, едва сдержавшийся поначалу, умолял Шевкала не захватывать княжеского двора, напрасно толковал, что править городом и удерживать народ он, изгнанный из своих хором, не сможет,— Шевкал остался неумолим.

Уже к вечеру, захватив только самое ценное добро и казну (чудом отстояли холопы и дружина господские сундуки с серебром, драгими портнами, сукнами и скорой), княжеская семья оставила свой двор, выселившись в загородный терем. Прочее добро, оставленное в бертьяницах, погребах и анбарах, тотчас было расхищено и потрачено татарами. Рассыпали, балуясь, зерно, пивом поили коней, мочились в лари с мукой и солодом. Грубый холст, за ненадобностью, резали на

---

[1] Летом 1327 года.

куски и бросали либо подстилали коням под ноги. Ключников, старост, городовых выборных, мытников и вирников, что приходили с грамотами, исчисляющими доходы, били по щекам, рвали из рук грамоты, тут же разрывая их на части, отбирали без счету принос и требовали еще. Людей в богатом платье раздевали прямо на улицах. В торгу брали что понравится не спросясь и на попреки купцов отвечали плетью. Церкви пока не трогали, но уже где и начинали, заходя внутрь, прихватывать то чашу, то дорогое кадило, парчовую ризу, пелену, а то и серебряный, с каменьями и жемчугом, оклад иконы. Причем татарин в остроконечной шапке, одиравший святыню, вроде бы и не видел ни священников, ни толпы молящихся прихожан. Русичам, что дерзали перечить, татары, кто понимал по-русски, отвечали, смеясь:

— Скоро мы все ваши церкви на мечети переделаем! Будете нашему Богу молиться!

К тому часу, когда дьякон Дюдько повел свою несчастную кобылу и был остановлен татарами, уже до того раскалилось все в городе — люди, камни, бревенчатые стены домов... Солнечным жаром заливало город, и в жару, в пыли, в скверне и ругательстве, как жаждущему море, маячило всем одно: восстание! Перекошенные лица мужиков, неистовые глаза изнасилованных женок, ограбленные дворы с расхристанными настежь воротами — все кричало, взывало, молило об одном. И — началось.

Не Дюдько, так другой бы. Вместо того чтобы враз отдать повод и, заплакав, поворотить домой, он вцепился в узду своей лошади и, пихаясь, лягаясь сапогами, подворачивая голову, на которую сыпались удары татарских плетей, плюясь кровью, возопил к народу:

— Ратуйте!

А было пятнадцатое августа, праздник Успения Богородицы, город был полон народом, сошедшим на богомолье, явились даже и из пригородных сел. И — в жаре, в волнах солнечного света и пыли, в высоком звоне праздничных колоколов (звонари тут же забили набат) — началось.

Все можно говорить и писать через века: о недостатке такта, о несдержанности и ошибках тверского князя, но когда грабят добро, насилуют женку и дочь, когда сводят коня со двора, и ты... Ох, как сладко наконец

услышать было это вот «Ратуйте!» и увидеть, что кто-то первый начал!

Тех татар, что тащили кобылу Дюдька, уничтожили, даже не поняв еще, что и делают, а там — пошло по всему городу. Где-то били, волочили, топтали ногами, надругаясь, рвали у живых срамные уды — вот те за женку мою! Бабы связанным выцарапывали глаза. Ордынских, ни в чем не виноватых гостей в торгу мужики всех изрубили в куски и потопили в Волге. Такого вроде и не бывало прежде никогда. Шевкал с ратью заперся в стенах княжого двора. Два сумасшедших дурных приступа — лезли аж с голыми руками на стены — татары отбили с большим уроном для русичей. И тут-то явился в город князь Александр.

Анна изо всех сил удерживала сына:

— Не езди! Уймутся, отсидится Щелкан,— называла так, как говорили в народе, уродуя имя из презрения к ордынскому насильнику,— отсидится, омягчеет, тогда ты его и спасешь и отпустишь в Орду!

Александр мерил покой крупными шагами, сжимал кулаки. Он еще не ведал, не видел, что творится в городе. Знал — режут. Наконец, ближе к вечеру, не выдержал. Не вынес.

— Еду, мать! Може, тово... остановлю смердов...

Анна бросилась было за ним, ее удержали силой.

Александр въезжал в город с малою дружиной, сквозь оставленные безо всякой охраны, настежь отворенные ворота, и первое, что кинулось в очи,— разволоченный донага и страшно изувеченный труп татарина. Конь всхрапнул, обходя лужу густой черной крови.

Издали, от княжого двора, доносило разноголосый ор, ржание, лязг и глухие удары. Понял: бревнами ломают створы ворот. Подъезжая, уже на улице у забора завидел длинный ряд порубанных на приступе тверичей, убитых и тяжко раненных, около которых, обмывая и перевязывая, суетились и хлопотали женки. Дальше была толпа с дрекольем, рогатинами и топорами, а там, впереди, под треск и лязг, били в ворота, били и тут же валились под стрелами татар. Подбегали новые, подхватывая тяжелое бревно, и падали снова... Александра, похотевшего кинуться вперед, удержали за стремена:

— Убьют, княже!

Его узнавали, толпа вокруг густела и густела. От крика осаждающих почти ничего не было слышно, даже конское ржанье тонуло в реве мужиков. Ветра не было совсем. Жар от перегретых дубовых мостовых струился ввысь, и в его невидимых струях чуть подрагивали высокие кресты собора.

Александр уже не помнил, зачем он приехал сюда. Падающие под стрелами на его глазах мужики требовали одного — мести. Не мог он, князь, предать своего восставшего города. И, как воин, сразу поняв, что без долгой осады и многой крови ратной княжеского двора не взять, Александр, сообразив по безветрию, что город наверняка уцелеет, приказал:

— Жечь!

Он именно ничего не делал, не наряжал дружинников, не посылал никого за хворостом и огнем, он только сказал вслух и громко: «Жечь!» И горожане, что давно уже хотели того же самого, и только уважение к дому своего князя удерживало их, тотчас ринули, и уже потащили дрова и хворост, и уже стали с ведрами и бадьями воды на кровлях соседних домов — не загорелись бы хоромы горожан,— и уже рогатками загораживали ворота княжого двора, и уже затрещало и дымно потянуло ввысь, а там и пламя выбилось над узорными кровлями, и донесся испуганный, жалкий крик татар, тотчас перекрытый дружным тысячеголосым торжествующим ревом.

Теперь татары выбивали ворота, заваленные снаружи всяким дубьем. Трещали створы, кто-то лез, а в него с улицы летели камни и стрелы, другому, что спустился по веревке со стены, тут же раскроили голову. Огонь ярел, охватывая клеть за клетью, рушились терема, и в их пламени метались, сгорая, татарские кони, а спешенные всадники в дымящемся платье, скалясь и узя глаза, продолжали бить из луков по толпе, оступившей княжеский двор, пока горящие балки с гулом и грохотом не обрушивались им на головы. Это были хорошие степные воины, и они дорого продавали свою жизнь.

Двор сгорел. Город от огня отстояли. Татарская рать, вместе с царевичем Шевкалом, была истреблена полностью.

Кратко было похмелье на этом пиру! Зимой уже двинулись на город татарские рати. Но за эти несколько хмелевых и веселых месяцев возникла и широко разошлась по Руси, дойдя и до нашего времени, гордая,

как народный мятеж, песня о Щелкане Дюдентьевиче, где утверждалось в конце, вперекор всему, что после расправы со Щелканом «...так и осталося, ни на ком не сыскалося».

Сыскалось. И на тех даже, кто ничего и не знал о погроме татар в Твери...

ГЛАВА 60

И то сказать, что струсил Узбек и на этот раз. Не Орду послал на Русь, а вызвал к себе московского князя и ему, вкупе с татарами, приказал покарать непокорную Тверь. Но уже и покарать потребовал жестоко. Пять темников с пятью тьмами отборного войска шли на Тверь помимо московских, суздальских и иных ратей. И стал для города смертным этот погром и час.

Князь Иван теперь дождался своей судьбы. Он как раз возился с меньшим, всего лишь в начале июля родившимся сыном Андреем, когда пришла весть о восстании в Твери. Иван выслушал, держа малыша на руках. Два мальчика подряд — такого он даже и не ждал от Елены. И этот, меньшой, был славный, здоровый малыш, и сейчас, когда уже краснота сошла с лица, смешно так лупил глазки на родителя. Поэтому Иван не шевелился, не стирал даже улыбки с лица, хотя впору было выронить младеня из рук. То есть глупее и проще погинуть, ежели бы даже и захотели тверичи, и то не мочно!

Выслушав, кивнул, отослал гонца. Передал Андрея на руки мамке. Вышел из горницы в галерею. И тут почувствовал вдруг головное кружение и тошноту. И душно стало, словно от дыма на пожаре. Он прислонился к стене, справляясь с собой. Добро, слуг нету близко, а то б набежали тотчас. Одно было ясно: кроме него — никто. Разве суздальский князь, Александр Васильевич? К нему — тотчас послать! Улестить, запугать, обадить... Отдавать великое княжение суздальскому князю вовсе ни к чему!

Страшное ощущение высоты и одиночества все не проходило. Один, совсем один, даже и вечной заступы, митрополита, и того нет! Будто на вершине горней, снегами белеющей, яко Кавказские горы, на изломе скалы, под холодным ледяным небом, на самом-самом

острие стоит он, и только небо кругом, и клубятся и ползают тучи, и ветер рвет и сдувает его туда, вниз, в бездну, в черный провал, и нельзя удержаться, а надо устоять, уцелеть, справиться с собою, даже вот — чтобы не стошнило сейчас. Было жарко, но чуть-чуть обдувало ветерком, и Иван понемногу пришел в себя. Москва, его Москва, была зело невеликим городом на горе, и, только-только, всего две недели назад, четвертого августа, освященная ростовским владыкою Прохором, весело белела посередине нагромождения деревянных клетей и хором белокаменная церковь Успения пресвятой Богородицы. К празднику и освящали. Вот и праздник! На несколько мгновений мучительно захотелось ему удержать время. Пусть будет все так: сын в колыбели, недавно отпраздновавшая Успенье Москва, жара и жатва и знатьё, что там, в Твери, погромили татар... Нет, не остановишь время! Он усмехнулся бледно, окончательно опомнясь. Надо думать, до снегов не начнут. Ну, а послов с подарками хану — немедленно! Что-то измыслит теперь у себя в Твери князь Александр Михалыч?

Тверской князь ничего не измыслил. Да и что он мог? Против него была вся земля и Орда. Запереться в Твери, сидеть в осаде, отбивая приступы, пока не кончатся силы, и люди, и припасы снедные? А потом? Да и бояре его, в чаянии беды, сами загодя стали разбегаться. Нет, о борьбе, обороне града не могло быть и речи. Оставалось одно — бежать. И когда, по зиме, заслышал приближение татарской рати вместе с князем Иваном, загодя пред тем вызванным в Орду, побежал, спасаясь, в единственный русский город, который мог еще принять его и откуда он сам, в случае нужды, мог уйти еще далее,— во Псков.

Он просидит там, а после, изгнанный Иваном из Пскова, в западных землях более десяти лет — и все равно не уйдет от расплаты ханского суда. И мы сейчас оставим его насовсем. Оставим без осуждения, скорее со скорбью, чем с гневом. Его мать, Анна, с Василием и Константином, вернется на пепелище и будет жить там «в великой скудости», потихоньку опять отстраивая Тверь,— и то тоже не наш рассказ и не наша повесть.

Скажем здесь о погроме страны, о скорби смердов, коим их князь не сумел стать заступой и обороною. Скажем о горе жен и матерей, о плаче детей, угоняемых в полон татарский. Скажем о гибели славного града Твери, гибели, схожей с тем, как если бы у древа на возрастии срубили верхушку, и далее стало оно расти и тянуться, но уже не вершиною, а боковым, утолстившимся и пошедшим вверх отростком своим. Так и пошла потом история страны в боковой сук, в Москву, со временем превратившуюся в новую вершину русского древа. Но не надо искать неизбежности там, где ее не было и даже не могло быть совсем. Был бы не Узбек, а, скажем, Тохта, и все бы пошло иначе. Как? Мы не знаем. Историю, как и жизнь, неможно повторить заново.

Я не хочу описывать, как брали и зорили Тверь, оставленную своими князьями и ратью. Были ли там бои, героическая защита ворот и валов смердами, трупы героев и неистовая резня по улицам? Какие терема и храмы и как громили победители? Я не знаю. Вся та Тверь целиком погибла в огне.

Было пламя и дымные столбы над оснеженною Волгой, бежали ручьи талой воды с горящих валов и вновь замерзали, добегая до волжского льда. Рушились, с треском и дымом, бревенчатые стены. Один только черный от копоти и ободранный донага Спасский собор да каменная церковь Феодора и уцелели из целого града.

И что описывать, как татарские темники — Федорчук, Туралык, Сюга и прочие — зорили зимнюю землю Твери, выгоняли на лютый мороз детей и женщин, поджигая избы, и гнали потом полоняников, тех, кто еще мог идти,— других, трупами, оставляли по дорогам... Что описывать, ежели русские рати москвичей, владимирцев и суздальцев творили то же самое, так же зорили, грабили и жгли, обращая в пепел плоды нелегкого труда пахарей, угоняя скот, «сотворяя землю пусту» — по выражению древнего летописца? Разогни и чти древние книги, а я закрою лицо руками и восплачу от скорби и стыда! Не должен человек, даже и в войнах, губить и зорить людей своего племени и землю народа своего.

Татары шли изгонною ратью, длинным полумесяцем смерти, захватив и уничтожив Тверь и Кашин, главные города княжества, и заодно, с наворопа, разорив и опустошив Новоторжскую волость Господина Великого Новгорода. Новгородцы едва откупились от татар двумя тысячами гривен серебра.

Мишук со своим полком не участвовал в тверском взятии, и многие ратники из полка вслух жалели об этом: в Твери-то уж можно бы было наверняка поживиться! Их повели на Кашин, но и Кашина, прежде них захваченного татарами, толком повидать им не удалось, а уж пограбить — и того менее.

Полк, развернувшись изгонною облавою, прочесывал починки и села, забирая полон, расшибая мелкие отряды вооруженных смердов и случайных тверских ратников, что дерзали сопротивляться, защищая свои дома, семьи и скот. Спали мало, все были жадны и измотаны. Торопились набрать полону, ругались, когда приходилось охранять награбленное добро какого-нибудь воеводы — великого боярина московского, который, конечно, и брал не так и не по стольку, как рядовые дружинники, уводя народ целыми толпами, увозя добро десятками возов.

А тут еще пришлось идти вместях с татарами. Те лопочут не по-нашему, а жадны — страсть! Будто и не кормят их! Едва не сцеплялись порою из-за добычи.

Старшой у Мишука попался суровый, страшноватый мужик, дикой силы и какой-то тупой, бычьей храбрости, похоже, страха вовсе не знал. Полону с ним добывали все ратники, но уж зато и сам брал чего хотел и у кого хотел. Перечить не смели. Потому — что подороже — прятали от еговых глаз. Мишук раза два поцапался со старшим, и тот, в отместье, поставил его нынче сторожить сарай с полоняниками. Рядом, у соседнего сарая, куда набили женок и детей, стояли татары, и Мишук должен был смотреть враз: и чтобы не утекли свои полоняники, и чтобы татары не перехватили какого мужика к себе, в повозные ли, в конюхи. От густоты полона избаловались. Чуть не у каждого был свой холоп-полоняник, что обихаживал коней, рубил дрова, стряпал, вьючил и перетаскивал кладь.

Ночь была морозная, и Мишук, то и дело подходя к костерку, невольно ежился, поминая, что те, в сарае, сидят многие без шуб и валенок, содранных ратными. По всему — к утру из сарая десяток трупов придет выносить!

Один старик стонал прямо у самого порога. Заглянув внутрь, на кучно — тепла ради — сбившихся полоняников, Мишук подумал: словно овцы в загоне! Старый да малый, взрослых, в силе, мужиков и нет, почитай! Тоже мне, полону набрали! Он потрогал старика за плечо. Тот поднял голову, поглядел мутно. Видимо, был ранен. «Окончится к утру!» — подумал Мишук. Помявшись, тронул еще раз:

— Эй, ты! Выйди!

Старик попробовал подняться, но упал, и так, на четвереньках, выполз из сарая. В куче полоняников защевелились, еще кто-то двинулся было.

— К-куда! — зло окликнул он, и черные тени покорно вновь сбились в кучу. Мишук задвинул засов и указал старцу на огонь: — Грейся, старче! Не то замерзнешь до утра!

Тот посунулся к огню, долго держал большие коричневые руки едва не в самом пламени, потом взглянул на Мишука, подвигал бородой, как лошадь, жующая овес, выговорил наконец хрипло:

— Испить бы... и пожевать чего...

Мишук дал старику горячей воды, нагретой им в деревянной бадейке калеными камнями, потом отрезал ломоть хлеба. Все это делал назло старшому — пущай не ставит полон сторожить вдругорядь! Так только, чтобы не молчать, спросил затем старика, кто он и откуда. Того звали Степаном. Деревню его разорили дня три-четыре назад, убили сына:

— ...И второй был, близняки... дак тот на бою погиб, под Торжком... с князь Михайлой ходили...— сказал старик без выражения, тупо уставясь в огонь. Он медленно жевал хлеб, растягивал, бережно глотая. Видно, все эти дни уже и не ел ничего...

— Сам-то тверской али кашинской? — спросил Мишук, стараясь придать голосу строгость. Все ж таки пущай не забывает, что полоняник теперь!

— Переславской я,— неожиданно ответил старик и опустил голову, замолк, трудно пережевывая хлеб.

— Какой такой переславской? — не понял Мишук сразу.— Переславль наша, московская отчина, а тута Тверь!

— Дак я давно уж... с Дюденевой рати ушел, с батькой еще, с Прохором, в Тверь побегли тогды, батьку дорогой похоронили, ну а я с женкой сюды подались, на тихие места. Вот те и тихие... И всюю жисть нам порушили, нехристи окаянные...

Что-то знакомое, что-то слышанное давным-давно начало припоминаться Мишуку. Да нет, куда! Такого и не бывает! Поперхнувшись, он отмотнул головой. Нет, конечно, нет! Батина дружка тута стретить? Такого и в сказках не выдумают!

Успокоившись несколько, все же вопросил, чтобы снять сомнение с души:

— Из самого Переславля али из села какого?

— Из села. Княжево село прозывается. Ты сам-то, случаем, не переславской? Ну, дак знашь тогды, от Клещина-городка невдале стоит.

Мишук глядел и не верил. А старик уже и вновь понурил голову, все так же тупо глядя в огонь, дожевывал хлеб.

Мишук наклонился к нему, тронул за плечо. С чего-то щекотно стало в горле.

— Ты, тово, не выдумал ето все?

— Чегой-та? — не поняв, вскинулся старик и повторил: — Чегой-та? В сарай идтить?

— Ты, тово, из Княжева, из самого Княжева? — спрашивал Мишук, чуя, что ежели старец не соврал, то это беда, и беда непоправимая.— Може, из другой деревни какой?

— Княжевски мы! — отмолвил старец, недоумевая.— Почто мне врать-то, паря?

— Прости, отец, так слово молвилось!

Мишук присел на корточки, отложив рогатину, и, заглядывая деду в глаза, просительно (хоть тут бы ошибиться ему!) вымолвил:

— Не помнишь такого в селе, погодка твово, Федей звали, Федором...

— Михалкич, што ли? — перебил его, оживившись, старик.— Федор Михалкич? Ай жив? Друг был первой!

— Умер он,— отмолвил Мишук, и старик враз как опал, померк и взором и голосом:

— Умер, баешь. Ну, царство ему небесное... Так-то

свидеться не удалось! И я вот, скоро... тоже... А ты как ево знашь? Слыхом ли, родич какой?

— Сын еговый,— просто ответил Мишук.

Сказал и понял: тут уж надо чего-то поделывать, теперича отступи — отца обгадишь.

— Ты, Степан, тово, беги! Счас я обутку тебе, хлеба...— Он засуетился, соображая, чем может снабдить старика на путь.— Пересидишь где ни то, а там рать сойдет, снова закрестьянствуешь тута!

Но тот только покачал головой:

— Как тебя звать-то? Мишук? Федорыч, значит! Дивно! А мои-то все, вишь... лучше б меня, старика... Не побегу, парень. Сноха у меня тута с дитем, с внуком моим, значит. Тамотка сидит, у татар. Авось вместях погонят...

Тут бы и отступить Мишуку, но ему уж, как говорят, шлея под хвост попала.

— Как кличут сноху-то? — спросил сурово.— А внучонка? Ну, вот што: ты тута посиди, не уйди никуда, а я сейчас!

Добраться до заводной лошади, достать красные сапоги из переметной сумы (все одно граблено, так не жаль!) и воротить назад было делом не долгим. С сапогами, прихватив рогатину, двинул Мишук к татарам. Сторожи попались бестолковые, кабы не знатье слов татарских — спасибо Просинье, выучила,— век бы не договорил с има! За тимовые сапоги, разглядев алую мягкую кожу, татары, покричав и поспорив, согласились выдать женку с дитем. После долго выкликали, искали, всё выходили не те. Мишук злился: ночь пошла на исход, и уже мог подойти сменщик, а тогда — конец! Наконец Степанова сноха нашлась, и, слава Богу, была она даже в обутке: лаптей еще не снимали у полоняников с ног. Глянув, однако, на промороженные звезды над черным лесом (самые стояли, как на грех, крещенские морозы!), Мишук сообразил, что радоваться ему еще рано. Старика со снохою и дитем требовалось снарядить в дорогу, не на смерть же посылать людей! И тут, мысленно перекрестясь, впервые в жизни решился Мишук на воровство. Овчинные зипуны, обутку, снасть хоть какую-то...

Два зипуна и секиру унес из сторожевой избы, плохо соображая, что ему будет за это утром. Нож, хороший, булатный, отдал старику свой, с пояса. Мешок

гречи (пропадать так пропадать!) взял тоже из полкового запаса — попросту сказать, с воза стянул; кремень, огниво, попонку прихватил — дитю укутать годнее. Только коня не решился отдать старику. Ну да, Бог даст, уцелеют, найдут и коня! Разбежавшейся скотины сейчас по лесам видимо-невидимо.

Пока старик с женкой опоражнивали, обжигаясь, мису горячего хлебова, Мишук спроворил все, что было надобно им на первый случай. Принес яловые сапоги для старика, и тот, обувшись и натянув овчину, стал как-то враз и бодрее и выше ростом. Матерый оказался старик, широкий в плечах.

«Выдюжит!» — подумал Мишук, глядя, как тот крепко перепоясывается добытым Мишуком ременным арканом и засовывает за пояс секиру и насадку для рогатины, подаренную Мишуком.

Женка уже была готова, одета, перепоясана, успела и малого покормить. Оба стояли, глядя на Мишука горячими лихорадочными глазами, все еще веря и не веря своему освобождению. Мишук вывел их на зады, на укромную тропку. Старец размахнул руки, обнял и трижды крепко поцеловал Мишука:

— Спаси тя Христос! Верю теперь, што Федин сынок! Век буду... и внуку...

Обмочив щеки Мишука слезами, отстранился наконец. Женка тоже несмело потянулась и чмокнула его в щеку. И пошли в ночь, впереди старик с секирою за поясом и тяжелым мешком на спине, позади женка с дитем, и внучок пискнул что-то в темноте, а она что-то тихо сказала ему, унимая,— и скоро оба исчезли среди оснеженных елок, только скрип шагов еще долго доносился до Мишука.

Сменившись, Мишук ввалился независимо в сторожевую избу, ел щи, посвистывая и слушая, как старшой, ругмя ругаясь, ищет секиру и пропавшие зипуны.

Наевшись, срыгнув, он посидел несколько. Ругань уже густела в воздухе, теперь обвиняли друг друга и уже едва не брались за грудки. Тут ввалился сторожевой, в голос выкрикнул:

— Полоняники бают, старец один утек у их ночью! Тогды как раз Михалкич стоял!

Мишук поднялся, твердо поглядев в глаза набычившемуся старшому, кивнул, поведя глазом:

— Полоняники бают, може, и врут, пройдем!

Вышли под утреннюю холодную хмурь. Отошли на зады. Круто поворотясь, Мишук вымолвил:

— Секиру я взял! И мешок с гречей — тоже я. И старика того я выпустил. Старик тот, Степаном его зовут, переславской родом, бати покойного приятель. Отец умирал, наказывал: «На рати, случаем, не заруби!» И вот я... И баба, женка та с дитем, сноха евонная...

— Постой! — опешил старшой.— Кака така женка?

— У татар выменял, на сапоги. Свои сапоги были, из добычи.

— Ну, женку... выменял, дак...— Старшой глядел исподлобья, тем взглядом, каким глядит почасту, склоняя рога, племенной бык,— не то боднет, не то отскочит посторонь. Вроде уже и кулак сжал для удара, но не ударил, а, посопев, спросил:

— И чево ты их... в лес отвел?

— И зипуны отдал има, и сапоги, и крупу, и секиру, и нож, и рогатину... Вот! — перечислял Мишук, не останавливаясь.— А теперя хошь бей, хошь убей — все одно!

Он поворотил боком к старшому, оберегая рожу от первого удара, и, крепче расставив ноги, утвердился на снегу.

— Ну, паря...— протянул старшой и переступил по-медвежьи с ноги на ногу.— Ну... У-у-у, пес!

И вдруг здоровая, во всю лапу, затрещина легла меж лопаток Мишука. Чуть удержался он на ногах, выговорил только:

— Бей!

Но старшой, ткнув его еще кулаком под бок, взял руки кренделем и захохотал, закидывая черную бороду и разевая красную пасть.

— Ну, паря! Ну и ну! Ловок! Ай не соврал? — вдруг спросил он, хитровато прищурясь.

— Не. Крестом поклянусь!

— Так-таки и спознались?

— Говорил я с им, он жисть свою сказывал, ночью-то, да я из речей-то и понял... Он и не чаял совсем. А как спознались, в ноги мне: сноху, мол... Ну, я красные сапоги тому татарину в зубы...

— А у нас гречу! — перебил старшой.— Ну, ловок, ловок, Мишук, ну и ну! — Старшой вновь, закидывая башку, залился веселым хохотом. Отсмеявшись, аж

выжало слезы из глаз, крепко хлопнул Мишука по плечу, примолвил:

— Ну, чего стоишь? Вали, мед пить будем! — И первый пошел, переваливаясь косолапо, а Мишук за ним, толком не понимая еще, что же произошло.

Уже на подходе к избе старшой обернулся, глянул серьезно, в глубь зрачков, сощурился:

— Не соврал?

Мишук расстегнул ворот, достал крест с шеи:

— Вота! Клянусь крестом ентим. Пущай Господь...— У него запрыгали губы.

Старшой повел бровью:

— Ну, верю. Ты, тово, только... воеводе не скажи... Мы уж промежду себя уладим как ни то! А то ищо привяжутце: «Ворога отпустил!» Старчища матерого с молодайкой да внуком... Тоже мне, вороги, тьфу! А за секиру, быват, поставишь ребятам пенного. Ну, и тово... Струхнул? Думал, бить буду?

— Маленько струхнул! — признался Мишук.

— То-то! Ну, да я ить тоже не зверь!

За секиру расплатился Мишук, а о зипунах после и речи не было. Награбили они зипунов, без того хватало...

Домой ворочались к Масленой. Говорили потом, что князь Иван выкупал тверской полон у татар, сажал на землю... Кого выкупил, кого и нет! Тысячи ушли в степь, вослед татарской коннице, тысячи погинули от голода и морозов на разоренных дорогах Твери...

Уходящие татары, словно половодье, не пощадили и прочих, союзных себе волостей. Положили впусте земли Дмитрова, Углича, Владимира, прихватили порядочный кус ростовских и суздальских сел. Только Московскую свою волость сумел отстоять князь Иван от прохождения татарских ратей. Дарил темников, сам казал иные пути.

После этой беды надолго запустела Тверская волость. Годы и годы спустя все поминалось: где какая стояла деревня, какое село, от коего ныне только кусты, да бурьян, да крапива в человечий рост, да холмики заброшенных могил на бывшем погосте, который уже некому посетить, некому возобновить сожженные кре-

сты на могилах и некому оплакать, навестив по весне, родимых усопших своих.

Князь Иван Данилыч вместе с суздальским князем Александром Васильевичем, распустив ратных по домам, отправились оба в Орду. Хан вручил ярлык на великое княжение владимирское Ивану.

ЭПИЛОГ
МОЛИТВА ИВАНА КАЛИТЫ

Господи!

К тебе воззвах и к стопам твоим припадох со скорбью и ужасом, и отчаянием моим, и мольбой!

Страшен ты еси, и страшнее кары милость твоя!

Ты послал мне возлюбленных чад на лоно мое, возвеселив и упокоив сердце мое.

Ты окружил мя боярами многими, верными и радеющими мне.

Ты собрал волость отца моего воедино и вручил в руку мою.

Ты избавил мя от злобы и зависти, и насилия вельмож ордынских, и от остуды ханской упасе.

Ты соблюл землю мою от ратей вражеских и от прохождения иноплеменных сохранил.

Ты сокрушил выю ворогов моих и вручил мне ныне вышнюю власть в Русской земле.

Кольми паче мог бы ты наградить и возвеличить мя?

Коликою радостию или коликим прибытком возможно, Господеви, днесь преумножить усладу щедрот твоих?

Где предел милостям твоим и где край милосердию твоему? Или кара грядет на мя страшнейшая страшного на земли?

Зрел ты трупы смердов на торжищах и путях и не поразил мя перуном, и не свел на мя огнь небесный! Слышал плач и стенания жен, горе матерей и вопли чад, в полон угоняемых, и не содрогнулся, и пребыл покоен в величестве своем. Ужасен ты, Господь, в тяжкой силе щедрот твоих!

И потому молю тебя, со страхом и ужасом к стопам твоим припадая, и вопию, и стражду, и плачу, и тоскую, и сиротствую днесь пред тобой, об одном умоляю: не погуби!

Не обрати лица гнева на грешного раба твоего! Не изжени мя из уст своих и от сердца своего не отрины! Не сотри в персть и не порази всеконечно!

Смраден я и жесток, и черств душою, и жаден, и алчущ, и нет во мне нужной любви к ближнему моему! Земля страждет от дурноты моея! И стать другим не хочу я, Господи!

Но не отринь мя, не отврати очес от последнего раба твоего, не дай остуды сердцу своему! Ты велик, и благость твоя безмерна. Пожалей же мя, Господи, и не погуби!

Страшусь я казни твоей, и недостоин я милостей, иже пролияста на мя волею твоею! Казни достоин я и нужныя смерти от тя за кровь, и слезы, и скорбь всея земли, и знаю это, и не хочу умирать!

Знаю, что грешен, но смилуйся, Боже, над волостью моею, ей же ныне утвердил мя главой!

Погубленных мною прими в лоно свое и с праведниками вкупе поставь одесную престола, но смилуйся надо мной, ибо я хуже их, и знаю о том!

Ибо того, что смогу я, не смогли бы они по величеству души своея и погубили бы землю свою и язык свой. (Лукавлю, Господи, не ведаю того явно, но мню тако!) Не для себя, для земли и языка русского молю я о милосердии твоем! И — прости меня вновь, Господи, за лукавство мое — но и для себя, для своей души такожде молю, умоляя: не погуби!

Хощу я содеять то, что содеять могу, и верую: ко благу земли моея послужит скверна моя. Ни на мал час не дам я пощады бренному телу сему! Не утомлюсь, и не престану, совокупляя землю, и до гроба дней моих не похочу иной судьбы и славы иной!

Веришь ли ты мне сейчас, Господи?

Веришь ли ты смирению моему?

Но несть смирения в душе моей, ведаю сам, и потому вновь взываю к тебе: пощади, Господи!

Верую, что ты благ и премудр. Веришь ли ты мне сейчас, Господи? Веришь ли вере моей? Не мнишь ли ты, как мню и я, нечестивый, что лукава молитва моя и не вся тайная души моея открыл я Господу своему?

Но страстно жажду я и жизнь свою брошу в костер желаний и замыслов моих! И сейчас уже ничем не лукавлю я пред тобою!

Да, хочу, да, бескраен я тоже, как и убитый брат мой, и так же, как он,— жесток! Веришь ли ты теперь величеству страсти моея?

И хотя бы за это одно — пощади, Господи!

Воззри на мя с небес, владыка превечный, милосердный Боже! Воззри же с небес, всеблагой, на последнего раба твоего и ради величества страсти моея — не погуби!

1980

СОДЕРЖАНИЕ

Балашов Д. М.

Б20 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. Великий стол: Роман.— М.: Худож. лит., 1991.—446 с.

ISBN 5-280-01603-9 (Т. 2)

Во второй том Собрания сочинений вошел исторический роман «Великий стол», посвященный трагической судьбе Михаила Ярославича (1271—1318) — князя тверского, великого князя владимирского. Сильный и справедливый правитель, сторонник бескровного разрешения междоусобных споров, Михаил Тверской, против своей воли, был ввергнут князем Юрием Московским в братоубийственную борьбу за власть, а затем, оболганный и униженный, казнен в Золотой Орде.

Б $\frac{4702010201\text{-}185}{028(01)\text{-}91}$ Подписное

ББК 84Р7

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БАЛАШОВ

Собрание сочинений в шести томах

Том второй

Редактор **Т. Шурыгина**
Художественный редактор **Е. Ененко**
Технический редактор **Н. Кошелева**
Корректор И. Ломанова

ИБ № 6286

Сдано в набор 14.11.90. Подписано в печать 17.07.91. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 24,99. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-4002. Заказ № 1628. Цена 9 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.